

# НОВЫЙ МИР

12

---

1994

12

НОВЫЙ МИР

1994

# Н О В Ы Й М И Р

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 12(836)

Декабрь, 1994 г.

## УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

ДМИТРИЙ АВАЛИАНИ — Словарик, стихи	3
ИГОРЬ МАРТЫНОВ — БАМ. Письма женщинам о русском футболе	6
АСАР ЭППЕЛЬ — Чулки со стрелкой	28
МАРИНА ПАЛЕЙ — Месторождение ветра	46
ВЛАДИМИР СТРОЧКОВ — Летучий отряд, стихи	55
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Прокляты и убиты, роман. Окончание	57
ИННА КАБЫШ — Не надо ответа, стихи	135

## ВРЕМЕНА И НРАВЫ

СЕРГЕЙ ФОМИН — Три дня в предпоследней столице	139
БОРИС ХАЗАНОВ — Exsilium	148

## ПУБЛИЦИСТИКА

МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВ — Государство и рынок	157
АНДРЕЙ БЫСТРИЦКИЙ — Urbs et orbis. Городская цивилизация в России	167

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЛЕОНИД БЕЖИН — На пороге гуманитарного века. Записки сентиментального историсофа	181
--	-----

## ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

А. В. — Против социализма. Новая книга Д. Штурман	191
---	-----

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО — Искусство принадлежать народу. Формовка советского читателя	193
--	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРХЕС И РЕАЛЬНОСТЬ — Александр Генис. Русский Борхес,  
Ю Каграманов. Явь как сон и сон как явь 214

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 223

Алексей Пурин Предсказание избранности  
Ю. Шрейдер «Граница совести моей»  
Т. Бушуева « проклиная — попробуйте понять. »

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВЛАДИМИР ГУРВИЧ — Демократия и демос	238
КНИЖНАЯ ПОЛКА (9)	246
ПАМЯТИ В. И. СЕЛЮНИНА	247
ПАМЯТИ В. Л. ФИЛИМОНОВА	248
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1994 ГОД	250
SUMMARY	256

**«Новый мир»** — 70-й год издания.  
**«Новый мир»** — более 800 номеров с момента основания.  
**«Новый мир»** — зеркало сегодняшней российской словесности.

Не забудьте вовремя продлить вашу подписку!  
Наш индекс — 70636 в каталоге издательства  
«Известия».

В розничную продажу журнал не поступает, наложенным платежом не высылается.

Зарубежные читатели могут подписаться на **«Новый Мир»** в германской фирме **«КУБОН УНД ЗАГНЕР»**.

Kubon & Sagner, D-80328 München Germany  
Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d  
Fax (089) 54-218-218

---

ДМИТРИЙ АВАЛИАНИ

\*

## СЛОВАРИК

\* \*  
\*

Ломая диалектики законы  
небесный рай не борется ни с чем  
не точит меч не учит теорем  
вкушая апельсины и лимоны

Вкушая апельсины и лимоны  
но не забыв горчицу между тем  
он помнит латы луки битву шлем  
на поле умирающего стоны

На поле умирающего стоны  
Наполеона драку двух систем  
в траву многовекового газона  
сквозную тень рассеивают кроны  
и музыки текущие гормоны  
перешлетают бездну дум и тем

\* \*  
\*

Люблю грозу, люблю березу,  
дрожащую: вот-вот блеснет, —  
бегущий взапуски народ,  
внезапную метаморфозу,  
обрывки фраз, листвы и веток,  
еще не правленных заметок  
на воздух вынесенный рой,  
дворы с шумящей детворой,  
парадные, где жметя с девой  
маратель, безнадежно левый  
еще не писанных холстов,  
осколки около кустов,  
следы вчерашних возлияний,  
балконы, окна, куст герани,  
потушенный с испугу свет,  
младенец, истинный поэт,  
с расплющенным у рамы носом,  
еще ты мил и непричесан,  
глядишь в косматое темно,  
еще тебе не все равно.

\* \*  
\*

Большеголовый Кант  
на худеньких ногах  
был мальчиком дискантом  
в младенческих хорах

И все бы хорошо бы  
когда бы не другой  
мальш густобородый  
не топнул вдруг ногой

Хвала Иммануилу  
свежо поют басы  
в батист императива  
опорожнив носы

Заслышали братаны  
железные слова  
забили барабаны  
и где ж вы кружева

\* \*  
\*

Сегодня всеядно —  
откуда прийти прямоте.  
Все давнее видно,  
как те пропадали и те,

как ставили вышки,  
ложились, беря высоту.  
Как долго же бывшим,  
пропавшим  
оттаивать на свету.

\* \*  
\*

О где ты, моя матушка?  
Я в плаванье ходил,  
в Тмутаракань сворачивал —  
тебя не находил.

шагами мерю гулками,  
тебя не нахожу.

С Арбата переулками  
в парадное вхожу,

Сижу я в доме брошенном,  
не зажигая свет,  
уж сколько мною прожито,  
тебя же нет как нет.

\* \*  
\*

Я вижу Фалька в красной феске,  
я вижу тышлеровских дам,  
рой шляп, подобных кораблям,  
да глушь провинциальной пьески.

Француз в Алжире, Фальк в Хиве...  
И я, пустынный, на Москве,  
бродя, как те анахореты,  
повсюду вижу минареты.

Фаянс на лицах, блеклый свет,  
деревни дальний силуэт,  
и в воздухе колоколят  
мадонна с парой ангелят.

\* \*  
\*

*Отцу А. Меню.*

История становится великой,  
когда такое происходит.  
Огромное у гроба половодье,  
мы все одной увиты повиликой.

На каждом кровь земли безбожной, дикой,  
что думать о каком-нибудь уроде —  
мы реку пьем в водопроводе  
одну на всех, и свыше нет арыка.

Уже не жить обыкновенно,  
не ждать поры обетованной.  
Одни лишь дети неповинны,  
а мы не будем невозбранны.

Кто без греха, пускай кидает камень  
и в третьем жительствоет Риме,  
уже отбили бубны под Коломной,  
одна лишь флейта тихая над нами.

\* \*  
\*

Нет ценности в словах  
Однако слово — Бог  
но так заболтан стих  
что голос мой затих

Лишь О одно как облако стоит  
как озеро глядит  
меж ними Я как яблоко висит

Когда сгниют плоды  
и высохнет вода  
и тучу унесет неведомо куда

Ау — скажу мой друг  
Аю — моя любовь  
ты глубже всех забав  
и слов и рук и мук

\* \*  
\*

Все тренья, все из тренья —  
и отпрыск, и огонь.  
И ждет прикосновенья  
цветущее-не-тренья.  
А ты на тропке узкой  
в потении лица  
зубришь небесно-русский  
словарик без конца.



---

---

## ИГОРЬ МАРТЫНОВ

\*

## БАМ

*Письма женщинам о русском футболе*

*Жертвам первого железнодорожного круиза посвящается.*

### Комсомольск-на-Амуре — Женева, групповые турниры

**Б**ез ложного мазохизма говорю: лишний я человек. Много на этот титул избранных. Один я званый.

У далеких берегов Амура — раз. Трасса века — два. Плюс, учти, это первый-последний пассажирский. Не фронт, ма шер, а поезд, ту-ту. До старта две минуты. Выясняется — места мне нет. Прочесываю все пять вагонов — занято! Время «Ч», бычки отброшены, славянки попрощались под ре минором, энцефалит клешней машет: где ты, лишний?! Тайга дрожит по самый молибден: не видать ли?! А мне сесть некуда! И только в хвостовом варианте, у WC. Да лучше б гусиным шагом, по одной рельсе, в мешке, чем это! Стриптизерша из областной филармонии с диоптриями. А?! Разве разрешаются стриптизерши в очках? Они и есть объект, куда им всматриваться, кого лорнировать, надо ли видеть? Сама с нижней полки, а на мою, на верхнюю, постлала концертное монисто, не мя-я-ть. Казалось бы? Флер! Фетиш! Все равно скинет при первом же случае — такая сверхзадача. Но упрямится! Как с любимыми не расставайтесь! Когда я сгоняю монисто долу, ближе к телу, телом мстит. Оголяется. Надрывно, сразу с низа.

Способны вы на несовместимость! И нагота двойственная — бывает Суламифью, бывает зла, реакционна, как травля генетики, как охота на ведьм. Как паразитические колбы Парацельса! Молекула ню в каждой капле истории, горчит это пойло...

Оцени мой подвиг — сгруппировавшись до последнего мизинца, я не зажимаюсь. Смотрю. Глаз в глаз. В оба. Секс в секс. Чую, подымается затылком седина, вот-вот лопнут последние принципы, трудно не дать рукам воли, не пресечь вандализм, как учили предки, — бросив за борт, в неизбежную волну, на сечение гнусу и леопардам.

Что сказать об увиденном? Чем оправдать? Неверную линию сгиба, слабую духовную подсветку, грыжу, аппендицит, шрамы внеземного происхождения? Компенсирует ли лицевая часть? Не компенсирует! Наоборот, усугубляет. Прости, что так детально, но ты художница, я свежепотрясенный очевидец, промолчать — преступно. От себя добавлю: внешне отдает той же Моной Лизой. Как я к ней рвался! Воскресенье, когда в Лувре бесплатно, с утра ничего не ел, пролез сквозь толщу японцев, а ничего не видно. Она же под стеклом бронированным, отсвечивает. Подпрыгнул, вроде лучше, ей вровень, по переносицу, но долго так не провишишь, как она. Что запомнилось? Бледная она, как контурная карта, поверх миражи самураев, изжелта-пупсиковые. Их много, Лиза одна, Лиза моно, и это называется шедевр...

Пора пресечь бесчеловечный стриптиз! Я достаю его: весь в плесени, с дартаньяновски выбранным клинышком. Не помню, кто кусал, может, и люди. Вонь та, что не прощают даже себе. Выкрест от сыров. Мой верный рокфор «сосьете!» Отрезвела голая — чует, шутки кончились, опрометью натянула тренировочные, капитулянтски отвислые в коленках. Теперь тихо штопают. То-то!

Оказывается, рвется родить. Цель ее паломничества. Я смерил явно не Данаю. По моим данным, из таких положений роды невозможны, даже в воде, при содействии дельфинов. И не ошибся: сперва намерена зачать, говорят, струи здесь, на магистрали, — особые, аномальные, способствуют нулевому циклу. Струи?! Стремное, однако, соседство. А вдруг спросонья опять приму за деву Марию, бесконтрольно зачну, как тогда, за девять месяцев до новой эры, и все — абзац, галера. Туристы посочувствуют, газеты напишут об Альфонсе пар окказьон, как скорбно он пропитывал ей фосфором сосцы, чтобы мерцали на гастролях. И умер в один день, спасая ее трикотаж от пожара в Доме культуры русских секстильщиков, она крайне по нем страдала и пережила всего на сорок восемь лет, закончив карьеру исполнением статуи Екатерины Второй в натуральную величину. Областное ТВ снимет документальный фильм, она в допотопном гриме, тушь номер пять, под весельный чавк накладных ресниц припомнит: «О, это романтическая история! Я была юна, изящна, первые шаги отечественного стриптиза... Не все получалось, например, выход из комбидреса — номер на одной опорной ноге. Важно до унции рассчитать момент, когда ткань бесповоротно спала с бедер, но не достигла еще икр, и сделать полный шаг, который на нашем языке называется «кукуруза». И вот однажды, на шефском вечере в Перми, иду на «кукурузу», чувствую — что-то не так. Не идетя. Делаю другую попытку выполнить элемент: не выполняется, хоть лопни! Мне из-за кулис наши хором сигналият: «Выходи на кукурузу», — но как будто бы что-то удерживает комбидрес на мне. Какая-то сверхъестественная сила. Оборачиваюсь, и действительно — огромный статный мужчина в расцвете лет, с очень правильными чертами, хорошо одетый в военную форму, в офицерскую, особого назначения — он-то как раз и не дает комбидресу с меня сняться. «У нас в городе это не принято», — говорит офицер. В зале воцаряется взрывоопасная ледяная тишина. И вдруг откуда-то из-под софита на сцену врывается он, Игорь. В его руках я замечаю огромное бутафорское мачете, которое завалилось от предыдущего танца с саблями. В два прыжка он застигает офицера врасплох, но картонное мачете упирается в казенный бронезилет. Офицер приходит скоро в себя и в упор из табельного ствола стреляет Игорю прямо в брюшину. Игорь в падении еще пытается сорвать с меня комбидрес и таким способом утвердить торжество наготы, но руки его слишком ослабли, зрочки закатились куда-то, на рот набежала пена... Любимым его монистом оказываю ему первую медицинскую помощь, затыкаю рану, как могу, но слишком поздно. Дни его сочтены. Наша совместная жизнь проносится у меня как на ладони: первая встреча, теплое утро девяносто четвертого, бокало-амурное, песня таежного бульдюруля... Он был великим пассажиром, он ездил только на верхней полке против хода, спиной в будущее. В его честь назвали льдину на Южном полюсе планеты».

Нет, как тебе?! В мою честь назвали льдину на полюсе, а кто-нибудь спросил, хочу ли я собой именовать кусок околелшей воды, о который и мало-мальский «Титаник» не споткнется! Если нельзя совсем избежать бессмертия, пускай присвоят тому выходу из комбидреса вместо вашей «кукурузы» — имени Мартынова. Он указал спасение, тот свет в начале тоннеля. Бегите, я прикрою! Бегите, мирные плейбои, пока не достал бог праведности в тяжелом бронезилете из табельного ствола!

Не ради славы и кимвал, но что я имею? За миссию свою? За смерть героя? Человечество крайне нехотя пользуется мной. Долго пробует, вербует, не держит за своего, а я, да если это кому-нибудь нужно, на самые отпетые маршруты, на противоположные края: Муякан, Янчукан, Фель-



киң Ключ, Кувукта, Леприндо, готов! Я, без трех секунд европеец, к у р с и в м о й, знаток дижонского мутарда. Вот до каких отступаю долгот, цепляюсь за одноколейку, чтобы совсем не выпасть

Вчера была столица, и Кубок мира на носу. Канун утонченных финтов, золотое сечение лета. Заре навстречу шел я по Тверской, подоткнув ливайсы об июнь-светозар, без тоски, без похмелья. Ранние мотоциклы обтекали меня. Никто не встретил у закрытого метро. Из живых только ветер, тихий, как тахикардия. Чтоб не будить Москву, я снял ботинки и прыгнул на холодный парапет на том мосту у Белорусского — не умирать, а просто для зарядки, размять мышцу. И приступ, внеплановый приступ невесомости меня пронзил. Зов оступиться. Зов неродившихся потомков, не рвущихся на этот свет. Одним прыжком из лишнего человека в триумфальную пустоту. Так я решил, когда меня — а больше некого — окликнули в спину:

— Эй, Дедал! — Черное «вольво» у бордюра, тормоза я не слышал. Открыта дверца, оттуда полуторчмя в партикулярной тройке — начальник. — Ты не забыл пристегнуть крылья?

Я пошарил за спиной. Крыльев не было.

Начальник большим пальцем, эдак, знаешь, по-прорабски, отсылает на заднее: садись, мол, подброшу. На заднем мертвым пучком, как саженыцы, топорщатся «калашниковы» в смазке. Дюжина, а то и чертова.

У него стертое лицо отжившего покера, курит он «Винстон» — табак мужественных, не вынимая изо рта, типично шурясь от дыма, как человек, всегда работавший обеими руками.

— А что умеешь? — вопрос из серии к рекруту. Видать, нужда в оруженосцах? Но пасаран.

— Стрелять не умею, — отвожу я кандидатуру.

— Это я понял. А еще?

— Еще я не умею жить, — говорю.

Он напрягается, осквернен. Брикет апломба, вот кто, слиток трудовой. Бывает, на секунду отвлекся — с кем-то спариться, дворнягу почесать, вообще походить — эти уже спешат с лопатами, тащат разнарядку, тебе — шестнадцать кубометров вглубь...

Внимание! Я последний человек, не сажающий деревьев, не пишущий книгу и не рожающий. Злостно игнорирую кодекс живого. Есть ли генетические корни у моего у тунейдства? Решительно нет. Без всяких скидок, предки в пяти коленах созидатели, самый ранний после взятия Парижа пришел восвояси, сразу двинул на порубку, раскопчегарился, вошел в азарт, в снега по пояс, лед на эполетах, ночью баню стопил да и помер на полке от разрыва... Что говорить о поздних? Все стены увешаны их грамотами, шашками и орденами — никого нет в живых. Пора бы, бэби, глянуть в лицо генофонду: труд мне противопоказан. Если бы обезьяной был я, человек бы не произошел. Как у них повернулось засорять деятельностью среднерусскую полосу — нейтральную! Ничью! Если перетасовать по-моему, из великих не уцелеет никто: ни Бруно, ни всплывший Архимед. Открытое ими, оно было до, будет и после. С какой стати славить Галилея за округлость земли, которая и без него круглая?! Был бы подвиг — не вмешаться, не обратить внимания, оставить как есть. Не изобрести порох. Не нарваться на Америку. Не пить из колодца, а только плевать, плевать, плевать, пока что-нибудь вырастет. Позор нам и стыд, что все бесполезное, а потому воистину великое, утрачено. Ты знаешь, о ком я. Сады Семирамиды. Вавилонская башня. Левша. И не выжил, и спился, и ничего толкового не сделал — ни бройлерных цыплят, ни резус-фактора, но поценнее генофонду, чем восемь черепановых с их паровым котлом; пускай блоху никто не видел, идея блохи гложет и берedit душу.

Что я умею, интересуется мон генераль, достаточно ли смысла у парня, или можно сократить без потерь? Зер гут, давай начистоту!

— Я умею смотреть футбол. Пишу футбольные репортажи. Других дел у меня на земле нет.

«Калашниковых» аж передернуло, мон генераль дрогнул в холке, но не «пли» скомандовал, наоборот:

— То, что нужно. Футбол я тебе обещаю. Какого ты еще не видел. Русский футбол. Лучший репортаж напишешь... — Затяжка, выхлоп, фильтр врыт в пепельницу. — Если сумеешь. — И конверт дает. Там деньги. Авиабилет до Комсомольска-на-Амуре, где это?! И мандат: «Предъявитель сего является участником железнодорожного круиза в честь провозглашения Первой Независимой Дороги (экс-БАМ). Длина трассы 3102 километра. Долгота заезда десять дней. В пути планируются показательные работы, символический футбольный матч, иные торжества и сюрпризы. По итогам круиза участники будут... (пропуск) Генеральный смотритель ПНД/БАМ...»

...стрелять в белку с Дерсу Узалой? Вряд ли. Не потому, что жалко белку, но все равно не попаду, зачем начинать? То же самое о породах древесины и сортах почвы. Если я отличаю пальму от кипариса, то вовсе не по собственной воле, так уж с детства повелось. Но, к примеру, граб и бук — разницы на копейку, гонору на Красную книгу!

Однажды я поддался натуралистике, был у меня период с пассионарной особой. На пару мы доили сок агавы, ходили с лейкой по дендрарию, палые листья сушили ветром. Бывало жутковато мне: окажемся в парке, сквере, любом другом массиве — лезет на дерево, прямо до макушки, и сидит там, кукует, ревет, пока не сниму. «Я, — говорит, — наверное, дриада». Не всегда я доставал ее, меня закономерно сменил высокий пожарник, он гасил ее капризы без затей: подъедет на пожарной машине, раскроет лестницу и в охапку дриаду. А что я мог противопоставить? Я научился летать. А ты упала.

Как там в твоей Женевской академии, говорят, тебя видели в парке с ровным джентльменом, он заведует чем-то типа луз Монте-Карло, не так ли? Сам, конечно, шаров не гоняет, занят возведением семьи, укрощением русской. Вы чинно идете по парку в модных тонах огуречного рассола — не по газону все, а по периметру. Я не узнаю тебя! Кору не чешешь, к стволам не льнешь и, как со мной, не прыгаешь по дулам. Сумасбродство сдано в утиль. Ты не дриада больше. Прощайте, Ася, первая любовь, ее слепые музыканты... Кстати, твой пожарник теперь боится огня, все кругом горит а тушить некому.

При таком раскладе что мог я сказать генералу БАМа? И я сказал — поехали.

### Амгунь — Бергамо, групповые турниры

Круизу сутки. Пейзаж на месте. Никаких новостей — фундаменталистская зелень, по промежуткам бронировочное хаки. В мирное время на это лучше не смотреть. Земля как областная стиптизерша. Зачать готова во весь колос; осилим ли, даже если с паровозом, пять вагонов, крашенных в оранжевый, для мимикрии, под апельсины из Марокко: кто-то сказал, что цитрусовые здесь в большом чине, значит, не едят.

У нас удобная география, никуда не денется, ставь на автопилот — и в попутчики! Я старомоден по этой части, предпочитаю людей, но сторонник ограниченных контингентов. Нас должно быть мало, нас больше не нужно. Синьор Бернардацци, постройте такую жилплощадь, чтоб двое говорили, а третий их не слышал! Чем были Афины? Древние хваленые Афины? Аул городского типа, шерсть, нечистоты, каждый коитус чреват кровосмешением. Эдип, ну какой из него комплекс?! Типичный половой сапер-неудачник коммунальной квартиры, где вповалку на кухне, ноги в холодильнике, не разберешь, кто свои, кто чужие. Там и папу Кроноса и убийцу его Зевса лепили с одного натурщика от бедности. А вышло на века. Но все раскопки и Метрополитен-галери рады каждому черепку, инда и без носу. Не дергались элины, не ныли, имели то, что есть. Ник-

то не лишний. Нешто мы так пресыщены друг другом, чтобы засматриваться по сторонам?!

Расскажу тебе о структуре вагонов. О первом, третьем и пятом, потому что второй и четвертый пока не вскрыты, таятся, но, по счастью, прицепленные на место шестого и восьмого, не мешают обмену тел.

...Догадки нехорошие. Когда мы спешили на первом полустанке в Хурмулях, видел нас на фоне взлобков и сопок... В шелковых пиджаках, щеки прямо с презентаций, в поддельном загаре, плечи ежятся, руки заломлены... Ладно, я-то снят с моста, я завербован в кризисный момент. Но вы! Уроды большого города, файнфлеры, богема, короче, все свои: Вика Т., Гоша и Лепа, младший сын полка, Харатян, Апдулов, Вадик Понятковский (Пауэрс-младший) с Марендой, рокеры из «Гаража», актер Прометей, Третьак, звездочет Кобла, человек-космонавт Волк, мамзель Жармухамедова с «Раши пластики», куплетист-сатирик Новый в красных альпинистских говнодавах... Никто не понял, зачем этот дальний прогон, эта трасса не пойми куда, невнятные торжества. Внезапно, подчинясь смутному, засобирались, бросились... А ведь у каждого предчувствия: как бы кто-то нарочно скучил лучших лишних людей на чужой территории — к чему они сгодятся здесь?! Расстрел. Сердце Бонивура, спаленное в топке, глухонемые геологи копошатся в золе и не находят ничего дельного... Природная злость настигает нас. Я расскажу тебе о структуре вагонов.

В пятом, разночинном, публика подсобная. Целое купе манекенов для показа мод. Я заглянул к ним — помолчали, посочувствовали. Хорошие ребята, последнюю рубашку отдадут.

Из живых достопримечательностей — дружба народов. Царапнуло слух фрикативное «га». В малороссийскую речь впадаешь как в Батыевы сумерки — якобы все впереди: и Куликово поле, и шапка Мономаха, и прочая маета мает. Оказывается, коллекция сала с Ивано-Франковска, хлопцы при ней, конвоируют. Зовут на дегустацию. Такие — если бы парни всей земли. Но кто-то громко сказал «Эрна», кто-то откликнулся, стоя на ногах прибалтийской длины. Конкурс красоты, «Лесные сестры» из Вильно, сестры, две сестры, совсем идентичные, вопрос к природе — зачем эти дубли, повторы, переборы, тем более непроницаемы, сентябрем глядят, хотя я сразу намекнул, что абсолютно ничей!

Особая гордость: с нами последний убых. То есть единственный на свете экземпляр исчезнувшей популяции убыхов, жили такие на стыке Грузии — Абхазии. Суфисты-протестанты. Пекари, животноводы, отнюдь не витязи в тигровой шкуре. Очень некавказского темперамента, и когда христианство по-серьезному осело на Кавказе, убыхи, сопротивления не оказав, частью дернули в Турцию, где их казнили, не отходя от границы, прочие ушли в горы. Но в горах то ли от недостачи кислорода, то ли от страха высоты на них напал неодолимый мор; оставалось село, хутор, один двор. Целый народ спокойно помещался в «рафик», и под вечер они отправились в долину на футбол, приехал турецкий клуб из Трабзона, убыхи забросали его гнилой алычой и, приподнятые, возвращались к очагу по серпантину. Шофер, сам, кстати, не убых, а перс, напугал что-то с габаритами, и сверзлись они в ущелье. Только один-единственный убых выжил, не ездивший на футбол, будучи в розыске и прячась от органов под полом. Состав его преступления был таков: как известно, в городе Зугдиди, недалеко от самой высокой в Грузии и в мире Ингурской ГЭС, в краевом его музее на втором этаже, слева от входа, выставлена подлинная посмертная маска императора Наполеона Буонапарте. Всего таких масок три: первая в Нью-Йорке, вторая, очевидно, в Париже, а третья как раз в Зугдиди. Ночью наш последний убых прокрался через вентиляцию на второй этаж к бесценному экспонату и попытался его взять. «Наполеона профил как бритва стала, апассыны», — ладонью нам показывает. От страха он замешкался, сигнализация подняла охрану, и чудом убых унес ноги. А помыслы его были бескорыстны, просто кто-то, допустим дэвушка, ему шепнула, что он вылитый Наполеон, в чем убых

желал удостовериться, и самым стопроцентным способом, то есть налогом на себя маску эталона.

Лишившись соплеменников, без семьи, убых сперва депрессовал, но потянувшись столичными этнографы, по преимуществу женщины, зеваки, сочувствующие с провиантом, снизу пришла корова, самостоятельно принесла себя в жертву. День за день — убых стабилизировался. Больше того, к нему протянули фуникулер, расчистили стоянку под «Икарусы», возвели монументальный сортир голубого туфа. Нон-стоп туристы, делегации ООН, посланцы Красного Креста и Полумесяца. Так-то сложился заповедник «У последнего убыха», сам он прежде жил в каменном, но переселился в шалаши, вместо джинс натянул холщовые хламиды, а в киоске за валюту торговали значками, постерами и вымпелами с ним. Он начал чудить на правах последнего: то что-нибудь покажет француженкам, то покоробит звуком. Одноактный его выход из лачуги был по карману только миллионерам. Стало очевидно, что убых нарочно мешкает с продолжением рода — генеалогический монополист. Вел ли он половую жизнь? «Половой жизни меня сам вел, апассыны». Много было попыток присоседиться к его всемирной, воистину наполеоновской славе. Но хитрый уникам очень вовремя вспомнил главный убыхский закон: настоящим убыхом считается только зачатый в законном браке с убыхом. Идея к а с т р а ц и и отпала, но грянула грузино-абхазская война. Убых, дислоцированный ни там ни сям, на приграничной речке Псырцхы, оказался меж двух огней и перед необходимостью автономии, но он настолько разленился, что не принял руководства даже одним собой. Конституция заглохла на первой фразе: «Настоящим убыхом может стать только зачатый в законном браке с последним убыхом». Чем бы еще осчастливить свой народ, он так и не придумал. Угроза геноцида замаячила, и убых убыл поработать на выезде. «Судбу себе ишу, апассыны, клянусь честью, честное слово». Я заглянул убыху в профиль: воистину бритва, воистину Буонапарт. И даже сестры лесные внутренне шелохнулись, и стриптизерша расправленными ноздрями сияла, как убыхская судьба. Какое натяжение! Какие полюса всего в одном вагоне! Но расплачиваться за рай ближних снова мне. Пока убыха делили, пришлось из коридора следить процесс таежного рассвета. На десять тыщ верст единственный сапиенс, который может себе это позволить...

...Дольче вита, перке мы не воспользовались экономизмом жизни? Зачем тебе Бергамо, разве плохо у цоколя церкви Всех Скорбящих?! Вечер, дары Елисея, знакомая речь, двое выходят на Пушки толпе бесперечь... Ты знаешь, ведь мы встречались с твоим Пиноккио, «два сапога пара», он сказал: ему виднее. Его инициатива, так называемая цивилизованность, чтоб без обид, из рук в руки: филигранная техника — не оставлять за собой рваных следов, только мирный фимиа автошлейфа. Я понимаю, почему они предпочитают кремацию: даже там чтоб никому не застить, не лежать на проходе. По-моему, хотел выведать степень твоего безумства. Под дармовую текилу я тебе все попомнил: Кастанеду, четырех венгров, которых ты учила чардашу на кромке фонтана. Естественно, большой поджог Измайловского парка, твои походы по карнизам, тот бардак в зоопарке, когда ты кинула голодным тиграм полуфабрикаты и наблюдала с хохотом сечу. Но чем дичее были факты, тем окрыленнее твой Труфальдино. Тактически я проиграл, надо бы — правду: что ты типичная лимитчица, дочь таксиста в отставке, и знаешь наизусть каталоги, и разоришь его, и про брата рэкетира.

— Игор, ты особенный человек... ты высоко, где солле мио, там красиво, бат оксиген... кислород... толко одному... Мы будем рады встречат тебя в Бергамо.

— Да что делать в Бергамо-то вашем? Поди, и волчьи ягоды без яда?

Виду, понятия нет, что такое волчьи ягоды, но прилежно хохотнул, миротворец. Заказать к текиле молока, вернее, кумысу, выпить залпом и срочно блевануть ему на клубный пиджак. Добрый клубный пиджак с зо-

лотыми пуговками от, наверное, Версаче? Такой у меня был план, когда к столу подсели двое наших, судя по пингвиньей пластике, из нуворишей. Локоток на отлете, голова вращается только с остальным. Вообрази, твой Карлоне забил стрелку, один час тебя выкупал, потом аферы, коза ностры, он мне «скузи» сказал, опрятным шепотом, видимо, прощаясь. Да только хрена я уйду!

Ну ты, говорю, Фигаро, севильский ты цирюльник, у нас такие вещи не за рюмкой решаются, а в кровопролитных боях до полного измождения на необъятных просторах родины, на заливных ее лугах под бешеный вой курантов! И пойдем с тобой разберемся, и хватит прятаться по пиджакам, там, за седыми шевелюрами, давай, Казанова, будем биться! Футбол на Красной площади! У тебя ГУМ — ворота, у меня — мавзолей! В «американку», ты играл в «американку»? Крестовина — триста очков, девятка — тысяча. С поля — по стольничку, если очень попросишь, можно по пятьдесят, сражаемся на пендели, страшные это будут пендели, насмерть!

Ты знаешь, что спасло Макиавелли твоего? Мяча не оказалось рядом, я всю кухню наизнанку вывернул, пытался накачать желчный пузырь от поросенка, тщетно. С тех пор надежный аргентинский мяч «Танго» с чемпионата мира-78 — всегда со мной, и мой танго со мною... Так и передай своей Калиостре — я жду сатисфакции, мои условия те же, впрочем, готов к смягчениям, могу уступить мавзолей...

...Убых уже склонялся к стриптизерше, когда вмешался тормоз, по общей связи объявлена вынужденная стоянка. Любознательные припали к окнам, а смелые конвоиры ивано-франковского сала, сбродивши к переду, доложили обстановку. Зараз на полотне — кто сидяче, кто как — группировка протестантов. Литургические силуэты, подчеркнуто болотные сапоги, нормальные люди в таких и на войну бы постеснялись. Младенцы в плащ-палатках, в каждой складке эскадра прирученных кровососов. Не пускают. Застят. Проще перепрыгнуть, чем обойти. Роман Николы Чернышевского «Що робити?», уверяют малороссы.

Скузи, родная, слегка заплутав в лесных сестрах, на конфликт я поспел, когда их главный, в жеваной дзюдоистской двойке, в наушниках, не подключенных никуда, и скрытый комариной сеткой, уже выступал. Голос его с правотой доставал на тяжелых децибеллах, от которых не отлежишься в саркофаге ни мумией, ни четвертым реактором. Сгустившийся он был — таежная секреция, если принять дорогу за железу, а за что еще? Забываем гвоздевые голоса моей родины, те, без единого стыка, из одного куска:

— ...а то, что вездеход Шаплевича потоп в трех кмэ отсюда, и вы, господа, никуда не двинетесь, пока не помянут должным способом. Шаплевича вездеход, — говорил голос обладавшему красными говностопами са-тирику Новому.

— Вездеход мы помянем, как не помянуть, а самого-то Шаплевича?

— Пока не стоит. Это я Шаплевич. Была нивелировка, столбили поселок, восемнадцать механизмов плюс котлопункт в прицепе, Дарья Селезнева, тигрица восточного БАМа, а глаза соловьиные, ух, и еще одна с ней, впоследствии моя супруга. Зимник решено прямо на лед ставить, нам, пикетчикам, такое не впервой, но льда-то еще фактически нет, июль месяц, кругом купавы горят, жарки. Ну пикеты повбивали, все тридцать восемь штук на плюс 7690. Туфту смайнали, ждем обоза Сереги Кудепова, там тумбочки, кровати, глобусы, вся наша ПГС. А тем временем к Дарье Селезневой, тигрице, на котлопункт повадился Вебер, белокурый весь, как бестия, якобы за добавкой клевера, а Дарья клевер исключительно отваривала, — зашел в котлопункт, а сам не вышел. Я глаз не сомкнул, из кедрача наблюдая, но лопнуло терпение в финале. Завожу свой верный вездеход «ГТТ», я на нем через термокарстовые воронки летал, и так далее! Ну шерхель тебе в анус, щас попляшешь, Вебер! И весь котлопункт, полностью с содержимым, сгребаю под горячую руку и в Амгунь — она тут зверская река. Вебер каким-то способом с Дарьей, вижу, выныривает, но

котлопункт, осиное их гнездо, идет ко дну. Утром дикий шум будит тайгу. Четыре «МИ» к нам сажаются, оттуда в штатском, прямо ко мне: «Все, Шаплевич, вышка тебе настала. Ты хоть знаешь, зачем Байкало-Амурская, шишки ей в прорубь, магистраль?» И Шаплевич охватил нас панорамным взором.

— Зачем, Шаплевич? — внезапно заинтриговался последний убых. Но Шаплевич по-прежнему обращался только к сатирику Новому, глядя в красные говностопы:

— Военная тайна, но тебе я скажу. На востоке закипели чайники, лица желтые над городом кружатся... Наши ядерные точки сразу под прицел попали. А что, если болтаться, не стоять на месте, а на платформах ППЗЛ-650 перемещать пусковые устройства с ядерной ракетой по рельсам, туда-сюда. Магистраль, господа, не что иное, как стартовая площадка.

— Ломовый зиппер на чреслах мировой войны, — расплатился Новый метафорой за военную тайну.

Снутри я вознегодовал, но вида не подал. Плагиат же! Семьдесят четвертый год! Мюнхен, чемпионат мира. Голландцы подрывают футбольные устои тотальным футболом. Это они перемещаются нон-стоп, с мячом и без. Тренера Михэля находка. Исполняют Иоганн Круифф и Неескенс. Мое первое футбольное счастье. Его украли, сделали платформой ППЗЛ-650, отягчили бомбой, чтобы всего лишь воевать с чайниками.

— А эти бомбы, — продолжал Шаплевич, — для полной конспирации доставляли с пикетами, в котлопунктах, под видом тушенки. Таким макаром, смахнув котлопункт, я отправил на дно атомную бомбу зарядом на сто Хиросим. Рвани она ни с того ни с сего, и фактически Сибири не станет. Сутки мне дали срока, чтобы как угодно, но бомбу вернуть на поверхность земли. Задраился я в «ГТТ» и погрузился не мешкая. Лишь через несколько часов обнаружил то, о чем просили. Задача была — каким-нибудь способом подцепить вещицу и на свет божий выволочь, и надо, аккуратно в момент подъемных работ, ударили заморозки, омерзение. Амгунь сковало льдом до самого дна, ну и меня в том числе с сотней Хиросим. Еды, в принципе, хватало бы до весны. Я специально крупного лося задрал с собой, он в багажнике доходил до кондиции. Но как себя поведет атом при низких градусах? В школе что-то говорили, да все про хлор, бензол, пропилен... Решаю не ждать милостынь от погоды. А автоген на что?! Раскалил от бортового аккумулятора и мало-помалу, как скульптор Пракситель какой, выжигаю кубометры льда. И ползу вверх с бомбой под мышкой. Вылезая, мать честная, уже никакого зимника, никаких товарищей в штатском на вертолетах, а громадное поселение Ургал. Библиотека, чайная, все для людей. И навстречу мне эта зараза Вебер чешет, Дарью схватил за талию. «Ты чего, Шаплевич, мы тебя давно похоронили!» «А меня хоронить рано», — говорю и показываю им бомбу, я ее на обочине пристроил, пока то да се. Как ветром их сдуло с моего жизненного пути! А я стою с бомбой посреди планеты, слезы по мне катятся, музыку хочется слушать, да все уши, пока со дна выбирался, померзли. Единственный верный друг «ГТТ»-вездеход — в пучине, и сейчас у меня в руках вы видите две проволочки — белая одна, другая красная. Если я их соединяю, то происходит контакт, и та бомба, о которой я говорю, тут же взрывается. Честно говоря, настроение у меня поганое, пора кончать.

Глянь, дарлинг, у сатирика-то Нового говностопы синеют! Лесные сестры поуменьшились. Третьяк обронил золотую шайбу. Все посмотрели на последнего убыха. Его особенно жалко, все-таки целый народ.

Слышно стало, как икают мураши.

И вдруг среди немой сцены оживает четный второй вагон, тот, что на месте шестого. Опадают затворы, на оба фланга веером прыгают автоматчики, и в обрамлении их и в той же тройке к нам поспешает мон генераль, мой утренний спаситель, вербовщик, хозяин Независимой Дороги,

самоуверен, как генерал Милорадович, прискакавший на Сенатскую площадь прямо с кулебяки от балерины Катеньки Телешевой.

— Опять, Шаплевич, мне всю картину портишь! — орет начальник магистрала. — Опять с проводками к мирным людям пристаешь! Я тебе сколько раз объяснял физику: все ядерные реакции при минусовой температуре отмирают, твоя фугаска давно гангреной накрылась.

Мы расступились, пропуская спасителя, он шел по шпалам, как по воде.

— Сколько раз говорил: продай свою игрушку Ким Чен Иру, не смейши массы!

— А, это ты, Вебер, — вяло откликнулся Шаплевич и как-то вовсе без азарта, как не впервой, совместил свои проводочки.

...Чудовищный взрыв, равный ста Хиросимам, потряс материк. Полетели корнями наружу кедры, запчасти уссурийских тигров, и речка Амгунь, зверская речка Амгунь вместо Млечного Пути повисла над нами, как бесцветная радуга...

### Тында — Ле-Везине, групповые турниры

Расширяю горизонты. Довольно на выселках сложа руки, пора пробиться в очередной вагон! Это, мать, прорыв не уже брусилковского. Основная преграда — бурый, с медной окантовкой, ящик о весь тамбур. Не знаю, как функционально, конфигуративно он гроб, хотя по бирке: «Футляр человеческий. Музей пяти революций». Постепенно нашелся человек при футляре: по-черному лохматый, в арестантском комбезе, с троцким видом, но до встречи с ломиком Меркадера. При всех своих ранних тридцати историк уже прославился тем, что посчитал бульжники Красной площади. Не помню точно, сколько, но общественность вошла в огромный резонанс, одни наотрез заявили, что бульжников кот наплакал, другие, наоборот, требовали и те сократить. Буквально порохом пахло. Стычкой. И наш историк выступил с обращением к народу, что не учел вон ту опушку за Лобным местом, а ежели учесть, совсем другая выходит сумма. Все вздохнули с облегчением: другая сумма устроила непримиримых.

То был момент припадка к генкорням, святости переценялись, всякая пьянка, как помнишь, венчалась: «Поручик Голицын, раздайте патроны, корнет Оболенский, траратарара!» Зорька монархизма из анального источника. И черногривый историк бешено штопал пуповину, времен связующую нить. От дома-музея принял полномочия и справку с гербом на поиск белых генералов. Настоящих генералов, перед кем не зазорно пасть на коленки и во всем раскаяться. В Париж, конечно, в Париж! На русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, причем деньгами местными не обзаведясь, если на электричке историк зайцем, по-нашенски, просочил, то до погосту пехом — а это два часа — под палящим парижским солнцем. Как представил обратный путь, ноги подкосились, на ночь естался среди своих. Возле Бунина посидел, у Пастернака вздремнул, поклонился Высоцкому Владимиру Семеновичу, утро встретил в комплексе дроздовцев, которые «шли дроздовцы быстрым шагом», окончательно расстроенный, в слезах. Рука отечества легла на мрамор изгнания, мрамор нехотя теплел...

Генералов он вынюхивал неистово: весь антик, все чрева Парижа сквозь себя пропустил историк, попутно за бесценюк он продал в военной лавке на пляс Республи свою наследственную буденовку. Нафталиновая, с отпоротой звездой, как страшный грех, она волилась в семейных чемоданах. «Сто франков», — сказал загорелый волосатый и не глядя. «Да ты что! — взъярился историк. — Восемнадцатый же год! Колчак под Москвой! Ленин при смерти! Юденич штурмует Питер! Разруха и голод! Смотри, пятно — натуральная комиссарская кровь!» Малый посмотрел на пятно: «Восемьдесят франков». «Жамэ», — отрезал историк, смахнул обшлагом комиссарскую кровь и продал за сто. На прибыль обкусал одну устрицу и

в книжном магазине у Струве закупил путеводитель по белогвардейским адресам. Адреса остывшие, телефон ни разу не среагировал на русский. До историка явно кто-то поработал, процесс умирания, тлен поработал. Сквозь мартиролог лишь за пустынной фитой, на «Я», обнаружился живой. Генерал инфантерии его превосходительство Янушевский Владлен Нестерович буквально на первом же зуммере поднял трубку: «Але?» Волна неприкрытой нежности, все доселе спрессованные легкие дыхания и антоновские яблоки полезли из историка:

— Ваше превосходительство... на самое короткое время... премного обяжете... Из России с любовью... ждут и помнят...

— Давай, брат, без аннексий и контрибуций! — энергично и молодо обрубил сопли Владлен Нестерович.

— Зная добрейшее сердце вашего превосходительства, обязательную готовность посвящать молодежь на путь истинный...

— Так! Так! Так! — с хохотом и лучезарностью поторапливал девяностовосьмилетний белогвардеец.

— Уделите вечерок духовному возрождению России... Обновляясь, Родина, жажда жить не по лжи, протягивает вам руки, полные надежды, мольбы и сердечной мягкости.

— Изволь, голуба! Готов! Завтра же! Во столько-то вечера по местному времени! Безотлагательно жду! — сразу с нарочитым восторгом согласился генерал.

У историка хлопоты перед торжеством: где брюки гладить да какие фиалки поднести генералу, красные или белые? Плюс историк выкупил обратно свою буденовку — «дай, думаю, предстану генералу в буденовке, молодость напому, Дон, угрюмый эскадрон, сотню юных бойцов»

Пригород Ле-Везинс. Бульвар Соединенных Штатов. И ты, Манон, ты около, на том бульваре, где геометрически безупречные сады. Две машины у генеральского особняка: «пежо» дешевая и навороченная «феррари» Сквозь тяжелые штофные шторы печальная моцартовская флейта слышна. Над калиткой, приняв за чудачество, следопыт прочел: «Regeat mundus, fiat justitia» — справедливость любой ценой, стало быть. Мутные прозрения коснулись мозжечка. На первом этаже никого. «Ваше превосходительство!» — как можно трепетнее воззвал историк. В ответ со второго грянул военный марш, наш кинулся на звук, напяливая буденовку Но и на втором, затемненном, ни души, лишь патефон, хоругви, самовары, аукционное старье. Внезапно сбоку распалась портьера, и в проеме, ослепительно сияя, при полном боевом параде и в нимбе тургеневской седины — Владлен Нестерович

— Наконец-то! — орет он с радостным ожесточением, и всякие георгиевские кресты стучат по груди его, как трибуналы — Наконец-то час, ожидавшийся мною семьдесят с лишком лет, настал! — И ловко генерал наводит на историка станковый пулемет первой мировой войны и без дополнительных разъяснений стреляет. Подмявшись, обagrив буденовку натуральной кровью историк валится навзничь. Втянув пороховой дым, Владлен Нестерович звонит в полицию и бодрым голосом рапортует: «Оттанцевались! Еще одним красным меньше...» Сильно раненный, еле живой, затаивается новый русский до прибытия ажанов. Но видит желтое настенное фото: генерал Янушевский в обнимку с генералом Слащевым степь, Таврида, стоят генералы на отрубленных комиссарских, по идее, головах.

Впредь зарекая историк лезть в достигаемые времена, увлекают его декабристы. След Вильгельма Кюхельбекера вел, но след оборвался в 1837-м — официальная смерть Кюхли. И тут тассовочка: на западном участке БАМа, под Янчуканом, на балластировке полотна открыта серебряная вилка с вензелями «В. К. 1873», сомнению не подлежит, вилка декабриста Кюхельбекера Вильгельма образца 1873 года — как минимум столько протянул, сбжав из поселка Баргузин из-под стражи. А где жил? В лесных ли землянках? В избах ли староверов? Почему в Петер-



бург не нагрязнул, не свел счеты с убийцами своего однокашника Пушкина, не убил их? Музей пяти революций напрокат дает бронированный футляр под останки Кюхельбекера. На всех полустанках «декабрист» подбирает сомнительные кости, ящик набит по ватерлинию, правда, самую красивую косточку, гордость коллекции, умыкнули лесные сестры, опознав в ней модного у манекенщиц мамонта.

— Главное — поспеть до аукциона в Нью-Йорке, — делится историк, по-турецки сидя на гробу, — скелет Кюхельбекера объявлен во всех афишах, неустойка чудовищна. Ходовую и двигательную часть мы худо-бедно сконструируем, не проблема. Меня волнует череп. На Федькином Ключе я раскопал один. Но смотри: у него три глаза и челюсть открывается сбоку.

— Не думаю, что это от Кюхельбекера, — говорю я, — но готов, старик, тебе помочь.

— Как, как?! — заерзал белками «декабрист».

— Если ничего путного не попадетсЯ, могу побыть скелетом Кюхельбекера, по крайней мере на время аукциона в Нью-Йорке. В данном случае престиж державы важнее личного комфорта. Меня, конечно, закупит галерея Сан-Франциско, а мне как раз туда и надо, в любом виде. Одну особу видеть. Моя бестелесность придаст встрече камертон, ничто не отягчит душевной переключки.

— Старина, буду тебя иметь в виду, — коротко, чтоб не попортить скелет, приобнял меня «декабрист» пропуская в соседний вагон.

### Дюгабуль — Ла-Валетта, групповые турниры

Это последнее письмо. Конца круизу не видать, но я решил на всякий случай проститься. Дорогая, не удивляйся, что от этих слов веет дизелем. Я заправил в ручку солярку, исключив чернильную сентиментальность, да и сгорят скорее. Пора оформить наши отношения, вот зачем между нами часовые пояса и буферные зоны. Конечно, лучше б с Луны, но стодится и БАМ. Я вникаю здесь в причинно-следственные связи — и знаешь, полная нестыковка, какая еще лав стори, мы с тобой давно подставные лица, связные праха! По инерции копошимся, пудря трупные пятна, согласны уже и на зомби, но это анатомический театр. Дорогая, прошу отставки! Слишком долго я жил под знаком чугуна на твердых окраинах индустрии, в созидательном наклонении. Лучшие randevu назначались под бронзовую длань партизана на Белорусской-кольцевой, когда ты не приходила, гвоздики втыкались в его разверстое ППШ. Неявка амуров как демилитаризация... Видишь, даже образная система моя не здорова, не солнечна. Это о нас: валуны, карьеры, сердолик, накладные селиконовые бюсты чернозема — доспехи почвы. А не ты ли на солнечном пляже в июле говорила: дай телефончик, буду из Челябинска — звякну. Я пошарил побережье-ем, даже и морем, — ни папируса, ни фантика, и нацарапал на гальке площадью с коровий отход. Честно говоря, надеялся — не сдюжишь, выронишь, не пустят в самолет как террористку. А ты тем же летом спикировала с Урала, прямо по булыжнику звякнула — ясно дело, пришлось кадриться в награду за труды. А что хорошего заложишь на камнях? В другом ракурсе чрезвычайные ноги твои гляделись, уж извини, средством передвижения, не роскошью, по-сарматски заострились отроги ключиц, арки массивных твоих бровей смотрели на меня, как недораскопанные скифские курганы на археолога с киркой. Было в нашем романе что-то от прохождения пластов, вон их сколько за нами — шлаков, безделушек, осколков, краеведческий музей по нас плачет, мы бы туда вписались меж чучел, не приспособленные даже для кражи. Я тебе открою теперь главное, и не начерно, шепотом, а гласно; пока солярка в ручке не иссякла: не люблю я землю. Природу, глину, рудники, родники, весь набор — от озер до небо-скреба. С тех пор как выяснилось, что она круглая, вертится и сплюснута, я потерял к ней интерес. Будь я Гагарин, я бы не вернулся, летал бы, по крайней мере. Не знал бы, как, разучившись делать тепло и свет телами,

они выдаивают энергию из стали и кремня, а на таком топливе — что? Только жлобство и танки.

Чтобы любить землю, особенно эту, надо вконец окаменеть, надо стать Каменным гостем, душисть Дон-Гуанов; пока не снесут — принимать форму вождя, маршала и кобылы его, сверху по уши обтекая голубиным пометом, надо стать истуканом с острова Пасхи, Крупской Сретенских бульваров, гранитным подолом обороняясь от хахалей и щекотки сквозняков. Надо застолбиться в географии, время здесь отключено, на наших чердаках не чахоточные Прусты, а Циолковский в прожженных реактивами портах мастерит ракету, чтобы догнать утраченное место, броуновский хаос здешних тел имеет цель присутствовать, а не успеть.

Если он не любит землю, родину, тебя — кого же, что же, спрашиваешь ты в винительном падеже. А я люблю человечество. Особенно люблю футбол, самую человеческую игру. Футбол — насквозь условность, договор, не подкрепленный ничем, чем и упраздняет тяготение, а земля формой мячика нарочно приспособлена для нужд двадцати двух более или менее ловких. Пускай Ньютону яблочки стучат про силу тяжести, нам они стучали о другом. О полном улете, о танцах на воде, о голодной Еве. Говоришь, сугубо мужское это дело? Но вас же ради, и нет пушей отрады истинному футболисту, чем ваше малое присутствие у кромки. А вы футбол не жалуете. Вам подавай другие зрелища, войну и стройку подавай, тогда вы — Андромахи, и траурное к лицу, и уступаете, смотря кому, без боя.

А знаешь, почему нам не быть никогда чемпионами мира и не петь «ви ар зе чемпионс, май френд»? А не умеем ограничиться поляной и уложиться в девяносто минут. Ценят не подкаты и финты, а как Терещенко с поломанной ключицей держался до финального свистка в пятьдесят шестом в Мельбурне. Как Хомич-вратарь в сорок пятом в Лондоне зашиб полисмена. Играли наши с «Арсеналом», день был морозящ, и Хомич, как обычно, смачивал варежки водкой, чтоб мяч не прилипал, а бутылку к штанге припер. И видит — чересчур что-то водка тает. Оказывается, стоит Хомичу уйти с головой в игру, как тут как тут рыйжий полисмен, лезет большим заглотом к вратарской смазке. И не выдержал Хомич: вонзил бутылку в Скотланд-Ярд, как в насильственном кормлении, и штангой вбил! Боярка — русский футбол, русский футбол — БАМ, он был всегда и никогда не кончится, стальной позвоночник вправлен в мякиш нашего романа. Следующая станция — Леприндо.

### Леприндо — Сан-Франциско, четвертьфинал

Большой день! Добрался до следующего вагона! Навстречу Вадик Понятовский (Пауэрс-младший), великий клипмейкер всея Руси, урожденный от того Понятовского (Пауэрса), который чуть не украл секретный план к американцам на шпионском самолете, но которого после обменяли на полковника Абеля. Видел я тот самолет в музее ГПУ — стесненность, как в инкубационном периоде; как в пазике у кенгуру, помещается на выбор: либо секретный план, либо парашют. Мудрый Понятовский (Пауэрс-старший), конечно, выбрал парашют, а секреты сжег, знал, все равно, мол, зенитки собьют, зато и спасся, и, сидючи в тюрьме, успел-таки Вадьку оформить — до сих пор неведомо, кто мать, весь женский персонал Лефортова прошупали — не колотуся! Утром вышел маляр на тюремный дворик размечать маршрут прогулок, глядь — подкидыш на камнях ревет и стонет, Вадим Понятовский (Пауэрс-младший). Напоследок видались на «Динамо», 1/8 Кубка УЕФА, бездарно наши слили датчанам. Я футбол смотрел, а Вадик клиповал свою Маренду. Смысл в том, что Маренда в русалочьей униформе с огромным резиновым хвостом зазывно извивается на трибуне среди мужей, а мужи ноль внимания, в футбол упертые. Где-то на двадцатом дубле мужики на самом деле восстали, скинули Вадькину русалку с трибуны, чудом уцелела... Вижу, опять Маренда в полном здравии, значит, и Вадька не на роздыхе, снимает! Старина, — приветствует, — но-

вое направление — геопорно. Зоофилия в сравнении — лепет. Сама природа в роли сексуального партнера, истекает березовым соком... шуришит осокой, как волосами промежность... Крупным планом пестик и резко, встык — тычинка, тычинку держим в кадре, пошла, пошла Марендочка, пошла босая, ступня в росинках, это слезы, слюни, пот! На четыре точки встаешь, Маренда, томю, покусай люттики или что там, васильки, дальняя дорога. Перебивка на след от крапивы, садомазо, бичевали, мучили! За-мешкалась у сухостоя, остолбенела — и одним броском марш на ствол, одним броском, хищно, еще хищнее! Сухостой оживает! Зеленеет сухостой! Сразу! Сюда склейка, монтаж: я, старина, всю весну возле дерева с камерой проторчал, отснял полный цикл озеленения, ел с руки ассистентов, спал стоя, старина, от такого порно Запад содрогнется, главное, чтоб Маренда не подвела, а то на прошлой съемке левкоями поперхнулась... Слушай, да ты вроде лично того лицедея, — Вадька ткнул в сторону забинтованного субъекта, — принудь-ка по-панибратски его со мной поработать, он бы мужскую тему сделал как никто! На шукшинском уровне! Смотри: встречаются в котловане, обещали устроить котлован под Тындой, зачем я вообще на этот круиз подписался — там свалка техники. Изношенное железо, траченные ресурсы, звенело, как песня комсомольская, а нонче трещины сопромата, трещины на сердце моем. Усталость металла! Новое слово в жанре импотенции! Бульдозер, экскаватор, кабелеукладчик — крупным планом! Внезапно из ковша пошла Марендочка, пошла, и пескоструйный аппарат — десять лет на свалке — дрогнул, продувка, продувка в кадре! И наездом, в рапиде, на турбину: фрезы в зубуринах, как в мурашках. Ниппель! Ротор! Статор! Гайка вала! Гайка вала, я сказал! Охряная, стонет с перетуги на болте! Марендочка едва пальчиком касается, нежно так, подушечкой, резьба заерзала, оживает, оживает металлолом — и нужен мне для пущей сублимации какой-нибудь урод, чтобы в кабине возник как призрак стройки века, как тень отца, — уломай мне этого! Скажи, сама Маренда бинтовать будет, она же медсестра, с морфия снял ее, из Первой градской!

Узнаешь, май претти вумэн, свадьбы стали и сплавов, бульдозера падшее тело, и возбуждает только котлован?!

Моя версия прощального акта: акт вынесен за кольцевую, в леса, к шлюзам, где неуловимый маньяк все лето насилует малолетних. Я предпочел бы на Кутузовском — друг уступил ключи. Вид на Триумфальную арку Альбом с «Осадами» Жака Калло. Сквозняк на цыпочках. Скупыми маневрами торса легко добиться взятия Парижа. А после долго и без нужды жечь Москву Эти войны ведутся в обратном порядке... Являемся в мир распаленные, на пике оргазма, тем паче острого, что дармового, глядь — а выше нет ничего. Один путь: под гору, в труху, в навоз... Сдаваясь за пядью пядь. В итоге — в рваных носках под капельницей, завода нет даже на мастурбацию...

Пара разнополых ТЧК в тесном подмосковном лесу ТЧК разыскивает герметичную полянку ЗПТ распрощаться наотмашь. У тебя завтра «Боинг» на Сан-Франциско. Поляны нет. Пенсионеры в шезлонгах с радиоприемниками, как со «шмайзерами», на груди. Материнство, мелко трясущее агрегаты, набитые кем-то.

Давление падает. Ты натираешь виски вьетнамским бальзамом. Запах наркоза разоряет и так еле слышную похоть. Наконец не занятый обществом акр. Раскидываю плед — на самом деле старая штора. Брезгливо ты отвергаешь горизонталь, и скоро нас достает прямое солнце. Плед обращен обратно в штору. Я имитирую каскады страсти, ты говоришь о Рерихе. Если долго-долго, скажем, неделю, не есть мяса, а лишь щавель, не смотреть телевизор и не встречаться со мной, становится лучше.

— Чем лучше?

— Преодоление... Тебе не понять, ты идешь на поводу, ты дезертир... Осенью мы поедем на Тибет, там у Джозефа открывается ресторан.

— «У Рерихов»? «Джим Бим» в поллитровой карме! Отбивная «Шамбала»!

— Он в курсе, что случится завтра. Даже с прогнозом погоды не ошибся ни разу.

— Гидрометцентр США предупреждает: прогулки по лесу ведут в абортарию...

В поле зрения жесть из-под шпрот. Нет ничего гнуснее шпрот, сального деликатеса детства. Уверен, что это не рыба, а продукт дефлорации фауны. Ты говоришь, если б вовремя я занялся агни-йогой и голодал, голодал, голодал, все было б по-другому.

Слежу, как бригада черных муравьев тащит через свой мир горелую спичку для большого дела. Муравьев жаль, они не играют в футбол и не умеют кончать с собой.

Компактным строем дружина пионеров проходит по нам. Урок натурализма. Две лолиты в венчиках отстают и пускаются вспять, стираясь на нет.

Пускай вертикально, как взлет «Хариера», но должны мы расстаться по-человечески?! При полном твоём нейтралитете веду обнажающие работы. В момент разведения на поляну с драматизмом вламывается милицкий «газик». На сплющенной его морде написано: «Накрыли!» Раскинув дверцы, в кобурах наружу, менты начинают курить, пуская в атмосферу конические струи. Тяжелый голос Пугачевой заваливает нам прощальный акт. Сложив плед-штору, стреляю у ментов закурить.

— Ты бросил! — напоминаешь ты, гордившаяся моим поступком.

Рот заполняется вкусом, как будто вылизал цинковый гроб. Но, уходя, стреляю еще одну, чтоб закрепить. Приближаясь к шоссе, когда ровный гул распадается на отдельные моторы, натываемся на детский сандалет. Чуть дальше на ветке венчик ромашек, и что-то в низком ельнике белеет. Вопреки свойству не вмешиваться, как лось, кидаюсь на «белеет парус одинокий». Битва с маньяком, насилующим малолетних, мне кажется логичным финалом нашей любви. Пригнувшийся и грозный, разгребая хвою.

На кочке, стоя на коленях, обнявшись, лицом к лицу, две от силы пятиклассницы совершают вполне натуральный засос. Сестры милосердия, спасающие друг друга, когда в лесу полно смертельно раненных! При виде меня они визжат, они вскакивают, они разлетаются, как трассирующие пули. Я по инерции ору какой-то крик на первобытном, потом поднимаю шишку, с нажимом царапаю лицо и возвращаюсь к тебе: «Лес обезврежен Вали к своим синоптикам!»

...Вадке Понятовскому я с клипом обязан помочь, ведь клип о нас, да? Забитованный свое сыграет, если надо. Ты помнишь того актера без Станиславского? Он начал с Маленького принца, потом Корчагин, Овод и полномасштабный Прометей для сериала. На съемках он и погорел на две трети. Сериал совместный делали, с гренландцами. А там насчет огня в Гренландии не очень развернешься, гаснет на сквозняках-то, среди торо-сов, и, во-первых, жесткий запрет на разведение костров. Потому что Арктика может подтянуть, катастрофы, сели, помрем как динозавры, в лучшем случае. Но, с другой стороны, и Прометей без огня не убедителен. Все-таки хотя бы в финале, на пару минуток, должен он появиться с факелом либо со спичкой. Правительство гренландское засело, решало, как быть. В итоге такая схема: значит, наш актер в образе Прометея, с горячей паклей, помещен в огромную стеклянную колбу, где он символически стоит на фоне ледников и ничуть не угрожает экологии. На ленте-то все равно никто стекло не разглядит. Эту банку с огромными затратами выдули где-то у нас на секретном заводе вместо космической ракеты. Настал день съемок, актер сконцентрировался, надо ж в один дубль уложиться. Босиком, в античной шкуре из золотого руна, лезет он в колбу, поджигает факел и замечательно, мифологически круговращает над головой. Эпизод снят, все на взводе, разлиты победные стопки «Абсолюта», как вдруг на актере, который замесился в емкости, самовозгорается золотое руно.

Надо сказать, золотое руно сделали тоже на конверсионном производстве, из оборонного стекловолокна. Полыхает грандиозно! Бросаются доставать актера из банки и обнаруживают, что на самую крышку присел огромный местный буревестник породы Максимильяна Горького. Надо бы шугануть, сдвинуть — ведь человек горит! — а гренландцы ни в какую. Оказывается, для них буревестник — священная птица, и вот так, походя, между прочим, гонять ее не положено. Если сел буревестник, значит, нужно, значит, есть на то высшие резоны. Опять же собирается их правительство: что делать с птицей? Охрана среды на первом плане. А наш-то горит в стекловолокне, задыхается копотью. А буревестник сидит, пригрелся, яйца вот-вот начнет класть. В панике съемочная группа, Си-Эн-Эн транслирует на весь мир, мир рыдает, но помочь не в силах. В общем, решение не найдено. И тут все само собой прекращается, по законам физики. Кислород-то в банку не поступает, будучи перекрыт пернатым, физической основы для огня нет, и Прометей, обугленный на две трети, тухнет сам по себе. К вечеру птица, видимо, оголодав, куда-то снимается с клювом нараспашку. Актера вынимают для новых ролей.

Сейчас он в «Дубровском нашего времени». По сценарию мстит скупердяям с Уолл-стрита, которые ему отказали в кредитах на возрождение. Он пробирается в подвалы коммерческого центра, перекрывает канализацию и запирает им все и всяческие двери. Крупным планом лица банкиров в густом слое нечистот. Только добрая секретарша, которую ориентировочно исполняет принцесса Диана, чудом прячется в дамском отсеке. Наш Дубровский видит ее, но и природная деликатность не позволяет войти к дамам.

— Собственно, фильм как раз об этом. Об относительности принципов и идеалов. Короче, о текучке, о толкучке... — внезапно сникает актер. Его лицо, как у человека-невидимки, обтянутое бинтами, подплывает ко мне. — Меня ангажировал сам главный... Я бросил все, когда он рассказал свою биографию. Такое на дороге не валяется, это, товарищ, пять Оскаров. Это Канни. Голгофа. Покажу тебе, что это такое, сейчас, — и суматошным способом, путаясь в конечностях, разматывает бинты.

Стоп! Больше не снесу. Слепну. Я бы стал Гомером, но где взять Трои, где Пенелопу, на худой конец? И чем тогда смотреть футбол?

### Муякан — Мельбурн, полуфинал

Ночью в купе скребется левая из лесных сестер. Туника на ней короткая, как недоношенная ненависть врага, — увы, она не за этим. «Пропала Эрна!» Правая из сестер. Первым делом к убыху, но мирно спит убых, как из базальта, уткнувшись в собственный медальон. Ивано-франковцы невинно вводят стриптизершу в курс сала.

Сложившись делегацией, спешим за подмогой к Третьяку, знаменитому олимпийцу и ясновидцу, он насквозь в темноте видит, как инфракрасный. Хоккейная шайба — штучка столь мелкая, обычным органам чувств ни словить, ни отбить. Потому хоккейная вратарская маска изготавливается сплошной, без единой щелки для глаз. Искусство голкипера — распалить внутреннее зрение: у кого выйдет зорче, тот чемпион и все такое, — а Третьяка ослепили еще детенышем, под ледовой ареной, заморозив хрусталики. Мне чужд хоккей, его латентный пафос исподтишка, я за открытые игры... Вечор Владислав заглянул в четный вагон и сообщил, что начальник Вебер за стратегическим столиком, пред ним карта расстелена, на ней разномастные фишки, двигает Вебер фишками туда-сюда, а на лице кручина...

Расталкиваем Третьяка: «Включай, Владик, свой внутренний прожектор, куда-то Эрна делась!» Дважды Третьяка будить не надо, все-таки армянец, майор, набросили на него какие-никакие шоры, раскрутили хорошенько: ищи! Он в коридор, мы за ним, гуськом, в затылок. «А не могла ли с поезда сбежать?» — «Да куда там, если поезд на ходу, все глухо задра-

ено». — «Может, к Веберу пошла, что у Вебера?» Третьяк насупился: «Плохая видимость... Читает под зеленой лампой листочки из школьной тетрадки в клетку... Весь плачет... Концентрируюсь, хрусталею...»

(Дорогая, не удивляйся, что от слов этих пахнет дизелем, я заправил в ручку солярку... Так быстрее сгорят и простятся легче...)

«Ах, перлюстратор ты!» — вскрикнул я внутренним голосом. «Негоже иметь в двойниках Вебера, но и совсем без двойника нельзя...» — и перевел Третьяка на пропавшую. «Вижу! — наконец увидел Владислав, но как-то опавше. — В купе у манекенов».

Так я и думал! От этих тихонь я чего-то такого ждал, подвоха, каверзы... Когда мы вышибли купейную дверь, Эрна безнадежна была, ногами ероша шевелюры манекенов, она висела под плафонами на шнурках с кисточками, в которых сатирик Новый узнал свои, от альпинистских говноштопов. Бездыханным, но виртуозным было тело ее, вплоть до вестибулярного аппарата, наваяв лучшие гоголевские места про усопших панночек. Как бы скорбя, сложился пополам один из манекенов, разогнули его и нашли воткнутую в пупок предсмертную записку: «Не в силах далее сносить свою красоту... Не хочу спасти мир... Поцелуйте за меня Цузаменна». «Цузаммен — ее любимый плюшевый слон, — пояснила оставшаяся сестра. — Уничтожен задолго до рождения Эрны, в сороковом, русскими оккупантами. Беспардонно они вторглись в Вильнюс, конфисковали нашего семейного слона. Зачем? У русского генерала, видите ли, геморрой, предписано сидеть на мягком. Прямо штыком из гордого слона выстругивают обыкновенный пуфик... С чем мой народ никогда не примирится! Эрна самая красивая девочка, не вынесла...»

Как же так! Ведь я же столько раз — и в первом, и в третьем письме — предлагал лесным сестрам перейти из второстепенных персонажей в центровые! С их-то ростом! Манкировали, тяготели к убыху — вот результат.

...Тревожные думы прерваны. Очередная внеплановая остановка. Развилка, на карте не значится, абсолютно равноценные пути, но под углом. Машинист все азимуты с синусами протряс, ухо клал на рельсу, кусал даже шпалы — ведь явно одно из продолжений фальшивое, ибо БАМ — дорога одномерная, без выбора. Кто помнит, как поступали в народных русских сказках? Тараканов выпускали либо Василису Прекрасную? Никто не помнит, даже человек-космонавт Волк, стоявший перед аналогичным выбором: «Первый раз меня выводят на орбиту, из ЦУПа слышу: все гут, полет в норме. Расчехляю чемодан свой и, никого не стесняясь, достаю макраме. На земле-то неловко предаться любимому делу в имидже стального колосса, а космос чем и хорош — уединенностью... Но не успел я петельку в пандан кинуть — летят к иллюминатору, совсем как люди, только без скафандров. «Ээ, — говорят, — Егор Петрович, ничего не выйдет, не можем пустить тебя во Вселенную, пока на борту кое-что сверхсметное!» — и отсылают впясть, на Байконур. Ну, по всей видимости, макраме застучали. Стартую вдругорядь, без макраме. Опять подлетают: «Не можем пропустить, пока на борту сверхсметное». В сердцах все выгреб, раздал музею космонавтики, шаром покати — один я, стартую по-третьей. А они снова за свое: «Не имеем права», — и так далее. От злости выхожу к ним в открытый космос, прям так, без скафандра: «Ну что привязались, гады? Чего тут сверхсметного?» А они: «Да ты ты, Петрович, сверхсметный! Вертайся к своему чуму и больше здесь не показывайся, достал уже». — «Как?! Почему?!» — «Не спрашивай, Петрович, на эти темы говорить с тобой не станем». И растворились ангелы, гребя по эфиру бассом.

— Так что же вы предлагаете, господин космонавт? — прервали мы мемуары.

— Ясно, что надо бы послать гонцов по каждой ветке... Ясно также, что я таким гонцом являться не способен по вышеозначенным обстоятельствам...

Дорогая, надеюсь, тональность нашей односторонней переписки не оставляет сомнений: я был среди добровольцев. Наевшись досыта борща с мозгами, в предрассветный туман мы выдвигаемся вдвоем. На разведку.

— Вы ведь тоже работаете в жанре свободной констатации? — начинается поэт-напарник.

— ...но называю это искусством ломиться в открытые двери. По-моему, нет ничего опасней и плодородней. За открытыми дверями, под рукой и на виду, как правило, не ищут — поэтому туда прячут...

— ...чем вас и соблазняют непросвещенные внутренности вагонов данного поезда, летящего от преступлений к наказаниям, тогда как в вагонах, внутри, бежим в обратном направлении. Но кто быстрее? Поезд или мы?

— Полагаю, бег по кругу. Летучий голландец железной дороги!

— Ах да, из цикла «Тюремная свобода»... Бунт на месте, гонки в стационаре...

— Суть величайшие финты Гарринчи с правой ногою короче левой на восемь сантиметров, рачительностью прославился. Скупой рыцарь футбола. Припоминаете ли его ключевое па?

— Ни в коем случае.

— Извольте, напомню, кстати, и плато подходящее, без единой запинки.

Накачиваю в два приема свой аргентинский «Танго», заплеванной да битый, с шепелявым ниппелем, а все ж таки вертится. Тиски таежного светила нас объемлют. Я замираю с мячом в ногах, два метра до поэта.

— Гарринча, — разъясняю я, — делает движение корпусом влево, резко и убежденно — вы, купившись, в точности повторяете, а он остается на месте! И когда, раскусив подвох, вернетесь на исходную, Гарринча таки сорвется с места именно влево, всегда влево по рассекреченному пути, — итожу я, оставив за спиной распластанного в тщетном подкате поэта. — Защитники мира знают финт Гарринчи назубок. Никто не успел, потому что нельзя успеть за очевидным. Впрочем, вы успешно пользуете сей прием — взять ваше рондо «Вчера я заглянул в знакомый сад» — как бы создано ногами Гарринчи!

Мы снова на шпалах, в разведке, поэт доброкачественно светел. В такую рань мы поневоле удлиняем прямые речи и переходим к монологам, чтоб уложиться в свои тени навырост.

— Да-да, история рондо про сад. Как-то крепко выпив портвейну в сквере с экс-одноклассником Дизей — он вернулся из Афгана, проткнутый рогом, в горах они попали в стадо душманских овец, и одна, которую Дизя задумал прощупать на предмет молока, умышленно боднула его в самую суть, поэтому Дизя впоследствии пил немало, но никогда молоко. Внезапно мы решили идти в школу, проведать что к чему. Меня больно поразили игрушечные, не настоящие размеры школьных унитазов, не говоря уж об отсутствии перегородок, о колхозном их строе, но габариты! Неужели мы были такие компактные, что ж с нами потом стало?! Об этом рондо, но в целях поэзии толчок подменен образом:

Вчера я заглянул в знакомый сад —  
Когда успели вырасти деревья?

(нотабене: для отвода глаз зашифрованные клозеты еще и возрастают крещендо)

Их вроде бы сажали год назад,  
А нынче кроны полные шумят  
И потекли зеленые кочевья  
В далекий путь, не помня наших дат...

Подоплека конкретная... Сад школьный, с полувырытыми шинами для физкультуры, с лазом на канал, с размеченным под строевую плацем, где гнал нас по лужам полковник Передистый. И тот черный, как Соловецкий

монастырь, сарай, где Ленка Буздалина явила мне трусы на горе макулатуры. Я стоял на шатком собрании сочинений бородатого классика, не буду называть фамилию, тем более его с нами нет. Собрание выскочило из-под меня как ошпаренное! Слабые нервы у русской литературы, слабые. В ней чего только ни понаписано, ни понадумано, про что угодно, а про конкретные трусы Ленки Буздалиной — ни слова.

— Добавлю и мое потрясение подобного рода: мы крепко квасили в Домжуре...

— На Суворовском, что ли?

— Так точно. Затем угнали поливальную машину на Балканы, на подмогу. Машина зацепилась шлангом за Арбат, и все, что осталось, мы раздали жуликам и голубям, никогда не видел, чтоб голуби с таким азартом клевали центы! Воскрес я уже под Можайском, на дощатом дебаркадере, который не принимал транспорт с предпоследней войны, воскрес легкий, как синьор Пастернак, но задолго до ранних поездов. Из окрестных чащ меня обдало природной ненавистью. За мной следили из каждого дупла. Я принял недвижимость кочевряжки, набрал воздуха до утра... Как вдруг (переключил скорость поэт)... Как вдруг мимо на хорошей крейсерской скорости в кортеже четырех свиной пронесся мужик в чем-то рыболовецком, со снастями. Я — за ним, и недаром: из леса, вне всяких расписаний, вывернула электричка. Сквозная. Проходящая, как в народе говорят. Но рыбак, не дрогнув, проголосовал, и — диво! — электричка покорно тормозит. Втискиваемся к машинисту. Без свиной. Рыбак спокоен: «Меня провожали, домой дорогу знают». На теплой лавке я пытаю, как это он устроился: тормозят, провожают... «Парень, запомни, здесь все ради тебя, здесь ты — основной», — рек рыбак, выходя на платформу, где его уже ждали большие черные собаки, удачный подледный лов, уха и мудрые кроссворды. А я? Не то что свиной, но даже ангелы давно не сопровождают.

На следующий день я сочинил свой первый футбольный репортаж.

— Вынутый вы и герои ваши вынутые. С горы свалились. Не обеспечены запасом золотым. Психологизм на нуле. Котлован...

— ...Но котлован с даром речи, говорящий! А что психологизм, мой попутный поэт? Обмен веществ. Я мастерю накопители тех веществ, чтоб было чем меняться. Почему они и слетелись в поезд ко мне, на легкую жизнь, не спросив, куда, и едут, едут, поочередно раскрываясь. Стоскавались по сольным номерам! Явиться сливками, масками, на котурнах! Я самый добрый репортер из самарян, я разрешаю им индивидуальную игру. Прежде думалось, что лишний человек только и алчет впасть в коллектив, а он на себя перетянул: пусть все станут никакие, племя двуногих, потешный полк, в неярких координатах, ноль-ноль, ничьих, и откроятся заново. О, как они стоят и ходят, как пьют нектар и умывают руки! Не намагничены, не натюрель, но дышится им без нагрузок и функций.

— Что останется, если из русской литературы вырубить обрывы, облака, вишневые сады, исконную природность, коя за душу берет, кусает за причиндалы? — внезапно озаботился поэт. — А деятельность героев и героинь, включая Веничку с Карениной, — вся на солнце и ветре, заслоняются руками, как плакучими ивами, бьются в эпилепсиях сельдью в бредне. Чтобы прорастить сквозь Битова, Асадова, Набокова и Полякова, и всех других... Не знаю... Надо стать травой! И молекулой! Травой, кузнециком и хлорофиллом! Надо находиться в обращении, в диалектике, в помраках органики, это ж какая докука, подтекст на поражение! Тогда как — в чем нужда? По-честному нуждаемся, не для истории? Слепительной бы статистики. Тугую неосознанную фразу. Порожнее слово, как умели на латыни.

— И я о том же! Вступая в эру футбольных репортажей, — подхватываю, — насушен центральный матч, полный финал, чтобы свести счета. О таком помышляю в тесных гостиничных снах, в трезвых муках созерцания... У них сильная сборная, сборная старперов. На воротах, безусловно, на воротах Лев Николаевич, не только потому, что тезка народного голки-



пера. Ростом невелик, зато прыгуч, как вирус, прости господи. Бороду придется сбрить. Где вы видели бородатых вратарей?!

— А если Толстого не отпустит урожай, который обещает выдаться?

— На замену Александр Исаич, равномошный Льву. Отменная реакция. Игровой пусть практики немного, но очень тянется к верховным мячам, даже если явно выше перекладыны. Одержимый, набслабь не пойдет. Единственная проблема — может рвануть в атаку, оставить пост номер один.

— В защите? В обороне?

— По центру вне конкуренции протопоп Аввакум. Навыки окапываться. Горит за идею. Про таких говорят — каменный столп, фунт лиха съел. Напрямки не пройдешь.

— Слева кто? Чехов?

— Чересчур апатичен и либерален. До подката не опустится. В критический момент заговорит по-немецки. «Их штербе», «нихт шиссен»...

— Николай Два?

— Режим нарушает.

— Нестеров?

— Петляет.

— Эврика! — вспрыгнул поэт. — Столыпин!

— Да, Столыпин! А по другому краю — Брежнев Леонид. Мощная связка. Общий интерес к продовольствию, к фуражу, тылам, обозам и левой кухне. И отношение к земле как к своей.

— Полузащита. Мозг. Диспетчерская русского менталитета. Дмитрий Менделеев?

— Принято!

— Екатерина Вторая?

— Женщина...

— Ну в виде исключения?

— Под вашу ответственность.

— Мартин Лютер Кинг? И Нельсон Мандела?

— Послушайте, все-таки формируем из наших звезд...

— Иностранцы легионеры. Играют по межклубному соглашению. В обмен на арапа Пушкина А. С.

— Стало быть, нет Пушкина на поле?

— Зачем? Все равно играет за нас.

— Получается система три—четыре—три. Скуадры адзурры, если не ошибаюсь? Нуте-с, тройка нападения. Качествами ходока по краю ярк Сусанин Иван, только в версии Глинки мне показался тяжеловат.

— Сусанина берем в оригинале.

— Но Горбачева Михаила Сергеича, сусанинского эписгона, для правого фланга, лучше звать из музея восковых фигур мадам Тюссо. Настоящий же носиться станет, все поле нам вытопчет в голяк. По центру По центру...

— По центру — я, — совсем другим, не квелым, а стальным горлом провозгласил поэт, слергивая с плеча АКМ, злостно шелкая затвором. — Руки за спину! Не оборачиваться! Шагом марш, гаденыш!

...Да ну тебя, Мартынов, скажешь ты, опять за свои метаморфозы... Я сам поражен не меньше твоего! Он был мне почти альтер эго, мы с ним срастались, и такое-то подтверждение моих позиций! Я успел засечь, как набрякли по-надзирательски его желваки, как обострился близорукий взгляд и подернулась щетиной каленая щека. Вот и развязка: рельсы уперлись в забор, обвитый колючкой под верхним контролем вышек. За забором рельс нет, но череда одноэтажных барачков. Бараки первого БАМа — это тридцать пятого года, а как огурчики.

— Выбирай, летучий голландец, свободу, — склабится поэт-палач, отпирая ГУЛАГ, — скоро тебя лишаки догонят.

И впрямь — не успел дохлебать я вечерней баланды, густой, наваристой баланды, слышу: громахая кандалами, подваливает вся пассажирская рать — Вика Т., Маренда с Вадиком, последний убух, Третяк, сокращенные лесные сестры в одном экземпляре, Харатян, Апдулов, сатирик Но-

вый, «декабрист», человек-космонавт Волк, стриптизерша в монисто... Нет ивано-франковцев, они шли вторым дозором, те рельсы оборвались глубоководным озером. «Байкал?» — «Во-во, Байкал! Трасса-то приспособлена только под зимнее время, когда Байкал замерзнет...» — «Стоп, Байкал же не замерзает!» — «Значит, не Байкал. Короча, озерцо замерзает, и этот участок поезд делает по льду, без рельс, с разгона, на голой инерции. Сейчас лето, плещется вода, плывут утки, летят гуси». — «А что ребята?» — «Мабуть, делают участь Писарева, и Вампилова, и Атлантиды?» Жаль, не узнал даже, как звать хлопцев

Итак, дорогая, мы в плену! Атаман Вебер явил свою сущность. Бомонд обманут. Бежать нам некуда, во всем радиусе не ждут, не спасла оранжевая мимикрия. На утро по плану последний монолог. Последнее слово судьбы

### БАМ — Эль-Эльдорадо, финал

...Барак храпел под рваным одеялом, но исчерпалось заднее время суток, но с первой опавшей звездой нас строем выгнали на плац, не пощадили даже манекенов...

Вебер в неизменной тройке, но в долгих ботфортах, в инквизиторской мантии на апаш, с нагайкой за голенищем, а по бокам безмолвные, как бюсты, автоматчики.

— Ну что ж, все в сборе, ничто не мешает провозглашать Первую Независимую Дорогу, — начал Вебер. — Я наблюдал за вами, пустыри. Уроки жестокости и насады вам не впрок, гоним вас не осилить. Далью не перемочь. Тотальной дорогой бы по вас. Продольный ее штырь. И отсечь лишнее. Но у меня другой замысел...

Я сошел сюда с неба знойным семьдесят четвертым, седьмого июля, когда голландцы в оранжевых футболках проигрывали черно-белым немцам на Олимпийском стадионе в Мюнхене финал на Кубок мира. Предпоследняя минута второго тайма. «Мюллер воткнул оранжевым второй, не отыграются», — печально сообщил вертолетчик. Мы все тогда болели за голландцев, за их летучий стиль. Я прыгнул на Северо-Муйский хребет в ушитых болгарских тесаках «Рила» с дорожным сундучком — шмат мыла «Хвойного» и томик американца Гарри Гаррисона «Неукротимая планета». «Будь здоров, ковбой!» «Смотри, сам не сдохни, амиго!» — послал пилота и, насвистывая арию Магдалины из второй части Библии, поступаю к проходчикам. Рубили Северо-Муйский тоннель, господи, это не «Кармен» Бизе, пятнадцать километров гранита вперемежку с дресвой. Дресва, предательская пудра тектоники... И хлещет кипяток из разлома, заморозили его, и то на пару дней, всем азогом СССР, а все равно работаем в одних трусах, пекло адское, по четверть часа. Итс саммер тайм! И так я раскалился, что влетел на котлопункт, дымясь, как Тунгусский метеорит, оказываюсь чаном компота клеверного, Адонис нагой, и замечаю сквозь компотную лаву Леди. Она скоблит осетра тупоносным тесаком, чешуя вихрится над кружевом лифа, взор ее быстрее високосного года, а за окнами картовые хребты, осетр бьет хвостом, как модель поллюции, я говорю: «Физкультпривет! — заслонив пучком укропа, как мочалкой. — Приглашаю вас на голый танец под музыку сфер!» «А ты нетипичный. Дарья Селезнева, — окунается она в книксен, — какой у тебя номер?» Ценность человека на БАМе измеряется его продвинутостью в очереди на «Жигули», я страшно далек от цели, но зачем нам номер, я предлагаю последний день Помпеи! Ночь, первая внебрачная, на пыльной осоке у бригадирской палатки... К утру эпидерма чешется, сплошной комариный укус — и только один элемент свеж, не покусан — ударник внутренних работ. Первопроходчик тоннелей анатомии. Наша свадьба на участке уникальна. Сам Мохортов дал вертолет, парим под Мендельсона, зависаем над просекой, хохочет, черная, в преддверии обильных трудовней. «Смотри-ка, Дарья, — Америка! И мы у нее первые, как я у тебя!»

Вебер останавливается и, сдернув газетку, обнажает полметра на метр в багете женский портрет. Дарья Селезнева, красавица, но лицо скрыто москитной сеткой. «Козел один из Ленинграда нарисовал, Шемякин такой. Я говорю — задери ты накомарник, дай девчонке блеснуть! А он — а так загадочней, как бы вуаль... Попрошу ахтунг-ахтунг! Узнаете ли вы этого человека?» — допросительно предъявляет Вебер фото веселого парня в ковбойской шляпе. Вебер, но все-таки не Вебер, нет. Как живой, улыбается кумир комсомольской молодежи, голосистый борец за мир, звонкая совесть Америки, трель протеста Дин Рид.

Конечно, нас проинструктировали, что Дин Рид работает на ЦРУ, притворяясь простым менестрелем. В гриф гитары у него вмонтирован фокус — заснять секретные узлы стратегической магистрали. Ничего, что однофамилец Рида кремлевской стены, что выслан из Штатов за подрывную деятельность, что поет ритм-н-блюзы. Он — акция, спланированная ЦРУ, а я, ковбой же л е з ы, назначен ему в провожатые. Доставили его к нам в поселок на дирижабле. Как ударил парень по струнам, как затянул свою хаву-нагилу — гранит посыпался, прозрели штольни, от вибрации тоннель прорубили за три часа и вышли к свету. Хотя мы знали, что у Дина в колках передатчики, а струны у него — антенны для позывных... Он БАМ разворошил! Дин на турникете, повелитель спартакиады. Дин у костра, ходит по углям. Дин остыл в азоте. Дин в одиночку, с одной рейсшиной, заломал огромного северомуйского зайца. Дин рассказывает, как он чуть не спас командора Альенде, как у него на глазах рубили руки Виктору Харе. Дин кладет условно-золотое звено. Дин говорит на пяти языках, он в фирменных трузерах «Ли», все его молочные зубы целы. Дин попросил добавку компота в котлопункте Дарья Селезневой. Где я был в это время?! Я сторожил его гитару в клубе, прощупывал колки... А он уже тынулса кружкой к самому святому... И сверх того ему за так называемые красивые глаза и кучерявый чуб подарили «Жигули»! Легкий, нездешний, мерцающий, как водяные знаки, ночью отправился к Даше учить якобы гитаре, септаккорд выдался особо пленителен. Потные следы на лакированном теле гитары... Нечленораздельные позывные в сторону ЦРУ... Порванная первая струна... Отпечатки ладов на ее позвоночнике... До утра они носились по тоннелю на «Жигулях» и разбили в лепешку.

Я понял все. Ах ты тройной агент, ах ты десять ты заповедей, которые потрясли мир! Давай же разберемся! Долой опекунство и наяичники! Долой экипировку! Мы будем драться, не выходя из Сибири! Дуэль на экскаваторах в рассветный час, пока дымится возмездие, клубно!

Дин Рид условия принял легко и сразу, как будто ждал, подонок. В пять тридцать, с первым кобчиком, сходимся к барьеру за штольней. Два одинаковых, два оранжевых «Комацу», вся магистраль на этих японских монстрах строена! Пара гнедых рычагов, одна ножная педаль. Мой ковш по флажку секунданта взмывает бивнем мамонта и с маху, щерясь зубчиками, падает на кабину злодея. Но Рид коварный заднего дал ходу, ковш впился глубоко в породу. Пока я напрягаю шатуны и вою, Рид заходит по левому флангу, смертельные шупальцы его близки, ну же, япошка, не подведи, «губы бескровные, веки упавшие, язвы на тощих руках», — хрусть, выковыриваю ковш и, громадой руды швырнув, перешибаю в полете ридовский выпад. В кустах бледнее обычного Дарья Селезнева, смотри же, Дашка, твои дела! И тотчас Дин Рид, пользуясь упоением моим и лирической провололочкой, низвергнул стрелу по той же схеме, вминая меня в почву по самые бакенбарды. Дуэль окончена, я не учел главного: Дин Рид — сын экскаваторщика из Детройта и с детства при рычагах... А Дарья выбирает, как известно, победителя. Они улетают, испаряются. Я в крахе, я угроблен. Что же получается? И в невесомости, выходит, есть неравенство?! Егор Петрович, человек вы мой космонавт, возможно ли? Чтоб один невесомый невесомее другого? Пустота пустее, бесконечность бесконечнее?!

Вебер, пользуясь рельефной гортанью, прибавил громкость:

— Какой вывод, господа? Вывод найден: отсечь конкурентов. Закрепиться в статусе. Что б знали: я самый легкий. я самый неземной, я самый

условный! Начальник невесомости... Ко мне потянулись. Нас много. С кем этими руками грызли лаву, тащили рельсу, примерзая к ней, от пикета к пикету вдоль визирной дуги! Еле выживали в паводок, падали, ломая сучья, мы говорим: х в а т и т! Результаты уже есть, будьте в курсе, не голословные.

Цитирую из частного письма Дарьи С.: «...Как обычно, на зорьке Дин вышел в озеро порыбачить. Его маленький катамаран «Байкал-Амур» дрейфовал по зыбке, была поклевка, потом в аквариуме на катамаране нашли четырех угрей. Дин всегда отпускал пойманную рыбу восвояси, но угрей не успел. Увы, трагедия коснулась ни в чем не замешанных рыб. Я видела с берега, как взбурлила вода близ него, как страшно накренился Дин и как упал со спиннингом в пучину. Озеро мелкое, от силы по поясу, но, сколько мы ни звали, Дин Рид не показался больше. Как мне тяжело теперь, будто он меня держал в небе и выронил!»

Затрясся Вебер, как знамя в атаку:

— Но знай, что это не предел, предела нет! Играть так играть! Сворачиваем рельсы! Разбираем шпалы! Заваливаем штольни и тоннели! Срезаем насыпь, заполняем болота тиной и п р е с - м ы - к а ю щ и м и с я!!! Мы устроим здесь футбол на всю одну шестую! Какая равнина, какое поле! С востока штанги — Ямал и Магадан, на западе — Прибалтика и Мтацминда! Пасуй через Урал, в прорыв вдоль Волги, в Крыму настороже, как на штрафной площадке! Все на русский футбол! Явка обязательная! Справки из поликлиники недействительны! Ш а й б у! Ш а й б у!

И в обвальном эйфории срывает Вебер мантию, пиджак, люстриновый картуз и галстук лопатой, и проступают — футболка с восьмым, гарринчевским, номером, трусы с нашивными лампасами, желтые гетры, по правилам натянутые на щитки, и адидасовские бутсы, и Вебер прыгает на месте, мяс ногами воздух, как выходящий на замену, и кричит мне:

— Ну где твой аргентинский, накачивай! Фэ во жо! Мяч в поле! Я сказал — мяч в поле!..

И спешат отовсюду их звезды, побросавши плуги, окопы и врачебную практику, сбривши бороды, все они тоже в футбольном, жадут игры. И автоматчики в кирзовых кроссовках и оранжевых майках густыми длинными очередями расстреливают землю.

...Не помню, кто первый, но скоро мы, пассажиры, не сговариваясь, вольной вереницей потянулись в одну и ту же точку. Туда, где оборвался путь, где штабелями шпалы и горой балласт. «Апдулов, Харатян — на выемку, а я насыпью займусь, апассыны», — командует убух. Понятовский (Пауэрс-младший) с Марендой, вижу, уже заводят ржавый путеукладчик. Сатирик Новый, скинув говно стопы, идет на балластировку: «Господа, все очень просто: кладем двенадцать метров щебня и трамбуем манекенами». «Зачем щебенка? Это прочнее, — и «декабрист» вытряхивает свою бесценную коллекцию, — пускай послужит Кюхля делу!» Третяк, поцеловав, бросает до кучи золотую шайбу, а я приобщаю свой легендарный рокфор «со съете». Егор Петрович Волк без умолку поет псалмы. «Нету фруктовой клеммы, так мы бинтами моими рельсы станем крепить!» — актер Прометей размотался, ни единого на нем ожога. Лесная сестра и стриптизерша, задрав монисто, устремляются к котлам: «Что на обед, мальчишки?» «Клеверного компоту», — откликаемся мы, стуча кирками и лопатами, в упор не видя Вебера и весь его футбол. Мы сразу понимаем ровный гул, надвигающийся из тайги: да, это он, сверкает изморозью, припадает на правую гусеницу, он степен и могуч — вездеход «ГТТ» деус экс махина, и верхом веселый Шаплевич, кричит в наушники: «Братва! К нам вылетает Дин Рид на первом же дирижабле!»

...«Бам!» — и двадцатипятиметровая рельса легла как надо. В стык. Ага! На века. Я знаю — куда. Я скоро буду, дорогая, вскрывай шпироты...

---

---

АСАР ЭППЕЛЬ



## ЧУЛКИ СО СТРЕЛКОЙ

**Д**вор был прост, и дом был прост, и терраски, счетом три, были просты, так что хуже места для нашей истории не придумать.

Двор был к улице узкой стороной. Дом — деревянный и продолговатый — стоял к ней торцом в передней части двора.

Лето неотвязно звенело мухами.

Слева в дворовом отдалении виднелся сарай, а дальше — в самом почти углу — на своих выгребных ямах наискосок стояли две будки. Первая — плохая. Вторая — новая. Чувствовалось, что в ней даже есть крючок.

Там, где будки, куда ни глянь (а глядеть, в общем-то, было некуда), росла буйная задворочная полынь, огромная лебеда и красноватые стебли конского щавеля с красными водянистыми череночками неприятных листьев и багровыми семенами, но те будут только к осени.

Победительная эта заросль доходила до тыльной с бесстекольным оконцем могучей бревенчатой стены темного с виду сарая, стоявшего уже во дворе соседнем. Из оконца всякое лето выплывал толстый фестон то ли смолы, то ли вара. До земли, хотя оконный проем был вровень с метелками задворочных дебрей, он так и не достигал, а к осени убирался обратно, и, надо понимать, был это язычина коренастой темной стенки — просто она его, упарившись от зноя, вываливала, но не свешивая по-собачьи, а настырно и жутковато. Кое-кто, забежав в будку, не забывал, что, пока того-этого, толстый вар ползет из окошка куда медленней большой стрелки ходиков, ибо маленькая, как известно, вообще не шевелится.

Кое же кто, заходя в будки, ни о чем таком не думал, а просто — побудет и, стукнув дверью, выйдет. Иногда зашедший принимал в расчет, что в соседней тоже не пусто, и древней догадливостью знал, что там за существо — долговолосое ли и нежнотелое или грубурокое и волосатожее.

— Здрасьте вам! — сказал, возникая из хорошей будки, дядя Буля и на-вернул на дверь сосновую вертушку. Та, однако, будучи на недоколоченном гвозде, самовольно с закрывочного положения скрутилась.

— Я знал, что в вашей сидят, но что ты, не знал! — И он, натаскивая закрывалку, потянул на себя дверь, дабы дверь и вертушка притерлись древесины и слоистая деревяшка больше слезать не схотела. — Ты ходи в нашу — а то у вас без крючка и кто-нибудь, как откроет, углязит, как ты сидишь! — посоветовал он соседской девочке-подростку, уже, можно сказать, почти девушке, которую эта встреча все же смутила. Однако соседка, девочка Паня, была рада выйти на свет, потому что в душной будке было неприятно знать про свисающий язык, и, не находясь в соседней дядя Буля, о чем она по многим признакам догадывалась, ей даже в яркий этот день было бы не по себе.

— Говорю тебе, ты уже скоро девушка, а девушкам хорошо сиденье и крючок...

Самим предложением Паня не смутилась, а, наоборот, была польщена, ибо, если им воспользоваться, во-первых, заживешь, как не каждый, во-вторых, когда крючок, язык не так страшно свешивается, а в-третьих, можно взять зеркальце и примерить женский пояс с резинками.

А еще — сказанное не смутило ее, потому что в натуральном смысле жизнь двора была незатейлива, чего не скажешь о стороне материальной. Последнее заставило Паню надуться и на предложение соседа ответить:

— Спасибочки, у нас своя есть.

— Без крючка?

— А я, если идут, кашляю и вообще долго не сижу.

Тем нелепый разговор и кончился, потому что кончилась взаимная дорожка от будок к терраскам. Дядя Буля вошел к себе. Паня — к себе. Терраски тоже были социально разные, и наверняка в Булиной имелась задвижка, неплохо входившая в гнездо, а на двери Паниного жилища — ржавая щеколда, совпадавшая со скобяным своим пробоем, только если тяжкую дверь подать вверх.

Однако ни задвижкой, ни щеколдой наши собеседники не воспользовались, оттого, наверно, что в белый день никто не запирается, а возможно, и потому, что у обоих осталось ощущение оборванности разговора.

Дом, как сказано, был деревянный, а еще — приземистый и в один этаж. Проживали в нем три семейства. Первое к улице — девушки Пани, второе — Були с домашними, а в третьей доле жили люди, для рассказа непригодные. Да и для жизни тоже, хотя сама их ненужность — сюжет громадный и трагический, и очень возможно, что про третью семейку я как-нибудь соберусь и сочиню.

Люди первых двух квартир сословно и культурно были однотипны, но по житейским возможностям отличались. Семья, где зреет Паня, жила не очень, то есть там крутились как могли, но того, что они хотели, у них не было, а это располагает человека к мечтам и капризам.

У Булиного семейства было в сё, и там поэтому не мечтали, а если мечтали, то о возможном.

Короче говоря, у первоквартирников одни перелицовки, а у соседей — трикотаж, и любой. А трикотаж, как выяснилось в те годы, хорошо человеку по всему телу, причем не надо вытачек и присобирать (Паня говорила сызбарить, и она вожделела трикотаж, а еще хотела примерить на себя женский пояс, и еще голова ее была забита шелковыми чулками).

А он как раз мог их достать. Даже паутинку. Он вообще был при шелковых чулках, при плотных, из крученой скользякой ткани мужских рубашках в полоску, при кофточках, при белье — времена же были натуральные, и единственным измышлением под шелк была вискоза, а шерсть еще и оквернять не научились. Правда, завелась уже полушерсть, была вигонь, но зачем говорить, что было? У Були — да. У них не было, у Пани у этой.

Обитателей тех мест многолюдный город Москва, в котором они обитали, не очень-то интересовал своими самыми лучшими в мире зданиями (мир стоял тогда на трех слонах, а слоны — на большой рыбе) или резервацией культуры и отдыха, носившей имя Горького. Или Художественным театром, или замечательной улицей, опять же Горького. Но это вовсе ненамеренная игра слов, да и жители тоже ненамеренно поступались привадами столь авантажной столицы, ибо просто давным-давно определили для себя заманный ассортимент. Трактую, скажем, трех слонов с недоверием, они по-слободски подменили их семью слониками на полочке замечательного дивана с полочкой, а уж диван этот был куда китее вседержителя-кита, поскольку имелся не у всех, а занять его хотели все. А еще в вожделенный ассортимент входили сад «Эрмитаж» — ой там гуляли! — трикотажное ателье на Колхозной площади — ой там шили! — Столешников переулок — ой там были вещи!

Вещи в Столешниковом действительно были. Но для тех, кто мог достать. Или — кому могли достать. А дядя Буля, между прочим, был именно столешниковским директором и достать мог, но не соседям из первой квартиры, дворовое панибратство с которыми отнюдь не предполагало столь опрометчивых поступков. Ну можно ли приносить что-то этим почти голодранцам, общаться с которыми лучше всего через стен-

ку? То есть постучат, скажем, эти почти голодранцы в фанерную стенку своей кухни, а с кухни дяди Були отвечают, не повышая голоса: «Ну!» А они говорят, тоже не повышая: «Вы слышали — в Казанке есть щука!» «Что вы говорите! — отвечают им, от возбуждения сразу повысив голос — Сейчас мы бежим!» Или наоборот: раздается застеночный стук из дядибулиного жилья. «Да!» — слышится в ответ. «Нет ли у вас немножко желатины?» (Слово это всегда фигурирует в женском роде.) «Есть. А что вы хотите делать?» — следует непростой вопрос, ибо назревает возможность обозначить невероятную зажиточность дядибулиной семьи. Но там не дураки. Они отвечают: «Я хочу сделать холодец из костей!» Но тут не дураки тоже. «Зайдите возьмите, я могу вам дать!» — а сами знают, что не из костей будет холодец, а из коровьей ноги. И нога эта высший сорт, потому что Буле носят ноги особые, каких вы у коров, как правило, не видели.

И в квартире один подозревают правильно. Спустя полчаса по двору расточается запах паленой шерсти, и его слышат все, хотя первичная обработка происходит при таких закрытых дверях, какие не снились даже Экономическому совещанию, имеющему быть уже вот-вот — зимой в Колонном зале Дома союзов. Но об этом в другой раз, и то, если придется к слову.

Нет! Большая глупость приносить товар соседям, тем более который незаконно изготовлен! И просьбочки, пару раз обращенные к Буле, были им панибратски забалагурены. Одесситская его натура отшутилась, отприкидывалась, обещалась, но ничего так и не достала, и правильно сделала, потому что мнительные соседи наверняка бы сочли, что Буля на них зарабатывает, даже если бы он не зарабатывал или, скажем, совсем немножко зарабатывал, и благодарность свою напитами бы убийственным ядом: мол, мы-то знаем, во сколько это обходится вам и почему будет нам. Зачем далеко идти? — у Сендерова за такое хотят совсем не столько...

Нет! Во дворе все должно быть как во дворе, и ни при чем тут сокровища недосягаемых переулков! Надо жить как живется, ходить каждый в свою будку и раз в год напарываться на допотопную шутку призреваемой у Були старой Шлимоилихи.

Натрет Шлимоилиха на Пасху кувшин хрену (свеклой она его не подкрашивает, и в первой квартире над белым ее хреном потешаются от души), подойдет к мальчику из этой самой квартиры и говорит: «Понюхай-но, хрейн не пахнет кирисином?..»

Мальчик, гордый своей нужностью, снисходит к старухиной опаске, втягивает надхренного воздуха, и земное дыхание его прекращается — носовые пути и бронхи слезами текут из побагровевших глаз, а рот разевается, пытаясь выжить. Старуха же — хорошая, в общем-то, старуха, безобидная такая и, главное, очень добрая — блаженно радуется, показывая младенческие десны, хохотушка.

Еще, бывает, приходит в голову похвастаться перед Булей какой-нибудь обновкой, если первоквартирники что-то вдруг приобретут. Скажем, туфли «Скорород» на кожаной подошве. Сразу видно — кожа: желтая, твердая и гладкая, а по кромочке вдоль канта в два ряда деревянные гвоздики.

Дядя же Буля говорит — «клееные»

— Клееные! — говорит он. — Что я, не знаю!

— Как? Вы разве не видите гвоздики?

— Гвоздики-шмуздики... — сосредоточившись, отрешенно бормочет Буля и сует одну руку в одну туфлю, а вторую — в другую. Глядя в дворное небо, он что-то там ощупывает и проверяет.

— Я был прав! Это даже не кожмит. Это так теперь делают. Пошупайте! — и подставляет подошву.

Вы как дураки касаетесь подметки своих абсолютно кожаных туфель — они же так авторитетно дискредитированы, что не потрогать нельзя! Тро-

гаете вы, значит, подошву, а он — хлоп! — по вашим пальцам второй вашей туфлей — каменной ее глянцевой подошвой! И вы «куплены» А Буля хохочет смехом человека, у которого в с ё есть<sup>1</sup>

Девочке Пане обидно — галантерейная эта шутка вообще-то не для девочек, да и мать выговаривает ей из низкого окна, пока Булины домашние смеются из своей оконной дырки

— Зачем ты имеешь с ним дело? Он же над тобой смеется.

Но дядя Буля — прохвост каких мало. Гётевскую свою пакость он с барского плеча золотит

— А чулки на ноги у нее есть?

— Наши чулки вы знаете

— Даже шелковых нет? — продолжает веселый лавочник. — Ц-ц-ц!

— Шелковые чулки есть у тех, у кого есть всё на свете — понижая голос, говорит мать девочки, ибо даже в запальчивости наводит недоброе желателей на живущих вопреки закону соседней не следует

— Большое дело! Принести тебе чулки? Принести? — распаляется Буля. — Ты же у нас цаца! — и возвращает туфли Пане. — Хороший товар! Я пошутил. Носи на здоровье.

— Спасибо! — почему-то благодарит Паня.

Кстати, приходится делать вид, что работает он где-то неизвестно где, но только не в Столешниковом. Он об этом не распространяется, полагая, что соседи до Столешникова за свою жизнь так и не доберутся. Но они-то уже раза два добирались и даже один раз видели, как он хватается руками свою продавщицу.

— Там он работает, что я, не знаю? — убеждает домашних мать девочки. — У него там всё. Вот — «Галстуки», а вот — он. У них же есть всё!

А что, вообще-то, у них есть?

Пианино есть коричневое, и они говорят, что подарил его ихней дочке дядя из Одессы. Врут. То есть одесский дядя есть, иногда он заявляется в Москву — это рослый хмурый воротила, но пианино такой не подарит.

Еще у них — патефон, но они его почти не крутят. Котиковое манто, но она надевала его только один раз в гости на Сретенку. Еще скатерть плюшевая, а все четыре кровати — никелированные. Есть круглый стол; у всех — квадратные, и вписать в этот круг квадрат — всеобщая греза. Три мягких стула у них есть. Две печки (у всех — одна), причем та, которая в комнате, — кафельная, и на ней нет темного сального пятна от ладоней, как на белой, а на второй — белой — пятно есть. Еще — диван с полочкой. А на полочке слоны, счетом семь, и фарфоровый медведь, но северный; он дорогой, а полочка узкая, и когда на высокоспинный диван садятся, спинка наклоняется и медведь может упасть на голову или на пол и разбиться в блюдечные черепки. Поэтому дорогую вещь обвязали за живот поверх осклизлой дулевской шерсти голубой галантерейной лентой, а ленту завязали бантом на нижнем гвозде свадебного портрета, на котором кроме простой рамы есть еще картонная с овальным кругом, и — уже только в круге — голова к голове дядя Буля со своею тетей Азой, причем у дяди Були еще все волосы на голове. Даже с виду больше, чем у тети Азы. Фотография — за стеклом, чтобы мухи не засиживали, но молодые мухи под стекло все-таки с углов протискиваются.

<sup>1</sup> Ср. у Иоганна Вольфганга Гёте:

«Филина взяла у него туфельки и сказала.

— Господи! Как сносились! Велики они, что ли? — и, повертев, потеряла их подошвами. — И горячо! — тронув подошвой щеку, удивилась она. Затем потеряла опять и протянула одну туфлю Зерло.

Тот, не ожидая каверзы, потянулся щупать, каково разогрелось, а Филина как вскрикнет:

— Топ-шлеп! — И хлопнула его по пальцам другой туфлею, да так, что он, ахнув, отдернул руку». (Перевод мой. — А. Э.)



А на обоях зато не видать ничего. Это обои редкостные — бурые. Не то что мухину точку, клопа не разглядишь. Где вы теперь такие достанете?

Что у них есть еще? Не ходики — ходиков нет, вместо ходиков стальные «Павель Бурэ» в шкафчике, с двумя дырками для ключа на эмалированном циферблате; и хотя ходят они без гирь, однако, если накрутить ключом, бьют время, всегда сколько правильно.

Кулоны с цепочками и с малюсенькими фотокарточками каких-то уса-тиков есть. Отрезы есть. Габардиновый — точно. Шивиотовый — точно. Ратиновое пальто он не носит, и оно висит. И серебряные ложки есть. Но ложки есть у всех. Как можно без серебряных ложек?

И, конечно, шелковые чулки. Он ей приносит из магазина.

— Вы принесете чулки? Вы задавитесь! — говорит Панина мать, всегда от бедности уязвлявшая соседней запальчивым разговором.

— Давайте пари! Или она хочет паутинку?

— Паутинку нам не надо! Паутинку наденьте себе куда вы знаете! — И соседка, растянув рот, напоказ смеется. В окошке дядибулиного жилья так же визгливо заходится от удачной женской шутки Булина жена. Однако в словах Паниной матери звучат вроде бы и просьба, и компромисс, хотя она с независимым видом хлопает тряпкой по здоровенной помоечной мухе, которая, сипло гуднув, как всегда уворачивается.

Панина мать была как-никак женщина, а мужчина пообещал. И пусть не ей, и пусть не принесет, но посул — это уже древний акт одаривания. Она — избранница! Это обет. Помолвка. Вздорность и спесь соседки обращаются капитуляцией. Паня уже почти девушка, ей надо чулки...

Ей надо всё, потому что у нее ничего нет.

— Смотрите принесите! Я заплачу, сколько бы мне ни стоило.

— Мы сочтемся! Ты у нас будешь в чулках к этим ботинкам, Панька!

Обещание было поразительно, и никто даже предположить не мог, почему оно дано: ни те, кому обещали, ни та, которой обещали, ни тот, кто обещал, ни семья того, кто обещал.

Даже летний двор — а для нашего сюжета хуже места не придумать — то ли от изумления, то ли от жары, согласно взрыв всеми мухами, задрожал жидким знойным воздухом, а девочка Паня — уж точно от жары — пошла загорать к горячему бурьяну, разостлав подстилку невдалеке от дядибулинсой будки, а значит, подальше от сарайного натека.

Загорала она вот как.

Расстегнула на шивороте сарафан и, задрвав подол, так что завиднелись обвислые линияые трико, легла на живот. Легши, завела руки, разложила на спине створки, а потом стащила одну за другой сарафанные лямки. Лифчика на ней не было — его вообще еще не имелось, а загорать без него было уже неудобно, так как имелись сильно вспухшие груди, то есть удобней всего было на животе.

Вот она нысом в землю и лежала, подтаскивая по бедрам линияые трико, мыча от зноя и сгоняя неотвязно прилетающую ходить по ней зеленую помоечную муху. И никто на эту тревожную наготу внимания не обращал, ибо нагота в те времена понималась как большое женское раздетое для мытья тело. Но для такого оголения у Пани не подошли годы, а мыться — она неделю назад как мылась. Так что Паня лежала и раскисала, а лето нехорошо пахло полынью, горячим конским щавелем, сухо пованивающей лебедой и близкими будками, пускавшими нутряной свой подземный дух сквозь гнойные земные поры.

Еще пахло старым прогретым срубом, еще из оконца источал нефтяную свою суть черный фестон. Еще шибало девочкой, ее заношенной, перешитой из обносков одеждой, ее крысиной духовитостью, взбухающим и плохо мытым почти девушкиным телом. Все эти запахи не были разительны и нестерпимы, полагая себя ароматами нормального летнего двора, где проживают какие-никакие обитатели деревянного дома, которому природа из всего своего великого гербария отдала фоном лебеду, полынь, лопухи и смрадный конский щавель.

Паня, загорая, думала. Думаете — о шелковых чулках? Нет! Мысль о них была усвоена полностью. Где их примерить — вот о чем она думала! Примерить их будет негде, чулочки эти шелковенькие...

Негде, совсем негде ей ничего примерить. Даже пояс женский с висячими резинками, бабушкин, который мать не употребляет, потому что любит круглые, а то от резиновых машинок рвутся все ее чулки в резинку, так вот — пояс и то примерить негде!

Живут они впятером в одной комнате, правда, большой — двенадцать метров. Остальные, кроме нее и матери, — братья и отец. И всегда кто-то дома, а значит, на голое тело ничего не примеришь. При отце и братьях нельзя, потому что при не женщинах уже нельзя, а при матери нельзя, потому что зачем примеряешь.

А Паня, зачем примеряет, сама не знает. Ей просто ужасно хочется. Особенно пояс с резинками. Или чулки. Она дождалась, когда дом пустел, и добывала из хлебной дверцы буфета клубки старых чулок (почему они там, будет сказано). А из клубка вытягивала два каких-нибудь лежащих долгих чехла для женских ног, и один бывал, скажем, молочно-белый, но зарозовевший от старости, а другой — кремовый, тонкий, мутный и с пришитой на руках фильдекосовой толстой пяткой. Потом Паня быстро надевала майку брата — получалось, как удобная короткая комбинация (о существовании комбинаций разной длины она, правда, не знала, да и коротких тогда не водилось; ей просто надо было, чтобы виднелись ноги, а голый нельзя, могут постучаться, могут заглянуть с улицы в окно, может ворваться за куском сахара брат, войти уже год как не работающий отец, а хуже всего, если явится мать и обязательно скажет что-нибудь обидное).

Наденет Паня старинный пояс, на котором по-старому восемь резинок, но цепляют только три, а остальные — какая высохла, какая излохматилась, а на одной машинка вообще потеряна; застегнет его на какие есть пуговики, а потом, севши на пыльную тахту и воздевая вперед ногу, наволакивает на нее, скажем, чулок розоватый. Потом, вывернув бедро и скосив на повернутой голове глаза, вертит в воздухе выпрямленной сколько можно ногой, и, сопя, разглядывает. Однако поглядеть, как получаются прицепленные оба чулка, не выходит, ибо зеркало — под потолком над дверью (почему, будет сказано). Так что лучше всего, если Паня нарисует на ногах чулки чернильным карандашом. Послунывит его — пятки нарисует, швы нарисует, стрелки тоже, потому что самое что надо — чулки со стрелкой. Хотя язык у нее весь теперь чернильный и во рту отвратительно от химической ёлки сти, она, стоя на коленках перед круглым зеркальцем, подпертым толстой книгой, начиркивает и непрозрачные чулочные верхушки. Зеркальце съезжает, из-за торопежки в него никак не помещаются верха ног, зато в желтоватом стеклушке ворочается сильно уже заросшее одно место (прямо кожи не видать), а сперва две волосинки было и как разделяется на обое валики виднелось, словно тело заканчивалось потрошеной уткой с человеческими ногами; а теперь — чернота и не разобрать. К тому же — зеркало маленькое и никак его не поставишь, и чулки тоже охота дорисовать, а тут — совсем ничего не видно и опять идет ктото...

А теперь — почему зеркало над дверью и в хлебном отделении мертвые мутные чулки.

Про богатую квартиру номер два рассказано, а про первую нет. Однако если не уяснить главного ее своеобразия, рассказать не получится. Да, там не шикарно, там все лежалое и заношенное, но тамошние жильцы — люди не вовсе бедные. Нехватка всего на свете — еще не бедность, ибо нехватка наличествует в жизни всеобщей, а у кого как бы всего хватает, тем не хватает отваги этим попользоваться ввиду нехватки остальных прочих.

И достаток воплощается в бессмысленном.

Ну чем, скажем, зажиточен сам по себе фарфоровый медведь? Зачем коричневое пианино, если некому играть? Плюшевая скатерть, вещь, ко-

нечно, шикарная, или бурый ковер на стене, где плясунья в скособоченных шароварах скособочившись танцует среди шелковых, как зализанный теленок, волнистых кинжалов — зачем оно?

На плюшевой скатерти не поешь, едят на клеенке. Из-под ковра клопов не изведешь ни пиретрумом, ни огненным спичечным способом, ни керосином. Значит — для красоты. То есть налицо желание украсить житье и жилье. Как? — дело амбиций, пристрастий и возможностей. А между тем в жилище номер один необычных вещей, которыми скрасилась бы незавидность существования, было, оказывается, совсем немало, но никакая почему-то по назначению не использовалась. Красота была только для красоты, что каждый понимал, разумеется, по-своему.

Посудите сами:

Средних размеров зеркало, бывшее, что теперь ясно, венецианским или на манер венецианских произведенное — прямоугольное, с зеркальной же рамой, образовывавшей по углам перекрестья, с изнаночными зеркальными лунками по раме и с рифлеными матовыми шариками для сокращения медных шурупов, какими рама приделана к подзеркальной доске, имело место над дверью под потолком, который нависал сразу над дверью. Поглядеться в него ниоткуда не получалось, и зеркало отражало лишь электропроводку, свисавшую с приколоченных к потолку роликов, пыльную, свитую из допотопных проводов в ниточной, распушившейся от времени оплетке, под которою медные жилки прикрывала не лет двадцать как вошедшая в монтерское дело черная резина, а старая бледная гуттаперча, давно уже сохлая и посекавшаяся. И отражением этим неприятно усиливалось ощущение от провисших токоносных путей, на которых можно бы и развешать стирку, не будь они такие пыльные, не держись ролики на ржавых гвоздях, и если не бояться, что через мокрые исподники дернет током.

Еще в комнате стоял громадный буфет, с виду из буроватого дуба, но фанерный, и все его полки, открытые и закрытые, все ящики и шкафяные отделы использовались самым нелепым образом, так что скарб полезного употребления получался недостижимым в преизбытке невероятного хлама.

Левая, скажем, боковая стойка была набита почему-то тряпьем: чулками, гигантскими пододеяльниками, огромными наволочками, на которых попадались не только обломки скорлупных перламутровых пуговиц, но полотняные кальсонные тоже. В правой стойке пылились какие-то старые счетоводные записи, папиросная в потеках бумага с перерисованными на нее кудрявыми монограммными литерами, потерявшая черноту копирка, сухие газетины, а на нижней полке среди частокола пустых бутылей из-под синьки и фиолетовых чернил лежала на боку забытая эпохой гильотины для сахарных голов, вся в чешуе жирной ржавчины.

Там же в большой жестяной банке из-под черной икры с изогнутым в полукольцо осетром на крышке и надписью «Русско-персидская компания», повторенной еще и персидским почерком, содержался молотый, страстно пахнувший кофе. Лежал он с двадцатых годов и пролежал как довоенное, так и военное время, хотя лежалось ему беспокойно. Кофе всегда демонстрировали гостям, вот, мол, какое пахучее, лежит, и хоть бы что, но мы его не употребляем, потому что зачем, если есть в пачках с цикорием. Это же — без цикория, и в нем, наверно, уже завелись черви.

Почему кофе с цикорием почитался лучше кофе без цикория — не понять. Цикорный брали из саврасых поганых пачек по две чайных ложки на кастрюлю и варили. И — вот интересно! — в войну, когда мать куда-то ушла, Панины отец и брат с наслаждением выпили за темный декабрьский день большую кастрюлю кофе, похоже, оставленного матерью, похоже, со сгущенным молоком, но, как потом выяснилось, это была нечистая вода, сохраняемая после мытья посуды для следующего мытья, чтобы в холлод лишний раз не ходить на колонку.

А бархатный русско-персидский порошок, несмотря на века хранения, благоухал в жестяной круглой коробке, не снижая запаха, и ни один чер-

вяк, даже в войну, когда люди в унижении своем пили посудные помои, не отваживался в него даже сунуться, уважая заморскую суть коричневого праха и понимая слободское свое место.

Червяк уходил в перловку или — чуф-чуф-чуф — передислоцировался в муку, если та невесть откуда бралась.

Буфет, как все деревянное, а значит, и домовые стенки, как всю мебель, давно ели древоточцы, но ни их скрипу, ни тихого осыпания истираемой ими древесины по ночам не было слышно. Зато была слышна ходьба мышей, скребня их зубов и даже брачный писк. А сверчков в наших домах, как и по остальной Москве, тогда почему-то не было...

Вот и весь трактат о богатстве и бедности, из коего следует, что богатство — оно в предметах роскоши, в украшении жилища, в кое-какой (ибо от прочих отличать не стоит) хорошей одежде. Оно в возможности довраться до украшательного пайка эпохи. Попользоваться же тем, что есть, перевесить зеркало, начистить набитые разной пуговичной дребеденью стоявшие на буфете фразетовые кофейники-сливочники и наливать из них молоко в бразильский кофе, который, между прочим, тоже годится варить две чайных ложки на кастрюлю — то есть вернуть вещам их правильный смысл, — об этом соседская семья не догадывалась и этим бедняцкую свою бедность усугубляла.

Дядя Буля был, как все галантерейщики, сладострастен, как все одеситы, легкодумен и устремлен в невероятное. Ночью он и жена лежали в никелированной кровати. Остальные домочадцы спали по своим тоже никелированным кроватям в двух остальных каморах, а на кухне сквозь неразлепляемые полипы сопела на раскладушке ШлимоЙлиха. В трехаршинных спаленных потьмах дядя Буля, лежа с женой, суетился. Хотя они давным-давно были женаты и в данный, допустим, момент ничто не препятствовало совершению немудрящего супружеского акта, Буля зачем-то щипал жену за ягодицы, а той это ужасно претило. Жена, полагая такие действия простолюдинством и неуважением к себе, сварливо бормотала «Ну сделай уже, что ты решил, и делай ночь!» (Читателя, сразу спохватившегося насчет великого «Делай ночь, Нехама!», прошу не подозревать заимствований; просто Булина жена, не предполагая того, пользовалась знаменитым оборотом, вернее, перелицовкой на русский язык обычной для себя бытовой фразы, и только поэтому звучал по ночам в их постели скрижальный слог русской классики. Так что щипки были уж вовсе неуместны, тем более что жена его не девка какая-нибудь!)

За фанерной переборкой в квартире номер один по ночам тоже спали как могли. Старший, к примеру, сын укладывался на столе, который для этой цели удобно раздвигался. Интересно, как бы получилось ему спать на вожделенном столе круглом, пускай тоже раздвижном? Его молодые, хватающие воздух сновидений руки срывались бы за скругления на лицо братишке, спавшему впритык на диване, а диван был торцом к кровати, на которой валетом спала с матерью Паня, а отец спал или на полу (когда наезжали родственники), или на раскладушке — холст на крестовинах — у низкого окна, и если поглядеть ночью, накрытый белым горизонтальный отец перечеркивал и без того перечеркнутый подоконником оконный проем.

Но стоит ли так распространяться о ночи, если сама по себе она или поэма с тихими тополями, или уголовница, или темный мрак для отчаяния, а значит, уснащать ее слободским храпом с засвистами или простолюдинскими Булиными щипками — не годится, тем более что его жена не девка какая-нибудь!

А девка какая-нибудь, между прочим, есть. Она убирается в столешниковском магазине. И бывает по-разному. Иногда Буля приходит на работу за час до открытия, а иногда задерживается для учета. И происходит так: девка молчаливо протирает нижние полки или подмывает пол. Буля устремляется к ней гимнастическим шагом, но она никогда не обращает внимания, продолжая протирать какой-нибудь нижний закром, а из-под на-

кинутой Булей на ее толстокофтую спину юбки и потом бязевой кривой рубашки обнаруживается лиловый женский пояс, какой вы не достанете, и перекрученные коричневые чулки в резинку. В других уборщицам ходить не положено. Больше ничего исподнего не бывает. Быстро пристроив юбку с бязевой рубашкой на поясище заголяемой невольницы, дядя Буля тихо отстегивает задние натянутые резинки, чтобы, соскочив случайно с чулка, они не шелкнули по чему не надо. Умело, значит, отстегивает он напружиненные эти резинки и, давши им съжаться в горстях, тихонько уводит с места телесного соприкосновения.

Пока идет машинальное протирание полки, дядя Буля одесским своим манером ухитряется еще и щипать бессловесные ягодицы столешниковской рабыни, отчего та сильней елозит тряпкой, а через малое время, выпрямившись, уже сама сбрасывает юбку с рубашкой на место, так что зрелище лилового пояса прекращается. С-под обвислой юбки остаются видны только публичные ее чулки, а сама она, не глядя, равнодушно проносит ведро полумойной воды мимо Були, который, высунув нижнюю губу, щелкает на счетах и напевает черноморскую песенку «Гоп-стоп, Зоя!» — мол, я кидаю себе на счетах, а вы себе моеете полы, вы меня не знаете, и я вас тоже.

Итак, Буля был человек похождения, волокитства и сластолюбия. Другое дело, как оно происходило на самом деле. А происходило все не так. Бытованье его выглядело заурядно и было поневоле упрощено. Чтобы камуфлировать галантерейный разбой, приходилось вести крохоборское существование, быть при жене и детях, из дому отлучаться только на работу, на работе значительно покашливать, с широким жестом выходить к нравному покупателю, с широкой душой — к контролерам и ревизиям. Так что блуд с уборщицей, дворовые шуточки и разные там тити-мити с дамочками — соседками по травяной улице, а также щипание женских ягодиц, когда к тому располагали возможности, включая собственную жену в собственной постели, — вот, собственно, и все проказы нашего селадона. Ну, может, еще что-нибудь, где-то и когда-то. Но ведь это всего только «что-нибудь». Причем «где-то». Причем «когда-то».

По правде сказать, пообещав чулки, он сразу об этом пожалел — с соседями, как мы знаем, связываться не стоило. К тому же его незамедлительно взялась пилить жена. Однако что-то в дяде Буле дядю Булю за опрометчивый посул не укорило, он отчего-то разыгрался, стал напевать «гоп-стоп, Зоя!» и вместе с нестрогим нагоняем своей широко и некстати проявившейся натуре уставился сладким глазом в грядущее. Что-то — пока не понять что — собиралось прийти ему в голову. Что-то этакое, что-то поигривей и понеприличней, чем, допустим, столь невозможная греза, как посещение на законных основаниях женской бани!

Скажем, все женщины забыли взять из дому мыло, а Буля — заведующий баней и не может допустить помывки пустой водой: эпидемстанция поднимет бучу. А поручить банщицам раздать мыло нельзя — разворуют. Вот он и входит, не глядя по сторонам, в мочную, сияющую паром и женщинами, и те сперва закрываются мокрыми руками, а потом открываются, потому что надо взять мыло, а оно в завертках ТЭЖЭ, и приходится разворачивать его обеими руками или — что я говорю! — второй рукой, какую они не закрывались, а держали кто тазик, чтоб не подцепить из банной шайки заразу, кто маленьких своих глянцевого девочек и мальчиков. А он заодно проверяет и качество помыва: пальцем, которым теребил счеты, скатывает недомытое с живота какой-нибудь незамужней посетительницы и, пристыдив, велит ей при нем намылиться и как следует помыться. А потом обдаться водой из тазика. И козьи груди ее, освобождаясь от мыльной пены, тоже глянцевают, и по ним текут кривые струйки теплой воды, а на кончиках повисают капли.

Но мы забыли главное! Он же был торговец. Приказчик. Он в своей галантерее торговал тем, что мужчины, если им случается покупать, спрашивают, смущаясь и невнятно. Он же продавал сугубо дамское! Жен-

шины, те вели себя обстоятельно, а он хмыкал, делал тухлый взгляд, подпускал словцо, и покупательницы кто хихикала, кто прикладывала нижнюю галантерею к фигуре, кто привирала размеры. Местные же уличные клиентки неправых Булиных поставок за свои зажиточные деньги сперва норовили всё обязательно примерить. И он у себя дома, если те приходили к нему, или приносят что-нибудь на дом к ним от души щипал распаленных интересанток, и они рывком поджимали задницы и взвизгивали и хлопали его, неумоимо трудившегося в служении женскому телу, подающего примерить и за этой самой примеркой приглядывающего, по рукам.

Он был человеком примерки, вот что.

Лето выдалось замечательное. Паня загорала по целым дням, потому что заняться было больше нечем. Обитатели двора то и дело посещали будки. Младший брат принес во рту холодной воды и, подкравшись, пустил ее на Панины разогретые ноги. Она завизжала, а брат убежал. Чтобы он каверзы не повторил и чтобы не так тревожно за спиной затаивался хмурый язычина, она улеглась навзничь. Солнце пекло отвесно, гудели в сорных зарослях травяные мухи, задворочные запахи получались горячей и сбивчивей, так как лежать носом к земле это одно, а носом в воздух — другое, веки не держали солнца, и тоненькое сияние, подкрашиваемое их плотью в розовый ракушечный свет, войдя в Панину голову, разжижало мысли мозгов в теплое повидло, по которому слева направо все время плыли белые точки.

— Вы, што ли, с о н ц е заслоняете? — сказала Паня остановившемуся по пути к своей будке дяде Буле. — А Димитровка и Пушкинская — то же самое? — вдруг спросила она, как бы подбираясь к Столешникову, то есть к галантерее.

— Ты мне не хитри! — пресек ее замысел дядя Буля и хотя наблюдал Панины ноги с их дрыганья в пеленках и потом, когда крошечную девочку мыли в корытце с нагретой на дворевом солнце водой, и теперь — чуть ли не каждый день — на подстилке у лебеды, ибо все плюс он загорали тоже; тем не менее сделал сладкие, вдруг почему-то опасливые глаза и хриплыми словами сказал:

— Я принесу, но...

— Заплотют вам, не бойтесь.

— Попробуют не заплатить! Про это пусть думает твоя мама, но про остальное — ты!

— Про чегое-то остальное? Сендеров тоже может...

— Чулки будут по государственной цене. Шелковые. Но, — словно бы кому-то на ухо зашептал он, — только с примеркой! И чтобы при мне. Вы же сделаете дорожку, а потом откажетесь. И маму нам не надо, поняла?.. — сдавленно добормотал Буля и ушел в будку.

Пане почему-то стало ясно, что дело принимает крутой оборот, и у нее упало сердце, как падало, когда мягкая ночная бабочка сваливалась за шиворот и трепыхалась по телу. Поясним: что от мужчин лучше держаться подальше — она знала, почему — тоже как бы знала, но, обитая в одной комнате с братьями и отцом, общаясь с уличными мальчишками и мужчинами-соседями, она, конечно, не брала в расчет, что это и есть дядьки, которых надо опасаться потому, почему знала. Плохие ли, хорошие — они были до того свойские, что ущерб ей как уже почти девушке могли нанести разве что шлепком по пальцам или струей воды изо рта.

Другое дело те, чьи лица являлись из темного воздуха в мутном банном окошке, когда они с матерью мылись. Эти возникали, как черный язык, непонятно и неотвратимо, и в толпе женских тел, желтевших в белом пару под желтыми пятнами лампочек, пузыри которых завершались тоненькими стеклянными клювиками, поднималось волнение и овечья сумятица. Женщины то сбивались в кучу, пугливо и обреченно гомоня: «Мужчина! Там мужчина!», то, наоборот, кидались к окошку, грозя кулаками и глухо крича: «Пошел вон, черт паршивый! На тебе, видал!» И висячее лицо с суровым и обеспамятевшим взглядом, постоявши в окне, уходило, не дрог-

нув губами, из темного воздуха назад, а мать, намывивая мочалку и потом елозя ею меж Паниных лопаток, злилась: «Смотри у меня! Я тебе задам! Видишь, какие они!» И Паня поворачивала шею к окну, чтобы видеть, какие они, но там настаивалась вечная декабрьская тьма, ибо происходило такое почему-то в проклятую эту темень, и никого не было, только жутко становилось, что тьма вступит в окно, натекая сумеречной густотой, и все лампочки потухнут...

«Зачем же он шептал-то? Конечно, надо примерить, как хоть будет. А шептать зачем? Губами шевелить? Боится, что мать трепотню разведет... Ужас как шептал!..»

Паня, приподнявшись на локтях, села глядеть на собственные ноги. Стукнула дверь дядибулиной будки, и он, поддернув штаны, что делал, даже когда не ходил в будку, не глянув по сторонам, ушел к себе. «А где примерять, раз при матери не хочет? У них, што ли? При всех? Дурочка я — в штопках раздеваться! Заплаты пусть, а пояс материн, што ли? У его Азочки небось резинки все, а ШлимоЙлиха тряпочками подвязывает... Не-е-е, при них ни за что! И трико, которые к врачу, мать не разрешит... Пояс под низ можно, если б мать дала, тогда не видать, что резинка нету... Но разве у ней допросишься... Что мне делать, как мне быть, чем мне жопу залепить?.. Где же тогда?..»

Где? Об этом хитроумный Буля, опешив от собственной выдумки, совсем не подумал. Его подавляемая оглядкой черноморская натура рванулась осуществиться. Мозги засверкали мыслями. Гоп-стоп, Зоя, и как это ему раньше в голову не приходило? Да! Он принесет эти паршивые чулки! Хоть сто пар! Можно даже второй сорт! Зачем девчонке первый? Нет, второй нельзя! Лучше переклеить ярлыки с первого на второй или со второго на первый... А, черт бы их подрал! Не все ли равно, что он принесет? Главное, что ни у кого из парнусников еще не было такой девочки!.. Потом начнем лифчики примерять на ее уже грудь... Боже мой! Гоп-стоп, Зоя! Тирьям-тирими стоя! В чулочках, что тебе я подарил... А если не подарил? А если устроил?.. Зачем дарить? На него же подумают черт знает что!.. Устроить — да! По номиналу — да! Но подарить?! А если она скажет матери? А он скажет — девчонка не поняла. Он говорил, что надо мерить, но аккуратно, чтобы, если не подойдут, отнести обратно. И он сам присмотрит. Но при маме! А как же вы думали?..

Дядя Буля распалился ужасно. Все время напевал про Зою и даже ущипнул ШлимоЙлиху за болтающуюся фестонами плоть. Что было ночью на никелированном ложе, не передать. Думаете, вспышка супружеской страсти? Нет! Он просто повел разговор, умно так и рассудительно, что вот, мол, как ни крути, а настало время, когда приходится что-то принести сумасшедшей Соне для этой паршивой ее девчонки — она же почти девушка! Уже с месячными? Ц-ц-ц-ц! Что ты говоришь! С такими людьми дело иметь хуже нет, но соседи есть соседи, и мало ли что... — он заговорил голосом, каким возвещают об обэхэсном апокалипсисе, — может случиться... И сделал паузу. И закончил: со мной... Жена его аж вся стала как в мокром крахмале и, только что сварливо пилившая его за фанфаронские обещания, сразу согласилась, что — ладно, пусть приносит, но только даром ни за что. «Даром?» — изумился Буля столь искренне, что ее неудовольствие пропало окончательно.

Прежде чем засопеть перед тем как всхрапнуть, дядя Буля многое навоображал. Что именно — стыдно доверить странице. Но что бы он ни воображал, одно ему в голову не могло прийти ни под каким видом, а если бы и пришло, Буля скривился бы и счел невозможную эту мысль гадостью.

Имеется в виду совращение соседской девочки. Фантазия нашего безобразника посягала на что угодно, только не на это. Ибо не пришло еще время для людей, даже служащих в Столешниковом, даже для таких затейников, как Буля, преступить букву тысячелетней и само собой разумеющейся нравственности.

Однако возбуждение уснуть не давало: Буля ворочался и воображал самое невероятное, но только не то, о чем сказано (такое, повторяем, ни под каким видом в рассказе не произойдет), и вдруг, перед самым уже засыпанием, в бесстыже канканирующих его мозгах мелькнуло: «Но где же они их будут примерять?» «Как где? — задрали шелковые чулочные ноги дяди-булины мозги. — А где ты хочешь, Буля, где ты только хочешь! А где ты хочешь, а примерит а сна! Гоп!» — мозги сделали ногу к потолку, потом мотнули бедром на публику, где в первом ряду расположился разомлевший Буля, потом повернулись задним местом с натянутыми черными резинками, и он его хорошенько ушипнул, но уже посапывая, уже похрапывая и делая губами «п-пу!».

После такой ночи Буля явился на работу пораньше, и поломойка, протиравшая в торговом зале люстру, сразу слезла протирать полки в складском чулане, и шваркала тряпкой, и бестолково в конце концов замотала ею, как собака собачьим хвостом...

— Гоп-стоп, Зоя! — напевал Буля, когда она, отворотясь, протаскивала опосля помойное ведро. — Плохо смотрим за чистотой. Протрем нижние полки еще раз, особенно где теплое дамское. Но с хлоркой! — добавил он, бросая на счетах то цену чулок первого сорта, то стоимость второго, то баламутно шевеля пальцем какую-то черенькую костяшечку.

Весь день Буля был, что называется, в настроении. Недорого купил сам у себя для себя же тенниску в рубчик; однорукому наемнику Грише, доставившему коробку нелегально пришитых к нелегальным бумажкам нелегальных пуговиц, надбавил попуговично, хотя не столько, сколько тот предполагал; решил больше не иметь дела с малаховскими поставщиками заколок, а реализовывать заколочную продукцию, которую отгрузит из Одессы его брат... «Эх, братик Суня, знал бы ты, как поживает Булечка!.. У него такие цацы, на каких ты, Суня, только смотрел косыми глазами, когда ходили парохода с белыми зонтиками!..»

Но — самое главное — он в тот день придумал такое, что даже сам изумился, хотя выдумкам своим давно уже не изумлялся, раз навсегда привыкнув к их изумительности.

А придумал он, что возьмет для примерки чулки самые длинные — бракованные, это когда работницы на фабрике заговорятся, а машина себе работает... Тирьям-тиримти стоя, в чулочках, что тебе я подарил...

После работы Буля на работе задержался и опять побывал в складском чулане. И опять тряпка, как собачий хвост, бестолково металась по протираемой поверхности.

Но за целый день он ни разу не подумал о том, где примерка произойдет и согласится ли девочка, почти девушка, Паня на такое вообще.

Домой дядя Буля возвращался в двухэтажном троллейбусе номер девять. Существовали такие в Москве и ходили от центра до Выставки. В троллейбусе было битком, от высоты своей он кренился и ехал как бы на правой паре колес, прижав штанги, как заячьи уши. Но что для нашего озорника давка? В троллейбус он вошел с передней площадки, изобразив одну ногу негнущейся, и ему стали уступать место. Он, однако, заотказывался, что, мол, ничего, что, мол, вы, гражданочка, сидите-сидите, а не мог ли я вас, кстати, видеть тоже в троллейбусе номер девять, но в другую сторону? А гражданочка, сразу приметив, в какой невозможной тенниске прихрамывающий пассажир, сказала, что — ага, обычно в обратную сторону она тоже ездит на троллейбусе номер девять. А он сказал: ну да, других же не ходит, как я сразу не догадался! Тут Булю оттерли, однако это вышло ему на руку, поскольку обе руки его оказались хоть и в давке, но возле каких-то обширных женских бедер, и уж — будьте у Верочки, — как он попользовался, когда троллейбус кренился или тормозил.

Потом, когда вдоль маршрута пошли двухэтажные высотой с троллейбус кирпично-деревянные домишки, он на негнущейся ноге взошел на вторую троллейбусную палубу, ему уступили место справа по ходу, и до остановки «Мало-Московская» он глядел в окна вторых этажей, где — уж



будьте у Верочки! — по случаю теплого вечера ходили, белея телами в жилых потемках, разные нечесанные медленные женщины.

— Ну, — сказал он, сойдясь с Паней во дворе, — Верочка, когда примерочка? — и сказал не так громко, чтобы другие не услышали, но и не так тихо, чтоб в словах угадывалась опаска.

— Какая еще Верочка?!

— Ах, ах! Вы — Панечка-тирим-пам-панечка! Вы уже забыли, что обещали?

— Это вы обещали.

— А примерка?

— Чего — примерка? Примерка — ничего!

— Но ты маме не сказала, ты?!

— А што ли нельзя?

— Панька, чулки дорогие, и ей это не понравится. Да или нет? Товар уже у меня. Да, да — нет, нет.

— А где? У нас дома, што ли?

И тут дядя Буля, верней, дядибулин инстинкт спохватился и сразу постиг назревающую незадачу:

— Ха! Где угодно! Зачем у вас?

— А у вас я не пойду.

— Ха! Зачем у нас? Где захотим! — И Буля огляделся, поняв уже головой, что перед ним ловушка, но без лазейки. — И потом... — сказал он, норовя выкрутиться, — и потом... я пока не имею! Мне обещали фабричные... Которые на базе — тандета и без стрелок...

Интересно, что уязвимость замысла, пока Буля пребывал в многосуетном возбуждении, давно была осмыслена девочкой, почти девушкой, Паней. Учтя возможности, то есть невозможности своего жилища, жилья дяди Були и, наконец, предположив, что все вдруг — и у них, и у Були — слягут в больницу с тифом, о котором она знала, что он от вшей, а они с дядей Булей останутся в первой и второй квартирах одни, Паня потребовала, чтобы мать вымыла ей от гнид голову керосином, а Буля и так был лысый, — следовательно, шансы упасть оказались бы у обоих верные.

Еще ей взбрело, не пойти ли в Парк культуры и отдыха имени Дзержинского, но не туда, где гуляют, а за речку Каменку. Ходить «за Каменку» считалось неприличным, и шпана-подростки (скажем, Колька Погодин, которого опять посадили), нахально пришепечывая, набивались: «Пань, пошли за Каменку?» Так что идти за Каменку с Булей было никак невозможно, а сговориться там встретиться — как найдешь дорогу? Она ее не знала и не знала, знает ли он. Были еще варианты: скажем, сойтись ночью во дворе (но ничего же не будет видно), поехать в Столешников (мать в город не пустит), и чего только еще она не придумывала! И был один план, хотя нелепый и дикий, однако не без признаков осуществимости.

А Буля, пускай позже Пани, зато интенсивней и отчетливей, во-первых, представил полную невыполнимость замысла, а во-вторых, включил на полную мощность все свое пройдохство. Но чем лихорадочней вертел он мозгами, тем становилось ясней, что все лопнуло.

Ибо сказано: двор был прост, и дом был прост, и терраски, счетом три, просты, так что хуже места не придумать.

У них — нельзя, у нас — Боже упаси! Позвать на работу? Не пустит мать, да и разве объяснишь крикливой этой матери, зачем девочка едет в город? И на работе мерить? Дурак он, что ли? Девчонке? При наличии профорганизации? Идиот он, что ли? Но как же все-таки быть? И в пустеющую его смекалку на пароходах черноморского воображения всплыл вдруг вовсе несусветный план: допустим, умирает Сендеров (тоже деляга будь-будь!), все отправляются на квартиру усопшего прощаться с гробом и покойником, но кроме Були, потому что Буля и Сендеров друг друга терпеть не могут, так что, если Сендеров скончается, сморкаться не будем... Всем это известно, и отсутствие Були будет понято, а девочка не пойдет,

потому что она еще ребенок и кому-то же надо присмотреть за холодцом, который варится на керосинке одиннадцать часов. Тут они и примеряют. Прямо у керосинки... Да, но как сделать, чтобы варка холодца у соседей совпала с похоронами пока живого Сендерова?..

Какой холодец? Какие похороны? Булечка, вы идиот! Вы — поц, Булечка, если думаете, что Сендеров умрет и даст сварить из себя холодец ради того, чтобы вы примеряли уже почти девушкам чулки... Идти в парк и катать ее на карусели?.. Ну, Буля, если бы про такое узнал в Одессе брат Суня, он бы ни за что не доверил вам вагон заколок-невидимок!..

А Сендеров, Буля, еще тебя переживет. Это говорю я, автор этого рассказа, давным-давно оплакавший смерть и твою, и спустя какое-то время кончину состарившегося, беспомощного и совершенно трогательного Сендерова...

— Ну, ты решила? Я уже приношу! — мимоходом говорит дядя Буля, а сам с надеждой заглядывает в Панькины глаза.

— А где? — глядит в его глаза Панька, и в глазах ее смекалки не меньше, чем у столешниковского хитрована.

— Где? — хорохорится Буля. — Где твоей душе угодно! Но чтобы мама... ты слышишь? Так когда и где? Чулки уже есть! И между прочим... — пауза дяди Були дорогого стоит, — со стрелкой. Чулки со стрелкой и заграничные ботинки, под бокс прическа, в без-де-лье утро, вечер, де-е-е-нь...

— В вашей уборке, вот где! — выпаливает, побурев, Паня. Это слова «со стрелкой» вытолкнули из нее самую несусветную выдумку...

А дело в том, что если затея с примеркой казалась ей всего лишь тревожной и странной, то уединиться в будку с соседом представлялось недопустимым и бесстыдным, хотя и было из вчерашнего детства, когда они с мальчишками и девочками из дома девятнадцать забирались в лебеду для взаимного разглядывания.

— У вас крючок, поняли? — тупо и не глядя говорит она, ошеломляя столь невыслышим предложением Булю.

— А когда же, глупая ты девочка? — торопливо включается он в уже взбудораживший его разговор, даже не понимая, что уступил инициативу, что новое поколение без лишних церемоний переплюнуло его, непревзойденного в выдумках и плутовстве.

— Когда папа с братом воду пойдут носить, а старший поедет в Историчку, а тетя Аза зайдет кроить...

— Стой! Куда ты пошла? Надо сговориться!.. — бормочет Буля бурой от саморазоблачения девочке, почти девушке, Пане, на которой белые стоптанные материны сандалеты и платье, сшитое той же матерью из бязи (зато рукава буфом), и от которой пахнет немывтым возрастом и гнидобойным керосином. — Я подумаю и, наверно, навечу тебе уже завтра...

Несколько дней он думает и, что удивительно, ничего путного к невероятному плану добавить не может. А между тем зарядили дожди и лету как бы пришел конец. Во дворе мокро, в домах потемки, мухи исчезли, а с пропавшим летом как бы пропала и надежда. Но тут в день, когда приунывшая Паня, обув с утра новые туфли и встав на стул, тщательно нарисовала, засматривая в зеркало над дверью, на своих почти девушкиных ногах чулки со стрелкой, лето выдало такой денек и так замельтешило мухами, что Буля заторопился.

Теперь он сам все продумал и додумал. Предложение Пани, как уже сказано, дополнить оказалось нечем, столь идеально оно учитывало возможности того двора и того дома, а посему Буля лишь обезопасился на случай провала.

Что говорить, как они встретились? Они встретились как сообщники, и этим все сказано. «Это здесь! — сказал Буля, хлопая себя по карману пикейных брюк. — Папа сам будет огород поливать? Такая духота!» «С братом. Одному разве натаскаешь...» — «А мама, ты спросила, что собирается делать мама?» — «Чего спрашивать, она машинку керосином смазывает»

ет...» — «Уже смазывает? Надо не забыть сказать моей Азе, чтоб зашла к вам раскроить отрез, который отдала ей двоюродная тетя!» (Происхождение мануфактуры осмотрительный Буля наскоро придумал.) — «Пусть приходит, когда брат в Историчку уедет!»

Всё.

Всё наконец сходилось.

А когда сошлось, он еще раз подошел к Пане:

— Слушай, ты уже большая. Чтобы без глупостей! Ясно?

— Ну.

— Я пойду, как будто у меня болит живот, когда увижу, что ни в вашу, ни в нашу никто не идет. Ты ждешь. Я не запираюсь... Ты лезь... Но чтобы уже ни слова!..

— А вдруг в вашу пойдут?

— Кто могут пойти? Я закашляю — уйдут. Потом я выхожу первый... а ты сразу в будяки. И чтобы тихо, пока я не запою!..

И еще что-то он говорил, и сердце у него колотилось, а она его слушала, и сердце у нее колотилось, и она пошла, как условлено, к лебедю; не столько загорать — дело было к вечеру, да и с утра Паня назагоралась, а так — почитать, полежать.

Она глядела в книжку и обмирала, но не только от страха, а от странного ожидания, от соучастия, от предвкушения чулок, оттого, что за бурьяном свисал язык, заметно выпятившийся в сегодняшнюю духоту. В будки никто не приходил, зато во всю силу нхли каждая на свой голос помочные мухи, а у террасок, ближе к улице, коротко покашливая, расхаживал Буля. Он как бы трогал, высохло ли белью, однако сам двигал его по веревкам, отъединяя неблизкую отсюда улицу и громко здороваясь с прохожими, чем давал Пане знать, что ждет удобной минуты. Но вот опознавательная его суета прекратилась, донесли умышленные шаги, мухи почему-то, сперва взвыв, смолкли, и донеслось: «Ну... я не запираюсь!..»

Спустя мгновение Паня сунула книжку под подстилку, скинула подол на свои давно уже загорелые, но побагровевшие с утра от сегодняшнего солнца ноги, быстро поднялась и, уставясь в землю, пошла...

Вообще-то никто видеть ее не мог — все точки и окошки, откуда такое возможно, заслонялись или сохшим бельем, или водянистыми стеблями засмердевшего вдруг резче, чем обычно, конского щавеля... Скрипнула дверь, сразу всполошились мухи, «скоренько!» — долетело из будочной духоты. Щель, однако, была приотворена трусом, и Паня, протискиваясь боком и нехорошо задев за дверной край и без того болевшими грудями, очутилась в знойной сортирной полутьме спиной и вплотную к горячему большому Буле.

Крючок — знаменитый крючок! — вошел в колечко.

— Давай повернись...

Она заворочалась, притискиваясь к сопевшему сообщнику, оборотилась и в сияющей от пазов тьме тотчас увидела пленочный и невесомый чулок, скользящий по самому себе в Булиных пальцах, а заодно и самого Булю, пытавшегося склониться с ним к ее ноге. Места было, однако, — стоять впритирку, наклониться Буле мешал живот, лысина вспотела, маленький пол, оттого, что на нем топтались, занепоминал слабыми своими досками о выгребной под ними яме, будка вознамерилась качнуться — и ото всего этого Буля, собираясь опуститься на колено, уткнулся головой в Панино плечо, а вообще-то он, правду говоря, растерялся.

— Счас, — сказала она. — Н-не так!

— Ш-ша!

...Паня, привычная пользоваться подпотолочным зеркалом, взгромоздилась с ногами на возвышение, каковым кроме крючка выгодно отличалась от ихней дырки Булина будка, — тут на отверстие, долбленное в струганых досках, садились голым задом. Оттого, что оно было накрыто сосновым кружком с торчащим посередине столбиком-рукояткой, Пане пришлось успеть расставить над кружком ноги, с маху при этом стукнувшись

затылком о наклонную горбыльную кровельку, что будку наконец сотрясло. Голову для этого понадобилось пригнуть, а в кровельку, из-под которой сиял летний свет, упереться руками.

Она выставила вовсе багровую в будочном освещении ногу вперед, и собранный столешниковским примерялой в безвоздушную воронку чулок, остужая кожу, поехал по ноге, и она увидела, как медленно прищлась на косточку невиданная ажурная стрелка, а Буля зябко полз чулком дальше, и было совсем не шекотно...

— Так придумать, чтобы влезть... Молодец... — шепотом нарушил условленную немоту Буля и поперхнулся слюнями. — Нравится?

— Т-та!..

Чулок все длился и наволакивался уже выше колени, и было по-прежнему не шекотно, как вдруг галантерейщик замер и повернулся к дверной щелке. Паня сглотнула воздух. Но встревожился Буля зря — это шваркнула рукой Паня, отрывая ее от потолка, чтобы приподнять для удобства примерки подол. Когда Буля от щели оторвался, она уже это осуществила, а дядя Буля, потихоньку, чтобы не переборщить, повел шелковую невесомость дальше.

— Ф-фатит...

— Как?! — оцепенел он.

— Там без пояса...

— Без? Мне совсем не пришло в голову!.. Ой будет у тебя пояс... ой примерим пояс... — Буля как бы уже освоил полупотемочную возню. Оба невпопад дышали и сильно потели, а значит, к будочному смраду примешивался дух, уже долетавший к нам из-под конского щавеля. Вообще становилось нечем дышать. Звенела и стучалась в прикровельном уголку большая тяжелая муха.

Панина ладонь, прижимая к бедру край подола, пальцами переняла невесомый шелк.

— Т-тругой!

— ...секундочку...

Другой чулок легкой кучкой лежал на помосте и свешивал конец, отчетливо являя на глянцевитом ажуре гравюрную стрелку.

И вторая нога вошла в чулок, вернее, чулок пополз по ней, а взмокшие ладони дяди Були, забыв горячку страха, обрели горячку события. Второй навлекался быстрее, и Паня, вывернув ногу, уперлась в помост убраным в чулочное окончание мыском — иначе на одной ноге, утыкаясь головой и рукой в потолок, было не устоять. Но вот она убрала с потолка и эту руку, а Буля от получившегося шороха снова вертанулся к двери, однако вперяться в щель уже не стал, а сразу повел чулок дальше, под косо свисавший подол. Паня крепче втиснулась затылком, для чего привстала на цыпочки и переняла пальцами освободившейся руки чулочный верх, заодно прижимая ладонью платье ко второму бедру, так что подол повис полукружьем меж расставленных ею над крышкой ног.

Буля наконец попытался обозреть достигнутое. Паня, та все время глядела поневоле склоненной под потолком головой, хотя муха металась мимо глаз и здорово мешала.

— Нравится?

— Т-та! А можно... повыше?..

— Она еще спрашивает! Чулки примеряются целиком...

— Счас! — замычала Паня. — Счас! Без пояса же...

— Ай, как я не подумал...

Бедный фантазер поколения осуществившегося и не предполагал, что поколение новое, хотя тоже сопит и отгоняет мух, но живет, пусть тупее, зато решительней.

— Дядя Булечка... побожитесь, что маме... Я... безо всего... — забормотала она в страхе, что взрослый сосед возмутится таким бесстыдством, и горестно опустила руки, отчего подол упал на место, а чулки, свалившись, получились на щиколотках мерзкими пухлыми баранками

— Наплевать! Что мы, не видели?.. — не постигая сказанного, засоглашался Буля, тем более что примерка затягивалась, выгребная бродильная под полом подстерегающе затаила дух, а с улицы доносились какие-то голоса.

...Тогда она, задрав платье, прижала подол подбородком и сказала: «Теперь поднимайте их до моих рук или докудова хотите, а я держусь головой», — и дядя Буля ненормальными рывочками опять повел чулки вверх, а она их принимала и тащила выше, и он ладонями тоже помогал воздевать их по заголенным ее бедрам... И выше стало никак, а она всё тянула нескончаемые чулки на бока, и он как мог расправлял их, а она сопела, упираясь головой в кровлю, и готовая уже для жизни ее женственность, против которой очутились уткнувшиеся сперва в выпуклый девчачий пупок Булины глаза и которой коснулись вдруг его пальцы, ощущалась как стриженные сухие волоски, которые помнятся с детства, когда проводишь после парикмахерской по собственной шее, и только там, где чулки сбились и выше поднять не получалось, волоски эти были влажными.

— Не рви так... ты уже большая... то есть еще маленькая... мне держать?.. они тебе длинные... стой... опять закрутилось... стой же...

— Я д-де натядула! — мычала под потолочком из-за прижатого к груди подбородка Панина голова, а руки дядя Буля убрал и, пока она, скосив глаза на свое богатство, сопела, глядел как дурак на свое...

И она, вытянув вперед ногу, заворочала ею, все еще натаскивая чулки на бока, отчего для устойчивости выпячивала к Булиным глазам лоно, в которое, растягиваясь к бокам прозрачными пленками, въехало теперь словно обслюнявленное вещество чулок, а Буля обалдело бормотал:

— Хватит! Что ты делаешь! Ты себе наделаешь! Дура!.. — И он ущипнул ее за живот, а Паня, опомнившись, увидела его лицо — оно было точь-в-точь как в банном окошке, тревожное, суровое и обеспамятевшее. Она так испугалась, что, когда дернулась дверь, это уже стало вторым, десятым, двадцатым — истерическим испугом.

Дядя Буля, ото всех потрясений примерки потерявший контроль над событиями, то ли из-за бешено теперь заметавшейся мухи, то ли от мгновенного ужаса, сделался жалок, рывком повернулся и ненатурально заперхал, взывая к задверной напасти, что будка не пуста, хотя при крючке такого можно было не делать.

Очевидно сочтя Булин кашель недостаточным или просто по сортирному инстинкту, она закашляла тоже. В будочной темнице, вторя сорвавшейся с цепи мухе, загундосил наружный голос:

— Это вы там, Буля? А я думаю, кто там такой? А это вы там. А я не могу понять, кто там сидит. А это — я сразу знала — вы там, потому что я стою и думаю, кто там такой? — завела ШлимоЙлиха бесконечную бодягу.

— Ну я! Я! — Буля перекрыл натужным тембром Панин кашель.

— А мне вы советуете подождать или что?

— Я еще не уже! У-у-у меня же твердый желудок! Идите к ним, чтоб вы лопнули. Д-ду...

— Там же не с кручком...

— Марш, кому сказано!

Буля вертанулся к Панине, но та куда-то подевалась, зато перед ним сидело нечто с крышкой в руке и с закинутым на лицо подолом, отчего вылезли вперед совсем внезапные, почти уже дамские груди с коричневыми сосками.

— Ты что... — постигая картину, зашептал Буля, — не знаешь, что кашляю я?.. — И он, ткнувшись лысиной в неожиданные эти груди, рухнул на колени и, дохнув припольной вонью, стал сдергивать снова свалившиеся бубликами чулки, цепляя их за досочные задорины, отчего наверняка поехали петли...

— Я уже! А вы? — после шумного одиночества и дверного захлопыванья сказали у соседней будки. — Я начинаю ставить холодец...

— Ставьте, чтоб вы околели... Зачем ты кашляла, паршивка? — бормотал Буля, пихая чулки в карман. — Чтоб за мою спину... и тихо... Пока не запою... Но если я только услышу... Какой там рижеский пояс!.. Что ты уселась при мужчине?.. Смотрите на нее!..

Паня, хватая воздух, остановилась за непролазной зарослью на пустой от травы горячей проплешине. Сюда — к бревенчатому сараю — она никогда еще не забиралась. Места было только сидеть, обхватив колени, или стоять. Конский щавель предзакатно смердел и, смешивая свою одурь с полынью, создавал пыльный, но все еще солнечный запах. У Пани кололо сердце. Хотя убежище было всего ничего от будки, она, продираясь сквозь травяную чащобу, выбилась из сил и, чтобы устоять на ногах, прислонилась спиной к могучим бревнам стены, причем затылком, привыкшим за пятиминутную примерочную вечность к осиновым горбылинам потолочка, коснулась чего-то мягкого и податливого. Удивленная неожиданным ощущением, она отлепила слабо приклеившиеся к чему-то волосы и поворотилась.

Это оказался окошечный язык. Вся помертвев, Паня, однако, сразу углядела на пустой смоле разную прилипшую шелуху лета: пыльцу, чешуйки, березовые самолеттики, пух с недавно еще желтых, а теперь седых цветков, и, признав весь этот нестрашный сор, тотчас и навсегда забыла свой детский страх и вовсе бы загляделась на безвестного комарика, прилипшего, чтобы впредь не летать и не звенеть, как вдруг темный выплыв дернулся. Паня явно заметила небольшое это движение не только ползущего вара, но и новой теперь своей быстротекущей жизни, в которой саднили отдавленные груди и ныло под животом...

Она воистину узрела, как он шевельнулся, мягковатый и мешкотный этот язычище. Уже почти без опаски, робкой рукой Паня слегка коснулась, а потом, точно незнакомую большую собаку, погладила его, а он, задворочный и одинокий, от прикосновения снова дернулся и опять на точку подался из оконца.

Был он совсем теплый, как уходящий день.



Читайте в ближайших номерах  
роман Анатолия Кима  
«Онлирия»

---

---

МАРИНА ПАЛЕЙ

\*

## МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВЕТРА

**С**лужащий, привычный убивать время кроссвордом, конечно, с ходу сообразит, что «трехколесная или двухколесная машина с седлом» — это велосипед.

Коллеги скорее всего не заметят, как он сразу же скиснет, как старательно засмеется, слушая анекдот... Под шумок он вышмыгнет покурить — и там (подоконник, банка с окурками) наконец-то отпустит подтяжки, обвянет, состарится...

С трехколесным велосипедом была долгая счастливая жизнь, лет до пяти. Хруст гравия под колесами, очень разный в мае и в октябре (а названия месяцев ездки тогда еще твердо не знал), сменялся скрипом паркета в бессрочном электрическом вечере: мелькали знакомые залысины половиц, хрустели клавиши-деревяшки по всей сложенной в елочку дальней дороге — с лыжами, телефоном, коляской, вешалкой, страшным сундуком, спиннингом, стулом, корытом, а назад — наоборот, где лево — там право, и снова: от входных дверей — до кладовки, и снова: от кладовки — до входных дверей, и снова: от входных дверей до кладовки, и снова, и снова, и вот велосипед опять вырывается в май, парк, в еще мокроватый хруст гравия...

...Он давно погиб в духоте темной кладовки, придавленный ящиком с утюгом и гвоздями, все звал детей, но их не было, и жизнь его отлетела в тридцатое царство вместе с мыльными пузырями проведенных с ним дней, каждый пузырь размером в слона. Звони! Пиши!

Двухколесный не подпускал. Ух, как злобно врезался он твердым своим хребтом — прямо в пах, в нежный мешочек с незрелым еще семенем! Дикий жеребец, жестокий и хитрый...

«Вот! вот! — вскричал психиатр. — Пах! Жеребец! Именно так! Скажите, — он направил свет прямо в лицо пациенту, — каковы были в юности ваши отношения с отцом?» «У меня не было отца, — сказал служащий. — Только мать. Я дитя революции». «Но ведь не от лозунгов же она забеременела, я извиняюсь», — сказал психиатр. «Нет, — согласился служащий. — Ей ветром надуло».

...Дикий жеребец, жестокий и хитрый, — он не давал человеку даже на миг удержаться в седле. Человек только и мог что, стоя на педали одной ногой, ковылять другой, подсакивая, как курица. Вот уродство! Позорище! А велосипед диктовал: «Ты не ездки, понял? Ты пешеход. И пешеходом подохнешь. Делай ножкой топ-топ. Ты меня понял?» Все дворцовые окна вылупились ради такой потехи, все дома, вниз по улице, раззявили двери, беззвучно хохотали статуи голых девушек в ночном парке... А человек (тогда еще молодой человек) знал о себе совершенно точно, что он — не только пешеход, абонент, гражданин... Какой ужас — вот так и прожить свою жизнь вежливым пассажиром трамвая! И снова сел в седло.

Некоторые полагают, что искры из глаз — просто метафора. Расхожая неосведомленность. Спектр их, кстати говоря, зависит от многих причин. В первую очередь, конечно, от величины ударной силы и конкретной точки ее приложения. Угла направления силы. Принципиальной готовности

объекта к получению ран и увечий. Погоды. Ну и так далее. А вот, например, зубы выплевывать совсем не больно. Только всякий раз напоминает сон.

Вообще-то любую боль терпеть можно. А какую нельзя — мозг знает и сам выключается.

«Послушайте, — сказал психиатр, — вы же наделаете себе серьезных дел! Вы же когда-нибудь так шандарахнетесь, что... Повезет, если сразу готов — и в сторону. А если мужчиной перестанете быть? Как у вас, кстати, с половой функцией? Расстройств не бывает? Пока не бывает. А станете продолжать свои экзерсисы — можете получить очень серьезную травму и нарушить функцию... Хуже этого, если вы еще не поняли, ничего нет».

Служащий, сидя на стуле боком, профессионально смотрел в окно. Велосипедист в черной футболке и красной шапочке, хищно выгнув спину, гнал с вершины поросшего елью холма. Дома с деревянными башенками и верандами еще спали. Сорока, вспорхнув на синий забор, качнула хвостом.

«Все имеете, потому и не цените, — сердито сказал психиатр. — А у меня вот был пациент, ему коза на даче заехала в крестец — коза, рогом, — все, с тех пор он имел свой член уже только помочиться».

«А я знал одну пару, — задумчиво сказал служащий, — у них еще хуже было». «Что вы говорите!» — поощрял психиатр. «У мужа страдала половая функция, и он все носил сперму на анализы...» «Вот видите!» — сказал психиатр. «И когда он с пробирками в очередной раз переходил железную дорогу, ему отрезало обе ноги...» «Что вы говорите!» — сказал психиатр. «Зато половая функция потом полностью восстановилась». «Вот видите!» — сказал психиатр.

Память о физической боли всегда как-то прохладней, чем память об унижении. Изучая земные диапазоны боли, проваливаясь в подпол новых болевых измерений (натуралистические подробности опускаем), человек, как правило, складывает добытый опыт в самые что ни на есть низовые отсеки мозга: не суй пальцы в розетку! не играй со спичками! повязывай горло шарфом! — но не надсаживает этим знанием душу.

Память о стыде скорее всего отлетает вместе с душой.

...Он по-прежнему не мог проехать на велосипеде и метра. А ведь он много чего умел! Например, вкалывать по двадцать часов в сутки, легко прощать ближних, не воровать, не возводить ложных свидетельств и даже, что кажется сложней всего в его положении, не завидовать тем, кто обладал недоступными ему способностями. Редчайший дар.

Но стоило ему сесть в седло... Он знал, что через секунду разобьет свое ненавистное лицо. Ненавистные руки, ненавистные ноги. Хотя бы и вовсе их к чертовой матери переломать! Он знал, что все равно после этого сядет на велосипед — и разобьет снова. Сесть будет уже труднее. Не сразу вынудишь вторую ногу встать на педаль. А потом? Он знал наизусть. Упал, встал, упал. Встал. Упал... Не встать... Никак! Лодыжки чертовы! Самая злорадная часть скелета. Придуманы специально: если уж зашибешь раз, так потом двадцать раз подряд саданешь в то же место!

Конечно, травма как способ жизни предполагает обильный урожай эмпирических знаний — благо что инструмент знания, боль, с годами не тупится, не гнется, не ржавеет. На этом пути обязательно постигнешь, например, феномен предболовой паузы.

Боль после удара наступает не сразу. Пока еще сигнал достигнет мозга, пока там оценят величину катастрофы, пока подберут соответствующую дозу страдания... Во время этого, как бы ни мал был пробел, человек всегда успевает заглотнуть пустую наживку надежды. И даже еще успевает, до боли, понять, что обманут. Много чего умещается в это затишье за миг пред крошечным обвалом. (Натуралистические подробности опускаем.)



Вставай, кончай разглагольствовать. Уже можешь подняться? Итак: вот руль. Вот педали. Вот, видишь: седло. Ну? Три-четыре. Сел.

...Удар, пауза — взрыв!!! ...Запах удара в носу... Мешок с дерьмом. Во-нючка. Урод.

Честно говоря, он даже перестал верить, — нет, никогда не верил, — что двухколесный велосипед — это реальность. Реальной была боль, кровь, мертвая металлическая конструкция с рулем, цепью, колесами... Но велосипед! Ему даже казалось, что изобретена эта штуковина с единственной целью — чтобы разжечь в его неуклюжем, замшелом мозжечке этот гибельный, ничем не утолимый зуд. Нет, не укладывалось у него в голове — как, каким образом в бедном трехмерном пространстве может так запросто, на одном крыле, зависать эта по-стрекозы прозрачная, почти бестелесная плоскость. Где ниточки? Иногда он даже допускал малодушную мысль, что велосипед существует только в его воображении — не более (хотя и не менее) ощутимый, чем ковер-самолет и тому подобная всячина...

«Вам все это снится, — сказал психиатр. — Вы живете во сне. Ну, хорошо. Какого цвета ваш велосипед? Чаще всего?» «Розовый», — признался служащий. «Вот! — потер руки психиатр. — А вы говорите! Поллюции часто бывают?»

Время от времени случались аварии. Нет, грузовики его не сбивали — сам он тоже не калечил соседских кошек. До такого пилотажа дело просто не доходило. Потому что он, то есть служащий (все безнадежней застывая в очертаниях служащего), по-прежнему был неспособен проехать и метра. Аварии все случались простые, житейские.

Ну, например: он и девушка, большое и сложное чувство, мечты, что, когда, навсегда. (А велосипед с первого действия висит на стене, но пока не стреляет.) Взлетает и падает занавес... Снова взлетает... И вот кульминация: ночь, пригород, мигрень, аптека (допустим, что так), — в смысле, что эта аптека уже закрыта, и надо сгонять... где велосипед? А он не может, не может, не может! Позор и слезы. Между ними все кончено. (По сути, всегда так.) Бритва и вены... Бородатое лицо психиатра, склоненное с реанимационных небес... Сопли и письма... И наконец стойкое прозвище «недорезанный» — изящным довеском к гораздо более выразительному.

Конечно, вне всякого сомнения, должны были существовать какие-то материалистические объяснения его странного изъяна. То есть, уточним мы, обычные следствия в цепочке следствий, с детской незамутненностью выдающей себя за причины. Но, однако, не должны же мы, в самом деле, так далеко отрываться от предметно-чувственного субстрата жизни! Почему, например, молодой человек, вы до сих пор скрывали от нас, что одна нога у вас несколько короче другой? Ведь именно это обнаружили еще в детстве врачи. То есть другая нога, как обнаружили другие врачи, оказалась немного длинней. Почему?

Почему скрыл — или почему разные ноги?

Почему ноги.

Ну, это просто. Все мои предки в обозримом прошлом хаживали в революцию. На фотографиях их лица: вдумчивые, очень несчастные... Матушка, на сносях, бегала с прокламациями, застудила брюхо. Оттуда, я полагаю, моя романтическая колченовость. Ветер, ветер — на всем божьем свете... А вот почему она с прокламациями бегала... Впрочем, это не столь важно... Однако вы видите, что я, надо отдать мне должное, даже не хромаю. Тело имею полноватое, оно как-то там приспособилось, я даже очень недурно танцую (редко, но выпадает счастливый случай), — иначе говоря, где надо ходить, прыгать, бегать — я все это делаю. Опять же английский бокс, классическая борьба...

Вот врет же, врёт! В том смысле, что говорит полуправду. К примеру, какой там, к черту, английский бокс. Верно, что телесный изъян был кро-

шечный, сантиметровой, сам по себе он не мешал ни бытовому прямохождению (в его усредненном, довольно-таки неприязнительном виде), ни каким-то там правам-обязанностям пассажира общественного транспорта. Но тот, о котором речь, предпочел бы до конца дней своих подставлять под град ударов левую-правую-левую, только бы не дубасить по чьему-то, всегда с глазами, лицу, где красная кровь так легко и просто заливаает губы, подбородок, вздыбленный, как под пыткой, кадык...

Из секции классической борьбы его выгнали довольно быстро, потому что тренер не мог спокойно смотреть, — да и, конечно, никогда не выдывал прежде, — чтобы ученик во время работы прямо-таки заходился каким-то дебильным смехом. Но что делать, если ученику казалось комичным — деловито кряхтя, багровея, громко выпуская порченный воздух — наваливать свою тушу на тушу противника, чтобы потом, расставив толстые стопы, стоять в глупой позе чемпиона.

Что же касается баскетбола... О том он умолчал не случайно. Сей эпизод в его жизни оказался, мягко говоря, больноватым. Он обожал этот спорт двухметровых богов, ценящих минимальную заземленность — полет за мячом, с мячом, вместо мяча — и, пусть земля по-бабьи цепляется за ноги, — пробег, пробег, мы стряхиваем ее прах — прыжок... Кольцо баскетбольной корзины, сияющий нимб победителя!

Но всюду, где касалось полета, служащему было словно заказано. Сначала его в секцию баскетбола охотно приняли, даже выдав авансом поспешно преувеличенные надежды (и то сказать, тогда он еще не был служащим — зато в своем классе стоял самым первым по росту). Но уже через короткое время предательские железы взрослых взялись стремительно созреть, рост ввысь резко прекратился; одноклассники же, избежавшие столь бурной атаки взросления, долго еще накапливали дармовые сантиметры, невольно растянув детство по всей длине своих тел...

А он, вероломно обманутый собственной плотью, остался почти корытской.

«Вот видите: железы, — сказал психиатр. — Без желез никуда. И опять же: плоть. Вам часто снится секс?» Он выговаривал: сэкс. «Мне снится велосипед, я же говорил вам об этом». — «Ах да, розовый...» — «Я всю ночь сегодня на нем катался... Проснулся — даже простыня мокрая...» — «И вы что, серьезно не видите сходства между велосипедом — и женским половым органом? Голубчик мой, это же каждый школьник знает: все, что круглое, с дыркой, — то женское. Например, колесо. А в вашем случае, — психиатр одобрительно кивнул, — их даже два!» «Мне снится мой детский, трехколесный...» — тихо сказал служащий. «Вот видите!!» — вскричал психиатр.

Да, земля держала его накрепко, по-родственному уступая лишь стихии воды: он мог лежать на море часами — спать, не спать, снова спать, — вода, выполняя свои физические обязательства, держала на поверхности его тучную плоть, — но это ленивое лежание нигде не пересекалось с горячечной мечтой о велосипеде, который, чуть вздрагивая, стрекозой — нет, птицей, именно птицей — бесшумно мелькал на горизонте его взрослого мозга.

С моря дул бриз, с гор летел фен, играя нефритовой листвой кипарисов... Эти ветра были ничейны, еще не загажены человеком с его бытовым прищуром и вечной примеркой к хозяйственной пользе. И они были ничейны также в том смысле, что дарили себя всем без разбору — а не всем-то и были нужны.

А потом, на обратном пути, когда высунешь голову из окошка вагона, — там тоже живет не твой ветер — этакий красиво треплющий волосы кинематографический ветерок (как бы входящий в единый комплект железнодорожных услуг — вместе с ложечкой, дребезжащей в стакане, грязноватым матрасом, стопкой белья). Любой дурак купит себе билет — и ему

гарантирован, в соответствии с прејскурантом, именно такой ветер... Потянутся за окном осенние перелески, насыпи, рощи, психиатр-фавн будет мелькать здесь и там, ловко расставляя силки в дебрях бесконечного разговора... «Не опаздываем? Не выходим из графика?» — вскудахнут возле самого города сплоченные праздностью пассажиры, — и, как бы ни плелся поезд — или как бы он ни спешил, — все вернутся в исходные точки свои, как если б и вовсе не уезжали.

Но собственный ветер! Дикорастущий сквозняк! Громадные месторождения ветра — еще не названные, не обозначенные на карте, еще не тронутые ничьими губами! Я, только я, слившись с велосипедом, буду разматывать вдаль полевою дорогу, мой ветер будет мощно хлестать в отворенное русло, — поток, поток, воздухоносный поток! — неужто не отхлебнуть хотя б напоследок? Неужто это уже до конца? Господи, неужели — спальный вагон, затертая в сгибах газетка, чай? Проезжая мимо города Киева, с него ветром дуло панаму. Эх!..

Проходили годы, приходили новые журналы. Велосипед в разделе кроссворда именовался как «механическое транспортное средство, приводимое в движение ногами». Служащий мгновенно узнавал его, вписывал слово из девяти букв... Остальное время он с тоской глядел в зарешеченное окно конторы, заставленное вдобавок рулонами бумаги, геранью, старческими ответвлениями алоэ... какими-то банками с желтоватой водой...

«А!.. — сказал психиатр. — Давненько не виделись... Синячки под глазами, так, так... С чего начнем?» — «С велосипеда». — «Ах да, ну конечно.. Нарисуйте-ка мне его, знаете ли... Вот бумага, вот ручка... Так, так... Стул регулярный? Отлично. Что это? Руль. Отлично. Что вам напоминает руль? Быстро, быстро!» «Рога...» — неуверенно сказал служащий. «Вот! — сказал психиатр. — Другого ответа я от вас и не ждал. Вам жена изменяет?» «Не знаю...» — сказал служащий. «То есть как это: не знаю? — возмутился психиатр. — Вы же взрослый человек!» «Вот то-то и оно! — с отчаяньем вскричал служащий. — Вот то-то и мерзко!»

Рос сын. Ему уже можно было сказать: поддержи меня... я тут в парке... попробую... Сын крепко держал велосипед, давал советы, орал, заклинал, позорил, а став чуть постарше, уже просто ржал. И все-таки это был еще ребенок, подросток — и рядом с ним (в бессчетный раз рухнув на землю) можно было почувствовать себя тоже подростком, с разницей в несколько малозначащих лет. Они уединялись на дальних дорожках, в ландшафте милого летнего дня, и неуклюжий папа мечтал, что, может быть, этой своей беспомощностью он как-то зацепит любовную память сына...

«Дался вам этот велосипед! Дети в Африке не получают необходимых для их развития протеинов! Вы газеты хоть читаете? Да мало ли проблем! У меня третий день не работает холодильник, притом новый почти. В дельте Амазонки дохнет подвид синего крокодила! Ну и что? И тоже, как видите, ничего!»

Служащий смотрел в окно. Рамы были распахнуты. Он закрыл глаза, чтобы не видеть. Застучало в висках: крылатые куры, да нелетны... молодость пташкой, старость черепашкой...

«И вообще! — взорвался психиатр. — Сотни тысяч людей в мире не умеют ездить на велосипеде — и не делают из этого проблемы!.. Десятки миллионов!» — добавил он запальчиво. «Вот это меня как раз и добивает», — не открывая глаз, тихо сказал служащий.

Однажды сын сказал, что болит горло, попросил заглянуть. Отец велел подойти к окну — и там, надев очки, при свете ясного дня обнаружил, что у сына растет борода.

(Правда, и ангина была на месте. Горячий привет из детских кроваток.)

Когда сын поправился, они, как обычно, пошли в парк. Этим летом сын держал велосипед как-то рассеянно, отвечал отцу через пень-колоду и даже не очень издевался. Этим летом отец получил в одночасье сотрясение мозга и множественные переломы ног — закрытые, открытые, со смещением. (...Вырвавшись, велосипед сиганул с пригорка, мигом наметив в сообщники ствол ближайшего дуба... Не домчав метра, он судорожно тормознул — кому же охота калечиться, — но человека сумел-таки отшвырнуть, — причем кувырком, кувырком! Довольный собой, он долго еще вертел задним колесом, все не мог просмеяться... Человек, теряя сознание, поклялся, что, если выживет, собственными руками уничтожит это... сволочное... железо...)

«Жизнь есть цепь компромиссов, — сказал психиатр, хлюпнул, клацнул и ловко поймал вставную челюсть. — Необходимо снижать свои требования к жизни».

«Цепь... свободная передача...» — пронеслось в голове служащего.

Хочущий велосипедист — рубашка в волдырях ветра — обернулся и помахал рукой..

На будущее лето — нет, кажется, через пару лет — внуку потребовался трехколесный. Дед, заметно прихрамывая, пошел выбирать его с сыном — и выбрал точного двойника того, что катал его в детстве. Случаются же такие удачи!

Он и сам не мог объяснить, как такое оказалось возможным: в перевернутом с ног на голову мире, давно вытряхнувшем его с небес младенчества, вытолкавшем взащей в люди, на чужбину служащих, на заработки слез и болезней, в толпу взрослых усталых людей, в эту пожизненную эмиграцию, где никогда не привыкнешь и все тянет назад, — в мире, по сути, лишившем его дома, как мог в целости сохраниться детский атрибут со всеми того дома чертами?

И они с сыном понесли новому ребенку этот розовый, цветом в карамель, сверкающий велосипедик — с рулем-баранкой, пухлыми бубликами шин, хрюкалкой-звонком...

Вечером долго сидели на веранде. Психиатр пил чай с ксилитом, сердился, когда что-то не мог расслышать, забывал слова...

Двухколесный велосипед, зловещий угрюмец, между тем поджидал своего врага в дачном сарае. Он упрямо терпел осеннюю сырость, зимовал, стиснув зубы, а весной, когда лопаты, грабли, тележки, носилки — весь этот презренный инвентарь быта, родной брат навоза, — уже выпускали в сад, — когда это дрессированное стадо, отродясь ручное, неприхотливое, не знающее мечты, вечерами возвращалось с работ, в счастливой усталости распространяя пьяный запах земли, — велосипед только сильнее закусывал удила, из последних сил скрывая зависть, презрение, бешенство. Впрочем, в углу, где стоял он, вкусно пахло опилками, клеем, дикой жизнью котят...

...Враг пришел, распахнул дверь и вывел велосипед под уздцы. Каюк, решил велосипед. Рядом с врагом шел тот, помоложе. «Не надо, папа, зачем, папа», — мямлил сын.

Они пришли в парк. Стояло пригожее майское утро, непоправимо грустное в перевернутом бинокле заранее подступившего воспоминания. Было безлюдно.

Папаша, дедушка, вечный служащий (впрочем, совсем молодой дедушка и даже не предпенсионный работник) с привычной обреченностью поставил ногу на педаль, закинул другую, кивнув на подрамник сыну: держи.

И они трудно поплелись по знакомой дорожке (аллее потерь: зубов, гибких суставов, надежд), — тело, как всегда, было скованно и болело, руки добела вцепились в руль, переднее колесо бесстыдно вихлялось, заднее лягалось и злобно взбрыкивало на крупных камешках гравия; рядом с катафалком обреченно шагал сын, придерживая, где было велено.

В прежние годы из детской жестокости, а может, что равно, из любопытства, сын любил внезапно выпустить велосипед: ему казалось, что тут надо действовать, как в плавании, то есть послать на волю судеб. Конечно, отец незамедлительно — толстой ласточкой, кем-то подбитой, — летел в объятья всегда готовой земли. И может быть, непрерывно ожидая этого, ставшего дежурным, предательства, он ни на миг не мог ни расслабиться, ни собраться, то есть правильно соотносить сердце и тело. Еще на подходах к парку (в былые годы) он, наспех произведя формальные расчеты с самолюбием, вынужден был всякий раз сказать вслух эту ужасную, предназначенную для ушей сына фразу: «Не отпускай». Ничего перед носом не видя, он бубнил, подсакивая на ухабах, эту позорную формулу слабости, — честней говоря, канючил, канючил, канючил в течение всей пытки, то есть во все время, пока сын, презрительно сузив глаза, с явно показным послушанием держал руль. Но сколько бы они так ни плелись, сыну под любым предлогом удавалось убрать щенячьи свои лапы с руля и перейти на подрамник, а там уж непременно осуществить безжалостное вероломство. Иногда сын продельывал этот трюк, даже не прячась за отцовской спиной, просто убирал руки с руля, одновременно делая широкий и резкий шаг в сторону, — и так происходило из раза в раз, из года в год, но почему-то всегда неожиданно. Может быть (как ни жестока догадка), это и было негласным условием — или твердой таксой его эскортных услуг.

С годами эта забава сыну поднадоела. Его задиристость постепенно заглохла. Похоже, он перешел рубеж, за которым перестают ждать чего-либо не только от отца, но и от себя самого.

Они доплелись до просторной поляны, центр которой украшали березы. Гравий закончился, и велосипед задергался на кочковатой, сплошь в узлах подорожника тропке.

Поляну, со стороны парка, ярко обрамляли ели. Прямо в направлении взгляда они расступались, открывая полевою дорогу. Отец и сын обычно не заезжали так далеко, а добрались незаметно. «Отпусти», — сказал отец. Сын переспросил. «Отпусти!» — с силой крикнул отец.

Сын вздрогнул и отпустил. Руль крутанулся, колесо выдало крендель, врезалось в пенёк — человека швырнуло по плавной параболе — и вмазало в землю под деревом. Когда сын подскочил, отец уже успел сесть, откинувшись на локтях и (может быть, с излишним старанием) вольготно расставив колени. Глядя в сторону, сорвал молодую травинку, рассеянно надкусил... По губам, подбородку и шее, какая за ворот, текла кровавая юшка. Сын молча подал платок, отец молча вытер, вскочил, сел на велосипед, но, видно, не рассчитав, а может, нарочно, поставил вторую ногу на педаль раньше, чем сын взялся за подрамник, — рухнул тут же, как всегда, не отъехав и метра. На этот раз он не смог встать сам. Удар пришелся в то же место, причем зашибленное колено попало прямо на камень — единственный по всей долгой тропинке. «Вот так и получается рак», — виновато улыбаясь, сказал отец. Сын помог ему встать. Велосипед продолжал валяться, нагло приминая молодую траву. «Поедем назад, там ровнее», — сказал сын. «Нет, мне тут нравится», — сказал отец. «Что тебе нравится?» — спросил сын. «Я не знаю».

Было безветренно, ясно. На ель села сорока. Далеко сзади слышался поезд; смолк. «Я буду держать», — сказал сын. «Будешь?» — машинально переспросил отец.

Он шагнул к велосипеду — и увидел рядом с ним, в прошлогодней траве, что-то большое и темное. Это место еще не успело подернуться зеленью, здесь были навалены сучья, а то, что под ними, скрывала густая тень ели. Тайком от сына (сам не понимая, почему делает это тайком) он дрожащими руками протер очки. Потом сделал осторожный шаг и, стараясь заметно не наклоняться, взглянул.

На земле лежал человек. Черный парадный костюм выглядел почти новым. Человек лежал, прямо держа голову, вытянув руки по швам. Его

внешность была незнакомой, но, обученный опытом снов, служащий с первого же мгновенья знал, что видит себя.

Охваченный острой жалостью, он присел рядом.

Сын, судя по всему, не замечал того, кто лежал. Он видел только, что отец слегка отошел, присел; приняв это за перекур, сын машинально нашарил сигареты. Для очистки совести он все-таки бросил отцу в спину: «Ты в порядке?» — и, не вдаваясь в смысл рассеянного кивка, завозился со спичками.

Между тем тот, кто кивнул, сделав над собой усилие, потянулся к карману черного пиджака. При этом он, невольно склонясь к лицу, увидел, что лицо его сплошь состоит из земли. Из земли состояли и кисти рук. Остальное скрывал черный костюм. Он вытащил из нагрудного кармана пиджака паспорт и членский билет. Сорока на ветке зыркнула глазом в блеснувшие золотом буквы... По документам это тоже был он. Он лежал на земле в лучшем своем костюме и весь состоял из земли.

Задыхаясь от сердцебиения и какого-то странного злорадства, он принялся шарить в других карманах. В своем бумажнике он обнаружил месячную зарплату — ее размеры он знал и не ожидал от себя большего. Кроме того во внутреннем левом кармане пиджака оказались: копия свидетельства о рождении, справки с описанием его переломов (по рентгеновским снимкам), несколько фотографий 3 × 4, с уголками и без (в разные годы), копия диплома о высшем образовании, свидетельство о заключении брака (подлинник), квитанция из прачечной на получение белья, два рекомендательных письма — и копия свидетельства о рождении сына.

Он ринулся в карман брюк. Там, завернутые в полиэтиленовый пакет, стопкой лежали: испорченный листок по учету кадров, извещение на почтовый перевод, квитанция из ломбарда, фотография молодой мамы — вместе с предвыборной прокламацией ее партии (мелькнули слова: мы, мы), анализы крови и мочи пятилетней давности, истлевший рецепт с корявой сигнатурой: «Принимать при острой мигрени», читательский билет в зал научной литературы, направление на исследование желудочного сока, повестка в суд (в качестве свидетеля), результаты комплексного обследования сердца, отрицательная реакция Вассермана, синий билетик в кинотеатр «Сатурн» (29 ряд, место 16), электроэнцефалографическое исследование коры головного мозга (предварительное заключение), исследование жизненной емкости легких, направление, анализ, заключение, анализ, руководство по эксплуатации электрофона «Юность», анализ, направление на ВТЭК, анализ, договор найма жилого помещения, справка из жилконторы, исследование желчи, направление, анализ, анализ, гарантийный талон ремонта часов, направление, анализ, анализ, анализ, страшный счет за телефон — и развалившаяся в руках записка с его детскими каракулями: «МАМА НИВЫКЛЮЧАЙ СВЕТА БАЮСЬ ТИМНАТЫ».

Он снова пристально взглянул на лежащего.

Горло взрыхлилось, и оттуда вылез крот. Мгновенно пропало лицо: лоб завалился, нос и рот перемешались в бурой кротовине. Целыми остались только глаза.

Пристальные земляные глаза смотрели на него в упор.

Он протер очки, взглянул снова.

На него смотрели чужие глаза. Глаза были совсем не его! Лицо (то, что осталось), собственно говоря, было тоже не его. Он полез в документы: не он. Проверил еще раз. Паспорт и членский билет были не его. Судорожно перелистал справки: не он. Диплом был чужой. Чужое свидетельство о заключении брака. Чужая физиономия на официальных фотографиях. Анализы тоже были чужие! А мама, мама?! Чужая мама... Черт возьми, как он мог подумать, что это он? Как такое могло зайти в голову, как он мог в это поверить?!

Он вскочил, бросился к велосипеду. «Пошевеливайся!» — рывкнул на бегу сыну.

...Прежним способом они доехали до центра поляны, и здесь стало заметно, что березы быстро бегут хороводом. В конце полевой дороги не было ничего, кроме неба, и майский голос — мальчишеский, солнечный, как у Робертино Лоретти, — несколько раз сильно и чисто пропел: «Посмотри вверх!.. Посмотри вверх!..» Он взглянул вверх, в еще легкое весеннее небо цвета его глаз, его лучших снов, его безоблачной простодушной мечты, — и, боясь поверить, почувствовал, словно со щелчком, непривычное равновесие во всем своем телесном каркасе. Казалось, будто вдруг сработала ключевая и драгоценная формула сборки: руки-ноги, корешки-вершки — все пришло в единственно верное мелодическое согласие. Позвоночный столб уловил блаженное чувство баланса. Тело было на месте, сердце было на месте, земля была на месте — и на месте было то, что светило в небе. И, как только он ощутил это, ребячливый ветер начал трепать его лопухи-уши, бубнить на губах, холодить зубы льдистым ручьем, — ветер рвал прочь рубашку, чтобы отправить ее к птицам, ветер лохматил пряди волос — да! там было еще что лохматить! — и вот голубой поток с силой хлынул в пересохшее горло... «Папа, — кричит вдалеке сын, — папа!..»

Дорога хлещет мне прямо в сердце, мелькают пестрые красоты мира, ветер проходит навывлет сквозь мой зыбкий земной контур, — Господи, я, как сказочный царь, оглушен свалившимся на меня богатством, — не в силах понять ни величины, ни значения, ни причин этой нечеловеческой щедрости, — а главное, мне нечем ответить этому все нарастающему потоку (пискнуть разве: спасибо?), — свобода, я целую твои беспощадные губы, поток дается мне даром, я весь отдаюсь потоку, — может быть, это противоречит каким-то там законам физики, химии, геометрии, — может, это выламывается из рамок логики, диалектики, всемирного тяготения, — и, безусловно, это уже не относится к моим личным возможностям, — к черту объяснения, — я раскидываю руки, велосипед мчится на скорости счастья, — вот чудо, он же не падает, честное слово, не падает, я еду, еду, — возможно, лечу.

Санкт-Петербург



**Читайте в следующем номере  
кинороман Валерия Залотухи  
«Великий поход за освобождение Индии»**

---

---

ВЛАДИМИР СТРОЧКОВ

\*

## ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД

Я пока что еще не давал  
даже имени этому морю,  
я едва бандероль надорвал,  
я едва коробок откупорил,

а оно уже хлынуло из,  
и заполнило впадину глаза,  
и, расширив зрачок до отказа,  
зашумело, и сделало бриз.

Это вышло само по себе,  
словно джинн из соленой бутылки.  
Отвернись — ощутишь на затылке  
взгляд, сомкнувшийся на ворожке,

углубленный, прозрачный, сквозной,  
переменчивый, но неотступный,  
сквозь сознание, входящее в ступор,  
проникающий словно озноб.

\* \*  
\*

Шмель сладостно зудит внутри цветка  
и взрывает, как бомбардировщик.  
Иван синюшный, Марья из желтка,  
шмель плюшевый, ореховая роща,

коленные суставы ломких трав  
и клевера медовые сосочки...  
Шмель взлетывает, Марью потоптав,  
и едет к новой, пламенный и сочный.

Гулена, сластолюбец, сердцеед,  
от этих игр у Марьи могут дети!..  
А он приник, заныл, оцепенел —  
и вот уже вырывает к третьей;

и на роскошный, сказочный разврат,  
не выходя из солнечной нирваны,  
без ревности, но с завистью глядят  
синюшные, бессильные Иваны.



### Зимний дворец

Все вымокло. Осень по мелкой нужде  
бредет, оскользаясь, на мокрых котурнах,  
и Зимний — в осаде осенних дождей,  
и месяц всего остается до штурма.

К нему все готово. Трибуны стоят,  
и герб обесчестил фасад Эрмитажа  
временкой лесов. И летучий отряд  
из красных «икарусов» дремлет. И даже  
чернявенький ангел с крестом на столбе  
стоит, как матрос с трехлинейной винтовкой,  
хотя и высоко и сам по себе,  
но все же с народом: иначе неловко,

иначе его не допустят смотреть,  
как Керенский выйдет, а то и Романов  
на эти трибуны, чтоб массы согреть  
на треть алкоголем и на две обманом,  
как массы рванут под уздцы по местам  
сушить барахло и смотреть в телевизор,  
как Шукин, Лавров — или кто еще там? —  
горстями швыряет решительный вызов,

а может быть, бисер, а то апельсин;  
но сеятель ловок, и это неясно,  
да и несущественно, если висит  
над массой ладонь, словно запах над яством.

### Ожидание Одиссея

И опять эта флейта пронзительно воеет весь день  
или год или десять потеряна мера и время  
вертикальное солнце нет смысла отыскивать тень  
тени нет тень исчезла оставлена брошена с теми  
что ушли за корму неизвестно когда и куда  
и откуда куда бесконечная тянется пряжа  
протекают худые борта протекают года  
сквозь пустынное море пустынные скалы и пляжи  
и пустынные отмели банки пустыня пути  
замер парус отвисший как груди столетней гетеры  
весла еле гребут даже вещи устали брести  
волоча эту нить из конца и в конец атмосферы  
продевая сквозь мир где отсутствует связь и уток  
непомерную эту суровую эту основу  
расползается ткань бытия как истлевший платок  
как дорожка гнилая но снова и снова и снова  
опускаются весла чтоб воду устало толочь  
и тянуть эту нить что одна этот путь искупала  
и опять эта флейта пронзительно воеет всю ночь  
потерялась в пространстве галера и время пропало

---

---

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

\*

## ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ

*Роман*

### ДЕНЬ ШЕСТОЙ

**Н**ет, Ельню он, Зарубин, никогда не забудет и не простит. Не простит того унижения, смертельной той муки, какую там пережил.

Приданный дальневосточному курсантскому полку, он, командир полковой батареи, в первом же бою имел счастье видеть, как бьют зарвавшегося врага, и сам тому немало способствовал. Артиллеристы, не отставая от курсантов, перли на себе орудия и, когда утром появились танки, встретили их спокойным, прицельным огнем.

Но танки валили и валили из-за холмов, самолеты не давали поднять головы — час, другой, пять, день, вечность. Остатки курсантского полка и дерзких артиллеристов, оставшихся без снарядов, затем и без пушек, оттеснили в густой сосновый бор и срыли этот бор под корень вместе с людьми, оружием, лошаденками, с зайцами, белками, барсуками, волчьими выводками... А затем еще облили керосином с самолетов и подожгли. Десятка два оглушенных, полумертвых курсантов выползли ночью из горящего места, на котором сутки назад стоял древний бор, полный смоляных ароматов, муравьиных куч, грибов, папоротников, травы, белого мха, особенно много росло там костяники — отчего-то это запомнилось, может, потому, что ее кислыми ягодами смачивали спекшееся нутро, иссохший зев, горло, треснутые губы.

С ними, хорошо обученными курсантами, артиллеристами, умеющими за две минуты перевести старое, неповоротливое орудие в боевое положение, даже не воевали, их не удостоили боя, их просто закопали в землю — бомбами, — облили керосином, завалили горящим лесом...

С тех пор его, вроде бы невозмутимого человека, охватывал страх всякий раз, как только появлялись в небе самолеты. Никто не осуждал Зарубина: на передовой отношение к храбрости, как и к любой слабости, терпеливое, потому что каждый из фронтовиков может испугаться или проявить храбрость — в зависимости от обстоятельства, от того, насколько он устал, износился. А тогда, в сорок первом, быстро все уставали от безысходности, от надменности врага, от превосходства его, от неразберихи, от недоедов, недосыпов, от упреков людей, остающихся под немцем...

Лишь потом, когда немца обернули назад, когда нелепый вояка Одинец сшиб боевой самолет из трофейного пулемета, сам же, в поверженную машину залезши, содрал кожу с сидений на сапоги, развинтил отверткой какие-то приборы, одарил плексигласом мастеров, и те делали наборные ручки к ножикам и мундштуки, — Зарубин тоже залез в распотрошенный самолет, посидел на ободранном сиденье, покачался на пружинах и обрел некоторое душевное равновесие. Во всяком разе, теперь он уже умел пря-

тать страх, который, однако, терзал его и по сю пору: загудят самолеты — и начинается в нем свинчиваться все, сходят гайки с резьбы, под кожей на лице холод захрустит, и все раны и царапины на теле стыло обозначатся.

«Ну вот, сподобился, дождался, пусть не на улице, как дорогой отец и учитель сулил, пусть на небе нашем узрел праздник». Майор не заметил, как уснул. А над селом Великие Криницы, почти задевая плоскостями крыши, кружили и кружили штурмовики, пластали, крошили село и высоту сто. Уходили они с торжественным ревом, и ведущий непременно качал крыльями, ободряя мучеников, считай что смертников, бедующих на плацдарме.

Под гул и грохот орудий на сотрясающейся земле спал майор Зарубин и не знал, что в атаку пошла штурмовая группа Щуся, в помощь ей, отвлекающая на себя огонь, двинулась рота бескапустинцев, поднялись и остатки полка Сыроватко.

Майора Зарубина потребовали к телефону. Вычислитель нехотя, жалевючи, разбудил начальника.

— Ну ты и наробыв винегрету, Зарубин, — частил по телефону полковник Сыроватко, — на вилку чеплять нэма чего. Ты шо мовчишь?

— Сплю, имею право...

— Го, во хвокусник!

Зарубин знал, что Славутич — стародавний друг Сыроватко, и страшное известие оттягивал как мог, чего-чего, а хитрить война все же его научила.

Байковое одеяло, обозначив под собой трупы Славутича и Мансурова, приосело от сырости и земли, набросанной взрывами. От реки, вытянувшись по ручью, тащились люди. Впереди, с расстегнутой кобурой, держа пистолет у бедра, шагал лейтенант Боровиков, напуская на лицо решительность. Собрал он по берегу человек до ста. И когда этот разнокалиберный, чумазый, большей частью полураздетый, босой и безоружный люд сгрудился перед блиндажом, майор Зарубин, выпрямляясь, разжал до черноты спекшиеся губы.

— Стыд! Срам! Вы за чьи спины прячетесь? За ихние?! — показал он на одеяло, грязно просевшее по телам убитых. — Там, — показал он на реку, — там, на дне, лежат наши братья. Хотите туда? Без боя? Без сопротивления? — Зарубину не хватало воздуха. Шинель, накинутая на плечи, свалилась наземь, но он не замечал этого, зато бойцы разглядели портянку, подsunутую под широкий пояс комсоставских брюк, от крови засохших до левого сапога. И эта толсто слипшаяся онуча действовала пуще всяких слов.

Булдаков принес охапку сучьев, ножом отпластнул ошепину от дверного косяка, и скоро бойко запотрескивал огонек. Майор протянул руки к теплу.

— Олеха, Олешенька, подсади меня тоже к пече, а? — попросил Финифатьев.

Булдаков бережно приподнял сержанта, прислонил к рыхлой, сыплющейся стене блиндажа. Финифатьев, часто всхлипывая, отдыхивался.

— Это куда же он, псих-то, пазганул меня?

— В ключицу. Скользом, ниже плеча распорол, — отозвался Булдаков. О том, что под ключицей у сержанта розовым шариком пульсирует верхушка легкого, не сказал. Зачем пугать человека...

— Кось не задета?

— Вроде нет.

— Ну, тоды нишчо. Была бы кось, мясо завсегда нарастет. В тридцатом годе на лесозаготовках эдак же спину суком распорол. Кровишшы! Рататуй кричал, думал, хана. Нишчо, заросло.

— Ты бы, дед, не балаболлил. Хлюпает в тебе, — посоветовал Булдаков.

— Тут, товарищ дорогой, така арифметика — ежели вологодский мужик умолк, шшытай, шчо песенка его спета...

— Тогда валяй!

Майор слушал солдатскую болтовню не без любопытства, ожидая, что же все-таки скажет Финифатьев Шорохову, но его вполголоса, будто боясь кого спугнуть, позвали к телефону.

— Товарищ майор! Товарищ майор! — совали ему в руку телефонную трубку. — Возьмите скорее! Перехват. По-немецки говорят.

Майор лежа прислонил трубку к уху, но, слушая, начал приподниматься, опираясь на руку.

— В селе Великие Криницы, — начал он переводить, — взорван склад, разгромлен гарнизон. Генерал фон Либих убит. Высота сто взята. Село Великие Криницы обойдено, завтра может быть взято.

Зарубин бережно отдал трубку и, глядя в земляную стену, произнес горячим ртом:

— Было бы... позволил бы...

— А есть, товарищ майор, малость есть! — откликнулся понятливый Булдаков. — Эй, Шорохов, раскошеливайся!

Шорохов нехотя протянул здесь, в блиндаже, найденную флягу оберлейтенанта Болова.

Майор отер горло фляги ладонью, глотнул и ожженным ртом прерывисто вытолкнул:

— Так и быть должно. Мы сюда переправлялись врага бить, а не ждать, когда он нас перебьет.

— Жалко, — протяжно вздохнул Финифатьев.

— Кого жалко? Фон Либиха? — ухмыльнулся Булдаков.

— Насерю-ко я на фон Либиха твою большую кучу! — рассердился Финифатьев. — Мне деревню жалко.

Все примолкли. О деревне как-то никому и в голову не пришло подумать.

«Крепкие вояки немцы, — перестав слушать солдат, чтобы отвлечься от боли, размышлял майор Зарубин. — Но авантюристы все же и, как всякие авантюристы, склонны к хвастовству, следовательно, и к беспечности. Плохо охраняются, надеются на реку. Увы, и нас эта беда не миновала. Победы вскружили головы. Но победы нам даются огромной кровью. Дома еще воюем, а потери, наверно, пять к одному, вполне возможно, и больше... Кто доложит? Неотчего, неотчего нам пока чваниться. Народ наш по природе своей скромн, трудовой народ, и с достоинством надо служить ему, без гонора. Но и этот народ сделался чересчур речист, многословен, где и блудословен... — Майор вспомнил Слаутича, ощутил его рядом под одеялом, поежился. Отгоняя от себя ощущение холода смерти, путаясь в полусонной паутине, тянул, плел нить молчаливых рассуждений. — Изю всех спекуляций самая доступная и оттого самая распространенная и пагубная — спекуляция патриотизмом, бойчее всего распродается любовь к родине — во все времена товар этот нарахват. Любовь? У меня вон командир орудия Анциферов гаубицу любит, думаю, не меньше, чем невесту свою. Что ты на это скажешь? Для военного человека, распоряжающегося подчиненными, самого в подчинении пребывающего, готового выполнять свои обязанности — значит, воевать, значит, убивать, — любовь в ее, так сказать, распространенном историческом смысле, виде и понятии не совсем, думаю, логична. Когда военные, бия себя в грудь, клянутся в любви к людям, я считаю слова их привычной ложью, отнюдь не невинной. Невинной лжи вообще не бывает. Ложь всегда преднамеренна, и за нею всегда что-то скрывается. Чаще всего это что-то — правда. «Нигде столь не врут, как на войне и на охоте», — гласит русская пословица, и никто так не искажает святые понятия любви и правды, как мы. Вот ведь и я не люблю, а жалею людей: страдают люди, им голодно, устали они — мне их жалко. И меня, вижу, жалеют люди. Не любят, нет, — за что же любить-то им человека, посылающего их на смерть? Может, сейчас, на плацдарме, на краю жизни, эта жалость нужнее и ценнее притворной любви».

Пришел полковник Бескапустин, спугнул сон и бред, слышно — не один пришел, скоро прибедет комполка Сыроватко. «Буду лежать, не выйду наружу, пока не вытащат», — позволил себе слабодушие майор Зарубин.

— О то ж! О то ж! Сэрцэ мое чуло! — стоя на коленях перед отогнутым одеялом, схватившись за голову, качался полковник Сыроватко, которому уже успели рассказать, что и как получилось. — Та на який хер сдався ему той бляндаж?! Ой, Мыкола, Мыкола! Шо ты наробыв?.. (Зарубин не знал, что сказать командиру полка, чем его утешить.) Я до тэбэ приду, я до тэбэ приду...

Подвалившие на оперативку чины, сидя у ручья, хмуро косились на причитающего комполка, но он на них внимания не обращал.

Сыроватко пришел с врачом, тощим мужиком, у которого в тике дергались оба глаза. Врач осмотрел рану Зарубина при свете фонарика, сменил бинты, отодрав старые, дурно пахнущие лоскутья.

— Вам надо во что бы то ни стало эвакуироваться, — тихо произнес врач, — рана не глубокая и могла бы считаться не опасной, но здесь...

— Хорошо, доктор. При первой же возможности... Посмотрите, пожалуйста, и сержанта.

Финифатьев, благодарно глянув на майора, охотно отдал себя в руки врача, у которого бинтов было в обрез, из лекарств осталось лишь полфлакона йода.

— Пора, товарищи! — позвали с улицы. — На левом берегу не торопятся. Надо начинать. Обстановка-то...

— Как это начинать? — стариковски занудливо ворчал полковник Бескапустин. — С чего начнем, тем и кончим. Подождем их сиятельств.

Но «их сиятельств» оказалось на правом берегу всего ничего. Начальник штаба дивизии, переплывший на отремонтированной лодке Нэльки, сообщил Зарубину, что отдельно плывет Понайотов, привезет немного продуктов. Самому же начштаба, заметно нервничающему на плацдарме, пойма Черевинки показалась удавной шелью.

— Отчего ж костер не разведете? — спросил начальник штаба.

Угнетенное молчание было ему ответом. Он понял, что сморозил глупость, и попросил доложить обстановку, по возможности кратко. Длинно и не получалось, даже у Сыроватко.

— Так плохо? — удивился начальник штаба.

— И совсем не плохо, — возразил ему майор Зарубин. — Одолели реку, расширились, вчера взяли господствующую над местностью высоту.

— Дуриком! — подал голос из темноты командир отдельной передовой группы Щусь.

— И совсем не дуриком, а всеми огневыми и иными средствами, имеющимися в нашем распоряжении.

— Дуриком и отдадим, — не сдавался Щусь.

Снизу, от реки, двигалась группа, и Зарубин каким-то вторым зрением угадал сперва своего хитроумного ординарца Утехина, затем и Понайотова с Нэлькой.

— Товарищ майор, — присаживаясь рядом, вполголоса уронил Понайотов, — мы переправили немного хлеба и медикаментов.

— Шлите людей за продуктами немедленно! — распорядился вполголоса Зарубин, одновременно слушая командира полка Бескапустина, который уже не в силах был себя сдерживать — назвал переправу не военной операцией, а свалкой, преступлением, грозился куда-то писать, если останется жив, о безобразной подготовке к форсированию реки, об удручающих потерях, которые, конечно же, в сводках приуменьшены, если вовсе не замазаны.

— Вижу вот — для вас это новость? — тыкал он пустой трубкой в сторону растерянно топтавшегося, почти в речку им отесненного начальника штаба, приплывшего на оперативное совещание в хромовых сапогах, в небрежно и как бы даже форсисто, вроде мушкетерского плаща, брошенной на плечи плащ-палатке. — У вас там хитрые расчеты, маневры

один другого сложнее, грандиозные операции, а тут пропадай! Пропадай, да? — Полковник загнал-таки форсистого офицера в речку, опавшим брюхом затолкал его в воду и все еще выпуклой, ломовой грудью, будто круглый таз у него под гимнастеркой помещен, напирал на начальника.

Собравшиеся на летучку растерянно помалкивали. Сыроватко уже мокрым платком тер и тер совсем мокрую лысину. Из темноты выступил капитан Щусь и, как дитя, за руку отвел в сторону своего разнервничавшегося командира. Комполка не унимался. Сорвав уздечку с губ, будто колхозная заезженная кляча, Бескапустин рвал упряжь, громил телегу:

— Настолько грандиозные планы, что и про людей забыли! Боеприпасов нет! Продуктов нет! Зато крови много! Ею с первых дней войны супротивника заливаем...

— Авдей Кондратьевич! Авдей Кондратьевич!..

— Да отвяжись ты!

Щусь догадался подсунуть полковнику горсть табака, и комполка, изнемогший без курева, начал сразу же черпать табак трубкою с дрожащей ладони.

Начальник штаба дивизии, опустив хмурое лицо, поставил задачу на завтра: во что бы то ни стало удержать высоту сто и во все последующие дни всячески проявлять активность, отвлекая на себя внимание и силы противника.

— Обстановка скоро изменится. Резко изменится. Я понимаю — тяжело, все понимаю, но надо еще потерпеть.

Щусь, загородив своего командира полка, откуда-то из потемок завыил: если сегодня же ночью не переправят боеприпасы, не пополнят его батальон людьми — высоту не удержать, нечем.

— Мы и без того воюем наполовину трофейным оружием. Что же нам, как ополчению под Москвой, тем бедолагам, академикам и артистам, брать палки, лопаты и снова идти на врага — добывать оружие?..

«Сейчас приезжий чин спросит фамилию у этого дерзкого офицера», — привычно испугался Бескапустин, но в это время подошли люди с носилками, рюкзаками, и, воспользовавшись замешательством, начальник штаба поскорее попрощался.

— Хоть плащ-палатку-то оставьте — у нас раненых нечем накрывать, — пробурчали из темноты, — и табак.

Путаясь в шнурке, затягивая удушливую петлю на шее, начштаба догадался наконец сдернуть плащ-палатку через голову, свернул, сверху положил початую пачку папирос и, шаря по карманам, расстроено твердил:

— Я доложу... Я обо всем, товарищи, доложу...

Дождавшись, когда все разойдутся, Понайотов, не сдержавшись, приобнял майора Зарубина.

Рюкзак с хлебом, котелок сахара и сумочку соли тут же отправили в батальон Щуся. Поделились харчем и с ротой Боровикова, так теперь называли бойцов, собранных по берегу и сформировавшихся в подразделение, оборонявшее правый фланг плацдарма. Три булки хлеба и весь остаток сахара назначено было отделить раненым в полк Сыроватко. Бескапустинцам ничего не досталось, однако Понайотов пообещал, что две лодки, привезенные аж с Десны, всю ночь будут ходить от берега к берегу и кое-что доставят сюда.

Бескапустин ушел к себе, ни с кем не попрощавшись, лишь глянул уничтожительно на хитроумного Сыроватко, ни в чем его не поддерживавшего.

— Сейчас же, — приказал Зарубин, — немножко табаку и хлеба передать Бескапустину. Но не с этим, — ткнул он пальцем в развалившегося на полу Шорохова. — Уворует! — Майор повременил и обратился к Понайотову: — Все привязки огней, цели, ориентиры и рисунок передовой линии покажет тебе Карнилаев на моей карте. Думаю, наутре немцы обязательно будут отбивать высоту. — Он опять сделал паузу, отдышался. — Шестаков, Алексей, проводи меня.

— А мы вас на носилочки, на носилочки, — засуетился вокруг него ординарец Утехин, и майор, морщась, подумал: как, отчего, почему этот удалец остался на том берегу?

— Да, пожалуй, — согласился Зарубин, — до берега мне уже не дойти...

К лодке несли майора вчетвером: санинструктор, ординарец, Лешка и кто-то из подвернувшихся солдат.

— Несите, несите! — отступив в сторону, крикнула из темноты Нэлька, уединившаяся с капитаном Щусем. Она погладила лицо комбата, привалилась к его плечу. — Одни мослы остались...

— Вши мослы не изгрызут. Ты вот что, забери этого дурака Яшкина. Загибается он.

— Следующим заплывом, если не потонем. Ты подождешь?

— Не могу. Надо к утру готовиться. Шибко-то не ластись — вшей на мне...

— Стряхнем, разгоним...

— Потом, потом!

— Алеш! Алексей Донатович! Ты какой-то... Будто не в себе.

— Да все мы тут не в себе.

— Алеш! Алексей Донатович! Живи, пожалуйста, живи, а?

— Лан. Постараюсь. Не сердись.

— Да не сержусь я. Давно уж ни на кого не сержусь, на Файку рыкну иногда, но она, как овечка, безответна.

Среди полураздетых, кое-как перевязанных тряпками раненых Лешка быстро нашел кормового.

— Чалдон-сибиряк тут есть? — только крикнул Лешка, как из тьмы возник раненый, показывая руки: целые, мол. Лешка сунул кормовое весло в эти охотно протянутые руки.

Тяжело виснувших раненых все волокли и волокли.

— Ут-тонем! Грузно! — залепетал, контуженно дергаясь, молодой солдатик, уже попавший в лодку.

— Ничего, ничего. Сестрица, можно без носилок?..

Майор Зарубин все понял, сам скатился с носилок на мокрое днище лодки.

— Грести? Кто может грести? Только без обмана. Нужно второго гребца — на лопашни.

— Сможем, сможем! Хоть через силу, хоть как, — посыпали раненые, оттирая друг друга от лодки.

Лешка забрел в воду, потыкал пальцами в шинель, нащупал руку майора, задержал ее в своей. Испытывая чувство, которого он стеснялся, майор сказал совсем не то, что хотел сказать:

— Звездами Героев я не распоряжаюсь, но Слава тебе и Мансурову...

— Да что вы, товарищ майор! Об этом ли сейчас? До свиданья, товарищ майор! Выздоровливайте скорее, товарищ майор. — Лешка навалился на скользкий обнос лодки, с трудом оттолкнул ее и какое-то время стоял в мелководье с протянутыми руками, ровно бы удерживая лодку или надеясь, что она вернется к ним.

Раненые гребли сначала суетливо, вперебой. Мужик, что сыпал вятским говорком, став на колени, начал рывками толкать весла, помогая гребцам, — дело пошло согласованней, лодка, уменьшаясь, удалялась. Лешка удовлетворенно закинул за плечо ремень автомата, высморкался и пошел. Следом слышались торопливые, на бег переходящие, шаги.

Утехин шаркался во тьме, спотыкался, падал в подмоины, приседал под пулями. «Ничего, повоюй, потерпи, поклоняйся пулям. Изварлыжил-ся, мордован», — испытывая удовлетворение, злорадствовал Лешка.

— Тут че, все время так?

— Днем будет хуже.

— Пропа-ал, пропа-а-а-ал! И че меня сунуло в лодку?

«А чем ты лучше нас? Чем? Почему мы тут должны пропадать, а ты жить? Почему?» — злился Лешка и сказал громко:

— Запомни! Если вобьешь себе это в голову, в самом деле пропадешь

Когда он доложил начальнику штаба полка, что в их распоряжение прибыли еще один боец, мерекающий в связи, Понайотов обрадовался:

— Кстати, кстати! А то, я гляжу, здесь работать некому, зато на другой стороне дружно идут дела, контора пишет, повар кашу выдает

— А Бикбулатов водяру, — врезался в разговор Шорохов.

— Да че я мерекаю в той связи? Че? Подменял дежурных, и только.

— В Красной Армии есть правило: «Не слушаешься — накажем! Не умеешь — научим!» Забыл?

— Ниче я не забыл.

— А раз так, садись к телефону, наутре сменим.

Вернувшись в блиндаж, Лешка посоветовал Финифатьеву спуститься к берегу и попытаться счастья. Сержант долго кряхтел, собираясь, еще дольше прощался со всеми, но под утро вернулся, удрученно присел на кукурки возле печки.

— Там такое... Не приведи господи! Девчонка эта, Нэлька, — дока! Углядела маньдюка одного — завязал голову бинтами, кровью измазался и тоже в лодку норовит. Она повязку-то сорвала и как аркнет: «Убейте его!»

— Ну и...

— Забили, как крысу. — И ровно бы утешая слушателей или себя, со стоном выдохнул: — И хорошо, што в ту лодку я не попал, — опрокинулась она от перегрузу. Уж помирать — дак на суше. Деваха та не знай, утонула али нет. Сходили бы, робяты, а? Обогрецца бы ей, коли жива.

— Хлопца своего похороните. А Мыколу я забэру, — сказал спустившийся к ручью Сыроватко, ему надо было выговориться, излить душу. — Похороним его на крутом берегу, як батько его. Пионэры мимо пойдут, квиток на могылу кынуть... — Сыроватко снова закачался. — Ах, Мыкола!.. Зачем ты ране мэни загынув?

Смущенные чужим горем, все кругом притихли. Сыроватко начал рассказывать Понайотову, но скорее вспоминать для себя, как учились они с Мыколой Славутичем в военном училище и как, на удивление всем, совершенно разные — даже лысины и те непохожие, — подружились навсегда.

Может быть, Сыроватко еще долго занимался бы воспоминаниями, но за дверью блиндажа послышался шум, крики. Понайотов попросил узнать, что там такое.

— Пленные дерутся, — доложил Лешка. — Старший младшего душисть принял.

— Вот еще беда! — с досадой произнес вычислитель Карнилаев. — Пленных не знаем куда девать. Зачем брали?

— Уничтожить их к чертовой матери! Расстрелять как собак! — зло, на чистейшем русском языке выпалил Сыроватко. Понайотов поежился. Попав на родную землю, увидев, чего понатворили здесь оккупанты, украинцы, мирные эти хохлы, начали сатанеть.

— Нельзя нам, — сказал Понайотов. — Нельзя нам бесчинствовать так же, как они бесчинствуют. Мы не убийцы. К тому же, видел я, один — совсем мальчишка. Дурачок. Грех убивать глупого...

— Ну и цацкайся с теми фрицами, колы захапыв. Мэни шо? — И попросил уточнить на карте несколько изменившуюся конфигурацию передовой линии.

Когда Сыроватко наконец-то ушел, Понайотов приказал пленных отвести на берег и раненым отправляться туда же — может, до утра переправят, здесь утром начнется стрельба.

За Черевинкой постукивали лопаты, тихо переговаривались бойцы, копая могилу, решали: одну малую ямку копать под Мансурова или уж разом братскую могилу затевать — для всех убитых, собранных по речке; посоветались маленько и порешили — пусть немцы роют яму под немцев,



русские — под русских. Набрал команду из войска лейтенанта Боровикова, Шестаков повел ее к желобу, на окраину деревни — попытаться унести трупы товарищей.

Трупы никто не убрал, они глубже влипли в грязь, начали вращаться в землю. Выковыряли убитых из земли, проделали обмотки под мышки и, впрягшись, волокли вниз по речке. Лешка волок Васконяна, и тот в пути все за что-то цеплялся. И к братской могиле Васконян и его товарищи прибыли почти нагишом. Да не все ли им равно? Свалили убитых в яму, прикрыли головы полоской из брезента, постояли, отдыхаясь. «Ну-к че? Давайте закапывать», — предложил кто-то. «Как? Так вот сразу?» — встрепенулся лейтенант Боровиков. «Да-к че, речь говорить? Говори, если хочешь». Боровиков смутился. Закапывали не торопясь, но справились с делом скоро: песок, смешанный с синей глиной, — податливая работа. «Был бы Коля Рындин, хоть молитву бы почитал, — вздохнул Шестаков, — а так че? Жил Васконян — и нету Васконяна. Это сколько же он учился, сколько знал, и все его знания, ум его весь, доброта, честность — поместились в ямке, которая скоро потеряется, хотя и воткнули в нее ребята черенок обломанной лопаты...»

Сделалось холодно. Лешка переоделся в сухие штаны и гимнастерку, снятую с убитого и кем-то ему закинутую в норку, скорей всего опять же Финифатьевым. Хорошо, что белье сухое сохранилось, а то пропадай. Лоскуток брезента да мешок подстелил под себя, но все равно колотило. Зато вошь умолкла. Вошь здесь была малоподвижная, белая, капля крови просвечивалась в ней насквозь. Та, чернозадая, верткая, про которую Шорохов говорил, что ежели на нее юбку надеть, то и драть ее можно, куда-то исчезла. Наверно, эта оккупантка, белым облаком опустившаяся на плацдарм, прогнала иль заела ту, веселую, хрястко под ногтями шелкавшую, общественно-колхозную скотинку.

Голодная слабость, полусон или короткое забытье, и снова в глазах, будто спичечная головка, торчит осенняя звезда. Лешка лежал возле свежего холма на спине, смотрел в небо, по-осеннему невыразительное, льдистое. Августовский звездопад давно прошел, и зерна звезд, как и зерна хлебные с пашен, сыпались в небесные закрома. Вспомнилось поверье, будто каждая звезда — это отлетающая душа, и он, в который уж раз, угрюмо отметил, что приметы создавались в мире для мира и потому здесь, на войне, совсем не годятся, иначе на месте неба темнела бы мертвая, беспросветная пустота.

С реки наплывал холод, предчувствие снега чудилось в невесть когда и откуда пришедшем дожде.

Лешка не мог согреться и в норке, полез в блиндаж, забитый народом до потолка.

— Кто там? — спросил из темноты Булдаков. — Ты, тезка? Разбей ящик, который у наблюдателей, в печку надо подбросить.

— Я, однако, заболел, — принесся дровец и протискиваясь с ними к печке, произнес Лешка.

— Кабы, — отозвался Булдаков, принимая дрова. — Тут не болеют, тезка, тут умирают... У меня вон ноги свело — уснуть не могу.

— Робяты! Откуль это покойником-то прет, аж до тошноты? — втягивая носом воздух, спросил из темноты Финифатьев.

— Хоронили мы... в грязе они навалились — уже запахло.

— А-а, ну царствие небесное, царствие небесное. Как собак, без креста, без поминанья. — Финифатьев всхлипнул, видимо думая о себе и своей дальнейшей участи.

Стояки, двери в блиндаж, стол, полка — все пошло в печку: скоро уходить из этого рая. Но все же пригрело, распарило. Забывшиеся под крышу изнуренные люди, тесно прильнув друг к другу, слепились, забывшись в каменном сне. Лешку кто-то больно прижал к железному ящику, на кото-

ром еще недавно сиживал и подшучивал над своим связистом обер-лейтенант Болов.

«Эх, тетка, тетка, и в самом деле заболеть бы тебе — я бы и тебя и деда в лодку к Нэльке завалил»

Печка прогорела. Булдаков уснул. И все наутре уснули только шуршал и шуршал дождь осторожно, миротворно

На рассвете Лешка сменил Шорохова у телефона. Одежонка на нем высохла возле печки и воздух в нос шел хотя и загустело с соплями, однако в дырки шел не застревал Ободренный сном проверив связь, он плавно перешел в мыслях к дому, разом преодолев десять тысяч километров...

В полуразобранном но все еще погребом пахнущем блиндаже было знобко Всхрапывал уползший на нары Булдаков, рядом с ним украдчиво постанывал Финифатьев скулил беспокойно ординарец майора Утехин. Лешка зевнул и порешил, что если он этот человек, и во сне будет бояться его непременно убьют Сменить Лешку на телефоне должен Шорохов — так уж повелось здесь, на плацдарме, что у двух телефонов дежурит один телефонист. Шорохов забился в глубь нар, ближе к лазу, который вел наверх, где стояла немецкая стереотруба. Совершенно произвольно этот человек оберегал себя, устраивал свою безопасность и спал он вроде сном зверя — как бы и крепко, но при этом отчетливо слышал приблизившуюся явь. На секунду воспрянув от ена, рычал: «А-а-а, в рот!..» — и отпихивал от себя Карнилаева, вычислителя. «Ат фрай-ер, к бабе своей липнуть привык! — рычал Шорохов, утягивая голову, руки глубже в шинеленку, но ласковый, нежный Карнилаев полз и полз к живому, теплomu человеку, что-то мыча, чмокая губами. — Ты получишь в рыло! — взлаял Шорохов. — Нашел шмару, жмет, лапает, того и гляди засадит!»

Понайотов, привыкший жить в удобствах, не спал, стараясь сохранять тепло, лежал не двигаясь, слушал, как зуммерят и переговариваются сонными голосами телефонисты, чувствовал, что Шестаков, изнуренный переправой связистской работой, перетаскиванием и похоронами товарищей, изо всех сил борется со сном, хотел, чтоб он скорее дождался перемены — во взводе управления отмечали этого смуглого паренька с узким разрезом орехово-лаковых глаз, с наметившимися реденькими усами, послушного, исполнительного, но характером самостоятельного.

Наступил час той последней усталости, отъединенности от мира и войны, когда все человеческое расслабляется. Час, когда действует разведка и просыпаются повара.

Ракеты взлетели одна за другой. «Наша разведка у немцев шарится», — порешил Лешка. Печку топить было нечем, но и выходить под дождь, как бы растворившийся в воздухе кисельно зависший над землею, было выше сил

Опять стихло. Теменью накрыло все вокруг. Но и малого отсвета ракет, пробивающегося под навес и в проем, хватило, чтобы заметить, что вычислитель Карнилаев не спит. Сполз к погасшей печке, прислонился спиной к земляной стене, смотрит перед собой круглыми очками с ломаной-переломаной серебряной оправой. Жутко от его взгляда.

— Ты че? — разжал губы Лешка. — Че не спишь, Карнилаев?

Вычислитель не отзывался и не шевелился. Весь взвод управления артиллерии полка знал, что Карнилаеву изменила жена.

Солдатики, конечно же, представляли изменщицу неотразимой красоткой — но она обладала всего лишь кокетливо-игривым нравом опереточным птичьим обаянием. И этого вполне хватало для таких простаков, как Карнилаев.

Часовой в отдалении отчетливо сказал

— Стой! Кто идет?

Оказалось, из батальона Шуся, командир роты Яшкин и его сопровождающий ищут фельдшерицу Нэльку. Часовой объяснил им, как пройти к берегу.

— Тут совсем недалеко. Не отпускайтесь от ручья.

Взяв автомат наизготовку — самый глухой час пошел, боясь всякого куста, — часовой помог Карнилаеву наломать чаши, возле блиндажа все уже было выломано и сожжено.

Шорохов ворчал — чаща сырая, матюгнул еще раз для порядка очкарика Карнилаева. Печка не разгоралась. «Может, пороху натрясти из патронов и все же поджечь хворост, — вяло размышлял Шорохов, — да побудишь всех шумом. Ну его! Бывало и студенее!»

Шорохов чувствовал себя на войне хорошо, ему казалось, что вышел он на дело и то дело рискованное подзатынулось. Только не расслабляться, не лезть на рожон, не писать против ветра, стало быть, не переть против начальства, сколько его тут, на фронте, особо подле фронта! А в остальном — живи не тужи, не давай себе на ногу топор ронять, не соглашайся раньше времени пропасть — вот и вся наука. А ему пропадать нельзя. Он посулился выжить и достать того чубатенького, галифастенького, ласковенького полковника, что судил не за хер и осудил в двадцать первом полку считать что на смерть. Много раз многие мордovorоты судили Шорохова, и сроку набрал он много. И фамилия Зеленцов была у него не первая, да и Шорохов — не последняя. Но никогда не возникало желания подняться против темной силы, его сломавшей, корень его надрубившей, а вот чубатенький этот, говорунчик-побрякунчик, воплотил в себе лютое зло, с детства на Шорохова навалившееся, и пока он не наступит на горло, не оторвет тому злу, как болотной змее, седенькую головку — не будет середь людей на земле спокойствия и порядка, по Коле Рындиному — милосердия. Блажной мужик Коля Рындин, но рек Боже, не то что эти попки-комиссары: борьба, борьба, борьба... С кем? За что?

На родине меж камней, на супесных полосках росло жито — колосок от колоска не слышать голоса, — маялась низкорослая, туманами измыленная картошка, едва зацветя, роняла плети, все, что по строгому кремлевскому указу могло походить на кулака, давно уже раскулачено, разорено, выгнано из села Студенец в болота. Жили в этом селе от века не скотом и хлебом — рекой и рыбой жили. Кулачить некого, описывать нечего — бедняк на бедняке, голь голью погоняет. «Мое дело маленькое. Мне чтоб план по району выполнялся. Думайте, думайте, мужики, иначе вместе к стенке встанем...»

Мужики-поморы мудрые придумали выход: явились всем населением к рыбаку Маркелу Жердякову, пали малые и старые на колени. «Маркел, пострадай за народ! Запишись в кулаки. У тебя всего двое ребят и на ногах уж оне...» Дрогнуло сердце Маркела: «Ладно, кулачьте!»

Довольны мужики. Доволен молодой уполномоченный. Загуляли вместе. Мужики по пьянке проговорились, указали орлу комиссару, где прячется отставшая от выселенцев девчонка, малолетка еще, но живая ж, все у нее и при ней — по чертежам господним расположено, сгодится.

Комиссар выковырял из захоронки девчущку, затащил ее в избу Жердяковых на печь — проявляя бдительность, он вместе с понятым ночевал в избе выселенцев, чтоб ночью не ушли куда иль по реке не уплыли.

Всю-то ноченьку глумился над девчонкой комиссарик. Слыша пустынный писк и стон, исторгаемый девчущкой, никто голосу не подавал. Лишь понятой беспокойно ворочался на полу, завистливо вздыхая: «Во порет контру комиссар! Во как он ее беспощадно карает! Оставил бы хоть понюхать...»

Бабка, молившаяся во тьме, не выдержала, завохтала: «Отольются, отольются вам, супостатам, и эти невинные кровя и муки...» Комиссар как аркнет с печи: «Какая гидра пасть дерет?» — и для изгального куражу, не иначе, ка-ак из нагана жажнет! Польмя сверкнуло, горелым порохом запахло. Тут уж все, даже и понятой, перестали шевелиться, и старуха заткнулась.

Утром ссаживали Жердяковых на подводу, мать и бабушка давай народу кланяться, за что-то просить прощение. Комиссар стоял на резном крыльце с уже кем-то в щепье искрошенными перильцами, курил, плевал-

ся, яйца, слипшиеся от девичьей крови, неистово царапал, поскольку был он дик и ни о чем, в том числе и о половой культуре, понятия не имел, зато в политике дока — по его наущению до самой поскотины студенческие подрастки и деревенский дурачок Ивашка гнались за подводой, били камнями высленцев Жердяковых. «Бей их, бей кулачье! Бей кр-рово-сосов!..»

В дальнем-предальнем углу памяти отпечаталось: бежит он, Никитка Жердяков, по болотистому, вязкому следу за подводой, заплетаясь в кореньях, падая в торфяную жижу, а отец настегивает коня. «Тя-атя! Тя-атенька-а! Я-то... Я-то... забыли меня-то-о-о-о». Мать отворачивалась, закрывала полой голову сестренки; дед с бабкою дырами шевелящихся ртов выстанывали: «Храни тебя Бог, Никитушка-а-а! Храни тебя Бо-ог!» Так и уехали, исчезли за лесистым поворотом родные его навсегда. Он же все бежал, падал, бежал, падал.. Его подобрали рабочие торфозаготовительного поселка. Назавтра дали ему в руки лопату — зарабатывай себе на хлеб и строй социализм. Было ему тогда четырнадцать. Ныне уже под тридцать, но нет-нет и увидит во сне, как бежит по болотистой дороге вслед за подводой и никак не может ее догнать, дотянуться рукою до родных своих людей

Два года строил Никита Жердяков социализм, потом надоело. Надоела борьба за всеобщее счастье, добывать его лично для себя было куда как интересней и ловчее — среди бывших зэков-блатняков вербованной хевры, которые и составляли основное население индустриального предприятия, возводящего здание социализма.

И пошло-поехало: тюрьма, этап лагерь и новое, передовое индустриальное предприятие, только уж под охраной и по добыче угля каменного Побег грабеж первый мокрятник, не очень ловкий, не очень кровавый. Снова кэпэпэ, тюрьма, лагерь, предприятие индустрии, на этот раз потяжелше — добыча золота на Колыме. К этой поре Никитка Жердяков сделался лагерным волком, жившим по единственно верному закону: умри ты сегодня а я завтра.

Жердяков — он же Черемных, Зеленцов, Шорохов — прижился в лагерях, как дома себя чувствовал, выпивку жратву имел порой и маруху. В одном лагере умельцы подкоп сделали, по веревочным блокам из женского лагеря марух таскали и пользовались до отвала, расплачивались за удовольствие пайками.

Продав ухажеров один «активист». Активиста того, как Иисуса Христа, к бревну сплавными скобами прибили и вниз по течению реки пустили. За две пайки хлеба, за спичечный коробок махры, за флакон политуры Никита перекупил место на нарах, номер и фамилию Черемных. Там, в блатном мире лагерников, то же, что на войне: все время настороже и в напряжении держись, есть где и чего увести, а если не совсем дурак, лучше всего к «патриотам» примазаться. Но против этого восставала натура гордого зэка — не хотел нигде быть дешевой, и все тут. Шорохов считал, что живет умней и содержательней всех этих «патриотов».

В штрафной роте Шорохов участвовал всего в двух боях. Он уже в первой атаке сообразил, что тут долго не прокантуешься, во второй уже подставлялся, и фриц-меткач, дай ему бог жизни и здоровья, всадил пулю будто по заказу — в бедро, не повредив кость. Перевязал сам себя Шорохов и пополз в сторону санитарного поста, не забывая в пути обшаривать убитых. Тогда-то и надыбал архангельского парня по фамилии Шорохов, по имени Емельян, по отчеству Еремеевич, его, Никиты, года рождения. «Прости и прощай, Емеля!» — и на санпост явился уже Шороховым. Память крепкая, голова посторонним не забита, никогда не сбивался, начисто забыв свою предыдущую фамилию и все прочие биографические данные.

У него одна цель: выжить и достать, во что бы то ни стало достать того трибунального соловья. Емеля Шорохов, сладостно замирая, явственно видел как всаживает свой косарь во врага своего...

Беда не ходит в одиночку, беда, как вода, откуда хлынет — не угадаешь.

Немцы обнаружили-таки связь, проложенную с берега к высоте сто. Шуть и то дивился, что немецкие связисты до сих пор на нее не напоролись. И засеки они русских нечаянно, исправляя порывы и подсоединившись к чужому концу. В потемках произошло это, не иначе. Усекли фрицы неладное, когда по линии шел ликующий треп по поводу взятия высоты и разгрома штаба дивизии в Великих Криницах. Дотрепались! Добрагосуществовали! Допрыгались! Теперь перещупают все нитки связи!

Комбат предупредил командира полка и Понайотова, что утром на день связь будет отключена и подключаться батальон сможет только в случае крайней необходимости, на короткое время. Ночью же, пока лежит связь, надо переделать все дела, со всеми переговорить, все уточнить и, главное, спровадить с передовой этого хиложопого героя, чего доброго, умрет в окопе своей смертью — вот диво-то будет.

Нэлька Зыкова сидела на камешке возле воды в шинеленке, кем-то из раненых накинутой ей на плечи, сушила своим телом мокрое белье и гимнастерку со штанами. Лодка опрокинулась неподалеку от берега, почти всех раненых удалось выловить и вытянуть на сушу. Несчастные эти люди позалезали обратно в норки, выли там от боли, холода, безнадежности. Пока возились с ранеными, бежали взад-вперед, орали, матерились, лодку отбило на стрежень. Немецкий пулеметчик, затаившийся на яру, продырявил пустую посудину в решето.

Увидев Нэльку, одиноко, будто Аленушка, сидящую на камешке, Яшкин, отослав сопровождающего, подошел, сел рядом.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте. Вы кто будете?

Яшкин сказал. Нэлька, не открывая глаз, поклацывала зубами.

— Мне Алексей Донатович про тебя говорил. Че ж ты? Героизмом хочешь родину потрясти, так она у нас и без того до основания потрясенная.

— А мы ведь с вами знакомые, Нэля. Давно. Да все не было случая разговориться.

— Вот как?! Не на танцах?

— Нет. Какие уж там танцы. — Володя Яшкин рассказал Нэлке про окружение под Вязьмой, про то, какой был ад, когда прорывали кольцо. — С вами еще девушка была, Фая, по-моему.

— Она и сейчас со мной. Она и приплывет за нами. Она не бросит. — Нэля со свистом втягивала воздух, ежилась. — Земной шар все же круглый — нет-нет да и повстречаю своих крестников на боевом пути. — Она покосилась в его сторону. — Раз я тебя спасла, помоги и ты мне, обними, к себе прижми, а то я скоро очокурюсь.

Яшкин послушно расстегнул шинель. Обняв лейтенанта, Нэлька разочарованно уронила:

— Телишка в тебе... Но все же маленько греет.

Яшкин хотел сказать или спросить, отчего она не уйдет в блиндаж, но тут же и понял, что в блиндаже Шорохов-связист или тот, забулдыга Булдаков, непременно полезут с разговорами, а то и лапой в штаны. С сорок-то первого на фронте мающуюся, ее уже вдосталь полапали, обтередили, словно цыпушку...

Чуть угревшись, Нэлька задремала, благодарная лейтенанту за то, что он ее воспоминаниями больше не тревожит. Не хочет она никаких воспоминаний, устала от них. Дождаться бы скорее подругу. В сорок первом, с дней окружения, свела фронтовая судьба девушек и развела лишь один раз, когда Нэльку ранило под Сталинградом.

Нэлька Зыкова происходила из рабочей семьи, отец ее работал в прославленном революционном месте — в красноярском паровозном депо, котельщиком, ремонтировал и очищал от накипи паровозные котлы. Чего уж он с этими котлами утворил, ни за что не угадаешь — там и вытворять-

то нечего, антикипин, в который входит каустическая сода и дубовая кора, даже не воровали — никуда сей химический элемент не пригоден. Может, котел хотел взорвать работяга? Но бдительные органы не допустили этого чудовищного акта, целый выводок деповских деятелей загребли и немедленно расстреляли за военным городком, возле скотом отоптанной речушки Бадалык. В семье котельщика Зыкова одни бабы: дочек четыре штуки да мать Авдотья Матвеевна. Верховская родом, значит, с богатых верховьев Енисея, она вместе с молодым мужем на плоту приплыла в краевой город в поисках работы в начале двадцатых годов, и после долгой маеты муж был взят на работу распоследней-то категории — мойщиком котлов. Лишь обретя опыт, сделал Зыков следующую ступень квалификации: стал ремонтником тех же котлов. Может, и до слесаря высокого разряда дошел бы, но не сулил бог мужику продвижения по службе, он вообще к русскому мужику как-то строговато относился: чуть русский мужик начнет жизнеустройство, чуть взнимется в гору — бац ему подножку и в яму его.

Ни в железнодорожном поселке, ни в самом депо, ни тем более среди населения железнодорожного барака номер четырнадцать никто, конечно, не верил, что мог быть вредителем зачуханный котельщик Зыков, никакой материальной, тем более идейной ответственности не несущий. Мечту в жизни имел он только одну — сделать своей Авдотье парнишку, потому как девок в депо на работу не берут — нет там подходящей для них профессии. Его и хватило-то на решение лишь единственной задачи — напившись, по подсказке врача Порфирь Данилыч, жившего с семьей в соседней комнате, назвать новорожденную девку именем Нэлли. Впилося это имя, в какой-то книге вычитанное или в песне услышанное, в башку крестного отца, клещами не выдирается... После гибели отца времена пошли суровые, девок, что покрепче телом, Надьку и Нэльку, мать из школы забрала, запихала их в огород. И поныне у них за путями, на склоне Николаевской горы, тот огород — беда и выручка семьи. Лет пять возили девки перегной на тачке, назем на санках из поселка Базаиха, что за рекой, — там материна сестра жила, корову держала. Возят, возят, нарастят рожалый слой земли на крутом склоне, а его смоеет ливнем в одночасье. Научила нужда — построили огород, ступенчато-измученная городская земля безотказно кормит зыковское семейство овощью — горшок изпод девок еле подымешь, говаривала матушка, дай ей бог не убавиться здоровьем.

Авдотья Матвеевна еще и подторговывала у поездов: редиской, луком, укропчиком, картошки вареной с грибами вынесет либо вареники. Сама хозяйка была неграмотная, и в ней, как и во многих русских отсталых бабах, жила неистребимая мечта: во что бы то ни стало хоть одну девку вывести в настоящие, в культурные люди. По деревенским активисткам видела Авдотья, конечно, что бабе лишняя умственность вредна, от нее разлад и в голове и в организме. Но младшенькую-то, Гальку, все-таки хорошо бы до института довести иль хоть до техникума, где бы мастерицей швейной сделалась, всех бы Зыковых обшивала и себе белый хлеб добывала. За-ради карьеры младшенькой мать готова была уездить старшеньких — очень уж нежненная у них младшенькая, белокуроенная, в школе отличница, в пионерлагерях — активистка. Старшие сестры земляной и грязной работой Гальку не неволили, ворочали сами — ничего с ними не станется, здоровые кобылицы, считала мать и делала вид, будто не знает, что на кройку и шитье младшенькая записалась для отводу глаз, сама же к музыке устремилась и девки тайно копят деньги на какой-то «струмент».

Самая крутая нравом и ладная телом в семье была — Нэлли. На ней и ездили, ею и помыкали, в ней поэтому раньше, чем в других зыковских девках, вызрело чувство самостоятельности, норовистой-то была с рождения, остальное уготовила жизнь. Одно лишь послабление было Нэльке в семье — мать разрешила ей носить косу, сама когда-то мечтала о косе, и волосы подходящие, да в этой жизни аховой до волос ли? Остальным категорически заявила: «На всех мыла не напасешься!»

Четырнадцатый барак облупленным торцом выходил на улицу Ломоносова, в конце улицы, у самого железнодорожного моста, стояла старая кирпичная больница. В больнице той врачом служил Нэлькин крестный Порфирь Данилович, типичный выходец из мелкобуржуазной среды. Авдотья Матвеевна заглядывала в комнату врача, мыла пол, стирала, поливала цветы, выхлопывала одежду. Все эти занятия постепенно перешли по наследству крестнице Порфирь Даниловича. Как и всякое дитя из напуганной, растоптанной семьи, Нэлька старалась всем угодить, старших слушаться и делать любую работу не ропща, укрощая натуру свою, укрощая и страсти, рано давшие о себе знать.

Порфирь Данилыч, человек благодарный и внимательный, получив квартиру в итээрловском железнодорожном доме, женское поголовье Зыковых не бросал, помогал чем мог, поэксплуатировал крестницу в больничных уборщицах, а затем и к палатному делу приставил.

Все вытерпела Нэлька и дождалась-таки своего часа — послали ее на скоротечные курсы медицинских сестер. Училась она легко, с удовольствием, на танцы бегала в парк, дружить с парнями стала, а парни из предместья известно, как дружат: раз-раз — и на матрац. Явилась к матери в слезах. Та ее для начала отлупила, потом брюхо потеряла, сказав: «Учись сама массажу, мне недосуг — вас четверо...»

Ах, Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч! Все надоело-то как!.. Давно бы надо было воспользоваться многими патриотками проверенным средством — забеременеть и на улицу Индустриальную податься. Матушка Авдотья Матвеевна, конечно, рогачом встретит, да она, Нэлька, кое-что и пострашней рогача видала. Стерпит Нэлька. Мать приветит, куда ж ей деваться-то? Да еще сестрицы дома, старшая, Надька, замуж выскочила, и, слава богу, вроде бы удачно. Младшая, Галька, все еще на музыкантшу обучается, подрабатывает уже. Татьяна, лямку от Нэльки перенявшая, тащит семейную баржу как бурлак. Нэлька тоже не без рук — опыт работы большой имеется, вторая больница рядом, Порфирь Данилыч еще жив, в беде не оставит. Но куда же девать Фаю?

Фая, Фая! Что за участь, что за доля у девки? Миленькая, тоненькая, лицом похожая на сестрицу Гальку. На бледном том лице как-то по-особенному печалются, никому не видимым горем светятся ее прекрасные глаза, от печали той сделавшиеся такими беззащитными, такими овечьими. Фая несла, скрывала от всех людей жуткую тайну. Фая была волосата, иначе как божьим наказанием это не назовешь. Выросло на человеке все, чему на человеческом теле расти надобно, но сверх того покрыло человека еще и звериной шерстью. Будто вторую шкуру надел на Фаю создатель. И так аккуратно это сделал мастер небесный: вверху до шейки, нежной девичьей шейки, волосьями покрыл и до щиколоток зарастил тело внизу. Беспечные родители ее, артисты кордебалета областной оперетты, играли с девчушкой, называли ее «наша обезьянка». Фая и сама как-то несерьезно относилась к своему физическому непотребству, с детства научилась скрывать «свою шкуру», думала — и на войне, в куче народа совсем скроется, потому и подалась прямо из школы на курсы медсестер, затем напрямиком на фронт, под большим пламенем объятий древний город Смоленск.

На нее навалились вши. Они плодились, кишели в густой шерсти, съедали заживо, безнаказанно справляя кровавый пир. Тело ее покрывалось коростой, промежность постоянно кровоточила, она не могла ходить, но ходить, даже бегать было необходимо — началось отступление от Смоленска, с каждым днем все стремительнее обращающееся в паническое бегство.

На каких-то чуть укрепленных позициях Фая, почти уже сошедшая с ума от страданий и бессонницы, заползла в командирский блиндаж, упала на земляные нары, застланные чем-то мягким, и умерла в каменном сне. Очнулась Фая от страшной, раскаленным железом пронзившей ее боли. По-собачьи рычащий мужчина возился на ней. Она подумала, что это тот самый пожилой командир, который работал над картой в углу блиндажа

при свете коптилки и на вопрос «Можно мне?» — кивнул «Можно» «Да я же грязная товарищ командир — взмолилась Фая — у меня плохо там... потом, пожалуйста, потом...»

Изголодавшемуся, осатанелому плотью мужчине немного и надо было. Он свалился с нее, будто со стога сена, и захрапел. Подтянув женские пожитки, полные крови, вшей и грязи, Фая выползла из блиндажа на карачках, потащилась по проходу в траншею, припоминая заминированное поверху место. На нее наступил сапогом и растянулся спешивший куда-то ротный старшина Пискаренко, упал, лежа на ней сверху, шупал, спрашивал: «Хто цэ, хто?» Фая попросила у него наган. Он был опытный вояка, понял что к чему, оружия ей не дал, увел в темную землянку, выгнал оттуда весь народ, дал ей водки и, когда она отключилась, намазал ее из банки керосином.

Старшина Пискаренко Хома Хомич, царство ему небесное, надолго сделался ее «шехвом». Неподходящее для окопов существо — женщина, и пока это существо соберет всю вековечную мудрость и хитрость до кучи, приспособится жить в аду, ой как настрадается.

Вместе с солдатами наелась чего-то Фая, недоваренной конины, что ли, может, и дохлой, — всю ближнюю армию пронесло, бегают кто куда бойцы, свишут. Но куда же девушке деваться? Ее «шехв» старшина Пискаренко Хома Хомич велел перегордить с одной и с другой стороны траншею плащ-палатками. «Хто будет подслушивать, реготать — собственной рукой, из собственного нагана...» — предупредил он. Лаская Фаю, поглаживая, называя «көшечка ты моя лохматенькая», вздыхал Хома Хомич: «Тоби надо, Хвая, с хронту тикать. Я ось тоби дытыну зрблю, и комысуйся на здоровьячко...» — «Да как же я такая в больницу-то, Хома Хомич? Вдруг ребенок наш волосатенький получится?..» — «Да, цэ трэба обдумываты...» Но на мозги старшина Пискаренко не шибко поворотлив был и пока «обмузговывал» — убило его.

Заменял старшину Пискаренко тоже старшина — грузин по национальности, из Сванетии, с диких гор. Ему было все равно — что женщина, что ишачка. Она забеременела от горячего грузина. Нэля, бывалая медсестра, боевая верная подруга, в окопных условиях сделала Фае аборт примитивным, зверским методом, которым пользовала себя и барачных баб Авдотья Матвеевна, передав свой навык дочерям: намылив живот, массируя его, проще говоря, постепенно и беспощадно выдавливая плод из женского чрева. Нэлька узнала о Фаиной беде, о божьем проклятии этом, и сделала ей защиту и опорой. Лютовала, обороняя подружку от мужиков, и кто-то из интеллектуально развитых грамотеев, понаблюдав уединяющихся, шепчущихся и что-то тайно делающих девушек, пустил слух: «Живут, твари, друг с другом, по-иностранному это называется лесбос». «Да что же им, паскудам, нашего брата не хватает?! Кругом мужик голодный рыщет, зубами клацает!..»

Терпи, девка, терпи, слушай, как поганец, какой-нибудь сопляк, бабу в натуральном виде не зревший, который, быть может, завтра будет хвататься за ноги, за юбку, крича: «Сестрица! Сестрица!..» — орет сейчас во всю нечищеную пасть: «На позицию — девушка, а с позиции — мать, на позицию — целочка, а с позиции — блядь...»

— О-о, Нэлечка! Я думала, ты погибла! — спрыгнув в воду с еще не ткнувшейся в берег лодки, закричала Фая и с плачем бросилась к подруге. — О-о-ой, Нэлечка!.. Мне говорили, лодка опрокинулась, все перетонули...

— Уймись! Уймись, говорю, — сипло воззвала Нэля. — Спиртику. Дай спиртику иль водки, мне и лейтенанту.

— Есть! Есть! Я прихватила! Я догадалась! — сбежав к лодке и на ходу развинчивая пробку на зачехленной фляге, частила Фая. — О-ой, Нэлька! — снова припала к груди подруги Фая. — Ой, моя ты хорошая, ой, моя ты миленькая! Живая! Живая! Ох, да ты вся-вся сырая...



Лейтенант грел, да грева от него что от мураша. Мы с лейтенантом на гребях греться станем, ты на корму, четырех человек в лодку И ни одного рыла больше! Накупались! Хватит! — властно скомандовала Нэлька какому-то замурзанному чину с грязной повязкой на рукаве, распорядившись на берегу эвакуацией раненых.

Выборал все-таки Бескапустин кое-что: переправили сотню бойцов, патронов несколько коробок, да гранат ящиков пять, да сухарей, табак и сахару — помаленьку на брата.

Шусь, поручив своему заму Шапошникову распределение харчей, залег в глубоком, крепко крытом блиндаже, отбитом у немцев, понимая, что блаженству скоро наступит конец. Сначала он еще слышал, как Шапошников распорядился, потом забылся, но сквозь дрему улавливал, что происходит с батальоном. Привычка. Полуужизнь, полусон, полуеда, полулюбовь. Слышал Шусь от трепачей связистов, что на реке опрокинулась лодка с ранеными. Жалко, если Нэлька утонула. Девка она ничего — и характером и телом боевая.

— Вам сказано: часть патронов и гранат в запас оставить, а то порастреляете спросонья — потом что? — Шапошников, доругавшись, возвратился в блиндаж, влез на нары, толсто застеленные соломой, — всего у немца всегда в достатке, даже соломы.

Спасибо хитрому Скорику за Шапошникову — не стравил парня. После расстрела братьев Снегиревых не отослал в срок бумаги в округ, затем началась суета с формированием маршевых рот. Под шумок и Скорик куда-то слинял. Вечный наш бардак помог сохранить Шапошникову и звание, и честь, да, пожалуй, и жизнь. Сам-то Шапошников решил, что это его Шусь отхлопотал. Ах, парень, парень! Да положили они, судьи и радетели наши, на твоего Шуся и на тебя тоже все что могли положить. Повезло — вот и вся арифметика. Братья Снегиревы на небе, видать, сказали кому надо, мол, порядочный, добрый человек этот наш командир роты Шапошников, хотя и среди зверья живет, вот и дошла их молитва до бога — невинные ж ангелы ребята, их слово чисто.

Утихает в траншее всякое шебутенье, лишь часовой кашлянет, сморкнется: простуженно сморкается, продуктивно, соплей о каску врага шмякнет — оконтузится враг Телефонист Окоркин, сидящий у входа, дорвался до табачку, беспрестанно смолил, сухари грыз, потом опять курил после, как водится, задремлет, распушит губы и тело, обвоняет весь блиндаж. Бывалые связисты — те еще художники! Умеют всякое действие производить тихим сапом. Выгонять из помещения начнешь, нагло тарашатся: «Да я, да чтобы...» — и непременно на писаря сопрут дровня, укоренелая неприязнь связистов к писарям, считают трудяги связисты, у писаря работа конторская, легкая, повар кормит их по благу, девки улаживают. Связист же как борзой пес, всегда в бегах, из еды — чего на дне останется, девки на него, на драного, и не глядят, командиры норовят по башке трубкой долбануть, если на линии, поджоппник дать для ускорения, осатанеешь поневоле, и поскольку с товарищем командиром в конфликт не вступишь — себе дороже, — то писаря-заразу и глуши, он по зубам.

— Да не сплю я, не сплю-у-у-у! — тихо, чтоб не мешать товарищам командирам отдыхать, переругивался с напарником. — Да не сплю я, не сплю, сам не усни.

Начинается треп насчет какой-то пары, которая всю почти ночь сидит на камушке и допых лейтенант куда фельдшеричку не манит.

«Яшкин и Нэлька», — решает Шусь, значит, живая девка, и хорошо, что живая, народу она нужная, да, может, и ему пригодится еще. О какой-то любви говорить — только время тратить. На славном боевом пути этих любовей у Нэльки — что спичек в коробке. «Спать! Спать! Спать!» — приказал себе Шусь, и, кажется, через минуты две его тронули за тело-грейку, которой он накрылся с ухом.

Товарищ капитан донесся голос Шапошникова немцы начинают гоношиться

Значит война еще не кончилась.

Щусь сел потянулся, взял котелок с прикопа, пополоскал во рту, выплюнул на пол воду «Худая примета — отметил Шапошников, — коли плюется в блиндаже капитан значит не надеется в роскошном этом помещении усидеть. И не бреется который день, сегодня вот и умываться не попросил» Застегнулся проверил, полна ли обойма пистолет за пояс обеими руками как зацарапает голову

Ой, до чего же вши надоели! Съедят, паразиты, как Финифатьев бает — «фамиль не спросят». Кстати, как берет?

— Связь-то отключили, товарищ капитан, как вы приказали, но еще до того по телефону баяли — Яшкин уплыл, и Нэлька уплыла.

— Финифатьева опять не взяли? Нет? Ах, старче, где так боек... Ладно. Добро Ну, за дело, орлы боевые. Дадут нам сегодня фрицы прикурить за усердие и отвагу нашу Шапошников, побудешь здесь, потом в роту, тебе родную, во вторую, вместо Яшкина отправляйся. Талгат, стоишь во рву, пока я отходить не прикажу Справа и сзади вроде бы надежно, там сам художник сидит, в обиду ни себя, ни нас не даст Он у нас о-го-го! На начальство уж хвост поднимает. Стало быть, все внимание на левый фланг. на овраг, что жерлом к реке. Нас если отсекут, то уж до самого берега — и тогда хана.

В это время дежурный связист Окоркин, оставшийся не у дел, упавшим до шепота голосом позвал:

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — И молча показал на провод.

Провод, отсоединенный от аппарата, шевелясь, уползал из блиндажа.

— Фрицы сматывают! Или... или уж наши шакалят, — совсем севшим голосом пояснил Окоркин.

Не дожидаясь команды, все, кто был вокруг, попрятались кто куда. Окоркин со своим напарником Чуфыриным, тоже опытным, давним связистом стерегли провод, прихватив конец его за куст и навалив на него сухих комков.

То линии шли два немецких связиста — впереди пожилой, с карабином за спиной он вытягивал провод из-под комьев глины, выдергивал из кустов и колючек, второй помоложе идя следом, сматывал его в катушку. «Хозяйственный народ!» — отметили разом и командиры и солдаты, сидящие в засаде Впереди идущий солдат-связист увидел изолированный порыв и насторожился: изоляция была свежая, но неряшливая, грязно-серая, у немцев же узенькая, голубенькая, блестящая. Немец обернулся к напарнику Связист с катушкой что-то коротко ответил, и они начали подниматься по оврагу на уступ. Когда до блиндажа осталось несколько метров наши отпустили провод, Окоркин пристроился сзади, и, давши немцам влезть в узкий проход, навстречу с автоматом наизготовку выступил Чуфыркин, кивнув молодому связисту — продолжай, мол, работу, раз взялся. Немец согласно кивнул и, сшибая ручкой катушки пальцы, не моргая домотал провод до того что автомат Чуфыркина уперся ему в грудь

— Спасибо за работу, коллеги! — вежливо поблагодарил Окоркин немцев, сняв с шеи связиста катушку.

Пожилый дернулся было рукой к карабину, но Чуфыркин помотал перед ним дулом автомата.

— Не балуй, фриц, не балуй!

«Эк ребята-то с юмором каким! А покормить бы их досыта. » — мельком глянув на остолбенелых немцев, усмехнулся Щусь и, пригнувшись, вышел из блиндажа.

По местам. Все по местам Любоваться на пленных некогда.

Все куда-то разом улетучились, разошлись, стрельба вокруг густела и Окоркин крикнул Шапошникову оставшемуся в блиндаже:

Товарищ лейтенант че с имя делать?

Че с имя делать? Че с имя делать? Сдать.

— Все понятно, товарищ лейтенант! — произнес толковый Окоркин и махнул, показывая дулом автомата на тропинку: — Шнеллер, наххаус!

Немцы, опережая один другого, скользя, спотыкаясь и падая, поспешили вниз по оврагу. Шапошников проводил их взглядом и не успел вернуться в блиндаж за автоматом, как услышал длинную очередь из пэпэша, короткий, лающий вскрик, и понял: русский связист расстрелял своих соотечественников по ремеслу.

— Нате вот закурите и ребятам отнесите, — сунул Окоркин Шапошникову пачку трофейных сигарет. — И не переживайте вы так, товарищ лейтенант. Такой уж получился расклад жизни. Тут ни немец, ни русский не знает, где, как, когда...

— Да-да, расклад, он и есть расклад. Все очень просто. Судьба это называется... — Шапошников закинул автомат на плечо и, подсеченно вихляясь на комках глины, ушел на шум боя.

Окоркин забрался на пустые нары — отдыхать. Чуфыркин же сложил гранаты на земляной полоч, поставил на предохранитель свой автомат, проверил немецкое оружие и занялся связью — дежурить им ночью с Окоркиным попеременно, потому как всех связистов из штаба батальона уже повыбило. Скоро, однако, связистам пришлось покинуть уютный блиндаж и вместе с отхлынувшими от высоты сто ротами принять бой.

Передовой батальон все-таки отсекли. Первым же неожиданным ударом с правого фланга, без арналета, без всякой огневой подготовки опрокинули немцы жидкий заслон русских.

— Да вы что? — без крика, без топота, засекающим голосом спрашивал комбата и ротных командиров полковник Бескапустин. — Вы понимаете, что Щуся подставили? Они ж его со всех сторон обложат.

— Да ничего пока страшного нет, — возражали неслухи командиры командир полка. — Щусь сидит крепко, в хорошо укрепленном немцами месте, боеприпасов ему подбросили, пополнения немножко дали. Займет круговую оборону по оврагам, до ночи, глядишь, продержится. У нас ведь не лучше: сзади — вода, впереди — беда, боец от бойца — голоса не слышать. Немец беспрестанно разведку ведет, вместе с крысами шарится, знает, какой у нас заслон, вот и вдарил, где поживе...

— Мне наплевать на все ваши рассужденья! — свирепствовал Бескапустин. — Мне к полудню — чтобы положение было восстановлено! Собирайте людей отовсюду — бродят тучей по берегу. Заберите и тех, что у Боровикова. Я с артиллеристами свяжусь, попрошу авиаторов помочь. Ну художники! Н-ну художники!

Майор Зарубин, попавши на левый берег, подбинтованный Фаей, потребовал отнести его в штаб полка. Там собралась вся челядь, ахать начала, майора едва узнавали.

— Товарищи! Проникнитесь! Положение на плацдарме не то что тяжелое — ужасное положение. Одионец! Капитан! Я вас попрошу еще одну линию связи. Трофейную. Наша не дюжит — намокает, садится. Без связи, без помощи, без постоянного огня артиллерии плацдарму конец. И, пожалуйста, прошу вас — хоть как-нибудь, хоть на чем-нибудь еду..

И в это время телефонист из штаба корпуса выступил на свет из угла, бережно, словно грудного ребенка, неся телефонный аппарат:

— Вас товарищ седьмой.

— Скажите своему седьмому, что я не хочу с ним разговаривать! громко, чтоб Лахонину было слышно, отчеканил Зарубин.

— Это же сам товарищ седьмой! Это же...

— Хотя дайте, на два слова... Пров Федорович! — нарочно не называя позывной, не навеличивая командира корпуса по званию, въедливо произнес Зарубин. — Если вам хочется побеседовать со мной, милости прошу вечером в санбат. Здесь народ, беседа же нам предстоит не светского характера. — И отдал трубку телефонисту, который, нежно прижимая аппа-

рат к мягкому брюху, упятился в угол и замер там, решительно не понимая, что произошло и происходит на свете

Когда майора выносили на носилках к машине, он увидел куда-то спешащего, перебирающего воробынками ножками, сверхзабоченного начальника политотдела дивизии. «Куда же это Мусенок-то?» — успел подумать в недоумении Зарубин, не понимая еще, что для того и этот богоспасенный берег — уже передний край, самый-самый передний, самый-самый боевой самый-самый опасный. Мусенок тут дни и ночи сражается с врагом, от имени партии творит подвиг, суется и мешая людям исполнять военную работу. Мусенок вместе с родной партией до того уже заточивался что считал — главное партии на войне никого и ничего нету. Пламенный призыв боевое слово — грознее всех самых грозных орудий.

Ча батальон Щуся, с которым на время была налажена связь и при этом убило нескольких связистов, наседали со всех сторон, особенно на левый фланг, отрезая запасной путь к реке по коренному оврагу и по глубоким его отводкам. Щусевцы в овраг немцев не пустили, более того, оттуда, именно с левого фланга, из ответвлений оврага, из земляных щелей, повыползали русские и перешли в отчаянную контратаку, немцы едва их загнали обратно в обжитые места.

«Ай да молодец Шапошников! Ай да молодцы у меня ребята, ай да золотые головы! Часок-два передышки дали», — хвалил свое войско капитан Щусь. Сам он находился в роте Талгата, в самом горячем месте, гитлеровцы, пока не отобьют участок этого проклятого рва, не уймутся. А немцы шли, шли, перли и перли...

И в этот, именно в этот, самый гибельный час из заречья донесся блеющий голос:

— Внимание всем точкам! Всем телефонистам! На проводе начальник политотдела дивизии полковник Мусенок! Передаю важное сообщение...

— Товарищ капитан, — зажав трубку, обратился к Понайотову Шестаков, — на проводе повис начальник политотдела.

— Что ему? — бросая карандаш на планшет, вскинулся Понайотов, заканчивавший расчеты поддержки огнем остатков полка Бескапустина, переходящих в контратаку для того, чтобы облегчить положение щусевского батальона и помочь задыхающемуся соседу своему — Сыроватко, пусть он и хитрец и выжига, но все же друг по несчастью. Огонь был нужен плотный беглый и точный бить из орудий надо было между идущими в атаку бескапустинцами и не накрыть отрезанный, обороняющийся в оврагах батальон Щуся. Огонь надо было корректировать, вести его следом за цепями если они, цепи эти, еще есть, если наберется людей на цепи. Не отрываясь от карты, Понайотов протянул руку, прижал трубку к уху — по телефону с Мусенком говорил командир полка.

Вот что пишет о вас газета «Правда»: «Красная Армия шагнула через реку! Эта новая великолепная победа ярко подчеркивает торжество сталинской стратегии и тактики над немецкой, возросшую мощь советского оружия, зрелость Красной Армии...» А вы, насколько мне известно, даже знамя не переправили...

— Боялись замочить, — ответил командир полка. — Товарищ начальник политотдела, — взмолился полковник Бескапустин, — у нас батальон погибает, передовой, в помощь ему в сопровождении артралета мы переходим в контратаку.

— Что ему батальон?! Что ему гибнущие люди? Они армиями сорили, фронты сдавали..

Это уже взвился Щусь, некстати оказавшийся у телефона.

— Кто это говорит таким тоном с представителем Коммунистической партии? — повысил голос Мусенок.

Товарищ начальник политотдела, Лазарь Исакович, ну через час поговорите, сейчас не вмоготу, сейчас линия позарез нужна... единственная же — встрял в разговор Понайотов.

— А почему одна? Почему одна? Где ваша доблестная связь? Разболтались, понимаете ли..

— Внимание! — прервал Мусенка командир полка Бескапустин.— Внимание всем телефонистам на линии! Отключить начальника политотдела! Начать работу с огневиками!

Телефонисты тут же мстительно вырубili важного начальника, который продолжал греметь в трубку отключенного телефона:

— Н-ну я до вас доберусь! Ну вы у меня!..

— И доберется! — угрюмо прогудел в трубку Сыроватко, все как есть слышавший, но в пререкания не вступивший.

— Да тебе-то какая забота? — устало осадил его полковник Бескапустин.— У тебя, видать, дела хороши, все у тебя есть, недостает лишь боевого партийного слова.

— Да ладно тебе, Авдей Кондратьевич. Шо ты як кобэль, вызверился, вся шерсть дыбом

— Шерсть-то поднялась, все остальное упало. Ладно. Таких художников, как Мусенок, мне в одиночку не переговорить. Пошевелили мы противника, пошебутились, отвлекли на себя. Помогай теперь ты Щусю. — И через паузу, постучав трубкой по чему-то твердому, изможденным голосом добавил: — Да не хитри, не увиливай. Воюй. Положение серьезное. По-найотов, а Понайотов! Начинай, брат, работать. А тебя, Алексей Донатович, завсегда, как черта в недобрый час, из-под печки выметнет. Гнида эта заест теперь...

Щусь уже не слышал командира полка, он уже мчался куда-то по основательно искрошенному, избитому немцами оврагу и орал:

— Патроны попусту не жечь! Гранаты — на крайний случай!..

В санбателюдно. Раненые большей частью спали на земле, сидя и лежа под деревьями подле палаток. В отдалении под вздувшимся грубыми складками брезентом, в ложбинах которого настоялось мокро от недавнего дождя, покоились те, кому уже ни перевязки, ни операции, ни еда, ни догляд, ни команды не требовались. Какой-то любопытный раненый боец, опирающийся на дубовый сук, приподнял палкой угол брезента, и Зарубин увидел так и сяк набросанных на холодную смятую траву худых, грязных, сплошь босых и полураздетых людей. «Наши, с плацдарма», — отметил Зарубин. Надеясь переправиться через реку, попасть в санбат, в жилое место, бойцы отдавали с себя братьям солдатам последнюю одежонку, обувь, кресало, огрызок карандаша — все свои богатства отдавали.

— Зарубин! Майор Зарубин!

— Я, — начал приподниматься с земли Александр Васильевич.

— Вы почему здесь сидите?

— А где же прикажете?

Приказывала женщина в белом халате, припачканном кровью, с припущенной белой повязкой на лице, которая, однако, не могла заслонить яркости лица с круто очерченными бровями, — брови, почти переклестнувшие переносье, взлетали к вискам. Майор смутился.

— Следуйте за мной! Вам помочь?

— Попробую сам.

Зарубин вошел в придел широкой палатки, вроде сеней был тот придел, веревками прикрепленный к дубам с коротко обрубленными сучьями. Указав на сучки, женщина знаком велела раздеваться. Майор сбросил с плеч шинель, попробовал наклониться, чтобы поднять ее, но его повело. Зажав бок одной рукой, он другою схватился за туго натянутую веревку, чтоб не упасть. Женщина подняла шинель, повесила ее и, взявши руку майора, ловко ее занеся на свою теплую и гладкую шею, повела в операционное отделение.

Там белел и шевелился какой-то народ. Стояли два стола, укрепленные на толстых плахах, и на одном из них лежал. не двигаясь, раненый с

накрытым марлей лицом В человеке рылись, выворачивали что-то красно-тряпичное люди в окровавленных фартуках, в желтых перчатках, с которых сплюняво стекла желто-багровая жидкость.

С Зарубина попробовали стянуть гимнастерку и нижнюю рубаху Не получилось. Тогда умело, как будто в портновской мастерской, одним разом располосовали на нем в распашонку слипшиеся тряпки, швырнули их к выходу, в кучу грязных военных манаток. В кармане гимнастерки были два письма и фотография дочки, партбилет, офицерское удостоверение, майор поднял руку, чтоб кого-то позвать, попросить, и та же яркобровая женщина уже сквозь марлевую повязку коротко уронила: «Не беспокойтесь!»

Зарубину помогли взобраться на высокий стол. От соседнего операционного стола обернулся человек в серо-голубой медицинской спецовке, завязанной тесемками на спине. в такого же цвета чепце. Сдернув повязку с лица, он присел на пень неподалеку от стола. Был он усатый и седой. В рот хирургу сунули папиросу, прижгли ее от немецкой позолоченной зажигалки, хирург умело, не притрагиваясь к папиросе, потянул, зажмурился и расслабился всем телом, похоже было — уснул, но через минуту-другую снова потянул, почмокал папироской — не тянулось. Он раздраженно сбросил мокрые, окровавленные перчатки себе под ноги, взял папироску меж пальцев, приткнулся к готовно поднесенному огоньку и глубоко, сладко курнул.

— Чистых осталось всего пять пар. — наклонившись поднять перчатки. унылым голосом заметила женщина с плоской квадратной спиной, на которой многими петельками был завязан халат. — А привезут ли?..

— Так вымойте, подготовьте! — резко бросил хирург и тем же недовольным, сердитым голосом попытал Зарубина: — Отчего так запущена рана?

— Вынужден был задержаться на плацдарме.

— Некем заменитьсь?

— Да, некем.

Хирург усмехнулся, почти уже бодро хлопнул себя по коленям, поднялся. подставил руки, на которые стали надевать новые резиновые перчатки. Пока надевали перчатки, снаряжали доктора для дальнейшей работы. он вел отвлеченные разговоры с больным, расспрашивал про плацдарм, хотя и чувствовалось, что обо всем, что там происходит, хорошо осведомлен. Осмотрев обработанную рану, хирург потыкал в нее зондом. Зарубин услышал, как скребнуло по осколку.

— Осколок не глубоко, но рана очень грязная. — Себя или раненого, не поймешь, хирург спросил: — Хлороформ? Местная анестезия?

— Я вытерплю. Постараюсь. Истощился, правда, но я постараюсь.

Полусон-полуявь окутали Зарубина. Он то слышал боль и негромко переговаривающихся людей, колдующих над ним, то впадал в забытье, отделялся в нечуткую, тусклую глубь и расслабленно, покорно отдавался ей. погружаясь в полумрак, где пригасло светилась лампочка, похожая на сальный огонек, поднимающийся над гильзой. Ему представлялся сырой блиндаж с бревенчатым накатом, густо заселенный, тесный, длинный, с бревен капало, он пытался достать шею, снять с горла петельку, но руки были, вроде как у покойника, связаны на груди.

— Потерпите. Еще маленько потерпите! — доносилось до него издали, он пробовал трясти головой: «Хорошо, хорошо, потерплю. — И где-то далеко в себе усмехался: — А что еще остается делать?..»

Осколок звякнул в цинковом банном тазу, уже до ободка наполненном всевозможным добром — металлом, костями, багровыми тряпками, меж которых темнели обгорелые концы тряпочек-кресал, самодельные зажималки. баночки из-под табака, две-три слепых фотографии, на них грязным потом съело изображение, даже денежка, скомканная красная тридцатка, — несли, прятали добро солдаты, и самые ловкие доносили его аж до операционного стола.

Началась перевязка. Александр Васильевич облегченно и крепко уснул... Очнулся от освежающего прикосновения к лицу чего-то мягкого, в ноздри ударило запахом спирта. Виски заодно и лицо ему протирала та самая женщина, что взяла над ним опеку Звали ее Ольгой слышал во время операции майор Более в палатке никого не было, лишь возилась в углу белой мышью та женщина с плоской спиной, что ведала инвентарем, она что-то, видать привычное ворчала, опрастывая тазы с отходами в железное корыто Пожилой солдат цеплял корыто загнутым винтовочным шомполом и волок его наружу Железное дно корыта взвизгивало на оголенных корнях дубов

— Вот и прибрала я вас маленько, — сказала Ольга, глазами отыскивая, куда бы бросить грязную ватку — Теперь на эвакуацию в госпиталь там и грязь и вшей оберут

— Спасибо

— Не за что. Я с конца сорок первого в этом медсанбате но таких запущенных раненых, как с плацдарма, еще не видела.

— Самых запущенных и не увидите. Умирают

— Но там же медслужба, наши девочки.

— Что девочки? Что они могут сделать? Там массы. Зарубин при стальной всмотрелся в медсестру, снявшую маску нет, не показалось, молодая женщина не просто красива, но величаво красива, этакая былинная павая в хорошей девичьей поре свежа лицом, со спелю налитыми губами Над верхней губой золотится пушок, чуть вздернутый нос властного человека подрагивает от спирта, не иначе — чешуисто, будто у кедровой шишки, очеркнутыми крылышками ноздрей. Во всем ее облике, в туго свернутых под белой косынкой волосах, в ушах с маленькими золотыми сережками, похожими на переспелую морошку, в неторопливых движениях, в скупю произносимых словах чувствовалась основательность.

— Вы что так на меня смотрите?

— Да больше не на чем глазу остановиться. А бог иногда создает красоту, чтобы на нее смотреть и отдыхать от ратных подвигов. Не разучился еще создатель творить.

— Ой, как цветисто! — усмехнулась Ольга. — Вы, случаем, не поэт?

— Да нет всего лишь окопник.

— И по совместительству философ. Аль прелюбодей? — сощурилась она и вздохнула. — Я таких ли речей тут наслушалась.

— Я без всякого умысла.

— Одичали там.. вшивые — вдруг рассердилась Ольга и отряхнула грудь.

— Вшей и грязь можно отмыть, а вот душу

— О душе не беспокойтесь.

— Я не о вашей, о своей беспокоюсь.

— Это божья работа. Но боюсь, что он отвернулся от этих мест

— Ну как он, Александр Васильевич, герой наш и упрямец? — поздно вечером позвонил в санбат командир корпуса.

Хирург коротко и сухо доложил что рана в межреберье была бы не опасна, если б вовремя сделать рассечение, удалить осколок. Начался абсцесс, оба ребра раскрошены, выбиты — надо вынимать, и их вынут в госпитале. Он боится, что дело этим не кончится, — загнила костная крошка. Надо смотреть на рентгене, дошло ли гниение до позвоночника. Пока же они сделали, что возможно было сделать в полевых условиях: почистили рану, вынули осколок, сбили температуру, обиходили человека и отправили в эвакогоспиталь.

— В какой, не знаете?

— Где есть места. Госпиталя у нас как всегда переполнены

День прошел в страшном грохоте суматохе и непрерывных боях Вы соту сто противник очистил, реденькое войско русских фашисты потесни

ли заняли кинутую часть противотанкового рва, теперь в нем немцы накапливаются потому как в ров тот выходят все стоки-притоки, траншеи ходы сообщения, устья многих оврагов и водомоин. Из того рва атаковать передовой батальон — ловкое дело. Но еще свободен враг до самого берега реки, и не дать ли возможность Шусю отойти подобру-поздорову? Но за это снимут голову, даже хитровану Сыроватко не поздоровится.

На левом берегу ночами большое шебутенье, накапливается войско — для помощи Великокриницкому плацдарму или для нового удара? А ты сиди вот тут, точно кулик на кочке, тяни шею и высматривай — жениться пора, а подруга долгоносая не торопится к родному болоту

Кроме всех прорух и бед, еще одно крушение — потерялась трубка. Без трубки полковник — что местный казак, тоже, между прочим, полковником именовавшийся, Тарас Бульба, — никуда. Ординарец, связисты, разведчики, все растрепы и растяпы, бывшие под рукой полковника Бескапустина, обшарили землянку, обползали каждый вершок, ощупали все щели — нет трубки, пропала, провалилась, проклятая..

И утро суматошное выдалось. С рассветом обнаружилось — весь берег бел от овощи. Где-то в верховьях реки немцы раздолбали баржу с сахарной свеклой. Началась уборка урожая, вскорости перешедшая в массовую драку.

Пленные тоже сунулись за буряками, да куда там! Оттеснили боевые ряды русских обратно в земляные щели врага. Но буряков хватило всем. Пленным, правда, пришлось, снявши штаны, брести вглубь и вылавливать овощ. В оврагах самые отважные вояки пекли буряки, по ним с противной стороны бросали мину за миной, и слух шел, будто одной миной угодило прямо в костер. над которым висела каска со свеклой. Сообщение это не повлияло на смекалистых костровых, оно лишь обострило их сноровку: варили свеклу в норах, продалбливали дымоход прямо из земли наверх и ели — полусырую.

Пленные грызли овощ сырьем, лезли к кострам русских солдат, те морщились, будто от дыма, косились на фрицев, но уже не дрались, хоть и немцы эти пленные, но тоже ведь люди и тоже жрать хотят. Но скоро пленных собрали, сбили в строй и погнали в пойму Черевинки — копать могилу соотечественникам.

Немцы, в том числе Вальтер и Зигфрид, вырыли яму рядом с могилой русских солдат, сложили рядышком до кальсон раздетых братьев своих. Зарыли убитых неглубоко. Чужеземцы — не какие-нибудь красные нехристи — связали обрывками провода две палочки, водрузили на братской могиле крест, так и просвечивало сквозь кусты: обломок черенка от лопаты над могилой русских солдат и древний надмогильный знак, пусть жалкий, пусть временный, но заставлял он людей почтительно притихнуть.

Перед уходом немцы кланялись могиле, тихо молились. Теперь и Зигфрид Вольф, хотя, как и советский пионер, ничего святого не помнил старательно повторял за старшими: «Святая дева Мария, прошу тебя о величайшей милости, чтобы некогда и я соединился с Христом на небе...»

«О боге вспомнили, пацды! — морщился Шорохов, косясь в сторону молящихся. — Ишь, какие смиреннькие. Ишь, какие добренькие. Оне, чего доброго, после войны так вот и замолят свои тяжкие грехи. А нам, безбожникам, че делать? Нам кто грехи наши отпустит?..»

На левой стороне Черевинки, в соседстве со свежими могилами, солдаты выкопали нишу, соорудили мат из прутьев, насыпали сверху земли, чтоб заслонить планшет Карнилаева и карту Понайотова от дождя, перенесли телефон в земляное это сооружение, печку перенести не успели. Едва рассвело, едва убрались с хозяйством из разоренного блиндажа, минометчики обер-лейтенанта Болова аккуратно и яростно разнесли свой наблюдательный пункт.

Немцы залегли за бугорком свежей могилы. Вальтер вскочил, словно римский император, вознеся руки, закричал:



— Кройте! Бейте! За мой позор! За позор нашей армии! За позор фюрера! Чтоб он сдох! Разнесите всех тут в куски! Прежде всего выродка Зигфрида!..

Поднялись с земли после обстрела, отряхнулись. Шорохов трубку телефона продул, проверку сделал и ото всей-то душеньки вмазал по уху митингующему фрицу, да так вмазал, что тот рухнул в речку и высказываться перестал.

Но молился он вместе со всеми, чем еще больше ошарашил Шорохова. А Зигфрид Вольф, возвращаясь на берег, в обжитую нору, упрекал товарища по несчастью:

— Чего ты добился? Чего? Ты хочешь, чтоб нас всех уничтожили?

— Я хочу, чтоб ты заткнулся!

## ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Весь этот день самолеты не покидали неба над плацдармом. Особенно грузно наваливались немецкие бомбардировщики на сбитые с высоты сто остатки первого батальона. Но хоть и медленно, вроде даже неохотно опустился на землю долгожданный вечер, затихла канонада, осела вздыбленная земля, овражными токами тащило к реке дым, копоть, сажу, осаживая на воду смесь пыли и дымной мглы.

Благословен будь создатель небесный, оставивший для этой беспокойной планетки частицу тьмы, называемую ночь. Знал он, ведал, стало быть, что его чадам потребуется время покоя для того, чтобы подкопить силы для творения зла, опустошения, истреблений, убийств. Будь все время день, светло будь — все войны давно бы закончились, перебили бы друг друга люди, некому стало бы мутить белый свет.

Допущен наконец-то был до работы с непокорным берегом начальник политотдела дивизии. Уж отвел он душеньку, уж наболтался вдосталь. Повторив для начала угрозу, что он такого произвола просто так не оставит, коли здесь, среди закоренелого руководства, управы на аполитичных олухов не найдет, самому Мехлису напишет потом начал передавать новую информационную сводку — много чего наши войска позанимали, особенно в Белоруссии; Мусенок сообщил, между прочим, что учрежден орден Богдана Хмельницкого, что город Переяславль переименован в город Переславль-Хмельницкий. Затем долго диктовал статью Емельяна Ярославского из «Правды» под названием «Боевые приказы Верховного Главнокомандующего товарища Сталина» — выдающееся творение по постыдности низкопоклонства даже среди самых рабски-подхалимских статей. В заключение Мусенок приказал переписывать патриотический стихок «Гвардейское знамя» чтобы не надули велел телефонистам вслух повторить записанное

Алый шелк широко развернули  
 Стали строже удары сердец.  
 На почетном стоит карауле  
 У заветного стяга боец.  
 Боевое гвардейское знамя  
 Я тобой как победой, горжусь!  
 Я к тебе припадаю губами  
 Я целую тебя и клянусь.  
 Если, споря с бедой грозовой,  
 Ты костром зашумишь надо мною,  
 Только в сердце раненье сквозное  
 Не позволит идти за тобою.  
 Лучше пусть упаду без сознания  
 По-гвардейски — лицом к врагу,  
 Только б реяло красное знамя  
 На удержанном берегу  
 Знаю я: кто, сражаясь, умер —  
 Навсегда остается в живых  
 В этом сдержанном шелковом шуме  
 В переливах твоих огневых

— Вот, понимаете ли, что такое настоящий патриотизм! — сыро шлепал в телефонную трубку Мусенок. — Вот, понимаете ли, как надо осознавать свой долг перед родиной!

И ни слова о том, как на плацдарме дела, чем помочь раненым, накормить людей, обеспечить их боеприпасами... Этот человек, находясь на войне, совершенно ее не знал и не понимал, шел, как говорят в Сибири, вразноплас с бойцами, а сосуществовали они, как опять же говорят в Сибири, и вовсе вразнотык.

— Да ладно, хоть отвязался, — увещевал Бескапустин своих «художников» — командиров. Он-то знал давно, на себе испытал главную особенность армии в которой провел почти всю свою жизнь, и общества, ее породившего, — держать всех в унижительном повиновении, чтобы всегда, везде, каждодневно военный человек чувствовал себя виноватым, чтоб постоянно в страхе ошупывался, все ли застегнуто, не положил ли чего ненужного в карман ненароком, не сказал ли чего невпопад, не сделал ли шаг вразноступ с армией и народом, то ли и так ли съел, то ли и так ли подумал, туда ли, в того ли стрельнул...

Даже здесь, за рекою, в преисподней, достают воющего человека — и честный человек, добросовестный вояка Авдей Кондратьевич Бескапустин, мучаясь смертельной мукой без табака, мучился еще и подспудной виной: напишет «художник» Мусенок в верха своему старому другу Мехлису или не напишет? Рычит полковник на ближних своих, измотанных за день до того что не успев отдышаться, умыться, падают они кто где, сраженные сном — до политики ли им сейчас, до шелком ли шелестящего красного знамени?

Успокаивались приводили себя в порядок, умывались, готовились к ужину и на противной стороне. Генерал Конрад Штельмах, назначенный вместо старикашки фон Либиха давал понять, что прибыли они сюда не семечки лузгать, как здесь говорят, а воевать, и хотя этот его первый день присутствия в дивизии ошутимого перевеса не принес — русские сражались с отчаянием висельников, — активность его войск была пусть и не очень результативна но похвальна. Он уже отметил одобрительным отзывом действия минометной роты, работавшей без передышки, результативную атаку отдельного батальона, которым командовал майор Пауль Шредер. Батальон понес большие потери нуждается в пополнении, но пока и наличными силами действует эффективно. Хорошо работала авиация, слава и благодарность асам Геринга. Фон Либих еще в империалистическую войну привык воевать неторопливо и войскам давал пообедать, и себе позволял часовой послеобеденный отдых иначе голова его отказывалась соображать, — вот и запустил дела. В дивизии есть случаи неподчинения, дезертирства, самострелы появились причем количество их с прошлой зимы увеличилось. Новый командир дивизии требовал подкреплений увеличения огневой поддержки чтобы сделать наконец этот давно обещанный «буль-буль!» русским. Но подкреплений дивизии не дают более того спешно сняли — для переброски на другие направления — полк истребительных орудий увели роту самоходок, находившихся в резерве и оба эсэсовских, изрядно поредевших батальона. И вообще командующий группой войск дал понять по радиосвязи — отныне без его ведома и распоряжения резервы не трогать.

Подавляя в себе раздражение, недовольный тем, что ему не дают вернуться к делу всегда эти фоны-моны, повылезавшие в чины из штабов и родовых имений, затирают выдвинутые фюрера, добывших себе звания и награды в сражениях, новый командир дивизии Конрад Штельмах решил все же атаковать русских и отбить у них на первый случай хотя бы высоту сто, так постыдно оставленную и давшую много преимуществ противнику.

К удивлению Конрада Штельмаха, отдельные подразделения дивизии, вверенной ему, особого рвения и тем более радости по случаю прибытия нового командующего аж из Африки не проявили. Получив приказ о на-

ступлении, командиры эсэсовских батальонов, по войсковому положению приравненные к командирам полков, вести наступательные действия отка-зались сославшись на особые инструкции о передислокации, полученные ими от высокого командования. Весь день они проболтались без дела, точнее говоря, проспали на запасных позициях. А будь они, эти батальоны, в действии — купаться бы русским в реке, принимать общую освежающую ванну

Воевавший в Африке ни шатко ни валко — оклемаются англичане, соберут силенки, он их расколошматит, отгонит в пески и опять спокойно устраивает смотр, попивает кофе на прибрежных виллах, — Конрад Штельмах жаждал доказать своими успехами в России, что талант полководца всюду может иметь преимущества перед чахлой бездарностью. Начальник штаба дивизии, привыкший, как видно, быть полным хозяином при ленивом и вялом фон Либихе, деловито докладывая об итогах прошедшего дня, охладил пыл нового командира дивизии и еще более обескуражил данными разведки: у противника артиллерии намного больше, и стоит шевельнуться немецким частям, как начинается, по-солдатски говоря, благословение — на головы и без того усталых солдат обрушивается залп за залпом.

Еще до Сталинграда авиация противника отвечала ударом на удар, над плацдармом же советская авиация и количественно и качественно превосходит геринговскую, прежде всего бомбардировочная. «Ю-87», устаревший, допотопный самолет, сеющий бомбы, опять же по-солдатски говоря, черт знает куда, порой на свои же окопы, не может уйти от маневренных истребителей Советов. Зенитная артиллерия и истребители уже выбили половину эскадрильи бомбардировщиков, и, несмотря на высокое мастерство и храбрость асов рейха, русские самолеты неуклюже, с большими потерями, завоевывают небо. Штурмовики «ИЛы» ходят чуть ли не по головам, нанося страшный урон наземным частям, территория же здешняя для действия танков — этого нашего конька-спасителя — непригодна. Не иначе как русскими чертями вспаханный берег реки не позволяет иметь на плацдарме постоянную, четко обозначенную передовую. Немецким частям, привыкшим к образцовому порядку, кажется, что вокруг них кишат русские, ведут разведку, — обнаружена совершенно случайно полевая линия связи из германского провода, впутанная в полевую немецкую связь, работает себе без смущения, прицельно крошит боевые порядки вражеская артиллерия, бродят в боевых частях самые невероятные окопные слухи: противник, мол, собирает еще один ударный кулак на левом берегу для проведения еще одной операции. Вот почему снимаются эсэсовские батальоны и другие части. так здесь необходимые, передислоцируются и те, что стояли в резерве, — на случай прорыва фронта русскими.

— Нам предстоят серьезные испытания, господин генерал.

Не понравился Конраду Штельмаху доклад начальника штаба, но человек с желтым лицом, выгоревшими бровями, облезлый, обезжиренный, с нервно суетящимися руками, с изношенными гусеницами витого погона, не желающий смотреть в глаза, не напускал голубого туману, не занимался очковитательством.

Откуда же, откуда взялись такие силы у русских? Ведь не раз и не два в сводках вермахта и докладах фюреру сообщалось, что русские в прах разбиты, что их ресурсы исчерпаны, уголь и руда в наших руках, еще одно усилие, один нажим — и деморализованный сброд, называемый Красной Армией, будет уничтожен...

Но вот он, начальник штаба его дивизии, навидавшийся и натерпевшийся на Восточном фронте всякого, сделав общий обзор положения на вверенном дивизии участке фронта, откинув голову, печально прикрыл глаза.

— Хотя полных сведений с левобережья еще не поступило, данные воздушной разведки подтверждают — сил для очередного прорыва там достаточно.

Генерал молча и пристально вглядывался в своего начальника штаба: не очень тщательно выбритое костлявое лицо как бы обнажилось под тонкой, изношенной кожей; глаза словно углем обведены — как же устал этот человек! как надоела ему война!

— Вы хотите сказать, подполковник Кюннер, дела наши..

— Я ничего не хочу сказать. Я докладываю, — как бы проснувшись, собирая со стола бумаги, произнес начальник штаба. — И предостерегаю, господин генерал, нужно беречь силы — за прошедший день мы понесли неоправданно большие потери. Положение противника отчаянное, продукты к нему почти не поступают, и нужно, я полагаю, не атаковать в лоб, но если ситуация позволит, отрезать противника от реки и уничтожить все, что может плавать... Через очень короткое время русские или вымрут, или сдадутся в плен. — И не удержался, все-таки сказал в лицо своему генералу то что бродило, ползало по окопам: — Здесь не Африка, господин генерал. Здесь красивой войны не получилось. Здесь обе стороны бьются насмерть и все средства хороши коли они ведут к успеху, чего, к сожалению не понимал покойный фон Либих, пытавшийся воевать комфортно и даже гуманно

«Да он же дерзит!» Надо бы осадить этого серыми жилами опутанного по лбу даже по полуоблезлой голове, подполковника. Но тот, не дожидаясь продолжения беседы на отвлеченные темы, повторил, что теми силами, какие есть в дивизии, вести планомерное наступление невозможно.

Для наступления нужны подкрепления. Но их не дадут, потому как затевающаяся русскими переправа через реку — не последняя. Великокрицкий плацдарм, операция, теперь это уже ясно, вспомогательная, — отвлекающий удар. Если бы удалось русским развить операцию, они, возможно, и перешли бы в общее наступление на правобережье. Но не получилось. Может, и новый удар не получится, но... пока мы топчемся в этих оврагах... Вот почему личным распоряжением командующего центральной группой войск... — Начальник штаба дивизии подчеркнул голосом: — Личным! рас-по-ря-жением! — запрещено вести наступательные действия. Активная оборона — вот что нам рекомендуют наши стратеги.

Конрад Штельмах грузно опустил голову. Да-да, его предположения оказались точными — не от добра, не от хорошей жизни выгребают войска из Африки и Европы. Дела на Восточном фронте после Сталинграда и поражения на Курском выступе не просто пошатнулись, они... Но как все запутано! В Германии полная дезинформация! «Новый вал на реке!», «Непреодолимая преграда!» «Окончательная могила для русских!», «Дело фюрера непобедимо!»...

— Так что же, будем сидеть у речки и ждать погоды, как говорят русские, господин подполковник? — с неприязнью, однако и с занимающим в нем раздражением к этому измотанному войной, но самоуверенному человеку заметил строгий генерал.

Я полагаю господин генерал, русские не дадут нам такой возможности — Подчеркнуто равнодушно пожав узенькими плечами так, что обмахрившиеся погоны ожили, выгнулись, заползали лесными гусеницами, начальник штаба добавил. — Как предписано, будем вести активную оборону. Пока же я прошу вашего распоряжения насчет снятия саперной роты с передовой, надо оборудовать штаб дивизии — прежний, как вам известно, разбит.

— Кому нужна, кому выгодна ложь? — спросил, или подумал, генерал.

Подполковник пропустил мимо ушей опасную реплику своего начальника и словно заведенный ровным, утомленным голосом продолжал вводить в курс дела генерала, уныло, будто по книжке читал: русская артиллерия крушит все и вся, особенно прицельно действует гаубичный полк, достает в любом овраге, в траншеях, за высотой сто, в пойме речки и в противотанковом рву. Как стало известно из подслушанных телефонных разговоров на плацдарме артиллерию возглавляет какой-то майор, он ранен,

но не покидает поста и держит в постоянном напряжении правый фланг и тылы боевых подразделений.

— Дерзкая чистая работа! Делается малыми силами но с большой точностью.

«Этого только не хватало! Начальник штаба не просто обобщает, он хвалит действия противника!»

— Так поучитесь воевать у этого большевистского маньяка! — не сдержался Конрад Шгельмах.

— Учимся, учимся, господин генерал! — усмехнулся Кюннер, как показалось генералу, даже снисходительно. — С сорок первого года, то они у нас, то мы у них. Конечно... когда совсем научимся, перейдем друг у друга полностью опыт, по-видимому, им уже воспользуются два оставшихся на свете мудрых учителя.

«Это он о ком же? Что за намеки? — похолодел генерал. — Ну, они тут довоевались до предела, ничего уже не страшатся».

— И что, наконец, делает наша хваленая авиация? Почему не подавит русских? — избегнув продолжения разговора о двух мудрых учителях, сделал стратегический маневр Конрад Штельмах.

— Но я уже говорил, господин генерал, что у русских и орудий и самолетов слишком много, гораздо больше, чем у нас. Вы разве еще не убедились в этом? И тем не менее я прошу вас разрешить обратиться с просьбой к нашей авиации ночного действия о нанесении бомбового удара по артиллерийским: позициям противника.

Кюннер как-то странно, по-птичьи клюнул носом, не поймешь — в поклоне или у него на шее чирей, и бочком поплыл из блиндажа. В этом полупоклоне или тоже маневре генералу снова почудилось что-то насмешливое, едва ли не издевательское. «Он разговаривает со мной как с малым дитем! Битый вояка, хотя и сволочь, но прав, прав во всем, да еще и деликатен. Не сказал вот о том, что советские самолеты пробомбили ближний аэродром, так что ждать активности авиации не приходится и надо подчиниться обстановке. От ночных же бомбардировщиков беспокойства много, толку мало, и это хорошо знает начальник штаба».

## ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ

Сердце Финифатьева слипается в груди капустными листьями, скрипит. В груди волгло, непродышливо. Надо бы выпрямиться, распусться телом, дать сердцу простор, но он боится потревожить притупившуюся боль, упустить тепло из-под одеяла и шинеленки, которое надыхал; сердце, завязываясь в вилки, складывает, прижимает лист к листу, замирая в сиротливом отдалении, в знобком уюте, но какая-то струна звенит-дребезжит расстроено в голове или в груди — не поймешь. Сержанта смывает с земли, несет по воздушным под гору, к железнодорожной линии. Он и железную-то дорогу увидел первый раз, когда ездил по бесплатной путевке на курорт, он ее робел, и если она ему снилась — считай, не к добру. А тут что ни сон, то опять про железную дорогу. Видится толпа на линии, он знает — нянька-бабушка захворала, Алевтина пошла на ферму, Марьюшку отпустили в детсад одну. А садик-то за рекою, в Перхуреве, но вместо реки Ковжи, взявшей малого Феденьку, образовалась железнодорожная линия — когда и проложить успели? Финифатьев раздвигает закутанную в шали, в платки безликую и безгласную толпу и видит Марьюшку, перерезанную пополам. Живы только глаза: все больше расширяясь, затопля голубым светом землю, глядят на него с укором и мольбой — так глядели на него дети, когда болели, так глядела Алевтина Андреевна, когда он уходил на позиции. «Мне же больно, тятя! Что же ты не поможешь мне?» «Доченька! Марьюшка! Марьюшка!» — стонет Финифатьев, стараясь выловить, поднять с рельсов дитя. Под руками пустота, и куда-то прозрачно, бестелесно истекают Марьюшкины ли. Алевтины ли Андреевны глаза..

После такого оторопного сна Финифатьев страшился заснуть, принуждал себя думать о чем-нибудь хорошем. Самым же хорошим было родное Белозерье, деревня Кобылино, колхоз «Заветы Ильича» ныне Клары Цеткиной, не к ночи будь она помянута. Ждет его в далекой северной стороне дорогая, богом ему данная супружница Алевтина Андреевна. И награждает же господь человека именем, назначению его и качеству соответствующим. Это сколько же он, будучи парнем, творил из имени зазнобы своей складных слов: Аля, Аленька, Аленочка, Алевтинушка, Тина! — и не упомянуть, пожалуй, всех-то ласковых имен. И одно ведь басчей другого, каждое к языку медом льнет, сладкой каплей к нему прилипает, разливается теплом по нутру.

Будучи парторгом колхоза, не сам, конечно, по настоянию сверху, презрев грубое, конечно, но родное название деревни Кобылино, по настоянию верхов навязал он населению родного села имя Клары Цеткиной. Население, конечно, безропотно одобрило революционное название, но на письмах и на коробках посылок кобылинцы упрямо писали: «Клара Целкина» «Хэх! Каков народ-то вологодский! — дунет в валенок и озиратца вокруг...»

Шука шла из нова города,  
Она хвост волокла из Бела озера!  
Как на шуке чешуйка серебряная,  
Что серебряная, позолоченная, а голова у шуки унизанная!

К богатству эта припева велась да присказывалась...  
Еще бы, еще бы чего из давности-то в голове воскресить?

Ласточка-касаточка!  
Не вей ты гнездо в высоком терему,  
Ведь не жить тебе здесь и не летывати..

Эту девки пели, об замужестве когда мечтали-изнывали. Дальше-то, дальше-то вот как же?

Уж я золото, золото хороню-хороню!  
Уж я серебро хороню-хороню!  
Я у бабушки в терему, в терему!  
Гадай-гадай, девица, отгадай, красавица!  
В какой руке былица змеинная крылица?  
А я рада бы гадала и я рада бы отгадала,  
Через поле идучи, русу косу плетучи,  
Шелком прививаючи, златом присыпаючи!

Утешение самолучшее страждущему, кровь за отечество пролившему — слово родины милой! «Царица небесная, отринь, отгони во тьму беспамятности нечестивый смысл и вид жизни моей прошлой, очисти душу от сора и плевел видением стороны родной, согрей теплом слова родного, горючей, сладкою слезой омоюсь я перед кончиной. Не учуял бы я, нет, глубинно, чисто и безлобно свет жизни, войны и бедствий не познав. Разве б возлюбил я так ближних своих, сторону родную, небо, землю, белый свет, весну красну, лето зеленое, осень золотую, не изведав разлуки, не приняв страданья? Господи-ы-ы-ы! Мать пресвятая богородица, намучий человека, намучий, пострацай адом, но дай ему способ сызнова вернуться на землю, вот тогда он станет дорожить жизнью, и землей, и небом, ему дарованными. Господи, мать пресвятая богородица, пусть в горячем бреду, пусть в беспамятстве — пособи мне прислониться к теплу родительского очага!..»

Пал, пал перстень во калину-малину,  
В черную смородину, в зеленый виноградник.  
Очутился перстень да у дворянина,  
Да у молодого, да на правой ручке, на левом мизинце!  
Девушка гадала, да не отгадала,  
Наше золото порохом пропахло да и мохом заросло..

— Да и порохом пропахло да и мохом заросло, — прошептал Финифатьев, и такая пронзительная горькая жалость к себе охватила его, что обращая взор в пространство, он спросил: — Алевтина Андреевна! Детки мои Ваня, Сережа Машенька, Граня, Веня, Феденька — неприятная душа! Вот лежу я в земле, пожалуй что обреченный но вас слышу чую вас всех рядом и люблю, ох как люблю-ууу!

Растерзанный жалостью, нутряным, беззвучным плачем, боясь спугнуть видения, Финифатьев притих в себе, напрягаясь изо всех сил, выуживая из памяти еще и еще что-нибудь светлое, хорошо бы веселое чтоб только приглохла боль, до крестца уже раскатившаяся, но главное — отогнать бы гибельные предчувствия и липкий этот капустный озноб

Вспомнилась ему юная пора, двадцатые годы, потому что после как и всякому гражданину Страны Советов сделалось недосуг наполнять жизнь достойным смыслом, закрутило, завертело его как и весь народ. организация колхоза свары, распри насчет того, кто должен рыбу ловить, кто ее кушать, строительство дома, отделение старшего сына, еще постройка дома, гибель сына Феди, школьника. Шел он из заречной перхурьевской школы домой. Ковжу уже прососало, ледоход налаживался, налаживался тут вот и начался — даже не нашли малыша, не похоронили, льдом его растерло, отчего и вина перед ним всегдашняя. Смута накатила, тестя раскулачили, самого Павла Финифатьева чуть было лишенцем не сделали ладно смекнул в колхоз записаться да поскорее в партию вступить. Партейные товаришцы тут же его на все пуговицы застегнули да казенным ремнем запрятали, в доносчики завербовали, парторгом колхоза назначили. В светлое-то будущее он не особенно верил, сомневался в нем, но ради семьи, ради жизни живой дюжил, унижения переносил, приспособлялся. Война, которую все время сулили, перекатным громом по российской земле покатила. До сорок третьего года хитрил, даже и подличал, должности парторга заслоняясь, ан подмели по деревням остатки сладки — некому фронт держать.

Над Ковжей-рекой в крестовом доме с мезонинчиком, деревянным кружевом обрамленным, осталась бедовать с ребятишками Алевтина Андреевна. Допрежь он исхитрялся одну ее никогда не кидать. Жалел потому что, и она его жалела — любовь промеж них была ранешняя, негромкая зато крепкая

Алевтина Андреевна происходила из села Перхурьево что лепилось по другую сторону Ковжи на подмытом берегу поросшем мелкоростью пихтачом, косматым можжевельником, во тьме похожим на притаившиеся человечьи фигуры Голое, безлесное, зато на виду село и на солнце всегда с церковью, со школой посередке.

В двадцать четвертом году в Перхурьево начал работать ликбез, молодые девки и парни полетели на вечерошний огонек что метляки на лампу, потому как ни в Перхурьево, ни в Кобылине клуба не велось. Игрища собирались в откупленных избах. А тут на-ко тебе! Без хлопот-забот бесплатное место сбора образовалось, да еще и грамоте учили там же. Учительша — молодая совсем. К ней быстро приладила сельсоветский секретарь в военных галифе, с блистающими во глубине рта железными зубами. Подучивши ковженцев счету и мало-мало корябать по бумаге, строчить любовные записки, учительша та полностью переключилась на просветительно-массовую работу, сделалась как бы уже и не учителем, а затейником на селе, ставила постановки про буржуев и попов организовывала шествия против религии, праздничные демонстрации танцы; разучивание песен про мировую революцию.

Вскорости появился у нее горластый малец, революционный энтузиазм свой учительница полностью обратила на дитя, так как секретарь сельсовета в галифе по весне уплыл вниз по Ковже — решать «в центрах» вопросы большой важности. Решение вопросов затянулось, в Перхурьево военный кавалер не вернулся. Однако дело, начатое учительшей пропасть уже

не могло, потому как всколыхнулись молодые массы, да и дела в те годы в деревнях шли более-менее подходяще, так что ребятам в самый раз было гулять и веселиться.

Финифатьев Павел еще в ликбезе начал пристраиваться к Алевтине Сусловой из Перхурьева, тогда еще просто Тинке. С ходу успеха не имел, но цели своей не кинул, внимания своего не ослабил, на других девок его не рассеивал. Уж больно хороша была Тинка-то! И слепы же парни в Перхурьеве-селе, не умели разглядеть, до чего же она хороша! Телом пышная, но не рыхлая, вся как бы молоком парным мытая, со спокойными голубыми глазами, умудренно глядящими на мир этот, революционно всколыхнувшийся.

Никак бы не одолеть ту крепость Пашке Финифатьеву, если б не грамота, так кстати ему сгодившаяся. По дому ходила книжка без корок, завезенная в Кобылино когда-то, еще при деде Финифатьеве, вселым офицером, таскавшим кованый сундучок на гнутых санках. Однажды развернул ту книгу Павел и оторваться от нее не смог. Хотя он и считал себя в ту пору полностью от веры отринутым, активным атеистом значился, в комсомол записался, порешил все же про себя — сам господь бог перстами своими трепетными вложил ему в руки такую дивную книжку.

На первой странице книжки крупно, с завитушками было написано: «Поучительные и полезные наставления по политесу, приятным манерам, такжежде содержащая поучения разного свойства: по написанию любовных посланий, умственно-изящных выражений, по завлекательным играм, содержащим неназойливые намеки на таинства любовные; такжежде загадки, ворожбу, невинный обман в стихах нравоучительного свойства; такжежде советы по отысканию счастья в супружеском лоне и многому иному, потребному для человека, жаждущего культурного усовершенствования и приятного обхождения в благородном обществе».

Белым потоком хлынули послания в Перхурьево из-за реки Ковжи на имя Алевтины Сусловой. А какие послания! «Лети, листок, прямо на восток. Упади, листок, у любезных ног!..» Дело шло так складно, с такими душевными выражениями и разными умственными изречениями насчет счастья и любви, которые были обозначены лишь намеками, но все равно угадывались, и тайлся в них призыв, однако не настолько уж тонкий, чтобы не прочитывалось личное чувство и отношение к затронутому вопросу: «Что тужить, мой друг! Утро завтрашнее разрушит нашу печаль и уменьшит ваши страдания...», «Судьба того никогда не оставляет кто тверд и решителен в предприятиях своих», «Натура ваша сотворена доброй и мягкосердечной, но только сдержанность ваша и холодность могут сослужить вам к несчастью и одиночеству». И так далее и тому подобное. В конце любовного письма непременно уж загадки, да такие мудреные, что никак не отгадаешь.

Лишь повоевав достаточно и достигнув чина сержанта, Финифатьев узнал название всему этому — тактика! А в молодости он, однако, мало чего понимал в тактике и сделал перебор в культурном напоре. «Любезная дама сердца» из сил выходила, напрягаясь, чтобы так же складно и изысканно отвечать на послания «любезного друга сердца из села Кобылино». «Отдала колючко со правой руки, полюбила парнечка я из-за реки, — лепетала Тина и доходила совсем уж до явного откровения: — Я сидела на лужку, писала тайности дружку. Я писала тайности про любовны крайности...»

Но что это за изречения по сравнению с теми, которые обрушивались на нее из-за Ковжи-реки: «Живи, лови минуты счастья, не унывай в седой тоске. Пройдут невзгоды и ненастья, ты улыбнешься солнцем мне!» По этой, только по этой причине стала казаться себе Тина недотепистой, отсталой, не раз плакала она сама о себе и о горькой своей участи, тем более что кобылинский кавалер из того же печатного наставления выучил всякие забавы и фокусы: как принести воду в дырявом ведре; как протолкнуть голову через кольцо; как снять с себя рубашку, не скидывая сюртука.



Кроме того он помнил святочные гадания песни и полностью уже заменял на игрищах учительшу-затейницу уехавшую учиться в город на кино механика. Словом кончилось все тем что Тину-Алевтину утешать взялся перхурьевский архаровец Венька Сухоруков, имевший бельмо на глазу.

«Не бывать тому!» — сказал себе кобылинский кавалер и сообщил «даме сердца» о том что «змея ползет к человеку для уязвления а вы лучше хорошенько бы рассмотрели и основывались на истине а к пустым словам не прилеплялись ибо в них яд сокрыт» неделю при тусклой лампе переписывал наставления в тетрадь и подкинул труд в дом Суловых.

Снова пошла между Кобылином и Перхурьевом такая переписка что захваченная ее бурным порывом и загадочной, небывалой страстью сочинительства, Тина отворотилась от перхурьевских ухажеров от Веньки бельмастого и всяких иных воздыхателей. Вознегодовав перхурьевские парни с двумя гармошками во главе с Венькой бельмастым прошлись по Кобылину громко выкрикивая: «Как кобылински девицы из отрепий, из костицы, ходят задом наперед — никто замуж не берет!» Особенно дерзко вели себя перхурьевские парни под окнами активиста-комсомольца Пашки Финифатьева.

Мы ребята-ежики,  
У нас в кармане ножики,  
По две гирьки на весу,  
Левольверт на поясу!

Но ничто уже не могло удержать двух пламенем объятых сердец, стремящихся в «лоно семейного очага». тем более что в том же умном наставлении было как будто специально для них сказано: «Счастье — не пирог дожидаться нечего...»

А и будучи женатыми, оставались они радymi друг другу и нет-нет да и затевали игру, им только и понятную, вгоняя родителей в сомнение насчет сохранности ума у молодых. «Счастье — кипяток, разом обожжешься!» — хитро сощурившись, бывало, начал Алевтина Андреевна заманивать Павла в горницу. А он ей тут же: «Искусный плаватель и на море не утонет!» Украдкой, совсем уж тихо шепнет сваренным голосом голубица ясная: «Грех сладок а человек падок!»

Само собой от игры такой пошли детки. И вот уж старшие сыновья, той вечной радостною игрой увлечены пошли-поехали гулять, и хотя не было у них ранешних полезных наставлений они все равно привели в дом молодух.

Тетрадку, когда-то ей в Перхурьево посланную, Алевтина Андреевна сохранила. Вынет из сундука, шевелия губами прочтет: «Счастье — не голубь кого полюбит» уронит слезу на желтые листки, жалея о так быстро пролетевшей молодости, да и успокоится, норовя трудом своим изладить лучше жизнь другим людям — детям своим.

Еще какой-то миг Финифатьев удерживает видение — супружницу свою драгоценную, с годами сделавшуюся дородной, но все голубицу, ласково глядящую. Он чувствует взгляд жалостливый, призывный, но то что когда-то в наставлении означалось загадкою: «Что сильнее всего на свете?» — вдавливает Финифатьева в земляную щель, на смену приятным воспоминаниям наплывают темные, жуткие виденья, подступает явь, которая страшнее снов. Видится ему зыбучее болото по болоту тому, не увя зая, хватаясь за горелые сосенки бредет в белом халате медсестра — обликом точь-в-точь Нэлька Зыкова, что сулилась за ним приплыть да что-то никак не плывет. На ходу она стряхивает градусник, навалившись на грудь сержанта, раздвигает зубы, расшеперивает рот сует под язык градусник. нет исправилась, градусник перенесла куда надо под мышку в рот-то закатился комочек земли, может, галька. Отчего же градусник-то шевелится? Холодно от градусника — это спервоначала всегда так, пока не согреется

градусник от тела, но чтоб шевелился... Да ведь это змея, болотная гадюка под мышку-то заползла, жует градусник кривыми зубами, треск стекла слышно..

— Аа-а-а-а! А-а-а! вскинулся Финифатьев. И что-то отпрыгнуло от него. мягко выпало из норки. «Божечки! Крысы!» — реденькие волосы на голове сержанта зашевелились. Едят мертвых, у беспамятных носы и уши отгрызают. Только крыс и не хватало на плацдарме. Фашисты выжигают и рвут вдали древний город — вся нечисть из него ринулась в бег, ей, нечисти, тоже жрать чего-то надо...

В штабной нише под козырьком сменились связисты. Отдежуривший уполз на обогретое место, на растертый бурьян, из-под которого обнажилась кореньями надолго уже остывшая земля. Вступивший на дежурство, навесив на башку две телефонные трубки, пытался оживить печку, перенесенную из блиндажа: выдернув горсть ломаной полыни, долго бил кресалом, рассыпая искры, раздувал трут, или старый бинт, свернутый трубочкой с ваткою в середине, наконец добыл огня, поджег бурьянок и, завороченно стоя на коленях, неотрывно смотрел на огонек, вроде бы пытаясь постигнуть тайну его или просто порадоваться. Из тьмы зачуяв запах дыма, выступил постовой, вывернул кисет, выбирая из пыльных уголков золотинки табака, попросил и связиста сделать то же

Да некурящий я — отозвался Шестаков, но на всякий случай все же вывернул карманы штанов. На нем, кроме нижнего белья, все было с чужого мертвого тела, так, может, прежний хозяин одежды был курящим человеком. — Нет, ничего нету — тихо уронил он. — И печка прогорела.

Подумал может от разбитого блиндажа немецких минометчиков остались щепки какие головешки ли, попросил часового сходить туда.

— Ладно, — согласился постовой и, намявши в горсть полыни, смешал ее с табачной пылью прикурил, захлебнулся едучей горестью, сердито бросил сигарку

Лешка хотел сделать поверку, да вспомнил, что сделал ее уже, вступив на дежурство, и теперь придумывал занятие которое помогало бы отогнать сон. У опытного связиста существуют десятки дел и уловок, чтобы занять себя ими на дежурстве которое за делами проходит быстрее но главное — не дают уснуть. при свете дня можно писать письмо, починять штаны и рубаху, ковыряться в запасном телефонном аппарате, изолировать провод, укреплять заземлитель. Кто читающий и запаса старыми газетами или прихватил где-нибудь книгу, тот убивает время за чтением. Но коли ты выспавшийся, сытый вспоминается кое-что из жизни прошлой, такое что манит заняться Дунькой Кулаковой — грешку этому шибко подвержены связисты

На Брянском фронте помнит Лешка, до дыр зачитали оставшуюся с зимы в окопах «Историю ВКП(б)». До чего же нудная и противная книга, но читать-то нечего вот и мозолили ее, с бумагой плохо сделалось — пустили на курево, и тут нелады: напечатана на дорогой, толстой бумаге при затыжке воспламенялась, обжигала брови и глаза. Пользуясь ситуацией, солдаты громко кляли книгу, самое взкапэбэ, и никто из чинодралов придраться не мог — брань совершенно обоснована.

Много занятий у опытного связиста, главное из них -- треп. За этот грех шишек набирает связист полну голову; уснет или затоскуется на телефоне дежурный, прозевает командира — тот ему немедля завезет телефонной трубкой по башке. У новых телефонных аппаратов трубки эбонитовые, легкие, от них, если стукнут по башке, один только звон, шишек же нету, кроме того, трубки эбонитовые хрупкие, и если отец командир переусердствует — трубка растрескается, когда и вовсе рассыплется. Связисты соберут трубку, изоляционной лентой обмотают, проволочками разными скрепят, но качество техники уже нарушено, мембрана в трубке катается при разговоре, дребезжит и замыкает. Взовьется товарищ командир:

«Что со связью?!» «Сами же об мою голову трубку разбили сами вот теперь и работайте как хотите»

У старого, заслуженного, поди-ка еще с царских времен телефонного аппарата ящик тяжелый, трубка с деревянной ручкой, зимой пальцы от нее меньше мерзнут. Все остальное из нержавеющей стали или из меди отлито, трубка, почитай, килограмм весом, завезут ее в горячих — долго в башке звенит и чешется...

У Щуся, у того не задержится, чуть что — и долбанет, делает он это психовато, но никто на него не обижается. Майор Зарубин никогда никого пальцем не трогал — чтоб трубкой бить, у него и моды такой не было, сделает замечание либо посмотрит так, что уж лучше бы грохнул трубкой по башке, пускай и от старого аппарата. Понайотов — человек очень даже культурный, но кровей не наших, его уж лучше и не доводить до психа — он не только долбанет трубкой, но в гневе и из блиндажа вышибет.

При таком вот действенном воспитании фронтовые телефонисты с одного раза много чего запоминают и с одного же раза различают голоса командиров, не переспрашивают, не тянут волюнку с передачами команд: плохая, хорошая ли слышимость — работают четко, иначе вылетишь из-под крыши и, язык набок, будешь носиться по линии проматеренный, проклятый насквозь, и поджопников насобираешь полные галифе. Линейному-то связисту не то что починиться — на ходу, на скаку, как собаке, жрать приходится. Одно преимущество у линейных — ранят и убивают их часто, так что и намаяться иной братан не успеет, ляжет на линии, тут его в случайной канавке или воронке и заруют.

Нет у Шестакова ни книг, ни газет, ни еды. Время катит за полночь, треп на линиях прекратился, да и строго-настроено запрещено телефонистам на плацдарме трепаться — враг во тьме шустрит, к связи подключается, планы наши выведывает, тайную щусевскую линию ищет.

Чего только в голову телефониста не лезет ночью, прямо помойка — не голова! Ползут, шевелятся под трубками в башке неторопливые думы, замедлят ход, возьмутся лезть одна на другую — значит, дрема подкатывает, мешаться начала явь со сном. И надо отгонять дрему единственным, тоже давним и привычным способом. Лешка шарит под бельем, лезет под мышки, в мотню, вылавливает вшей — в этом деле опытный телефонист тоже наторелый, тертый охотник: он за одной тварью гоняться не станет, он их в волосьях пучком выбирает, как какой-нибудь узбек рис в плове, и острыми ногтями башки вертучие зажимает. Упираются плененные зверюги, лапами, жопами вертят, если б кричать умели, так всех бы на плацдарме воплями разбудили!.. Но никакой пощады им нет, этим постоянным врагам социализма: шепотью их связист вынимает и отпускает на волю, не на долгую — выпустит вниз, к ногам, и обувь их заживо стопчет, похоронит: не кусай, не ешь своих, жри фрица, пока он еще живой.

Лешка еще и уловку придумал: начнет дрема его долить — он зверье с волосьями прихватывает и как бы нечаянно рвет растительность с корнем — сразу сон в сторону отскакивает.

Сидит солдат-телефонист во тьме, носом пошмыгивает, возится, охотничает добычливо, на голове у него телефонные трубки на подвязках, словно огромные негритянские серьги, болтаются, по ним, ровно с того света, писк, свист, шорохи, завывания, звонны тихие и тайные — работает, сторожит войну хитрый ящичек, пощелкивают капли о брезент, которым прикрыта ниша. Скрипят осокори над речкою, внятно лепечет Черевинка. Ракеты взлетают все реже и реже. Полет их делается как бы продолжительней, сонным мерцанием, желтым зевком унимается ракета, корчась на земле. Реденько постреливают орудия с левого берега. «Кукурузники» шарятся над плацдармом, чего-то ищут, косо сикая светлыми, быстро угасающими струйками. На земле, да уж вроде и над землею стоит купол грозного пожара, ровно бы кто-то изо дня в день все сильнее раздувает большое горнило, и в огне его покорно истлевает город.

По линии идет и идет индукция, от лежащего в воде провода она слышнее. Может, это Ашот Васконян, закопанный за речкой, с того света весть подает, плещет в небесах от одиночества.

Ночь осенняя длинна, не скоро еще утро. Изредка нажимая на клапаны, по возможности бодрее — совсем, мол, он не дремлет, даже не думал дремать — телефонист говорит в невидимое пространство:

— Проверка.

— Есть проверка! — откликается пространство.

Наутре сменил на посту того олуха, курившего полынь, но так и не раздобывшего топлива, Леха Булдаков. Громко, с подвывом зевая, замахал руками, присел раза два, чтобы разогнать остамелость из костей. Ботинки, насунутые на полступни, свалились, и он их долго нашаривал на земле съезженными пальцами ног. Не везет Нэлька обещанные прохаря, не везет видно, достать не может. Разогнал вроде бы сон Булдаков, но внутренняя дрожь не унималась. Тогда он решил отлить, полагая, что ознобно из-за лишней сырости в теле. В темноте невидимая, шлепалась пенистая сьрь, упругой струей вымывая в песке лунку. «Есть еще чем облегчиться, значит, живу, — потрясаши штаны, удовлетворенно отметил Булдаков. — Но пожрать, пожра-а-ать бы! А-ах!» Он перешел речку, заглянул в ячейку связиста. Шорохов тоже только что сменил Шестакова — так они попеременно вдвоем и бьются с врагом, держат отечественную связь в боевом настрое. Пробовали ординарца майора в облегченье себе употребить — путается в работе нарочно путается, заподозрили связисты, но Понайотов — мужик головастый, знает, как с разгильдьями обращаться: отослал хнычущего вояку в батальон Щуся связным — там путаться не в чем, быстро поймет, где свои, где чужие, филонства там нет никакого, сплошная война и работа лопатой.

— Не спишь? — спросил Булдаков Шорохова. — Тогда одну трубку с уха сыми, будь на шухере. Я деда на берегу попроведаю.

Булдаков поспел вовремя. Финифатьев как раз норовил с визгом вывалиться из норки

— Ты че, дед? Че испугался? — подхватил его Булдаков.

Крысы, Олеха миленькай крысы. Шарятся, грызут чего-то Покойников, а?

— Ладно, дед, не паникуй. Не страшней фашиста крыса. Ты может попить хочешь?

Водицы-то? Холодяночки-то? А и глону, пожалуй. Вовсе нутро завяло без пищы. Кто на посту-то? Нас эть тут крысы не съедят, дак немец переколет? — Финифатьев теперь больше всего боялся штыка

Булдаков пошел к ручью с котелком Финифатьева.

Приподнявшись на локоть со здорового бока, Финифатьев хлебнул несколько глотков воды, пронзившей холодом пустое, но жаркое от раны нутро, крикнул, как от крепкого самогона, передернулся зябко

— Мне дом опять снился, Олеха.

— Дом? Дом — это хорошо, дед. — Булдаков был где-то далеко-далеко

Так и то посудить — он вот лежит в норе, под одеялом и шинелью, и ему холодно, а другу сердешному, Олехе-то, неслуху этому, каково? Уработался за день, ухряпался с пулеметом, но ни питанья, ни табаку, не говоря уж про выпивку. Ушел вот с поста — завсегда готов ради друга пострадать. Под дождем, на улке, голодом... Ох-хо-хо-хохонюшки-и!.. Жалко-то как человека, а чем поможешь? Сунул ему две бечевочки, сам их и свил Финифатьев, выдергивая нитки из трофейного одеяла.

— Подвяжи ботинки-то на ногах, подвяжи — все меньше спадывать будут. Тебе наутре в бой. (Булдаков принял бечевки саморучные, в карман их сунул, ничего не сказал, звуку единого не уронил — это Олеха-то, вечный-то балабол!) О-о, господи! — тихо уронил сержант и всхлипнул

Булдаков думал о еде, только о еде. Он хотел, но не мог стронуть мысли в другом направлении, дать им ход в другую от харчей сторону. Пытался представить родную Покровку на зеленом взгорке — там, на окраине

поселка, на самом крутике, стоит часовенка что игрушка! Стоит она на том месте, где был в давности казацкий пост, и гора и часовенка зовутся Караульными. Всякое городское отребье гадит ныне в часовенке, пренебрегая Богом, никого не боясь, не почитая, на стенах пишут и рисуют срамоту, а часовенке хоть бы что — все бела, все независима, ветры вольные над ней и в ней гуляют-гудят, птицы свободные над нею вьются, стар и мал, если верующие, мимо идя, перекрестятся, поклонятся: «Прости нас, матушка». Неподалеку от той часовенки, в парке имени Чернышевского — видать, здешнего, малого казацкого рода, — на пыльной листве до того однажды утолок Леха младую туготелую сибирячку, что она уж в тепло запросилась, но не в состоянии была влезть на полочку в бане. Пришлось ее, сердешную, волоком туда втаскивать. На полке теснотища и он, не имеющий еще никакого опыта в любовных делах, до того устрепался в саже, что назавтра все дома узнали, где он был и что делал. Тятя сказал: «Ишшо баню спалишь, бес!» — и кулачище сыну поднес: дескать, увлеченья увлеченьями, но про родительский суд не забывай. Накоротко возвращаясь из тюрьмы, тятя завсегда наводил порядок в своем доме, бил мать, гонял парней и соседей со стягом по склонам Караульной горы. В житье тятя размашист, не скупердый, со стола валилось, особенно если не из тюрьмы, а с заработков, с золотых приисков, возвращался родитель, — и выпивка, и жратва, и сладостей до отвала.

«Ах нет, никому от пишши мысля не уходит! И до чего же жрать хочется!» Устав с собою бороться, Булдаков терзал себя воспоминаниями о том, чего, где, сколько, с кем ел и сколько мог бы съесть сейчас. Хлеба уж не меньше ковриги, картошек, да ежели с молоком, пожалуй, ведро ошарашил бы, ну а коснись блинов или пельменей — тут никакая арифметика не выдержит!.. В это время из соседней с Финифатьевым ниши, в которой еще недавно сидел майор Зарубин, вытащился немец, отвернулся от людей к реке — помочиться, культура! «Как это их продергивают-то? „Русь культуриш?“ — „Ну а хулиш!“» Не убегают вот немцы чего-то. Шли бы к своим, там поели бы, он бы на посту сделал вид, что не заметил, как они утекли. Пропадут же. Но Булдаков все же пригрозил врагу на всякий случай:

— Не вздумай бежать. Не вздумай цурюк, нах запад. Стреляю сразу на свал. Из Сибири я.

Немец что-то сказал.

— Не знаешь, так не трепись, — пробурчал Булдаков. Ему почему-то подумалось, будто пленный сказал, что у них в Сибири кальты одни, то есть катухи мерзлые на дорогах, ветер холодный свистит и больше ничего нету. — У нас, если хочешь знать, хлеба урождаются — конь зайдет, не видать! Шишки кедровой — завались! А рыбы! А зверя! А Енисей!..

Но пленный его уже не слышал. Он всматривался, вслушивался в ночь, из которой белой крупой высевался сыпунец, тренькая по камням, шурша по осоке, по песку. Взглядом проводил где-то, вроде бы рядом, вспыхнувшую ракету, подождал, пока погаснет, и едва слышно молвил:

— Спит война. Бог над миром склонился... — Перекрестился и послушно залез обратно в земляную нишу, где вместе с ним сидя спали два русских раненых бойца, плотно вжав в землю то и дело дергающегося, взмывающего Зигфрида, который простудился и метался в жару.

— Господин майор обманул нас — нет красного креста, нет лагеря.

«Какой народ непонятный: молится и убивает! — размышлял Булдаков. — Мы вот уж головорезы, так и не молимся».

Семья Булдаковых деранула из таежного села в город от коллективизации, и весь, считай, поселок Покровка состоит из чалдонов, из села сбежавших, быстренько пристроившихся к политическому курсу и переименовавших Покровку в слободу Весны. Дедушка с бабушкой, сказывала мать, перед посевной, перед сенокосом, перед страдой постукаются лбом в пол, тятя же родимый, попавши в Покровку, в церкви не на иконы зыр-

кал, а на бабьи сельницы. Крупный спец был тятя по женской части, матерился в бога, братаны-удальцы тем же путем следовали, одно слово — пролетарьи. Да ведь и то посудить: кормежка какая!

— Не, я больше не могу! Я должен раздобыть пожрать!

— Собери глушенной рыбешки, пожуй. Я пробовал, да без солея-то не к душе. Время-то скоко, Олексей?

— Целое беремья! Зачем оно тебе, время-то? — Но все же не без отрады взглянул Булдаков на светящийся циферблат наручных часов. Шорохов захапал в блиндаже минометчиков четыре штуки — одни отдал ему. Форсистые, дорогие часы. — Двенадцать с прицепом. В прицепе четвертак.

— О-ой, матушки мои! Я думал, уж скоро утро. Голодному ночь за год.

— Не-эт, не я буду, если жрать не добуду! У бар борода не бывает, у бар усы. — Булдаков решительно шагнул в темноту, захрустел камешник в речке под стоптанными, хлябающими на ногах ботинками.

«Где добудешь-то? — хотел остепенить друга сержант. — Тут те не Красноярский базар, тут те...» Шаги стихли, и, коротко вздохнув, Финифатьев снова влез в нору и снова начал отплывать от этого берега, погружаясь в зыбь полусна.

В самый уж глухой, в самый черный час, когда и звезды-то ни одной не осталось, лишь над далеким городом накаленно светился небосвод, руша камни и песок, в Черевинку свалились Булдаков с Шороховым, волоча за лямки три немецких ранца. Добытки возились в затопленных и обрубленных кустах, сбрасывая напряжение, всхохатывали, колоколили:

— Ну, бля, помирать буду, не забуду, как его перекосило! — Булдакова распирали восторг. — Фриц штаны на ходу натягивает, со сна прям в меня уткнулся. Я хотел его спросить: «Ну как, паря, погода? Сёркая?» — да вспомнил что не в родной я Покровке Хрясь его прикладом, но темно же, со скольком угодило, завыл: «О-о, русишен, русишен!» Должно быть, и дохезал в штаны все, что на завтре плановалось...

Шорохов с Булдаковым гутарили и в то же время разбирали трофеи, чавкали, тянули из фляжки шнапс, передавая посудину друг дружке. Под козырек, накрытый матом, вошли трое — Понайотов, Карнилаев да Лешка с телефоном. Захмелев на голодное брюхо, Булдаков дивился превратностям жизни:

— Во, братва, житуха! Подходило — хоть помирай, и уже ниче... — И, братски делясь, совал фляжку.

— Однако не буду пить, — отказался Лешка. — Голова с голодухи и без того кружится. Где это ты?

— Я, сучий рот, в мерзлоту в вечную вбуривался и там, в мерзлоте вечной, харч добывал, выпить добывал. Когда и бабу! — в который уже раз похвастался Шорохов.

— А я, — хвастливо подхватил Булдаков, — ковды на «Марее» ходил...

— На какой Марии? — заинтересовался Понайотов.

— На сестре Ленина.

— Пароход это, пароход, — снова встрял в разговор Шорохов. — А ты че подумал, капитан? Ну, бля, поте-эха!

— Постой, кореш, постой. Так вот на «Марее» в рейс отправимся, дойдем до первой загрузки дровами, сразу покупаем корову — для ресторана, рыбы пол-лодки — тайменя, стерляди, ну и для судовой кухни тоже. Еда — во! Пассажирик — во! Э-эх, жизнь была! Гонорил, выдрючивался, хайло драл...

— Целки попадались? — в кровожадную стойку вытянулся Шорохов.

— Всякие попадались. Но говорю же, не ценил, олух царя небесного, роскошную такую жизнь.

— Роскошь! Дровами пароход набивать! Весь груз на горбу.

— Мерзлоту долбать краше?

— Мерзлоту долбаешь под охраной, никто тебя не украдет, все бесплатное кругом. Удовольствия скою!

— Ну лан. Я к деду сбегаю.

— А я, пожалуй, схожу козла припорю. Ну-к, Шестаков, уточни, где ключ-то, возле которого козел жирует? Я этого хапая без карты слышу.

— На немцев напорешься.

— Ну и што! — храбрился Шорохов. — Не бойсь, боевой мой друг. Советской конвой пострашнее фашиста будет, да я и его не раз оставлял без работы. — Шорохов затянулся ремнем, сунул лимонку в карман, свой знаменитый косарь за голенище и, под нос напевая гимн любви, который он заводил всякий раз, когда посещало его хорошее настроение: «Дунька, и Танька, и Манька-коса — поломана целка, подбиты глаза...» — растворился во тьме.

Финифатьева продолжали преследовать кошмары, он замычал, задержался, когда его вместе с одеялом, точно куклу, выпер из норы Булдаков. Одеяло, то, которым накрывали убитых Славутича и Мансурова, Финифатьев прибрал, через всякую уж силу и боль оттер мокрым вехтем из осочки от крови и вшей, подсушил на солнце и теперь вот в тепле, в уюте пребывал, если б еще рана не болела и не мокрила, дак и совсем ладно.

— На, дед, на! — совал сержанту студеное горлышко фляги Булдаков.

И не успел спросить Финифатьев, что там, во фляге-то, как его полоснуло по нёбу, по горлу, он поперхнулся, но зажал обеими горстями рот, чтоб ни одна брызга не вылетела. Булдаков радостно балаболит, угощая Финифатьева, празднично, как ребенку, совал в руки что-то маслянистое, вкусное. Деревенский, домашний человек гостинцу радовался, но на сухую есть не привык. Булдаков черпанул котелком в речке водицы полной мерой с песком вместе. Ничего, ничего, песочек чистый, от крови промытый.

— Олеха, да ты никак пьяной?

Олеху и впрямь развезло Финифатьев, как старший, приказал своему первому номеру лезть в земляную нору, стянул с его хворых ног разжувательные ботинки, босые ступни одеялом укутал, задевая пальцами волдыри, назревающие и уже лопнувшие. «Парень за полфронта управляется, а его обувь не могут. Это шче же за порядки у нас такие?! Немцу и шестиста-то граммов хлеба хватает, банка масла, галеты, жменя сахару, шоколадку ли соевую, то да се — и к шестиста-то граммам набирается питательного продукту досыта. И ведь не обкрадут, не объедят свово брата немцы, у их с этим делом строго: чуть че — и под суд. А у нас покуль до фронта, до передовой-то солдатский харч докатит, его ощиплют, как голодные ребя тишки в тридцать третьем годе, несли булку из перхурьевской пекарни, — один мякиш домой, бывало, доставят. Несчастные те сто граммов водки покуль довезут, из каких только луж не разбавят — и керосином. и ссякой, и чем только та солдатская водчонка не пахнет. Олеха, правда, пьет и таку, завсегда за двоих, за себя и за своего сержанта, потому как Олеха Булдаков — это Олеха Булдаков! Такому человеку для укрепа силы и литру на день выдали бы, дак не ошиблись».

Мысли Финифатьева идут, текут, дремные, неповоротливые, и, как и положено на сытый желудок, начинают брать политическое направление: «А эть воистину мы непобедимый народ! Правильно Мусенок говорит и в газетках пишут. Никакому врагу, и тому же немцу, никогда нас не победить, эть это какой надо ум иметь и бесстрашие како, штобы догадаться у самово противника пропитанье раздобыть.. Ох, Олеха, Олеха!.. «Голова ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить!..» — про тебя, Олеха, песня, про тебя-а-а, сукин ты сын... А ранец немецкий я под голову приспособлю — мяжкой он, не то что наш сидор с удавкой»

Тем временем закончилась экспедиция Шорохова к Великим Криницам, приволок он не козла, а козлушку козел говорит маневр сделал — смылся.

— Пушай порадуется жизни денек-другой, пушай будет резервом питания Красной Армии. — С этими словами Шорохов забросил в обрубьи кустов серую тушку, приказав солдатам из отряда Боровикова ободрать и сварить ее в земляных печурках, пока темно.

Солдаты, наученные Финифатьевым, приспособились скрывать огни от немцев — пробрили в дерне из норок дырки, варят ночами рыбешку, заброшенные в речку осколки тыкв, когда и картошку сыщут, — немцы чувят дым, пальнуть бы надо, а куда?

«С кем ты, идиот, драться связался?! — Это про Гитлера думал капитан Понайотов, дальше уж про все остальное: — Немцам и в голову не придет, что к ним воры приползли! Надо бы приказать, чтоб хоть мяса кусок Щусю отнесли. И еще надо... Надо продержаться следующий день. Но если будет то же самое, что в прошедшем дне, нам на плацдарме не усидеть. Первого сомкнут в оврагах Щуся с его почти уже дотрепанным батальоном».

Но немцы прекратили активные действия. С утра еще гоношились, местами атаковали, но вяло, без большой охоты, и все же потеснили еще дальше к реке пехоту Бескапустина, загнали аж в самую глушь оврагов батальон Щуся.

Из штаба дивизии потребовали восстановить положение.

На исходе сил, с последними боеприпасами, надеясь в основном на поддержку артиллерии и реактивных минометов, полковник Бескапустин решил контратаковать противника.

Припоздалое бабье лето выдало еще одно звонкое утро. Иней искрился, соломой пылали лучи солнца, крошась, осыпались вниз. Крысы, объевшиеся человечинной, никого и ничего уже не страшась, плотной чередой сидели по урезу реки, время от времени поднимали сатанинские драки, с визгом свивались в грязный клубок, заваливались в воду и, мокрые, скулили за камнями, облизывали себя, лезли в обогретые людьми норы.

Неспокойное течение покачивало у приплесков и в уловах черную шубу мухоты, которая и по берегу лежала слоями, сонно ползала трупная тварь по чуть уже пригретому яру, пыталась сушить крылья, залезала в норки, клеилась, липла к теплым лицам. К полудню все эти мухи высушатся, закружат, залетают над трупами, питаются ими и размножаясь в них несметно.

Громко орали, зло ругались чины из штаба полка, собирая по берегу людей. Финифатьев растолкал Булдакова:

— Олеха! Олеха! Пора тебе итить на бой. Патрули вон за ноги цельных-то людей из берегу тащат, прикладами бьют, на подвиги призывают

Булдаков патрули лаял, пинался. Недопивший, недоспавший, Олеха был шибко лютой:

— Сказано, сам приду ко времени.

— Олех, Олех! Пора тебе, брат, пора...

— Туда, где за тучей темнеет гор-р-ра-а-аа! — заорал из земли Булдаков и, царапаясь, вылез на волю, зажмурился от яркого солнца, зевая, плялил на ноги заскорузлые полукирзовые ботинки. За ночь ноги отекли, каждая косточка болела. — И где та лахудра, чего она не плывет? — ярился Булдаков, прихватывая бечевочками маломерные ботинки. Он видел: Финифатьеву за ночь стало еще хуже, сержант нехорошо раздумячился, глаза его ярко светились, кашель бил в грудь из нутра так, будто в рельсу колотили при пожаре в каком-нибудь таежном селе. Дед сказал, что нет в нем отягу, и пояснил редкое и такое емкое слово: силы сопротивляемости мощи духа.

Булдаков понимал: Нэльку с лодкой не пустит за реку немец, кончилась обедня, возросла бдительность, измором решили взять иванов фашисты, — но все равно ругался на нее распоследними словами.



— Ох не ко времени переводят меня с берега дед, не глянешься ты мне седня

— Дак че сделаешь, Олеха Ступай давай, ступай В котелок водицы черпни и ступай Потом придешь. Придешь ведь, Олексей?

— Рази я брошу — Успокаивая дружка Булдаков и себя успокаивал Но в груди томилось-томилось, куталось в клубок нехорошее «Ах притворяйся не притворяйся, лукавь не лукавь — у деда горячка начинается Во что бы то ни стало надо его переправлять в санбат»

— Под Сталинградом, сказывали ребята раненых привяжут к бревну — оне и плывут вниз по Волге-реке

Уходить бы надо Булдакову однако он топчется Из подкопанного яра вылезли пленные жмурятся на солнце дрожа от холода тепла ждут Вальтер сердито заговорил поминая «герр майора» значит снова требуют пленные исполнить обещанное командованием — переправить их на другую сторону реки и определить в лагерь для военнопленных или обратиться по радио в Красный Крест

— Ну дак и плыви! — мрачно буркнул Булдаков заседающему на него ефрейтору — Скидывай штаны и валяй саженками, — и кивнул на посиневшего Зигфрида, покорно ожидающего решения своей участи, — на горб себе посади! Он тощей, не задавит. Гутен морген! — натужился Булдаков, вспоминая школьные познания в немецком языке

Горестно покачав головой, немцы поползли к реке умываться, пинали крыс, бросали в них камнями.

Напослед произошел у Лешки разговор с Финифатьевым, которого раньше сержант себе не позволял. С закоренелой мужицкой тоской говорил сержант о том что отдал родной партии, почитай, всю жизнь, а она вот его ни разу ни от чего не уберегла, ничем ему не помогла, бросила вот на берегу как распоследнюю собачонку и никому до боевого ее соратника нет дела. А ведь Мусенок поручил ему быть на плацдарме младшим политруком, вести в роте воспитательно-патриотическую работу.

— Видно, стишок про шелково ало знамя, шчо он вчерась по телефону продиктовал, разучивать с ранеными надо.. — Губы сержанта мелко мелко дрожали. Глядел как из-под воющих мин сыпанули от уреза воды к яру люди, если их еще можно назвать людьми, — выбирали они за ночь наглушенную рыбешку и принесенное рекой добро.

В реке густо плавали начавшие раскисать трупы с выклеванными глазами с пенящимися, будто намыленными лицами, разорванные, разбитые снарядами, минами, изрешеченные пулями. Дурно пахло от реки но при торно-сладкий дух жареного человеческого мяса слоем крыл всякие запахи плавая под яром в устойчивом месте. Саперы, посланные вытаскивать трупы из воды и захоранивать их, с работой не справлялись. Зажимая пилотками носы, крючками стаскивали они покойников в воду, но трупы, упрямо кружась, прилипали к берегу, бились о камни, от иного крючком отрывало руку или ногу, ее швыряли в воду. Проклятое место, сдохший мир. За ухвостьем головешкой чернеющего острова не было течения, кружили там улова, иногда относя изуродованный труп до омота, на стрезень, там труп подхватывало, ставило на ноги и взяв руки, вертясь в мертвом танце он погружался в сонную глубь

— Я знаю, знаю, чево имя надо, — заговорил вдруг Финифатьев, глядя на левую сторону реки, дымящую кухнями, — оне в партию народ записывают для того, чтобы численность погибших коммунистов возрастала Честь и слава партии! Вон она, родимая, как горит в огне. Вон она какие потери несет оттого, что завсегда впереди, завсегда грудью народ заслоняет

— Да че ты, дед! — испугался Булдаков, озираясь. — Ты че несешь-то?

— А все, Олексей, все За жись-то тут скоко накупело, — постучал себя в грудь Финифатьев, — надо ж когда-то ослобониться. Оне нас с тобой в последних гадин презренных превратили. Теперича из нас же мясо делают, вшам и крысам скармливают...

— Да ну ты, дед! Че ты, в самом-то деле? Ну стукачи, ну и что? Я врал завсегда, и оне от меня отвязались.

— Ты вот врал, а я вот ей, партие-то, честно служил. И ох скоко на мне, Олешенька, сраму-то, скоко слез, скоко горя сиротского... Знал бы ты черну душу мою, дак и не вожгался бы со мной. Гад я распоследний, и смерть мне гадская от бога назначена оттого, что комсомольчиком плевал я в лик его, иконы в костер бросал, кресты с перхурьевской церкви веревкой сдергивал, золоту оправу в центры отправлял... Вон она, позолота святая, русская, на погоны пошла, нехристей украсила...

— Один ты, што ли, такой?

— Счас, Олешенька, считай, один. Бог и я. Прощенья у ево день и ночь прошу, но он меня не слышит.

— Ты че, помирать собрался?

— Помирать не помирать, но чую: видимся мы с тобой в остатний раз... Не такую бы беседу мне с тобой вести — в бой идешь... Прости, ежли шче не так было...

— Да дед, да ебут твою мать, да ты че?!

— Бежи, бежи, милай, бежи, опоздашь, дак свои же и пристрелят. Бежи, милай...

Понурьсь, забросив винтовку на плечо, будто дубину, Леха Булдаков побрел. Финифатьев сыпал мелконькие слезы на обросшее лицо, распухшими пальцами, не складывающимися в щепоть, неуверенно крестил его вослед.

Уже не чувствуя боли, коробящей сердце, уходил Павел Финифатьев в мир иной. Докучала ему крепко все та же болотная змея, угнездившаяся под мышкой, он ее выбрасывал за хвост из-под одежи, топтал, вроде бы изорвал гада на куски, но куски те снова соединялись, снова змея заползала под мышку, свертывалась в холодный комок, шипела там, пыталась кусаться. Финифатьев устал бороться с гадом, пластая на себе гимнастерку, высказывался: «Не-эт, товаришшы! Мы тоже конституцию страны социализма изучали, тоже равенство понимаем — и никаких!.. Алевтина Андревна! Не слышу я тебя. Не слышу. Ты продуй трубку-то, продуй...»

Последняя перед закатом солнца бомбардировка оказалась особенно яростна и нещадна. Работая на крайних пределах высоты, «лапотники» неистово пахали клоч земли, над которым развалилось, сгорело, погибло большинство машин прославленной воздушной дивизии люфтваффе, стершей с земли древние европейские города, порты, станции, колонны танков, машин, сотни эшелонов, тучи беженцев и устало бредущих иль по окопам залегших полков.

И вот над этим паршивым, когтями дьявола исцарапанным берегом, над землей, где и земли-то как таковой нет — рыжая ржавчина, перемешанная с серым песком, обнажающим под собой глину, цветом напоминающую дохлую, кое-как на морозе ободранную сталинградскую конину, — именно над этим клочком земли расколошматили, расстреляли, поистребовали иваны неустрашимую дивизию.

Залатанные машины, свистя продырявленными крыльями, сипя и рыча плохо тянущими моторами, ходили над берегом, соря бомбами, втыкая в его кромки пули из крупнокалиберных пулеметов, готовые лапами цапать, корпусами давить все, что еще шевелится там, внизу, в туче рыжей пыли. На выходе из пике на них набрасывались истребители, рассекая порой частыми очередями самолет пополам, гонялись за «лапотниками», понужая их в хвост и в гриву. А выше и дальше лопаются взрывы зениток.

Часть суши, нанесенная рекой и речкой, подсеченная ледоходом, размытая высокой водой, была бомбами отсечена от материка, или, как уголочек уже начатого желтого пирога, отрезана, употреблена, лучше по-шороховски — схавана воздушными едоками. Весь яр вроде бы приподнялся

и со вздохом осел, накренился и отпихнул от себя прибрежный песок. И когда земля исторглась мягким, сыпучим нутром, навалилась на выступ, придавила собою людей в непробудной тьме, они и вскрикнуть не успели. В голове Финифатьева, наглухо укрытой одеялом, промелькнуло: «А што же это было? Жизнь? Сон?» — и все мысли его на этом месте остановились, даже последний вдох раздавило в груди.

Вальтер и Зигфрид сколько-то еще плыли в сдвинувшейся с места земляной дыре, сделавшейся сразу тесной и душной, истошно крича, пытались руками упереться, отбросить наседающую со всех сторон, молниями разрываемую землю. Но их все крепче, все плотнее сдавливало землею и наконец утащило, смяло, рассыпало и тела, и крики их, и движения, как и сотен других людей, спасавшихся в земляных норках.

Когда развалился мысок у Черевинки, в реку еще долго катились комья и комочки земли, мелькая чубчиками седых трав, обломками сохлого бурьяна. Попав в воду, комки делали еще один-два подскока и, намокнув, утихали, пузыря вокруг себя желтую муть, а подле берега кружило нарядный горелый лист, пух осеннего бурьяна, мусор кружило, из рыхло оседающего яра с комками вместе выкатывало вдруг что-то безумно хохочущее. Раскопавшийся из гиблых недр лохматый человек плевался, плевался и запел: «Па-я-я-лю-би-ыл ж-жа я и-ие, па-а-я-лю-у-уби-ы-ыл горячо-о-о, а она на любоф не ответила ниче...»

Другой воскресный житель земли русской рыдал, умываясь, и блажил при этом на весь белый свет: «А-а-а, живо-о-о-ой! А-а-а, живо-во-о-о-ой! Распрот-твою-твою-твою мать, в пе-пече-о-онки, в селез-зе-о-онки, ж-жи-ы-ы-во-о-ой!»

И, натужно хрипя, тянули, везли за собой густые дымы «лапотники», и гнались за ними, шало, словно бы балуясь, вертясь на свету зари, плюющие огнем истребители. Завалившись беспомощно на спину, начал обреченно падать и гореть в воздухе один, другой бомбовоз, и только один белый цветочек парашюта расцвел на сером, почти уже темном небе, но и его смахнули с жиденной желтеющего краешка зари.

Умолк неугомонный Финифатьев, отмучились раненые и пленные, снесло мысок, намытый Черевинкой, осадило яр, разлетелись в разные стороны самолеты, и сделалось на берегу и в небе пустынной, свету и пространства прибавилось.

Месяц-два спустя в вологодское село Кобылино придет извещение о том, что сержант Финифатьев Павел Терентьевич пропал без вести на полях сражений. И Алевтина Андреевна, изработавшая и силу и тело, прибьет четвертую красную звездочку на угол своей избы — по северному обычаю отмечая память вылетевших из этого гнезда на войну защитников отечества. Может, год, может, десять лет спустя — дни и годы сольются у русской вдовы воедино, пойдут унылой чередою, станут одинакового цвета — покорная вдова повяжет вместо черного белый платок и подастся в избу Вуколихи, обставленную богатым иконостасом с круглосуточно горячей перед ним лампадой, заправленной соляжкой, молиться по убиенным и страждущим. Она встретит здесь женщин, которые были вроде бы уже старыми еще тогда, когда они с Павлом играли в счастливую любовную игру, — время поравняло всех, все сделались одинаково белы волосом, воздушны телом, тихи голосом.

Теперь они жили только воспоминаниями о прошлом. Собравшись у Вуколихи, рассказывали друг дружке о своих детях, братьях и мужьях, прося Господа дать павшим на поле брани место на небе поудобнее — уж больно худо им было на земле, так пушай хоть там отдохнут.

Мужья теперь у всех баб сделались как на подбор: хорошими, умными, добрыми, хозяйственными, жен своих и родителей почитавшими, детей без ума любившими, власть и Бога не гневившими. Никто из них не дрался, не пропивал получки, не крушил окон у себя и у соседей, не заглядывался на молодух.

Перхурьевский начальник — рыболовецкий бригадир Мишка Сухорук, счастливо отделавшийся от войны по причине бельма, накрыл однажды собравшихся у Вуколихи старушек. Но бабы страсть какие увертливые сделались за годы, прожитые под лукавой, воровской властью, вывернулись из сложного положения, выставили Мишке поллитру, он за это выбросил из мерзлого куля на пол брюхатую, икряную шуку.

С тех пор, как только Мишка бывал не при капиталах, но выпить ему требовалось, прижимал он старушек, сулясь разоблачить их секту в газетке, предать суду общественности, прикрыть гнездо, сеющее вредящую идеологию. Старушки, как и весь русский народ, боялись партии и раскошеливались.

Разговоры и самодельные молитвы-напевы облегчали душу Алевтины Андреевны, не истребляя, однако, загустелую тоску, теперь уж вечную. Алевтина Андреевна носила ту тоску в себе, как зародыш ребенка, которым не разродиться, который уйдет вместе с нею в могилу. По праздникам Алевтина Андреевна доставала из сундука завернутую в расшитый рушник тетрабочку — бумага истлела и ломалась, но надпись на корке — «Але на память от любящего доброжелателя» — еще угадывалась. Ничего без очков в тетрадке не видя, никаких букв не различая, Алевтина Андреевна все же вспоминала кое-что из написанного и от себя кое-что добавляла.

Последнее письмо от Павла Терентьевича было с берега Великой реки, это он перед переправой писал, где — сердце ей подсказывало — и погинул, там, на реке той далекой, Великой. Слов «без вести пропавший» она не понимала, да и не мог такой человек, как Павел Терентьевич, взятъ да и пропасть куда-то безо всякой вести. Пытаясь представить тот берег реки, землю ту далекую, глядя на белые снега, текущие с неба — небо-то везде одно, — Алевтина Андреевна, сидя подле окна с веретеном или упочиной или едучи в санях за дровами, за сеном, за всякой другой кладью, творила складную молитву: «Падай, падай, бел снежок, на далек бережок. На даль-дальнем бережку прикрой глазки мил дружку...»

Полк Авдея Кондратьевича Бескапустина, наполовину выбитый, но все еще боеспособный, перебросившийся на плацдарм через островок и мелкую протоку, первоначально имел успех и начал, хотя и вразброс, путано, продвигаться вперед, где с боем, где втихую, как группа Щуся, занимать один за другим овраги, пока не достиг противотанкового рва, неизвестно с какой целью или хитростью здесь вырытого, поскольку танкам на этом берегу ни дыхнуть, ни пукнуть. За рвом начинались картофельные и кукурузные поля, садики с обсыпавшимися от стрельбы яблоками. Вот уже выхватило светлыми вспышками ракет крышу клуни на окраине села Великие Криницы, тербнуло взрывами, подбросило клочья соломы, крыша клуни сразу в нескольких местах закурилась белыми дымками, недолге и вспыхнула.

Увидев пожар за спиной и стрельбу там слышав, немцы, прикипевшие к кромке берега и добывающие ранее переправившиеся взвод и роты, забеспокоились, загомонили и вдруг кинулись в темноту, сорвали в бега почти всю береговую оборону. В противотанковом рву, выкопанном в версте от берега, немцы начали скапливаться, отдыхаться и соображать — не попали ли они в окружение? и что вообще происходит?

Было высказано предположение, что с тыла их атакуют те самые партизаны, слухи о которых в немецких частях строго пресекались, и заранее сообщено было, что район предполагаемой переправы русских от партизан блокирован, за тылы беспокоиться не нужно. Но тут, на берегу реки, было уже много солдат, не раз битых, в том числе и на Дону и под Сталинградом. Они не верили успокоительным речам и больше доверяли своему нюху и ногам. Скорее всего из противотанкового рва немцы по одному утянулись бы дальше, к селу Великие Криницы, попрятались бы по оврагам да в пойме Черевинки. Но в это время бескапустинцы нарвались на заминированный склон высоты сто. Мины «эски», прозванные «лягушка-

ми», начиненные стальными шариками, прынули выше голов, жажнули, рассыпая смертоносный груз, черно взнялась в ночи земля, серо брызнула враспынную наступающая пехота.

Большую беду нельзя было и придумать. «Эсок» этих большинство бойцов, прежде всего новичков, видом не видели, но слышать о них слышали и заранее боялись. Сразу в ночи раздалась многочисленная вопли о помощи. Заметалась пехота, подрываясь на привычном уже противопехотном мелкотье. Мины в деревянных коробочках, похожие на мыло, не такое, правда, красивое, фирменное, какое в пути на фронт мастерски изготавливали и меняли на жратву умельцы под руководством Финифатьева. Немцы очухались, рота Болова накрыла из минометов мечущуюся в потемках толпу, не разбирающую уже, где рвется, — нет хуже ощущения, что каждый клочок земли под ногами ненадежен, да еще и небо гудит, сорит бомбами, сыплет воюющие мины, бьет из пулеметов.

Бескапустинцы, вырвавшись с минного поля, побросали оружие, которого и без того недоставало, ринувшись обратно к реке, натыкаясь на свои же роты, сминали их. Пока одумались да разобрались что к чему, много потеряли людей, оружия, главное — оставили так дорого доставшиеся, так необходимые позиции, сбившись у берега и под берегом.

Утром спохватились: полоска-то в районе действия полка бескапустинцев двести—триста сажен вглубь, вширь — кто говорит, три версты, кто пять, усиди попробуй на таком клочке земли.

Пробовали атаковать. Продвинулись, захватили несколько оврагов, раза два достигали противотанкового рва, пытались закрепиться в нем, да вытряхивали их из рва, как поросят, заступивших в кормушку, чешут назад солдатики, только копытца постукивают.

К исходу вторых суток у Бескапустина осталось около тысячи так называемых активных штыков да у Щуся в батальоне с полтыщи, десяток батальонных минометов с тремя минами на трубу, несколько чудом перетащенных пэтээров, которые тут едва ли понадобятся, два станковых пулемета, десятка полтора ручных — «дегтяревых», в остальном автоматы почти без дисков, винтовки с тремя—пятью обоймами, гранат несколько ящиков.

Хорошо, что в атаке, начатой с ходу, взяли порядочно трофейного оружия, патронов, но и своего немало кинули, драпая из-за треклятых «лягушек». Один станковый пулемет был отправлен в батальон Щуся, к нему отряжен надежный, умелый пулеметчик — пермяк Дерябин. В его же руки Щушь передал помощником Петьку Мусикова. Этот неустрашимый воин, про которого сержант Финифатьев говорил (точнее не скажешь): «У нашего свата ни друзей, ни брата», — и на фронте продолжал жить и действовать по своему уставу. В Задонье было: во время боя бегал по траншеям, ползал на брюхе меж окопами старший лейтенант Щушь, в ту еще пору командир роты, — и зрит картину: лежит в уютной ячейке вояка и постреливает вверх, израсходует обойму, неторопливо всунет другую, утретса рукавом и пошел по новой палить «по врагу». Щушь полюбовался на воина, помотал головой и изо всей-то силушки отвесил ему пинкаря: «Воюй!» Тогда вот, в Задонье, он и передал Петьку Мусикова пулеметный станок таскать, копать землю, о лентах и патронах заботиться. Сам Дерябин мало спал и помощнику лишку спать не давал, главное — никуда от себя его не отпускал, даже на то, чтоб харч промыслить, не давал времени, хотя оба номера пожрать большие охотники.

Очень обрадовался Петька Мусиков, когда узнал, что пулемет их, переправляемый на помосте, сооруженном на бочках из-под горячего, утоп Петька Мусиков и знал, что пулемет утопнет и все, что есть на помосте, утопнет — высоко плывут бочки, и стоит хоть одной пуле попасть хоть в одну бочку, как она забулькает, набирая воду, потянет за собой все остальное сооружение, на котором только политическую литературу переправлять да разных агитаторов — говно на воде не тонет. Петька Мусиков с

маньдамской шпаной по заливу, по шуте ли весной, еще по большой воде, на бревне плавал, когда на плотках, когда и на двери от сортира, один раз сам сортир в воду столкнула шпана, поплыли маньдамские пираты на просторы, а в сортире-то человек окажись! Орет! Так ведь плавали-то без груза, в трусах одних, чаще и без трусов, упадешь в воду — сам выплывай. А тут пулемет, минометы, пушки на бочки вкатили — при такой-то плотности огня! Э-эх, умники.

Очень расстроился, духом упал Петька Мусиков, когда прикатили к ним пулемет и рожа эта пермяцкая, Дерябин-то, пустил его в дело

— Грызите землю, бейте фашистов лопатами, камнями, чем хотите, но расширяйтесь! — дергаясь щекой так, что кривая, с коротеньким мундштуком трубка взлетела до уха, просил-приказывал полковник Бескапустин.

Еще один бой. Этот уж из последних сил-возможностей. И трубки нет. Хоть пропадай. Капитан Понайотов, пригнувшись, вошел в добротню, в три наката крытый немцами блиндаж и доложил командиру полка о своем прибытии. За начштаба топтался, поблескивая очками, Карнилаев, держа под мышкой плотную сумочку с картами, за спиной шнурком прихвачен планшет. Следом, треща катушкой, отчего-то вприпрыжку спешил связист.

— Кстати, кстати! — подав все еще пухлую, но холодную руку, сказал Бескапустин. — Сыроватке хорошо! Везунчик! У него территория в три Люксембурга да в одну Бельгию, а тут — бегаем и хвостики в воде мочим...

В полдень начали атаку. Пехота частью потекла по оврагам, частью двинулась вослед за огненным валом в отчаянии, без крика, прямо на окопы, в направлении противотанкового рва, куда смещались разрывы снарядов.

— Плотнее, плотнее, капитан! — наблюдая в бинокль развитие атаки, просил Бескапустин.

— На пределе работаем, товарищ полковник. Нельзя плотнее. Побьем своих.

— А-ах ч-черт! Минометчиков бы, минометчиков бы! — стонал полковник Бескапустин. — Ну где эта трубка? Куда подевалась?.. Ах молодец парень! Ах молодец! — поймал биноклем крупного парня в подпоясанной телогрейке, который, прихрамывая — должно быть, ранен в ногу, — бросками шел ко вздрагивающему огню пулемету.

Забирая чуть правее, к ложбинке, парень падал, неторопливо целился, делал выстрел. Но там, у противника, видать, тоже сидели опытные вояки и не просто сидели, но работали, работали. Если подарок от иванов прилетал, пулемет смолкал, значит, пулеметчик оседал на дно ячейки, старательно, во весь профиль выкопанной, в это время, в миг краткий, парень делал стремительный бросок к цели. И потому что он не разбрасывался, не суетился, выбрав одну цель, к ней и устремлялся, угадывался в нем бывалый вояка. Один раз он все же угодил куда надо из винтовки. Пулемет вздрогнул, с рыльца его опал красный лепесток... Видно, не напрасно говорится: народ любит гриба белого, а командир — солдата смелого.

— Ах молодец! Ах молодец! — хвалил парня полковник Бескапустин и загадал про себя: если этот его солдат дойдет и уничтожит хорошо поставленный пулемет — будет удача.

С Булдаковым маялись сперва родители, затем все старшины рот, какие встречались на его боевом пути. У него, как уже известно, сорок седьмой размер обуви. Самый же крайний, как и в запасном полку, присылали на фронт сорок третий. Радый такому обстоятельству, Булдаков, так же как и в бердском доходном полку, швырял чуть не в морду старшине новые ботинки: «Сам носи!» — забирался на нары да еще и требовал, чтобы пищу ему доставляли непременно в горячем виде.

Потрясенный такой наглой и неуязвимой симуляцией, старшина резервной роты что стояла на Саватовшине, достал лоскут сырмятины,

из нее по индивидуальному заказу сшили мокроступы, пытались выдворить на боевые занятия отпетого симулянта, к тому же припадочного: «У бар бороды не бывает», — рычал симулянт и падал на пол. Мокроступы не вязались с боевым обликом советского воина, раздражали командиров, те гнали Булдакова из строя вон, подальше с глаз, чего вояке и надо было.

Он шлялся по опустелым подворьям выселенных немцев, находил вино, жратву и пил бы, гулял бы, но в нем оказались устойчивыми советские, коллективистские наклонности — непременно угостить товарищей. «Ну-ну, хруст мне достался!» — мотал головой старшина роты Бикбулатов, по национальности башкир.

Первый раз завидев бойца с совершенно наглой, самоуверенной мордой, в немыслимо шикарных обутках со множеством стальных застежек, одновременно похожих на сапоги и на ботинки с голяшками, с присосками на подошвах, Бикбулатов не только изумился, но и загоревал, понимая, что с этим воином он нахлебается горя. Булдаков напропалую хвалился редкостными скороходами, сооруженными, по его заверению, аж в Персии, но не объяснял, каким путем диковинная эта обувь попала на советскую территорию и с кого он ее снял. Сносились, однако, и те персидские, на вид несокрушимые обутки, и Булдаков ободрал сиденье в подбитом немецком танке, выменял или упер у кавалеристов седло — на подметки. Дождавшись передышки, отыскал в боевых порядках сапожника, отдал ему все кожаное добро, и мастер исполу, то есть за половину товара, сработал ему такие сапоги, что в них кроме огромных, с детства простуженных костлявых ног Булдакова, измученных малой обувью, входило по теплomu носку с портянкой. Булдаков до того был доволен обувью, что от счастья порой оборачивался, чтобы посмотреть на собственный след.

Прибыв к реке, Булдаков смекнул, что едва ли сможет переплыть в своих сапогах широкую реку, сдал их под расписку старшине Бикбулатову. Чтоб расписка не потерялась, не размокла, спрятал ее сначала у телефониста в избе под крестовиной, потом передумал: изба-то... скорее всего сгорит, — и засунул расписку вместе с домашним адресом в патрончик, для которого и пришивал карманчик под животом, на ошкуре брюк. Переправившись на плацдарм, Булдаков шлепал по холодной земле босыми ногами и орал на ближнее, доступное ему командование, стало быть, на сержанта Финифатьева, что ежели его не обуют, он уплывет обратно — воюйте сами! Финифатьев стянул с какого-то убитого бедолаги ботинки крайнего, опять же сорок третьего размера. Снова маялся Булдаков, но никому не жаловался. Да что тут, на этом гибельном берегу, мозоли какие-то? Прыгал, будто цапля, по берегу Булдаков и в атаку шел неуверенно, спотыкаячись, прихрамывая. Отцу же его, командиру полковнику Бескапустину, казалось — боец ранен.

Будь у Булдакова сапоги, те, что хранились у пропойцы Бикбулатова, иль хотя бы редкостные персидские мокроступы, он давно бы добежал уже до вражеского пулемета, и вся война в данном месте, на данном этапе кончилась бы. Он и в тесных, привязанных к ногам бечевочками деда, скоробленных ботинках достиг немецкой траншеи, по вымоине дополз до хода сообщения, прыгнул в него, двинулся с винтовкой наизготовке, чувствуя, что обошел пулеметное гнездо с тыла, свалился туда, где никто никого не ждет, тем более Леху Булдакова. Командиришко тут, видать, зеленый или самонадеянный. «Балочки, низинки, всякую воронку, глины комок надо доглядывать, закрывать, господин хороший! Закрывать-закрывать-а-ать!» — будто детскую считалку, шепотом говорил Булдаков, бросками двигаясь к пулемету по извилисто — по всем правилам — копанной траншее. Совсем же близко работающий пулемет — эта цепная собака, тетка-заика, по окопному фрицевскому прозванию. Слышно шипение перегретого ствола за изгибом траншеи, звон гильз, опадающих по скосу траншеи; из пулеметной ячейки, из кроличьей норы, как ее опять же называют фрицы, тащило дымом, окислой медью, и по тому, как стучалось

горячее шипение, как, захлебываясь, частил пулемет и россыпью, жиденько отвечали винтовки и автоматы нашей пехоты да как-то по-киношному, будто семечки выплевывая, сыпал шелуху пулек «максимко», Булдаков догадался: бескапustinцев прижали к земле. Да и как не прижмут? Немецкий пулемет «М-42», дроворуб этот, сказывал дока Одинец, одновременно станковый и ручной, легко переносимый, с быстро меняемым стволом, в ленте пятьсот патронов — это супротив сорока шести «дегтяревых» и сотни или двух прославленных «максимушек», с которых вояки и щиты снимали, лишнюю в переноске, демаскирующую деталь. А вот еще достижение: пошли патроны, медь с примесью железа, — провоевали сырье-то российское, эрзацами приходится пользоваться. При стрельбе жопки комбинированных патронов отпадают, и бесстрашный пулеметчик выковыривая пальцем из ствола трубочку гильзы. Пока возишься — и тебя ухлопают, и идущих в атаку славян в землю заруют. Э-э, да что там говорить! А кожух пулемета? Попадет пулька — и вытекло охлаждение, подтягивай живот, иван, сматывай обмотки — тикать пора. Так вот и воюем. Новые пулеметы — заградотряду, киношного героя «максимушку» — на передний край.

Уже без маскировки, без излишней осторожности Булдаков не крался — шел, пригнувшись, на звук пулемета, на запах горелого ружейного масла. Битый вояка, тертый жизнью человек сосредоточился, устремился весь к цели, да так, что не заметил, точнее, заметил, но не задержал внимания на отводине ячейки, прикрытой плащ-палаткой, откуда встречь ему выскочил немчик с подоткнутой за пояс поллой шинели, из-под низко осевшей пилотки по-мальчишески торчали вихры — седые, правда. «Связной! — мелькнуло в голове Булдакова. — Поблизости командир. Стрелять нельзя». Не спуская глаз с седенького плюгавого немца, автомат у которого висел за спиной, Булдаков перехватил винтовку за ствол, продвигаясь к жертве, словно балерина на пуантах, шажочками, вершочками. Немец тоже почему-то шажочками, вершочками пятился от грязного, щетиной обросшего существа, похожего скорее на гориллу, чем на человека. Запятники малых обуют, на которых стояло это существо, делали его еще громадней, выше. Глыбой нависала над врагом небесная карающая сила. Колени немца подгибались, он хотел сделаться еще ниже, творил молитву: «Святая дева Мария!.. Господи!.. Приидите ко мне на помощь...» — дрожал перекошенным ртом, зная, что, если закричит, русский громила сразу же разmozжит ему голову прикладом. Ужимая себя, стискиваясь в себе, немец надеялся на Бога и на чудо: может, русский пройдет мимо и не заметит его, пожалеет, может, Гольбах с Куземпелем, ведущие огонь из пулемета рядом, за поворотом траншеи, почувствуют неладное. И зачтется же наконец перед Богом все добро, какое он сделал в своей жизни по силам своим и возможностям... Мало, правда, очень мало тех возможностей отпустил ему Господь, но он старался, старался изо всех сил. Уроженец маленького, аккуратенького городка Дуйсбурга, с восьми лет он уже прислуживал знаменитому доктору Грассу, следил за лошадьёю, убирал навоз. Ему разрешалось в сумке уносить тот навоз в цветник, разбитый возле маленького, из старых шпал и досок слепленного домика, который прежде был служебной будкой на железнодорожной линии, и отец его, смиренный, блеклый человек по фамилии Лемке, возле той будки зачах и умер в сорок пять лет, оставив жене такого же, как он, еще в утробе замороженного мальчишка.

Цветничок, выложенный из кирпичей возле будки, был дополнительным источником доходов — владелица цветочного магазина охотно брала на продажу особо удававшиеся бархатно-синие, почти черные, со светящимися в середине угольками анютины глазки — бережливые немцы хорошо их покупали и на святые праздники, и в поминальные дни для украшения могил и потому, что стоили недорого, и потому, что подолгу могли стоять в воде не увядая.



Доктор Грасс был не просто знаменитый на всю Германию филантроп он был еще и набожным человеком. Он помог матери Лемке пристроить бедного старательного мальчика в пристойную воскресную школу для сирот и, когда мальчик, пусть и с трудом, выучился читать, писать и считать, взял к себе в больницу, затем, когда ситуация в стране изменилась в лучшую сторону, определил на курсы военных санитаров

Надевши форму, получив достаточное питание в военном училище какого-то уж совсем распоследнего разряда, Лемке воспарил.

На фронт он прибыл в предвкушении радужных надежд на будущее, во главе санитарной команды из пяти человек: он, имеющий скромные лычки на погонах, и четверо крепких ребят-санитаров.

Уже в начале войны, в сражении под Смоленском, Лемке уяснил, что обещанной легкой прогулки по России не получится, надежды поуасли, да и команда его поубавилась — два толковых санитаров выбыли из строя, осталась пара баварских увальней, отлынивающих от работы, жрущих напропалую шнапс, стреляющих кур по российским дворам, принуждающих женщин к сожительству и, что самое ужасное, обшаривающих трупы не только русских командиров, но и своих собратьев по войне.

Эти пьяницы и мародеры в грош не ставили своего начальника, вышучивали его, особо выделяя пикантную тему, — мол, ефрейтор не имеет дела с женщинами не потому, что трус, и не потому, что верующий, а потому что все у него еще в детстве засохло и отпало.

Унижение — вот главное чувство, которое он познал с детства и которое всегда его угнетало, обезоруживая перед грубой силой. Воспрянув духом на войне, в неудержимом, все сметающем походе, Лемке, однако, раньше других, самоуверенных, людей почувствовал сбой в гремящей походной машине: война, хотя и была все еще победительно-грозной, тащила за собой хвост, сильно измазанный кровью и преступлениями. Положим, войн без этого не бывает, но зачем же такая жестокость, такой разгул ненависти и низменных страстей. Они же все-таки из древней, пусть вечно воюющей, но в Бога верящей, культурной страны. Они же все-таки не одних фридрихов и гитлеров на свет производили, но и Бетховена, и Баха, и Гёте, и Шиллера, и доктора Грасса.

Нет, нет и нет, не все забыли о Боге и его заветах, Лемке, во всяком случае, их помнил и при любой возможности, а возможности тогда у него были немалые, делал людям добро. Чтобы помочь человеку, необязательно знать его язык. Лемке не раз перевязывал русских прямо в поле. А скольких раненых, спрятанных по сараям, погребам и домам, «не заметил», сколько отдал бинтов, спирта, йода в окружениях — под Смоленском, Ржевом, Вязьмой...

Заглянул он однажды в колхозную ригу, а там на необмолоченных снопах мучаются сотни раненых и с ними всего лишь две девушки-санитарки, он и по сю пору не забыл их прелестных имен — Нэля и Фая. Все речистые комиссары, все brave командиры, вся передовая советская медицина, все транспортники ушли, бросив несчастных людей, питавшихся необмолоченными колосьями, воду девушки поочередно приносили из зацветшего, взбаламученного пруда.

Где они, эти истинно героические девушки? Погибли, наверное? Разве этот ад для женщин? Как же изменится мир и человек, если женщины на приучится к войне, к крови, к смерти. Создательница жизни, добра, женщина не должна участвовать в избиении и уничтожении того, ради чего Господь создал царство небесное..

Бог помнит добрые дела. Через три всего месяца, отступая от Москвы, Лемке обморозил ноги, почти лишился руки и где-то, опять же под Вязьмой, — Господь не только помнит доброе дело, но и отмечает места, где они сделаны, — в полусожженном селе заполз на тусклый огонек в крестьянскую, обобранную войной избушку; и старая русская женщина, ругаясь, тыча в его запавший затылок костлявым кулаком, отмывала оккупанта теплой водой, смазывала руки его и ноги гусиным салом, перевязывала

чистыми тряпицами и проводила в дорогу, сделав из палки подобие костыля, перекрестив его вослед.

«Русский, русский... я еще много должен сделать добра, чтобы загладить зло, содеянное нами на этой земле, чтобы отблагодарить ту женщину и Господа за добро, сделанное мне. Русский, русский, зачем тебе маленькая жизнь маленького человека? Убей Гитлера или обер-лейтенанта Мезингера, пока он не убил тебя...»

Два спаренных выстрела раздались за спиной Булдакова. Толкнуло под правой лопаткой, щекотно потекло по спине. Будучи человеком веселым, Булдаков впал в совершенную уж умственную несуразность, подумал: в него стреляют и попадают, но стреляют вроде бы как шутя, из пугача, пробками. С ним в войну играют, что ли? Он в недоумении обернулся и увидел отодвинутую с ячейки плащ-палатку, пистолет, направленный на него. Пистолет подпрыгивал, отыскивая цель, ловил Булдакова тупым рыльцем дула. «Вша ты, вша! В спину стреляешь и боишься!» — возмутился Булдаков, носком ботинка отыскивая опору, чтобы броситься на пистолет, скомкать, затискать того, кто прячется за плащ-палаткой, придавить к земле, задавить, как мышь, — у него еще хватит силы...

Он потерял мгновение из-за ботинок, ища опору для броска, не зря говорят чалдоны: с покойника снимать да на живое надевать — беды не миновать. Потерял он, потерял ту дольку времени, что стоит жизни. Две желтых пташки взлетели навстречу Булдакову, ударились в грудь, он инстинктивно заслонился прикладом винтовки, от приклада отлетела щепка, занозисто впиалась в телогрейку, под которой двоилось, распадалось шупро, дробились кости, смещалось в сторону все, что дышало, двигало, удерживало стоймя тело. Ему чудилось: он ощущает движение пули, на пути которой вскипала, сгущалась кровь, делалась горячей и комковатой. Привыкши к своему превосходству над всем, что есть живого на свете, Булдаков не ведал чувства смерти, но тут явственно ощутил: его убили. Одна пуля пробила его насквозь. Он слышал, как ожгло, не защекотало, а ожгло спину кровью, как начал намочить ошкур штанов. Захотелось выпрямиться,дохнуть полной грудью,дохнуть так, чтобы вдох приподнял сердце, опадающее вниз вместе со всем, что было в середине. Стараясь остановить свое падающее сердце, не дать ему разбиться, Булдаков напрягся — прыгав где-то в отдалении, громко стукнувшись в грудь, сердце стремительно покатило под гору, беззвучно уже ударило о ребра, об углы тела, все закрубило, завертелось перед Булдаковым, и самого его свернуло, сдернуло с земли и, тоже завертев, понесло во тьму Печенки, селезенки, сердце еще пульсировало, гнали кровь, но все это работало уже разьединенно — то, что объединяло их, было главным в теле, обессилело и померкло.

Царапая, скребя стенку траншеи ногтями, которые росли на плацдарме отчего-то скорее, чем на всякой другой стороне, падал, оседал на дно окопа, прикивал к земле русский солдат Обер-лейтенант Мезингер все давил, давил на собачку пистолета

Лемке, увидев, как на него движется человек, перехватывая винтовку, будто дубину, в минуту прожил свою жизнь и смерть, но прозвучали близкие выстрелы, выронив винтовку, набухающей кровью спиной на него начал падать чужой солдат. От неожиданности — его не убили! — Лемке расставил руки, поймал словно бы разом отсыревшую тушу русского и вместе с ним свалился на дно траншеи. Русский мучительно бился, спинывая с ног стоптанные ботинки, тонкими шнурками привязанные к стопам. Лемке догадался сдернуть их. Русский сразу же распустился всем большим телом и облегченно вздохнул или испустил дух. Стоя на коленях над поверженным великаном, Лемке никак не мог сообразить, что же дальше-то делать, и вдруг очнулся, обнаружив, что господин обер-лейтенант Мезингер никак не может выпрыгнуть из траншеи, все карабкается и опадает вниз, все карабкается и опадает, не замечая, что топчет свой форсистой офи-

церский картуз. Выстрелы его, но главное — вопли, достигли пулеметной точки. Опытная пара пулеметчиков, подумав, что русские их обошли, перескочила через бруствер и помчалась к противотанковому рву. Вслед обрadowанно стеганул русский пулемет, посыпались ружейные выстрелы.

Полковник Бескапустин, отнимая бинокль от запотевших подглазниц, освобожденно выдохнул: «Молодец, парень! Добрался-таки до пулемета! Надо узнать фамилию».

Лемке догадался наконец подсадить обер-лейтенанта, и Мезингер, перелезши через бруствер, хватанул за Гольбахом. Мезингер не сразу и заметил, что меж воронками по серенькой метельчатой траве вразброс трюхает, ползет, а где и откровенно поодиночке утекает какой-то люд во мшисто-салатных, выпцветших за лето мундирах.

«Моя рота отступает! Без приказа? А я?.. А я?..»

Мезингер совсем не так представлял себе отход боевой части, тем более своей роты. Она должна сражаться до последнего. Ну а если уж противник вынудит — отходить планомерно, отстреливаясь, прикрывая друг друга. А они бегут! И как бегут! Зады трясутся, как у баб, ранцы клапанами побрякивают. Ужасаясь покинутости, не замечая ничего, кроме утекающих солдат, Мезингер протягивал руки, молил: «Я!.. Меня!.. Я! Меня!..» Все ему казалось: тот огромный русский с азиатским лицом настигает сзади, вот-вот схватит за ворот, повалит, задавит грязными ногтистыми лапищами. Как оказался во рву — он не помнил. Лишь напившись и вытерев лицо — сперва рукавом, затем носовым платком, — плаксиво спросил у утрюмо помалкивающих солдат:

— Вы что сделали?

— Делать пожары это у нас называется! — насмешливо отозвался кто-то.

— Делали то же самое, что и вы, между прочим, — буркнул Гольбах, его, Мезингера, заместитель.

И тут только Мезингер понял: он тоже драпал, тоже «делал пожары», бросив в окопе связного и холуя Лемке. А ведь Лемке, именно Лемке помог ему выбраться из траншеи, где остался тот страшный русский.

Вспомнив, как испугался русского, как палил в него из-за плащ-палатки, обер-лейтенант ужасался себе: «Трус я! Трус...»

— Ничего, обер, не мы войною правим, а война нами, — тронули его за плечо.

Мезингер капризно, по-девчоночьи дернул плечом, пытаясь сбросить руку солдата. Солдат, усмехнувшись, убрал ее сам. Его заместитель, хромой, израненный унтер-офицер Гольбах с нашивкой за прошлую зиму, с солдатской медалью, обернувшейся плоской стороной и номером наружу, с блестками гнид на ленточке медали, делал вид, что задремал. Остальные награды, а их у него полный кожаный мешочек, находятся в полевой сумке, которую волочит за собой везде и всюду хозяйственный помощник Гольбаха Макс Куземпель. Нарядный картуз, в котором обер-лейтенант Мезингер форсил в Африке, где-то потерялся, и Гольбах, ни к кому вроде бы не обращаясь, приказал:

— Найдите командиру роты головной убор! — И, ни на кого не глядя, в том числе и на самого командира роты, ткнул в его сторону фляжку.

Мезингер отпил, сморщился, пытаясь выговорить «благодарю», закашлялся, брызгая слюной. Гольбах дождался, когда Макс Куземпель вслед за обер-лейтенантом сделает глоток, завинтил крышку фляжки, отвалился головой в кроличью нору, значит, в кем-то давно уже выдолбленную нишу, и, снова вроде бы ни к кому не обращаясь, не открывая глаз, с сонной вялостью произнес:

— Всем проверить оружие, снарядить ленты. — И, не меняя тона и позы, добавил: — Обер-лейтенант, вы тоже приведете оружие в порядок — оторвет пальцы либо глаза выжжет. О картузе не беспокойтесь — найдется. как снова пойдем в атаку...

Тут только Мезингер спохватился — пистолет он все еще держит в руке, и дуло плотно забито землей. Он вывинтил шомпол, принялся суетливо пробивать дырку в стволе, выдувать из него землю. Пыль вместе с гарью перхнула в глаза, в рот. Он облизал пресную, чужую, скрипящую на зубах землю и, выгирая рукой глаза, заскулил в себе: «Зачем это все? Почему мы должны пропадать здесь и кто имеет право гнать нас в огонь, в грязь?! Мы устали. Я устал...» Он в страхе — не произнес ли эти слова вслух? — обвел глазами изможденно сникших солдат, приткнувшихся в грязной рытвине, замусоренной, воняющей дохлятиной и человеческим дерьмом. Он сейчас вот только, сию минуту отчетливо понял: его солдаты уже задавали себе подобные вопросы, а с такими мыслями, с такой давней и отчаянной усталостью никакой вал им не удержать. А если они и усидят здесь, за этой водной преградой, удержат позиции, что же будет дальше? Дальше-то что? Сколько это может продолжаться? Сколько еще может вынести, вытерпеть немецкий железный солдат, всеми здесь ненавидимый, чужой?..

«Отчего вы не носите боевые награды?» — спросил однажды Мезингер у Гольбаха. «Берегу для более торжественного случая! — Гольбах поглядел прямо и нагло в глаза Мезингеру. — В окопах от пыли и сырости тускнеет позолота».

Понимай как хочешь! Гольбах отдыхал, подремывал, и тяжело переворачивались глыбы мыслей в плоской его голове. Их, этих мыслей, совсем немного, поверху, совершенно вроде бы отдельно, шла явь: шелчки выстрелов, вой мин, шорох снарядов, звуки разрывов дальних и близких, движение по окопам, звяк котелка зазевавшегося постового. Гольбах подключил слух: иваны с голоду могут рвануть в атаку и переколошматят имеющего обед противника. Забьют и сосунка этого, потерявшего боевой картуз... Как это по-русски? Укокошат.

Но нет, не шевелятся русские. Голод не тетка. Вот уж воистину — не тетка, и не муттер, и даже не кухня.

Свалили все же подносчика патронов какой-то русский возле самого пулемета. Лежит замурзанный работяга войны в траншее, прикрытый доскутом от плащ-палатки. Немцы — народ аккуратный, всех земле предадут, за всех помолются...

Мысли под пилоткой текут вязко, полусонно, иногда вдруг отпрыгнут в сторону. Гольбах сунул два пальца в нагрудный карман мундира и достал оттуда пять половинок железного жетона. «Орденом смерти» и «собачьим орденом» нарекли фронтовики эти жетоны, на них коротко означены все сведения о погибшем «за фатерланд». Скользя глазами по одной пластинке, Гольбах подумал, что если обратно отобьют окопы — пять оставшихся на шею у убитых половинок снимет с покойников похоронная команда. Порядок есть порядок.

Но в Германии не знают истины о потерях на фронте. И в России не знают — все шито-крыто. Два умных вождя не хотят огорчать свои народы печальными цифрами. Высокое командование трусит сказать правду народу, правда эта сразу же притушит позолоту на мундирах. В госпитале он имел любовь с одной сероглазкой, звал ее кухней. Она была не против любви, но с теми, у кого есть чем платить. Копит капитал, готовится к будущему, к победе готовится! Ну и он, Гольбах, тоже готовится...

Мезингер этот глуп как пуп, в войне ничего не смыслит, да и в жизни понимает, видать, столько же. А Гольбах как-никак повидал и жизнь и войну всякую. Угорал возле топки парящего всеми дырами угольщика, таскавшегося от Киля до Амстердама и Роттердама. Когда эта калоша все-таки утонула, хватил и безработицы. Побегал по улицам во время кризиса: «Долой!», «Требуем!», «Акулы капитализма!» — чуть в коммунисты к Тельману не подался. Но тут как с неба свалился избавитель — фюрер, мессия, спаситель или как там. Все сразу переменялось. Впрочем, что для него, Гольбаха, переменялось? Получил работу, стал иметь свою комнату в портовом районе, в сыром доме с угарными печами, постоян-

ную женщину бесплатно имел, поскольку она являлась его женой, ребенка ей сотворил. Куда-то они делись, и жена и ребенок, скорее всего взлетели в воздух от английских бомб, испарились, как и весь древний портовый город Киль.

Поражение? Да! Оно началось еще летом сорок первого, 22 июня. Кто-то наверху, говорят, в самом генштабе, вкянул: «Нас — восемьдесят пять, их — сто восемьдесят. Сто миллионов не в нашу пользу...» Отрубили башку говоруну. Красиво отрубили, революционной гильотиной — знай наших! Сплошной театр, артистов полна сцена. Бесперывные массовые представления. Доигрались!

Он сдал в горсти пять отпотевших, скользких пластинок — это только за сегодняшнее утро, только из его взвода. А по всему огромному фронту сколько же?

Из нутра пилотки, которой глухо закрыл лицо Гольбах, разит кислятиной, грязью, потом, нужником, всем-всем, чем только может вонять война, — самые мерзкие запахи она вмещает. Тьфу! И открыться нельзя. Невозможно видеть страдающую рожу Мезингера. Надо кончать всю эту музыку.

Авантюристы! проходимцы! безбожники! портовая шпана — приспешники фюрера будут воевать до последнего человека. Пока всех не сбросят в пекло, не сожгут, надеясь на чудо, на самом же деле — отгоняя свою гибель, спасая свою шкуру.

— Спокойно, Гольбах! Спокойно! — по-русски мычит Макс Куземпель и через какое-то время добавляет: — Гольбах, не стоит вонючка эта со всеми своими Шиллерами и Бахами и всякой прочей культурной бандой, со всей своей аристократической семейкой, которую большевики и без нас вырежут, не стоит она нашей жертвы. Гольбах, ёбит твою мать, мы можем не дожить до отпуска.

У Макса Куземпеля есть где-то знакомая штабная крыса. Они набрали на полях сражений золотишка полную солдатскую флягу: кольца, зубы немецкие, русские, часы и браслеты — все вперемешку. За это они получают отпуск. В честном бою, кровавой работой им отпуск не заработать. Они уйдут в Гарц, купят документы, право на жительство, спрячутся в горах, подальше от великой Германии, в Альпы. Ищи их там фюрер! Мыловары родители, ищите — умыли детей на войне, чисто умыли. Может, большевики не всех немцев вырежут? Большевики, те, что за войной, — тоже демагоги, как фюрер наш драгоценный и его прихлебатель Геринг, любят в рыцарей поиграть. Вот и бросят красные владыки жизнь оставшимся от побоища немцам. Как кость. Натё, грызите! Пользуйтесь нашей добротой, нашим невиданным коммунистическим благородством! Вы нас — в крематории, в печи, в ямы, в рабство, мы вам — возможность трудиться, налаживать демократический строй, плодиться и слушать духовые оркестры.

И что дальше? Он знает. Красные не знают. Он знает, потому что он — немец, а они — русские. Эти же вот мезингеры, переодевшись в цивильный костюмчик, сменив коричневую рубашку на беленькую, чистенькую, будут поливать цветочки на балконе, торговать пирожными, играть в теннис и пальцем показывать на безногого или безрукого вояку: «Это они! Это они! Мы ни при чем!..»

Гольбах успокаивает себя, успеваает даже накоротке уснуть, пустив по округе рычанье, похожее на пулеметную очередь. Но и сквозь сон твердилось в голове: «Надо отрываться!» — именно так говорил один русский, под видом немца затесавшийся в лагерь. Он хорошо знал и немецкий язык, и российские порядки. Тот русский, замаскировавшийся под немца, скорее всего был шпион, потому что, как только перешли фронт, он исчез бесследно.

После госпиталя и последнего ранения пошел уже второй месяц. Это много. Судьбу нельзя долго испытывать, да и Макс поторапливает. Кровью и тайной они соединены.

Колодец в горах надежней всяких банков, даже швейцарских. Да и не верили Гольбах с Максом в такие сложные штуки, как банк. Они доверяли наличности. В старом, заброшенном колодце засыпанная сохлой тиной банка из-под патронов. Запаянная банка, в тридцать килограммов весом. Этого хватит, чтобы начать дело там, в Австрии, Судетах, Триесте — где угодно, но только не в родной стране. Они наелись досыта германской отравы.

Не дадут отпуск, они с Максом пальнут друг в друга: Макс прострелит Гольбаху ногу, он Макс — жопу. Но с такими ранениями далеко не уедешь. Залатают — снова в котел. Да и усечь могут! Доки доктора разоблачают самострелов. «У-у-у, не-на-ви-жу!»

Есть еще вариант. У Макса Куземпеля спрятана в сумке старенькая, но точная карта. На ней густо-зеленой краской обозначено: Березанские болота. В сорок первом году сюда загнали множество русских из армии Кирпоноса, так загнали, что до сих пор они оттуда не вылезли, да и никогда уже не вылезут — глубоко лежат. Вот сюда Гольбах с Максом и свернут, тут и отсидаются недельку-другую. Потом на дорогу, с поднятыми руками: «Гитлер капут! Сталин зэр гут! Арбайтен гут! Дойчланд, Дойчланд дас ист капут!»

Русские отчего-то очень любят дураков. Жалостливо к ним относятся — сами дураки, что ли?

Мезингер спит, слюни на отворот мундира пустил, полуоткрытый рот облепил мухи. Такое бывает после смертельной встряски. Мгновенный провал.

Булдаков утих, вытянулся, всхлипывающий переливчатый стон вырвался из его груди. «Воистину испустил дух», — эта мысль стронула и заторопила другие мысли в голове Лемке. Он осторожно поставил к ногам русского ботинки, потер ладонь о ладонь, будто хотел оттереть руки, сделать себя непричастным к убийству. Как и всякий тщедушный, плох в детстве кормленный человек, он был пропитан тайной завистью к людям от природы сильным, однако к богатырям всегда относился с подобострастным почтением, считая, что они уже не в его умопонимании, ибо сотворены самим Богом. Лично. Для сказок. И вот на его глазах повержен русский богатырь! — к чувству страха и жалости в душе Лемке примешалось сомнение: что же будет с человечеством, если замухрышки выбьют таких вот? Останутся хилогрудые, гнилые, злопамятные, да?

По бровке окопа черкнуло пулями, выбило пыль из бруствера, ссыпало комки, на русского струйками потекла сухая, порохом и гнильем воняющая пыль.

Глаза русского начали сонно склеиваться, однако Лемке казалось, что окраснелыми веками он снова вот-вот сморгнет пыль, разлепит полусмеженные ресницы, захрипит, выдувая грязную пену изо рта. Лемке встал на колени, чтобы зашипнуть русскому солдату глаза, и увидел в бездонной серой мгле мелькающие дымы войны, взрывы зениток. Веки солдата еще теплые, еще не тутие, и когда Лемке, пожелавший облегчить последние страдания человека, дотронулся до глаз русского, тот дрогнул веками: «Ты кто? Ты кто? — бар... бар... бар...» Лемке поспешно сорвал с ячейки ротного командира плащ-палатку, набросил ее на русского и, царапаясь тощим брюхом о сухо ломающуюся полынь, пополз к своим. Русские не стреляли по нему, может, выдохлись. По привычке, давно уже, пожалуй что век назад, приобретенной на войне, Лемке утягивал голову, вжимал ее в плечи, прятался, ладясь ползти меж бугорков, западал отдохнуть в воронках. Братья его, непобедимые воины фатерланда, ушли, удрпали. Лемке не то чтобы позавидовал тому, что они спаслись, продлили свою жизнь на час или на вечность, он завидовал тому, что они, быть может, не испытывают той пустоты, той душевной боли и прозрения, которые нахлынули на него: все напрасно, все неправильно, все не по Божьему велению идет на земле.

Когда он свалился в ров по обкатанной, полого оплывшей, стоптанной стенке и угодил руками во что-то жидкое и понял, что вляпался в разложившийся труп, слегка присыпанный взрывами, все в нем содрогалось от невидимых миру рыданий: «Пресвятая дева Мария, прости, смилуйся...»

— Ранен, что ли? — приподнял пилотку с грязной морды командир взвода Гольбах. Говорить он уже не умел, разучился, он рычал, и в рычании том ни сочувствия, ни внимания — спросил и спросил.

Лемке не ответил. Гольбах приподнялся, сел, огляделся, показал кивком на откос, где что-то еще росло. Лемке потряс руками, сбрасывая липкую слизь с пальцев, будто собака с лап. После Подмосковья, после той зимней кампании, на правой руке у него осталось два пальца и на правой ноге два пальца; следовало бы его давно списать, отправить домой, но кто ж тогда на фронте останется, кто любимого фюрера оборонит? Ловко выудив рогулькой из кармана носовой платок, Лемке принялся вытирать руки, каждый палец по отдельности, ни на кого не глядя, никого ни о чем не спрашивая.

Обер-лейтенант Мезингер, завалившись боком в выемку, выбитую вскользь ударившим снарядом или болванкой, морщился от трупной вони, махал и тряс рукой, стирая с лица липких, жирных мух, не замечая Лемке.

— Глоток — освежиться. Глоток — на руки. Не пролей! — Гольбах протянул Лемке флягу. — На реке русские... — И рывком отнял флягу, после того как Лемке отлил разрешенные ему капли шнапса.

Обидеться бы надо, но на кого?! На Гольбаха? На Ганса? Да не будь его, Ганса этого, они бы все уже гнили в этом или каком другом овраге, и мухи разводили бы на них костер из белых червей. Мезингеру мнится, что Гольбаха все ненавидят так же, как и он, неприязненно к нему относятся. Но начинает и он понимать: тут не до нежностей, тут окопное братство, нет, лучше по-революционному сказать — солидарность, которая в окопах нужнее всяких нежностей.

Вечером, выдвигаясь на передовые позиции, старший унтер-офицер Гольбах вылез из оврага, подавая пример храбрости своим солдатам, рванул через перемычку, птичкой слетел в траншею. Следом за ним Макс Куземпель — куда иголка, туда и нитка. Гольбах, перед тем как упорхнуть, подмигнул дружку своему, как жулик жулику, идущему на дело. Следом храбро ринулся командир роты, кто-то из старичков бесцеремонно поймал его за сапог, стащил обратно и отдельно произнес:

— Сей-час не вы...

И в том, как говорил солдат, как смотрел на Мезингера, тайлся скрытый смысл. Шедший следом за Максом Куземпелем новичка убил русский снайпер. Спустя время в траншею перебежал, обрушился пожилой, вроде бы неуклюжий солдат, резервиста же новичка русский снайпер опять снял. «Что за чертовщина?!» — ломал голову Мезингер, попавши в траншею и слыша, как его помощник по телефону непочтительно огрызнулся: «Быстрее нельзя, господин майор?!» Мезингер морщился, но трубку телефона не брал. Гольбах тут царствовал, распоряжался на боевых позициях не только за командира роты, но и за командира батальона, — держа на отлете трубку телефона, он закатывал глаза, протирал потную шею и башку грязной тряпкой, шипел, изрыгая ругательства.

Над траншеей прошли два советских истребителя. Не переставая вытирать шею и башку и выслушивая наставления майора, Гольбах проводил их скучным взглядом. Война шла своим чередом, по своим подлым законам. Гольбах точно знал, что господин майор не придет на передовую, не побежит из оврага в окоп под прицелом снайпера. Он будет сражаться в уютном месте, в селе Великие Криницы, под накатом крепко сработанного блиндажа. И командир батальона и ротный знали: во всем этом военном бардаке мог еще разбираться, что-то делать, чем-то и как-то управлять только Ганс Гольбах, портовый грузчик. Раз он пошел первым из оврага в окоп, значит, так надо. В другом месте не пойдет. В другом месте

нужно будет действовать по-другому, только вот надлежит угадать — как действовать.

Снайпер, будь он хоть разнайпер, — все равно человек, все равно он все время до предела сосредоточенным быть не может. И не в одну точку он смотрит. У него зона, сектор — и вот в этом секторе что-то мелькнуло. Может, заяц промчался, может, человек, может, и померещилось что-нибудь. На всякий случай надо за этим местом понаблюдать. Наблюдал, наблюдал — никого. Значит, померещилось. Распустился снайпер, пружину в себе ослабил, онемелый палец со спусковой скобы снял. И в это время снова на противоположной стороне что-то промелькнуло. «А-а, дак вы хитрите! — сказал себе русский снайпер. — Теперь-то не обманете!» — и уже весь он — внимание. И вот тебе пожалуйста! — чешет на всех парах по земле фриц, брэнчит котелком. Хлоп его — и ваших нет, как говорят картежники.

Все стихло. Никто не шевелится. «Значит, фриц этот здесь ходил один, надо другое место посмотреть», — совершенно разумно решает русский снайпер. И только он перенесет внимание, переключится в другую зону, глядь, двое-трое опять проскочили, и, заметьте, старички все первые, первые!.. Пример показывают. Гольбах на старых вояк надеется. Они многое умеют... «Но так же поступают и русские, и англичане, и американцы, и французы, и эти трусливые мамалыжники — румыны, и вороватые итальянцы, и неповоротливые умом мадьяры — все-все предадут друг друга».

Предательство начинается в высоких, важных кабинетах вождей, президентов — они предадут миллионы людей, посылая их на смерть, — и заканчивается здесь, на обрыве оврага, где фронтовики подставляют друг друга. Давно кончились те времена, когда глава государства брал копье, щит и впереди своего народа шел в бой, конечно же, за свободу, за независимость, за правое дело. Вместо честного поединка творится коварная надуваловка. Вот он, офицер из благородных, из древнего германского рода, сегодня стрелял в спину человека, стрелял и боялся, что четырьмя пулями, оставшимися в обойме, не свалит его. Расстреляй он всю обойму в сторону вражеских окопов наугад, его мальчишество, игра в войну, в бесстрашие стоили бы ему жизни — русский задавил бы его вместе с этим рахитным Лемке и попер бы на пулемет Гольбаха, низринул бы сверху медведем — можно себе представить, что за свалка получилась бы в пулеметной ячейке. У русского, когда он упал, из кармана выкатилась граната — могло никакой схватки и не быть, русский в пулеметную ячейку, как в колодец, булькнул бы гранату, и для Гольбаха и холопа его Макса Куземпеля уже полчаса назад закончилась бы война

«Интересно, осознают ли эти двое, командир роты и связной его, которых я увел из-под огня, что обязаны мне жизнью?» — мельком подумал Гольбах. Но тут, на фронте, где все повязаны одной судьбой и все живые обязаны друг другу, не благодарят за услугу. Поезд грохочет вперед, не сбавляя скорости, остановка у многих пассажиров одна, коротко и выразительно называется она — кранты.

Гольбах валяется на закаменелой глине, рожу пилоткой накрыл, рожа с прикипелой грязью в щетине, но под заросшим подбородком бледное пятно, поднял пилотку, один глаз скосил на своих вояк и снова сделал вид, будто уснул. Макс Куземпель тоже морду под пилоткой скрыл — у этого кадык, как собачье вылизанное яйцо, ничего на тощей шее не растет, лишь жилы толсто и грязно сплелись. Затрещал телефон, брошенный в ров. Гольбах не глядя протянул руку, приложил трубку к уху.

— Курт, Иохим — за обедом. Лемке, пойдешь за жратвой обер-лейтенанта, не забудь умыться — вонь невыносимая. Макс, распорядись там как положено и отдай вот это господину майору — на память! — Он пересыпал в горсть Макса половинки пяти жетонов. И снова пилотку на харю, снова лежит, от всего отрешенный.



Да, это, пожалуй, хорошо, что Гольбах никакой почтительности не изображает. Он и с майором-то через губу разговаривает. В глуби его глаз — беспросветная темь, такое же волчье одиночество во всем его облике, вот-вот завоет, и ты ему подвоешь. Солдаты собирают термосы, котелки. Гольбах подгреб ранец Макса Куземпеля под голову, устроился основательно: ноги упираются в разбитый ящик из-под мин, углом всосавшийся в осеннюю, не желтую, а беловато-синюю с черными прожилками глину, холодом и цветом напоминающую намогильный мрамор и блевотину одновременно. И лежит-то умелый боец головой в сторону русских. Русская артиллерия хлещет на пределе, старый вояка даже в мелочах ошибок не делает — чем ближе к противнику лежишь, тем больше шансов встать невредимым.

Над головой пронеслись снаряды. За рвом рассыпались, заухали разрывы, прибавилось шуму и треску — русские заметили оживление на позициях противника и, зная, что у немцев начинается обед, от злости хлещут изо всего, что есть под руками. Не во все окопы, не ко всем солдатам донесут сегодня обед.

Булдаков был жив и медленно, заторможенно начинал ощущать себя. Будучи сам большим брехуном, он считал веселой брехней рассказы артиллеристов, что после большого артиллерийского огня непременно в том районе, где бабахали орудия, будет дождь. Но если бы у Булдакова и его сотоварищей было время и возможность сосредоточиться, они бы заметили, что почти каждую ночь над плацдармом и близким берегом идет дождь, то шалый и краткий, то осенне-затяжной, водяной пылью облегающий здешнюю местность, войну и людей утишающий.

Прошедший день, седьмой день плацдарма, был каким-то особенно раздерганным, психозным. Немцы и русские то там, то тут бросались друг на дружку, и не в атаку, не в бой, а ровно бы в осатанелую собачью драку. Много было шуму, дыму, неожиданных схваток, непредвиденных смертей, неоправданных потерь. И весь день свирепствовала артиллерия с обеих сторон, одно звено немецких бомбардировщиков сменяло другое — это все, что осталось от еще недавно осыпавших небо над плацдармом черных лапистых птиц. На горячие самолеты садились экипажи сбитых, и почти на ходу запроваженные машины непрерывной цепью взмывали в воздух, торопились к реке, не обращая внимания ни на зенитный огонь, ни на пагубные действия истребительной авиации.

Отчаянье, может, уже безумие охватывало воюющих на Великокрилицком плацдарме, уже силы противоборствующих войск на исходе, и только упрямство, дошедшее до массовой истерии, удерживало русских на растерзанном берегу реки и бросало, бросало в тупое, непреклонное движение немцев, инстинктивно чувствующих, что, ежели они не удержатся за Великую рекою, не остановят здесь русских, им уже нигде не удержаться.

Тем временем с приречного аэродрома были сняты и улетели по новому назначению тяжелые бомбардировщики «Ю-88», эскадрилья «хейнкелей» и «фокке-вульфов» — все до единого подметены. Чиненые, латаные-перелатаные «лапотники», оставшиеся, по существу, без прикрытия, бросались в небо, в эту гибельную преисподнюю, горели, падали, в слепой осатанелости врзались в высокий берег реки, но крушили этот берег и все, что было на нем, стирали в порошок еще смеющих жить и сопротивляться русских фанатиков.

Прошел и этот день. Седьмой. Берег и плацдарм обессиленно умолкли. Лишь одинокие крики умирающих оглашали ночь. И в этой оцепенелой ночи по припадочно горячим, пыльным зевам оврагов, по изнеможенно дышащему ломтику земли, точно по ржавому железу, звонко ударила капля-другая, и вдруг обвально, хорошо в народе говорят — как из ведра, хлынуло с небес, пролило и оживило непродышливую, оцепенелую темноту, размягчило судорогой схваченную, испеченную землю.

И дождь-то лил минут десять — двадцать, но какую благостную работу он сделал! Перестали кричать раненые, умолкли дежурные пулеметы, даже ракеты сигнальщиков с боевых постов взлетали редко, нехотя да и неместно. Ночь подложила теплую ладонь под мягкую щеку и затихла в глубоком сне, не слыша войны и вроде бы не ведая тревог.

Дождь пролился и над Булдаковым, лежащим на дне добросовестно, немцами, выкопанной траншеи под плащ-палаткой, скомканно брошенной на него тоже немцем. Когда русская артиллерия обрушила огонь на окопы противника, раненого Булдакова забросало землею и почти уже похоронило в комках и едкой пыли. Но обвальный дождь смыл с плащ-палатки пыль, накопился в складках брезента, и по одной из них точно по желобу влага потекла на лицо и в рот раненого. Он хватал влагу распахнутым ртом, пытаясь загасить пламя, бушующее в груди, но разве каплями этими небесными загасишь большой такой огонь. Бывало, как забросят с берега на пароход «Мария Ульянова» дров кубиков четыреста — пятьсот, сначала пугая пассажиров бойким: «Па-а-абереги-и-ы-ы-ысь!» — и к концу погрузки усталым окриком: «Не видишь, что ли?!» — аа-а-ах ты переаа-ахты! Какое торжество, какой воскрешающий праздник телу! Поостыв, покулив, словом-другим перекинувшись с друзьями-матросами, оставляя мокрые следы в коридоре, с закинутым на плечо полотенцем — в душ, под струйки теплые, щекочущие, мыльцем, на вежте в пену взбитым, пройтись по всем закоулкам тела, достать и смыть оттуда соль, нежась, поваляться на скользкой скамейке, как бы балуясь, забыться в краткой дреме и с осевшей в кости усталостью волокчись в свою чистенькую служебную каюту, в чистую постель, даже не пугая девок, заблудившихся в недрах судна и совсем случайно угодивших на служебную половину парохода, растопыренной ладонью, нечаянно гребущейся в затень юбки, — не было даже на эту забаву сил. Еда, девки, танцы на палубе, нехитрые забавы — все потом. А пока сон под шум машины, под бухающие по воде возле уха плыцы, под свежий ветерок с Енисея, залетающий в открытую дыру иллюминатора, под певучий гудок «Марии», разносящийся по крутым берегам Енисея, улетающим за хребты и горы аж в самое небо, к ангелам...

Он со стоном перевернулся со спины на живот, все в нем захрустело, захлопало. Внутри разъединенно, хватками работало, точнее, пыталось работать сердце, толкалось в грудь. И так вот, то впадая в забытье и неподвижность, то чуть ощущая себя, ничего вокруг не видя и не понимая, он полз, зачем-то волоча за собой горстью схваченную плащ-палатку. Врожденным чувством или наитием он угадывал, что ползет, движется по сухому стоку оврага вниз, а все стоки здесь ведут к реке. На реке же его ждет дед Финифатьев, он обещал ему помочь, но получается наоборот...

Дед уже приходил на зов Булдакова, ругался, кричал, что бог не дал ему роженного брата, так вот он его на войне сам нашел, ботинки подобрал — и объяснилось ему все: из-за них, из-за клятых ботинок, Олеха в передрыгу попал, а хватанул теми ботинками дед в немцев, затем гранату, вывалившуюся из булдаковского кармана, туда же метнул — хрястнул взрыв, и заорал Щусь: «Чего ты, старый хрен, тут делаешь? Чего тебе на месте не сидится? Ты же раненый, вот и жди переправу...» «А Олеха как?» — спрашивал капитана Финифатьев. «Как, как... — затруднился капитан. — Он к богу отправился, богу хорошие люди, тем более отчаянные бойцы, во как нужны!» «Ему ангелы нужны, а не бойцы. Олеха же не уродился ангелом, он — бес, правда, бес очень душевный, его огромного сердца на всех хватит, последнюю рубаху с себя отдаст...» Щуся куда-то унесло. Немцы по траншее зашебутились. Финифатьев винтовку Булдакова схватил: «Я, Олеха, хоть и бздиловат, как ты говоришь, но к тебе врага не допущу и сам, ешли шчо, пулю в лоб — мне в плен нельзя, я ж партейнай...»

Унесло куда-то и Финифатьева. Он его звал, звал, вроде вот где-то рядом друг сердечный, но сыпучий круглый его говорок едва слышен. Аа-а, догадывается Булдаков, он же в норке, дед-то, в земле, из земли и

слышно глухо. «Де-э-э-эд! Де-э-э-ээд!» — склеившимися от крови губами звал Булдаков. Финифатьев все отбегал, отбегал, куда-то звал, манил друга своего, брата нерожденного... «А-а, — догадывается Булдаков, — он же раненый, ему меня не утащить, он от природы запердыш, а тут эвон какое туловище выдурило!.. Вот и зовет он, вот и манит — хи-ыстрый дед, ох хитрый!..»

Булдаков выбился к реке, уперся в воду руками, пощупал недоверчиво и уронил в нее лицо, и если бы мог видеть, обнаружил бы, как красно клубится вокруг его головы вода, вымывая с губ, изо рта, из ноздрей, из ушей кровь, с бурой коросты сросшихся волос, которые, так же как и ногти, росли на плацдарме не по дням, а по часам — питание им шло обильно: земля, пыль, пот. Горячая плита, по которой полз раненый, слепо натываясь на комки глины, скосы, вымоины, камни, горячая плита под ним постепенно остывала. Он перестал звать деда, лакал воду распухшим языком и все бодался и бодался с рекою, катая в ней свою голову, будто грязную брюкву с грязной ботвой. Когда он приподнялся, из хрустнувшего его тела, из нутра его дрожащего потекла по губам горячая, соленая кровь, он понял по вкусу, что это кровь, и попытался перевязать себя, чтобы остановить кровь, он даже скусил и разъединил шов на индпакете, обмотнул себя по гимнастерке бинтами, телогрейка где-то в траншее или дальше свалилась, или ее с него кто-то из живых и боеспособных снять успел. Он и второй пакет из нагрудного кармана достал, вытянул зубами из него бинты и зубами же да одной рукой начал обматывать себя, но до раны не доставал и мотал, мотал бинты на шею, смутно надеясь на то, что, когда сил прибудет, он спустит бинты на грудь и на спину, спустит и затянет...

Когда он в очередной раз очнулся и увидел, что светает, попробовал уяснить, где он, куда ползет. Местность он не узнал, но увидел, что перед ним речка и в устье ее, примаскированная желтой осокой, стоит лодка. Но ни мыска, ни знакомого издырявленного яра в устье речки не было. «Де-эд! Де-эд! — присипел яркими от легочной крови губами Булдаков. — Ты где, де-эд?»

Дед не отзывался, его нигде уже не было.

Плесневелое, непроницаемое, опьяненное от сытости, еле ползущее облако вшей накрыло людей на клочке земли, называемом Великокриницким плацдармом. Высоту сто, заваленную трупами, снова пришлось оставить. Отход прикрывала вторая рота и полностью погибла. Тяжело был ранен в этом бою надежда и опора комбата Талгат, и его, раненного, никак не удалось переправить на левую сторону реки.

Немцы после недельной осады плацдарма особо не гоношились, не атаковали, не били по всему, что пробовало плыть, ходить, кричать, дымиться. Враг решил взять врага измором, зная, что русские из последних сил держатся за клочок источенного взрывами, прахом пылящего берега. Русские даже не играли в активную оборону, изображая непрерывное старание улучшить позиции, сковать и закрепить возле себя побольше фашистских сил. Они выдохлись, обессилели, обескровились. Смысла держаться на этом клочке земли никакого не оставалось, но по рациям, по все еще работающей линии связи артиллерийского полка с левого берега твердили: «Потерпите! Еще чуть-чуть!»

Утрами парили берега. По воде несло, в воздухе кружило желтый лист, высоко в небе тянули стаи птиц, роняя печальный клик на землю, охваченную войной. Над самой водой, то рассыпаясь, то вытягиваясь в живую, легко и прихотливо дышащую нить, неслись утки, взмывая над плывущими трупами. Тут же снижались, жались чутким пером и лапами плотно к воде. Лешка Шестаков шел к берегу и все задирав голову, слушая птиц, верил совершенно твердо — летят они с низовьев Оби. Он направлялся к реке, чтобы набрать глушеной рыбы, предположить он даже не мог, что привычка, обретенная еще в детстве, есть сырую несоленую рыбу — сагудай называется это по-эвенкийски — так пригодится ему. Опухшие, тихие

от голода бойцы, глядя на него, пытались «сагудать», но их рвало. Сварить же рыбу фашисты не давали — били по каждому огоньку, засыпали минами каждый дымок, даже по вспышке сигарки стреляли снайперы.

Но огоньков от цигарок давно уж не мелькало — на плацдарме табак кончился. Только Широхов, сидевший подле двух телефонов в одном с Лешкой ровике, еще добывал где-то курево, еду, был брит, сыт и беспечен. Бриться он умел стеклом, предлагал цирюльные услуги за плату бойцам и товарищам командирам, но тем было уже не до бритья. Даже всегда подобранный Понайотов, на котором, кажется, пылинки нельзя было увидеть, зарос черной янычарской бородой, глаза его свирепо светились в буйных зарослях. Полковник Бескапустин сосал форсистый наборный мундштук, изгрыз его до половины. У него, мающего сердцем, было уже два тяжелых приступа, о которых он не велел никому говорить, особенно бойцам, закопавшимся в землю по берегу и оврагам.

Про вшей на плацдарме говорили: «Из тела идут» — и верили, что есть в человеке где-то мешочек с этой тварью, пока человек в теле, пока он силен и соков нем вдосталь — они сосут нутряную жилу, но как ослабеет человек и нутряная жила иссохнет, вша выходит на тело.

Командир батальона Щусь, тоже подзапущенного вида, молчаливый и злой, замотав вигоневым желтым шарфиком шею, называл его ловушкой, через час-другой разматывал шарфик, высвобождая концы его из-под воротника гимнастерки — шарф серый, брось на землю — поползет. Вытряхивал шарфик, лип к телефону, требовал, чтоб взяли из блиндажа, переправили во что бы то ни стало командира второй роты, обозвал кого-то в штабе шкурой.

Полковник Бескапустин приказал не подпускать комбата Щуся к телефону. Вот в это время и случилось малозаметное событие — с передовой исчез Петька Мусиков. Предположили — ушел к немцам. По утрам, еще в сумерках, со стороны немцев работала агитационная установка, переманивая русских солдат в плен, обещая всяческие блага, и прежде всего еду. И хотя лупили по агитаторам из всяких видов оружия, ловили, стреляли изменников родины беспощадно, переходы к немцам участились. Надеялись: Петька Мусиков, нажравшись от пуза в гостях у фрицев, вернется к дерябинскому пулемету. Но Петька исчез, и угрозы пермяка Дерябина напирать шалолая, когда он возвратится домой, оставались неосуществленными. Лешка Шестаков знал, что его однополчанин лежит, подстреленный, в земляной норке. Выбросил умершего или беспамятного раненого бойца, влез туда и, как всегда, сам, один борется за свое существование. Лешку однажды окликнул, попросил принести в котелке воды. Напившись, спросил, как часто приплываю за ранеными. И когда Лешка недоуменно произнес в ответ: «Че-о?» — в Петьке заныло и сжалось сердце. Уж не допустил ли он оплошность, выставив из пулеметной ячейки ногу под пули, когда Дерябин спал? И не одна, две пули просадили Петьке ногу. Не разбудив своего начальника, никого не потревожив, опираясь на карабин, будто на костыль, Петька Мусиков убыл из боевых рядов в ближние тылы, чтобы уплыть с проклятого, смертельного берега и покантоваться месяцок, если получится, так и полтора, изловчиться, так и полгода в госпиталях и всякого рода военных шарашках, а там, глядишь, и войне конец.

Осторожно выбравшись на берег, Лешка огляделся, прислушался.

Шел обычный обстрел. Шум и гул были так привычны, так соединились со слухом, что требовалось что-то включить в себе, чтобы заставить себя услышать их. Он приложил ребро ладони ко лбу и долго глядел на другую сторону реки, подрагивающую в дымном мареве, даль просматривалась глубоко, воздух был по-осеннему прозрачен, небо просторно — и не верилось, что днями пробрасывало снег, ночи студеные, вода в реке остыла, высветилась до самого дна, и рыба начала уходить с отмелей, сбиваться в глубинах на зимнюю стоянку. Под берегом и даже над рекой, несмотря на холод, сгустился облаком плавал тяжкий запах разлагающихся уопленников. Но пора обложных осенних дождей еще не наступила, не

пришла еще мокрая, серая осень. Вода в реке убывала, и оттого обсыхали трупы. Только теперь видно стало, как много погибло народу при форсировании реки и при последующих переправах. Берег, заостровка, отмели, стрелка и охвостье острова, все заливы, все заливы были завалены черными, раздутыми трупами, по реке тащило серое, замытое тиной лоскутье, в котором, уже безразличные ко всему, вниз лицом куда-то плыли мертвецы. Вокруг них пузырилась пена. Так, в мыльно пузырящейся пене, и уносило трупы вниз по реке, таскало по стрежню, трепало в омутах, прибывало к берегу.

Мухота, воронье, крысы справляли на берегу жуткий свой пир. Вороны выклевывали у утопленников глаза, обожрались человечины и, удобно усевшись, дремали на плавающих мертвецах.

По берегу теньями бродили саперы, загнутыми крючьями из шомполов стаскивали трупы к воде, надеясь, что хоть некоторые из них унесет водой, живущие по реке миряне выловят и захоронят горемык. В яру саперы выдолбили яму, прикрыли ее бортами разобранного баркаса, выложив подле той землянки горку подсумков с патронами, полупустые автоматные диски, лопатки, кое-что из одежки, — все это снято с мертвецов, взято из карманов и меняется хоть на какую-то еду, на табак, но товар оставался невостребованным.

Лешка спустился к самой воде. На босом утопленнике, лежавшем вниз лицом, поджав лапку, стоял кулик и дремотно качал долгим носом. Услышав шаги, он встрепенулся, разбежался и пошел низко над водой, беззаботно, по-весеннему запыливав. Его нехитрое, с пеленок привычное пение потрясло Лешку. «Умрѹ я, видать, скоро», — подумалось ему безо всякого страха, как о чем-то неизбежном и даже необходимым.

Набив мешочек из-под дисков густерой, плотвичками, двух уклек, соскоблив с них чешую грязными ногтями, тут же равнодушно изжевал, остальных рыбешек, завернув в тряпицу, спрятал в холодном ровике. В прежние дни он чистил рыбу, убирал из нее кишки, ныне порешил и этого не делать — все равно понос мучает, вши заедают. От воды, от запущенности ли, заметил он, шибко отросли ногти и совсем уж ни к чему задичали волосья на голове. Хоть и принадлежит он, солдат, кому-то и кто-то распоряжается его жизнью, но тело-то его с ним, ушибается, чешется, страдает. Душу подчинили, выпростили, оглушили, осквернили, так и тело избавили бы от забот и хлопот о нем. А то вот оно болит, жратвы и бани требует...

Шорохов возился в ровике, что-то толкал камнями, попадал по пальцам, ругался.

— Ты куда отлучился? — как будто с того света, затушеванным расстоянием голосом спросил Сема Прахов, дежуривший у телефона на левом берегу.

— На промысел я ходил, Сема... на рыбный.

— А-а, — начал успокаиваться Сема. — Надо все же предупреждать, а то вдруг че...

«Ах, Сема, Сема! Какое тут у нас может быть «вдруг» или «че». Вот еще денек-другой — и связь утихнет. Все утихнет...»

— Сема, вы чего ели сегодня утром? Картошку с американской тушенкой? Хлеб и чай с сахаром? Хорошо-о-о! Сема, к вам куличок прилетел. Этакий куличок-холостячок! Помажь ты ему маслицем хвост и отправь его сюда, а?!

Сема Прахов поперхнулся:

— Я думал, у вас совсем плохо... Покойники вон плывут и плывут. А ты шутишь, значит, ничего еще... Конечно, и на рыбе жить можно...

Как далеко был Сема Прахов! Совсем в другой жизни, на другом берегу он обретался.

— Не дай бог ни тебе, ни детям твоим жить на такой рыбе. Не дай бог... — Лешка, не завершив беседы, подхватился побежал в овраг.

Когда вернулся, дрожащий от озноба, с ноющей болью в животе, Шорохов протянул ему недокурок.

— На, zobни, хоть и некурящий, но прочисти башку, а то, я гляжу, ты, как покойный Финифатьев, заговариваться начал. Деду Финифатьеву ныне хорошо, отмучился...

Лешка потянул и закашлялся — в сигарке было что-то горькое, табаком едва отдающее.

— Че это? — переждав головокружение, проговорил Лешка.

— Трубка. Бати Бескапустина. Уснул он, трубка выпала. Я ее растолок, с травой смешал...

«Ведь вся жизнь у полковника в трубке!» Лешка хотел обругать Шорохова, но сил на ругань не было, ни шевелиться, ни говорить не хотелось.

Как только ободняло, налетели «лапотники», густо клали яйца, то есть сорили бомбами. «Лапотники» улетели, ударили минометы. Артиллерия с левого берега ответила. Дым. Пыль. Прах. Закрывать бы глаза, уснуть и во сне увидеть Шурышкары, мать, сестренку, скорее время до ночи пройдет. Ночью лучше. «Господь, — говорил мудрый Коля Рындин, — сотворив свет, оставил кусочек тьмы, чтобы укрыть ею людские грехи, но грехов тяжких так много, что хоть вовсе не светай, не укрывшись человеку от поганства и зверства никакой тьмой, не отмолишь никакой молитвой...» Ах, Коля, Коля! Где ты сейчас?.. Живой ли?

Ночь на плацдарме встречала с желанием, утро — век бы оно не наступало... Лешка покорно смотрел на небо и дремал с открытыми глазами, пытался что-то вспомнить, выловить из глубины памяти. Если бы не нудило в животе...

— Кореш! Кореш! — потряс его за рукав Шорохов. — Я на часок смоюсь. Жди меня, понял? — В голосе Шорохова возбуждение — к немцам на промысел подался деляга, все же боится малость, нервничает. А чего бояться-то? Ну, убьют — и убьют.

Лешка привычно надел на второе ухо трубку пехотного телефона. Завернулся в шинель, съезжился. Шинель принесло водою, он ее высушил на солнце, выхлопал о камни, но сукно так напиталось духом мертвечины, что не вытрясешь его, не вымоешь. Пахнет грешный человек пуше скотины, потому что жрет всякую всячину. Хуже это всякой липучей болезни. О чем бы ты ни старался думать, как бы ни увивал, мысль обязательно повернется к еде. Ломкая полынь похрустела под усохшим Лешкиным задом, умялась, перестала колотиться.

По телефону шел непрерывный писк, ныло, словно в придорожных телеграфных столбах. На другом, на живом, берегу телефонисты трепались про баб — голодной куме все хлеб на уме. Телефонист с девятки без негодования, но с завистью рассказывал, как командир дивизиона, сей ночью залучив в блиндаж сестрицу медицинскую, угощал ее и занимался с нею на соломе, под шинелью энтим делом, не глядя на то, что телефонист тут дежурит, — за человека не считает иль уж так оголодал, что не до человек ему. Как и всякий здоровый парень, в другое время слушал бы Лешка охотно солдатский вольный разговор, но ныне не манило. Достать бы из тряпицы плотвичку да погрызть. Однако при одной мысли о сырой рыбе в животе протестующе забурило. Дежурство привычное, связист заставлял себя думать о чем-нибудь приятном, ну хотя бы про ту же Томку, но ярко воскресалась не она сама, а ее изобильное угощение. И эта попытка отвлечься не удалась, не продрались памятью к Томке, воспоминанье о которой всегда высветляло в нем добрые чувства. Шурочка вот забылась сразу и навсегда. Оттого забылась, что не было с нею, как с Томкой.

— Кореш! Кореш!

— А? Что такое? — Лешка схватился за шейку автомата, лежавшего на коленях.

— Тихо! Тихо! — остановил его благодушный голос Шорохова. — «Постой, постой, товарищ, винтовку опусти! Ты не врага встречаешь, а друга встретил ты! Такой же я рабочий, как твой отец и брат... кто нас

поссорить хочет, для тех...» — Шорохов щелкнул его по лбу. — Понял? «Для тех оставь заряд!» Помню! — удивился сам себе Шорохов, шарясь в брезентовом мешке. — Когда учил-то стишок! Еще на Мезени. Во память, бля! Где пообедая, туда и ужинать чешу! Ха-а-ха-а!.. На, рубай! — И уже заполненным ртом пробубнил: — Пользуйся!

Лешка мигом проглотил хлеб, не интересуясь, где добыл этикие богатства Шорохов, как ему харч достался. Сунув Лешке в ладони галету, пальцем мазнув на нее масла из пайковой пластмассовой баночки, Шорохов простонал:

— Ах, Булдакова нет! Загнулся кореш, видать, загнулся. Мы б с им... А-ах падла! Табаку нету! Все не предусмотритишь. Надо было пришить арийца. Спит в землянке, едало расшаперил...

— Ты в землянке побывал?! — ахнул Шестаков.

— Побывал, побывал. В окопах не пошаришься. День. А он спит. На посту небось был ночью, так и поковырялся бы в зубах у него косарем. Ну хоть еще раз ползи. Хорошо, догадался на хапок шнапсу выпить, унес в курсаче — не выплещется. Э-эх, наверхосытку махры бы иль листовухи!..

Лешка, сжевав галету, слизал с пальца остатки масла.

— Н-ну ты и ловкий! — восхитился он. — Н-ну ты, ты... — Получалось заискивающе.

— Эт че-о! — самодовольно хмыкнул Шорохов. — Тройная проволока, овчарки-человекодавы, охраншыки нашенски, архангело-вологодские, на три метра в землю зрящие... за невыход на работу кандей без отопления... за пайку — смерть, за невыполнение нормы, за сопротивление, за разговоры в строю, за нарушение режима — смерть... смерть... смерть... Тут, кореш, можно и нужно жить. Но я существовать без табаку и выпивки не могу... Тем паче — все это рядом и задарма... — Шорохов явно намылился повторить побег — передохнет маленько и... Будто на вечерку сходил человек, девку потискал да по пути в чужой огород забрался, огурцов нарвал...

Шорохов еще на взводе, но напряжение все же схлынуло, сытость и чувство исполненного долга расслабили его, и он замертво уснул в твердой уверенности: коли потребуется, сменщик, им облагодетельствованный, можно сказать, от голодной смерти спасенный, сутки отдежурит. Может, Шорохов и не думал так, но Лешке-то мнилось всякое, дрема тоже долила его, и, чтобы не уснуть, он часто делал поверки.

Немцы палили густо и злобно. Шестаков уже несколько раз выходил на линию — перебивало то свою, одинцовскую связь, чаще других конец, поданный в штаб полка, обрывало и связь к Щусю. Шорохов безмятежно спал, отвернувшись лицом к неровно стесанной стене ровика, никакой войны не чуял, никаких снов не видел.

Связь со Щусем исхудилась, приходилось выбрасывать пришедшие в негодность куски провода. Воспользоваться привычной и невинной находчивостью, стало быть, отхватить кусок провода из соседней линии иль даже смотать на катушку провод у рот открывшего соседа, было нельзя. По соседству, а где и поперек, лежала и работала вражеская связь. Трофейный провод выручал пока. Связистам было приказано не только не воровать немецкий провод, но даже не изолировать стыки нашей отечественной изолянткой. По ней, сделанной не иначе как в артели инвалидов или в арстантских лагерях, махрящейся нитками, неровной, с отмокающей клеепропиткой, в воде и на солнце делающейся просто тряпицей, — по ней немецкие связисты мигом узнают, чья красуется работа и что сию совсем уж классную продукцию изладили стахановцы.

И прятаться от немецких связистов приказано было: увидишь фрица, бегущего по линии, — в бой не вступай, тырсья, линию не демаскируй.

Шорохов в потемках нечаянно на немецкого связиста напоролся. Тот мало того что один на линию вышел, так еще, на беду свою, курил во время работы. За коробок спичечный, наполненный махрой, свою брата русака запорол на Колыме Шорохов, а уж врага-то, фашиста-оккупанта, на-

род и партия призывают всечасно и всеместно уничтожать. Где увидишь, там его, значит, и дави. И за почти полную пачку дешевеньких сигарет, да еще за зажигалку, за носовой платок и за сумочку со связистским прибором враг поплатился жизнью. Зарезав врага, грузного, пожилого, Шорохов сволок его в овраг, засунул в щель меж комков, прикопал землю. Шорохов привык дело делать чисто.

Лешку смахнуло в овраг взрывом мины. У стыка двух оврагов, где пришлось поднять укоротившуюся линию, и было-то метров десять—двадцать, но немцы пристреляли их, и батальонные малокалиберные минометы все здесь, меж оврагами, изрыли, изъязвили, и когда впереди, затем и сзади, коротко взвизгнув, взорвались две мины, он, поняв, что третья будет его, сиганул вниз, в овраг; на лету его подхватило волной, в полете обдало словно бы банным, горячим паром, обжигающим листом веника хлестануло в лицо.

— Ма-а-ама-а-а! — закричал Лешка и провалился во тьму. Не будь он так задерган, сообразил бы перележать в воронке, в щелочку земляную туловищем засунулся бы, за мертвого бы залег — там их валялось изрядно, — не раз и не два ведь за трупами скрывался. Хлестанет, бывало, по мертвяку пулями, и поползешь, волоча на себе трофейное добро, жижу, белых червей, но живой завсегда ототрется, отплюется, тем паче под боком Черевинка — полощись, отмывайся, сколько душешке твоей угодно. Он знал, твердо знал: к родной земле припавшего солдатика трудно угробить, но во весь, пусть и невеликий, рост бегущего или маячащего сшибут запросто. Боец, если он опытный, должен уметь почувствовать свою пулю, брызги осколков и увернуться от них. Опытный боец должен знать, когда бежать, сидеть, ползти или не двигаться вовсе, затеряться среди своих покойных братиков в одежонке, сделавшейся к осени под цвет земли.

Все это Лешка, конечно же, знал — жизнь и война научили его военной мудрости, — да вот выдохся, солдатская сообразилочка, эта палочка-выручалочка, помощница и подлинная командирша, поугасла в нем, притупилась, и потому лежал он на дне оврага в изгорелой, грязной телогрейке, в бесцветных, чиненых-перечиненых штанах, в дырчатых сапогах, стасщенных с кого-то дедом Финифатьевым, лежал и чувствовал, что остывает на нем нижняя рубаха. Мягкая багровая пыль над Лешкой сделалась еще багровой. Тело становилось бесчувственным, но все искало место поудобней, поглубже, втискивалось, проваливалось в комки.

До самого дна оврага он не долетел, упал на один из многочисленных уступов. Над ним совсем недалеко и невысоко — разнорост, какие-то ершистые, колючие, до звона высохшие растения. Бурьян этот, среди которого Лешка узнал лишь лопух, достал огонь, обчернил его, подкоптил, понизу подчистил сушь и мелочь, а что было повыше, позеленей — осталось; правда, у лопуха съезжились листья, и в них, в тряпье листьев, жила и бесстрашно кормилась пестрая птичка с оранжевым, туго набитым зобком.

«Однако шегол? — очнувшись в сумерках, угадывал Лешка птичку. — Нет, не шегол это, чечетка это, мухоловка!» — как будто сейчас это было главное для Лешки. Мать привезла с какого-то слета рыбаков-передовиков картинки с разными птицами, и хорошо, не испорченно, на бумагу перевелась эта вот яркогрудая птичка, и он ее прилепил над столом, за которым делал уроки, после за тем же столом трудились Зоя и Вера — сестренки его. Значит, жизнь на земле еще не кончилась, раз птичка жирует и обретается в оврагах. Правда, дед Финифатьев обратил внимание: нету воробья, упорхнул с фронта, жулик, улизнул от опасности. Горящих в огне воровьев видеть не доводилось, и мертвых никогда и никто их не зрел. «Счастливым все же народ — птицы! И эта вот пташка, и вороны, что жрут мертвечину, — все-все они счастливые, обилию корма радые. Приплод весной у здешних птиц будет великий. Ну и пусть. И бог с ними — должна же земля-то жизнью быть наполнена...» Лешка попытался перевер-



нуться на живот, чтобы ползти к речке, но дело кончилось тем, что он снова потерял сознание.

Шорохов проснулся от непрерывного зуммера — так зуммерят, когда нервничают, злятся, не получая ответа от телефониста. Зудел артиллерийский телефон. Пехотный молчал. Лешки в ровике не было. «Опять почту гоняет!» Широко, с подвывом зевая, Шорохов поднял трубку.

— Шорохов! — В телефон заорал сам полковник Бескапустин. — Где тебя черти носят? Нет связи с батальоном! Почему?

Шорохов хотел по привычке огрызнуться, но, скосив глаза, уяснил: все еще день на дворе, да и невыгодно с командиром полка огрызаться — хозяин все же.

— Разрешите на линию, товарищ третий?

— Крой! Чтобы одна нога здесь...

— Рву, товарищ полковник! — рявкнул Шорохов и сразу же успокоился, позевал, шарясь под мышкой, выбирая вшей, кидая их на волю. Пощупал болевшую голову, подавил ее руками до треска, глянул на солнце, решая: сейчас попользоваться трофейным добром, перекусить и выпить, или потом?

Лешки все не было. Сложив руки у рта рупором, негромко — немцы могли стрельнуть на выкрик — Шорохов поискал его за ближним отверстием. Нету. Растревоженный Шорохов рванул по линии, пропуская через горсть вязаную-перевязаную нитку провода. С Черевинки пришлось уйти — линия укоротилась и протянута была поверху. На стыке двух оврагов и проползти-то пустяк, метры какие-то, но сколько тружеников-связистов, изъеденных червями, безобразно вздувшихся, валялось здесь. Шорохов из-под пулеметной очереди рухнул с обрыва. За ним, обгоняя друг друга, припоздало прыснули автоматные очереди. Меж щелястых, перегорело лопнувших комков, тоже комочком, но сереньким, лежал, скорее сидел, лицом уткнувшись в колени, человек, зажав телефонную трубку в одной руке, другой затиснув оборвыш провода.

— Лешка! Шестаков!

Связист не откликнулся. Выдернув из Лешкиных пальцев провод, Шорохов поискал глазами второй конец, с усилием стянул и соединил линию. Посидел, пощупал напарника и приподнял его лицо. Даже он, лагерный волк, навидавшийся страстей-ужастей, отшатнулся, увидев, как изуродовано лицо человека. Правый глаз вытек, из беловатой скользкой обертки его выплыла и засохла на липкой от крови щеке куриный помет напоминающая жижица. Рука Шестакова, из которой Шорохов выдрал провод, празднично покоилась ладонью кверху на глине и начала уже чернеть в сгибах пальцев, а ногти белели, оттеняя траурную полосу грязи. По привычке стервятника Шорохов обшарил карманы связиста, услышал тепло его живого тела, слабый, как бы уже сонный стон издал напарник, пытаясь кого-то позвать, что ли.

Вернувшись к телефону, Шорохов доложил:

— Все в порядке. Связь налажена. — И попросил передать артиллеристам, чтоб выслали своего связиста: Шестакова шлепнуло, за двоих же дежурить он не намерен.

Из оврага, ослабело дыша, поднялись Понайотов, Сашка-санструктор и вычислитель Карнилаев, у которого вроде бы остались одни круглые очки вместо лица.

— Где? — упав грудью на бруствер, тыча в Лешкин телефон рукою, загнанно спрашивал Понайотов. От быстрой ходьбы и слабости у него кружилась голова, больно рубило в груди. — Где?

— Шестаков-то, что ли? Там! — наудалую, не поймешь, указал или отмахнулся Шорохов.

Понайотов, поняв, в чем дело, растерянно глянул из черной бороды на Шорохова.

— И вы — бросили?

— А че мне, ташшыгъ, да? Подохнуть, да? Нас обоих на тот свет проводили бы, а дежурить кому? У телефона кому?

— Вы хоть перевязали его?

— Чем я перевяжу? Своим пакетом, да? Да и не требуется ему уже перевязка.

— А ну! — сверкнув глазами из смоляной бороды, зарычал Понайотов. — А ну выходи сюда!..

— Че вылазить-то? Че вылазить-то? Ты мною не командуй! У меня своих командиров что вшей в кальсонах... — выбираясь, однако, из ровика, нудил Шорохов и, не дожидаясь распоряжений, позвал Сашку-санинструктора. — Айда, покажу. Сам я туда не полезу. Издала покажу.

— Это я, — подал голос Сашка-санинструктор, зная, что для раненого важнее всего знать, что он не брошен, не один, по возможности меньше врать, обрисовывая его состояние, — ложь раненые чувствуют обостренно, и хотя многие пытаются верить в нее, однако же и боятся лжи — раз обманывают, значит, плохи дела. Санинструктор почти не обманывал, говоря, что от этой бздехалки, батальонного миномета, больше пакости, чем убоя. Лешка шевелил губами, трудно глотал воду. Санинструктор обтер ему лицо водичкой, перевязал, привел его в порядок, насколько возможно привести в порядок раненого человека в этих вот условиях, и решил быть возле Шестакова до тех пор, пока капитан Понайотов не добьется, чтобы и его и других раненых переправили за реку.

Вечером Шестакова вытащили из оврага, занесли в блиндаж полковника Бескапустина. Голова его была сплошь забинтована, дыхание едва касалось реденькой, слабо вьющейся растительности над губой. Щусь, вызванный на летучку в штаб полка, отвернул плащ-палатку, взглянул на окровавленные бинты, покрутил головой, подавляя громкий вздох.

Лешка что-то силился сказать. Щусь подставил ухо к жарко дышащим губам раненого.

— Живы будем — не помрем...

Свирепствовал полковник Бескапустин, кого-то вежливо и настойчиво убеждал Понайотов, не выдержал с переднего края прорвавшийся Щусь, затребовал к телефону доступного ему начальника, Нэльку Зыкову.

— Эй ты, действующая медсила! Нэлька! — со свистом дыша, сквозь зубы задушено говорил он. — Если Талгата и Шестакова не возьмете, сволочью мне быть, кто мне первый попадется под руку из вашей конторы — застрелю!

— Стреляло какой! — огрызнулась Нэлька. — Ты как переправился, так реки и не видел, что на ней делается, не знаешь!..

— Я те сказал!

— Сказал, сказал...

Нэлька все-таки продралась на правый, на гибельный берег. Суровая, в суровую робу одетая, самой же ею и придуманную, — война научила Нэльку не только биться за свое женское достоинство, не только раненых спасать, но и себя обихаживать в полевых условиях, да попутно и ребенка своего, сестру ли Фаю сохранять. Фая шила на себя и на Нэлю, не очень изящно, зато ладно, к обстановке подходяще. Сама Фая ходила в военной форме, лишь вместо юбки носила мужского покроя брюки из немецкой пестрой плащ-палатки. Нэлька одета по-походному: поверх военной формы у нее такие же, как у Фаи, пестрые брюки, заправленные в сапоги, курточка из того же плащ-палаточного брезента, под курточкой, шнурком на талии затянутой, стеженная безрукавка, с правого бока из-под куртки свисал конец кожаной кобуры с пистолетом «ТТ», всегда смазанным, заряженным, стоящим на предохранителе. Разное начальство пробовало указы-

вать Нэльке на нарушение военной формы. «Бабе своей указывай!» — отшивала она начальство, не глядя на ранги.

«Указчику — говна за щеку!» — совершенно правильно говорила своим девкам несгибаемая сибирячка, мать Нэльки. На передовой довольно находилась она указчиков, воспитателей, лизоблюдов, ухажеристых сладострастников и просто погани всякой, прошла сквозь такой разношерстный военный строй, перешагнула через такие беды и страдания, что ни начала, ни конца им уж не угадывалось. На этом участке фронта, возле речки Черевинки, не было сейчас, пожалуй, более самостоятельного, независимого и необходимого человека. Слезами, кровью, надсадой сердца далась ей эта самостоятельность.

Зимой сорок второго года Нэлька много работала, ползая и бегая по подмосковным прославленным полям. Проявляя неустанный героизм, шибко застудилась патриотка, набухли у нее буйные, никем еще как следует не размятые, дитем не рассосанные груди, и она попала в хитренский госпиталь — для медицинских военных, политических светил и воротил, — уютно спрятанный в старой дворянской усадьбе под Малоярославцем. Вот где к месту пришелся ее крутой, обмужичившийся характер, умение держать твердую оборону. Мужички-тыловички отъелись в хитром заведении, считали, что грудь и все прочее у бабы, да еще у военной, да еще такой ладной, болеть и ныть может только по причине отсутствия массажа и любовных объятий, насылались с услугами, припирали, покоя не давали. С недолеченной грудью пришлось покинуть госпиталек. С тех пор Нэлька и не снимает с себя теплую безрукавку. С тех пор знает также, что детей у нее никогда не будет, — застужена не только грудь, вся эта ненаклончивая девка или баба навсегда уж подшиблена войной.

Так что всякие наставления, угрозы Нэльке все равно что жужжание мухи перед лицом — отмахнется и пошла дальше работать. Обид, унижений, пересудов и судов перетерпела она столько, что научилась уже и не слышать их. Самые горькие обиды пережила она от своих же военных подруг и самые жгучие слезы пролила из-за них. Выделенно жила под сердцем ее одна неизбывная обида. Потеряв свою часть под Москвой, Нэлька с девчоночьим пополнением, беспечно-визгливым, взвинченным, двигалась в эшелоне под Сталинград. Дорогу ту вспоминать смех и грех. Двигались спешно, почти без остановок. Но едут-то сикухи же, им на улку надо. Иные воду пить перестали, горят-перегорают, в себе затаившись, иные норовят ночью в приоткрытые двери свеситься — по эшелону слух: вывалилась одна девушка, в куски ее...

В своем вагоне порядок держала Нэлька — все же фронт видала, по званию старший сержант, по ее команде, хочешь не хочешь, стыдишься не стыдишься, под мышки подхватят боевую единицу и к двери тащат. Одна боевая единица, как потом выяснилось, скрыла беременность и в таком виде двигалась добивать проклятого врага. Терпеть ей совсем невмочь. Подобрав полы шинели, ее выпячивали наружу. Железнодорожная линия во многих местах еще только восстанавливалась, военного и всякого рабочего люду на полотне тучи. Трудармейцы, этакий цирк завидев, головные уборы снимают, кланяются. Резвушки-хохотушки, ослабев от смеха, чуть было не упустили боевую подругу под колеса. Будущая мать в слезы. Старшая вагона боевым матом подруг кроет.

Ехали девки бить врага полубундированные: гимнастерки, шинеленки, шапки, обувь выдали, но — живем же в стране чудес — вместо юбок или брюк надели на них теплые мужские кальсоны. Разгрузились под Котлубанью, неподалеку военный городок с аэродромом. Вечером там затеялись танцы под духовой оркестр. Как услышали девчонки музыку, так и заперебирали ногами. Нэлька отговаривала боевых подруг, не пускала их на танцы, но природа свое взяла. Через колючую проволоку девки лезли на аэродром, оставляя ключья кальсон на заграждениях — сотворили распотеху!

Аэродромные высокомерные девицы, среди которых и летчиц-то считай что не было — подносицы и подвесчицы бомб, у которых от надсады не прерывались месячные, прачки, уборщицы, поварихи, медсестры, приодетые, закучерявленные, поднакрашенные, — держались аристократками, тыкали в кальсонниц пальцами, гоготали. Не сдавшая в госпитале форму, при орденах, при медалях, Нэлька, охваченная бешенством, ворвалась на танцплощадку с гранатой и как, на виду у всех, начала выдергивать кольцо из чеки, так аэродромные девки в воздух и поднялись. Бросила Нэлька боевую гранату за ограду, пинками погнала своих кальсонниц домой. «Ведь свои же... свои, русские же, советские!..» — рыдали девки. «Еще комсомо-о-ол-ки-ии!» — подпела тонко какая-то молодяжка.

Где-то, с кем-то они сейчас на этом большом и беспощадном фронте танцуют?.. Некоторые уж и в землячке лежат, которые потихоньку убралась домой — рожать. Есть и те, что толкуются в окопах, ниже или выше по течению через эту реку плывут под пулями...

Нэлька подтянула лодку повыше, привязала ее, переждала артналет, пригибаясь, перебежала в пойму Черевинки, влезла в яму с навесом из прутьяного мата, который Понайотов передал Боровикову, разбудила ротного:

— Коля! Дай бойца — мне к Щусю надо, а где он сейчас, не знаю. — И сунула Боровикову пару сухарей, кисет с табаком.

— Вот спасибо! Вот спасибо! — окончательно проснулся лейтенант. — Мы тут совсем...

— Знаю. Скоро кончатся ваши мытарства.

— Скорей бы. А Щусь недалеко. С высоты его согнали. Совсем нас к берегу немцы прижали... положение отчаянное...

— Говорю, не пропадете.

— Дай-то бог, как верующие говорят.

— И неверующие тоже.

Щусь не пожелал встречаться с Нэлькой, никого, говорит, видеть не хочет. Злой, ошетиленный, с командиром полка ругается, всякому начальству дерзит, своих поедом ест. Впрочем, есть-то уж почти некого.

Талгат, лежавший на самодельных носилках, был в сознании, шепотом попросил:

— Жэншын, Нэль, руху дай.

Она дала ему руку. Он благодарно прижал ее к груди и так вот держал, пока шли к лодке. Ради таких вот минут, ради редкой этой мужской признательности жила, войну переносила, околевала, мокла Нэлька Зыкова.

Наперерез несли плащ-палатку с утухшим, скомканным Лешкой Шестаковым. К берегу вышли одновременно. Возле лодки что-то чернело. Нэлька ахнула: перекинув руки за борт, держась за лодку зубами, лежал черный человек в слабо на себя намотанных, спутанных бинтах. Хрипя, он выдувал кровавую пену и в тяжком беспамятстве грыз дерево. Нэлька запустила пальцы в адресный патрончик и, пока грузили Талгата и Лешку в лодку, заслоняя полый безрукавки огонек фонарика, прочла: «Булдаков Алексей Геннадьевич, 1924 года рождения, город Красноярск, слобода Весны, улица Побежимова, дом...»

— Землячо-ок! — Нэлька приосветила раненого, с трудом узнала в нем того веселого забулдыгу, что в прошлые дни здесь вот, в устье Черевинки, «катил под нее колеса», завлекая ее, зубоскалил. Вместе с домашним адресом хранилась в пистончике престранный бумага: «Расписка — дана бойцу первой роты Булдакову А. Г. в том, что он оставил на сохранение 1 (одну) пару сапог, и обязуюсь вернуть их, когда Булдаков А. Г. возвратится обратно. Если же Булдаков А. Г. не вернется по какой-то причине назад, сапоги продать и пропить на помин души. Верно! Старшина первой стрелковой роты 126 гвардейского полка 1 батальона Р. Бикбулатов».

— Этого тоже в лодку, — показала Нэлька на Булдакова

— А перегруз. Опять перетонете. Это ж Леха Булдаков, в ем весу центнер...

— В ем одна душа осталась, она весу не имеет.

Отплыли тихо. На гребі угодили ребята умелые — работают веслами размеренно, стрельбы прицельной, слава богу, нет. Доплыли до левого берега благополучно, но застряли на мели, и навстречу лодке шало, в обуви и одежде, метнулась Фая.

— Ты еще застудишь, дура! — рывкнула Нэлька и, конечно же, добавила кое-что покрепче, тоже, между прочим, вылезши в воду во всем, во что была одета, обута.

Волоком тащили лодку. Фая ужималась в себе, ведая, как подруга ее верная, смертная подруга, напьется с мужиками, впадет в истерику. Пережив крайнее напряжение, смертельную опасность, горькую обиду, Нэлька делалась невыносимой, жестокой и на ней, на Фае, на покорной подруге, отводила душу. Но кто-то же должен терпеть и Нэлькин характер, кто-то же должен и ее бунт сносить. Она-то ведь терпела тоску, обиды, бабьи хвори. Люди о ее слабостях и болях знать не знают, зато Фае хорошо и подробно все о своей подруге известно, или, уж точнее сказать, о родной сестре, а сестер не выбирают, сестер бог посылает, сестер полагается жалеть, беречь и любить.

Ополудни вверх по реке километрах в десяти от Великокриницкого, почти уже не действующего, плацдарма началась артподготовка.

Советское командование еще раз, который уж, не перехитрив противника, начинало новое наступление с учетом прежних стратегических ошибок. Переправа на сей раз совершалась не ночью и не горсткой сил. Наносился мощный удар. И снова рвало берег взрывами, снова било, поднимало воздух, трепало, разбрасывало, обращало в прах и пыль родимую землю. С землей давно уж люди обращались так, будто не даровалась она создателем для жизни и свершения на ней добрых дел, но презренно швырялась человеку под ноги для того, чтоб он распылил ее как распоследнюю лахудру...

«Сколько же ты взяла и возьмешь еще людей?» — почти враждебно глядя на реку, будто была она одушевленным, но бесчувственным существом, думал Щусь. Весь народ, способный двигаться, повылзился из окопов, блиндажей, береговых нор, и поскольку ничего за мысом, кроме тучи дыма, не видно было, сидельцы Великокриницкого плацдарма задирали головы и смотрели, как опрастываются по-большому самолеты, искрами мелькая в голубых прорехах неба меж зенитными разрывами.

Артподготовка всегда казалась Щусю похожей на работу огромной, всю землю облапившей, немислимо громадной машины — этакого адского механизма со множеством валов, выхлопов, труб, всякого гремящего железа, который проворачивается, перемалывая зубьями все что есть на земле. Безумная и безудержная машина, расхлябанно вертящаяся, с визгом, с воем разбрасывающая обломки железа, ухала, ахала, завывала, грохотала, и выше, дальше, недосыгаемо глазу, от грохота и огня трескались перекаленные своды. Боже милостивый! Зачем ты дал неразумному существу в руки такую страшную силу? Зачем ты, прежде чем созреет и окрепнет его разум, сунул ему в руки огонь? Зачем ты наделил его такую волей, что превыше его смирения? Зачем ты научил его убивать, но не дал возможности воскресать, чтоб он мог дивиться плодам безумия своего? Сюда его, стервеца, сюда и царя и холопа в одном лице — пусть послушает музыку, достойную его гения. Гони в этот ад впереди тех, кто, злоупотребляя данным ему разумом, придумал все это, изобрел, сотворил. Нет, не в одном лице, а стадом, стадом: и царей, и королей, и вождей на десять дней, из дворцов, храмов, вилл, подземелий, партийных кабинетов — на Великокриницкий плацдарм! Чтoб облаком накрыли их вши, чтоб ни соли, ни хлеба, чтоб крысы отъедали им носы и уши, чтоб приняли они на свою шкуру то, чему название — война. Чтoб и они, выскочив на край

обрывистого берега, на слуду эту безжизненную, словно вознесясь над землей, рвали на себе серую от грязи и вшей рубаху и орали бы, как серый солдат, только что вот выбежавший из укрытия и воззвавший: «Да убивайте же скорее!..»

По реке все плыли ящики от снарядов, солома, обрезь, тряпки, протасило пробитый, перевернутый паром, брякающий о донные камни цепями. Вот и люди появились, бултыхающиеся, схватившиеся кто за бревно, кто за корягу, кто и просто так плюхается, бьется в воде, взывая о помощи. Две храпящие лошади, припряженные к дышлу, погибая, рубились копытами в реке. Не будь в упряжке, они поодиночке добрались бы до суши. Но за гривы лошадей цапались, лезли на спины им тонущие люди.

На рассвете загрохотало и ниже по реке. Здесь также затеялась переправа, приказано было остаткам подразделений Великокриницкого плацдарма идти на соединение с соседями. За ночь на верхнем плацдарме была наведена переправа на понтонах, на правобережье перешли танки, перевезена артиллерия, реактивные минометы, части боепитания.

...Шли и шли бойцы и командиры Великокриницкого плацдарма, навечно уже отпечатанного в их памяти. Очень медленно шли, и тот, кто падал, больше уж не поднимался. Впереди своего полковника, как бы заслоня его собою, загнанно хрипя от пыли и простуды, словно в старые, довоенные времена, словно в ранешнем, довоенном кино, с обнаженным пистолетом шел командир батальона Шусь. Но не было никаких киношных, патриотических криков, никакого «ура», только хрип, только кашель, только вскрики тех, кого находила пуля или осколок, да и местность эта, пересеченно-овражистая, не давала возможности атаковать дружным киношным строем. С кручи на кручу, с отвеса на отвес, из ямы в яму, из оврага в овраг вдоль берега еле двигались недобитые, недоуморенные, вшами не доеденные бойцы, все еще пытающиеся исполнить свой неоплатный долг.

Бойцы первого батальона, не сговариваясь, самопроизвольно забирали дальше и выше от берега. Шусь увлекал за собою остатные силы полка — выше идти легче, там разреженной оборона, наконец, оттуда, сверху, почти с тыла, способней навалиться на противника, вцепившегося в берег.

Немцы реденько и вяло отстреливались, катились к запасной, уже третьей линии обороны, где закипал бой, слышались пальба, рев моторов, рвались гранаты, разбрасывая коротко взвизгивающие осколки. Горели машины, возносясь столбами черного дыма над землей и рекой.

Вторая линия была уже вдаль от берега, уже в стороне от реки, и, почувуя, что путь впереди свободен, бойцы гиблого Великокриницкого плацдарма покатались на задницах, на животах, побежали к реке, вниз, движимые какой-то им уже не принадлежащей силой, чувствуя освобождение от гнетущего ожидания гибели, избавление от заброшенности и никудышности.

Навстречу им, сначала редко и робко, спешили бойцы с нового плацдарма, еще никак не названного, затем хлынули толпою. Соединились! Наконец-то! Сошлись с теми, кого пытались представить изможденными, битыми, не такими же, какими оказались они на самом деле. То, что были они за рекой, почти рядом, стреляли, говорили по телефону, связанные жилой провода, давало ощущение, будто живут они, как и все, ну, может, чуть-чуть поголоднее, однако не осажденные же они в крепости!

По окопам, по рву, по оврагам шарились саперы, санитары, хозяйственники. Старшина Бикбулатов пытался покормить полковника Бескапустина жидкой кашей, лично им принесенной на горбу в плоском термосе.

— Нет-нет, — навалившись спиной на колесо повозки, устало отговаривался полковник. — Покурить сначала, покурить, ребятушки!.. Трубку!.. Трубку утерял где-то... ииийи... — закашлявшись от сигарки, сквозь буханье пытался сказать. — Ар... артиллеристы где-то... — Дыхание у него налаживалось. — Покормите их... последним делились, спасали нас огнем...

Артиллеристов нашел и обнимал уже старый политрук Мартемьяныч. Оцарапанный в бою, наскоро перевязанный, он тискал Понайотова, Карнилаева и срывающим голосом спрашивал:

— И это все?! И это все?! Милые вы мои, пострадались-то...

— Как Зарубин? — спросил Понайотов.

— Ат кузькина мать!.. — Мартемьяныч хлопнул себя руками по бедрам. — Запышкался! Главное-то и забыл. В госпитале майор. Недалеко госпиталь-то... Че Шестаков? Где? Тоже убит?.. Булдакова-шельму не вижу, а сержант-то, сержант-то, младший-то политрук где? Тоже не видать...

В тот же день остатки полков Бескапустина и Сыроватко были отведены за реку на пополнение и отдых.

В хуторке, почти подчистую выгоревшем и разбитом, где осталось несколько глиняных коробок от хат, меж коими копаны блиндажи и землянки, суетился, как всегда, подвыпивший старшина Бикбулатов, раздавая скопившуюся за много дней водку, хлеб, сахар, табак. Пораженный и сам своей честностью и выдержкой, приставал старшина ко всем, указывая на безмен, где-то раздобытый, проводом подвешенный на сук обгоревшего дуба, — чтоб все лично перевесили полученную продукцию.

— Успокойся, старшина, успокойся, — останавливал его начальник штаба батальона Барышников. — В твоей честности никто сейчас не сомневается. Белье, мыло принеси. Поделись с артиллеристами.

Носилась по берегу, вырывая котелки из рук бойцов, бутылки с водкой, орала, ругалась Нэлька:

— Сдохнете! Окочуритесь! — И старшине Бикбулатову: — Если кто умрет, я тебя, заразу, рядом закопаю.

Этакая роскошь! Этакая редкость! Водку выдали не разливаху, а в бутылках, под сургучом! Все по правилам!.. Фельдшерница-дура бутылки вырывает, бьет вдребезги, самих бойцов клянет и умоляет:

— Миленькие солдатики, страдалыцы... нельзя, нельзя вам...

Прижимая руки к груди, Фая вторила ей:

— Вам же сказано — нельзя. Вам что, умереть охота? Умереть?

Уже корчились, барнаулили на берегу те, на кого ни уговоры, ни крики, ни ругань, ни мольбы не действовали, пили, жрали от пуза, и свежие холмики добавлялись к тем, что уже густо испятнали и левый берег. Из медсанбата по распоряжению главного врача мчали изготовленные для промывки клистиры с водой, клизмы с мылом, разворачивали койки. Старшина Бикбулатов куда-то убежал, скрылся. В обрубленной, обтопанной старице, где Лешка нашел свою знаменитую лодку, плавали вверх брюхом оглушенные караси. Мусором, ломью, дерьмом были забиты поймы стариц, никакой живности в порубленной, обгоревшей, смятой, разезженной местности не осталось, и вроде бы пристыженно ужималась приречная местность, всегда таившая в своей полутемной гуще много хитрых тайн, поверий, колдовства всякого.

Где-то возле старицы в крепко рубленном блиндаже укрылся и на люди не показывался товарищ Вяткин. Понайотов доложил ему о выполнении задачи и по виду начальника штаба, по черной бороде, по печали в провалившихся, красных от перенапряжения глазах Иван Тихонович усек: какво оно было там, на другом берегу. Слышать-то он слышал, будучи в санбате на излечении, что происходит на плацдарме, но одно дело слышать от бойцов или гнев раненого человека, майора Зарубина, на свою голову принять, другое дело зреть смятого, грязного, простуженного, сипящего капитана Понайотова, в бороде которого толкутся, месят серое тесто вши.

Вяткин и Бикбулатов ушли в подполье, зато в полевой запыленной форме, повязав под рыльцем развевающуюся укороченную плащ-палатку, по берегу летал, гоношил начальник политотдела дивизии. На ходу, можно сказать, выскочил он из кабины хромающей на одно колесо «газушки», засеменял по берегу, вонзился в гущу народа, кому-то пожимал

руки, кому-то вручал газеты с описанием подвигов первопроходцев через реку, прибывал к стволу дерева к срску выпущенный «Боевой листок» и значки цеплял на вшивые гимнастерки с изображенной на них рекой, которую из середки красной звезды пронзала вольная птица чайка, устремляясь ввысь и вдаль. Красивый значок. Успели вот когда-то изготовить реликвию, скорей всего сработана она заранее, может, еще до войны.

Во многих местах, особенно густо вдоль старицы, парили бочки-вошебойки, и вокруг них плясал народ. При приближении начальника политотдела солдаты стыдливо зажимали в кулак добро свое с наспех наголо остриженными, обритыми лобками, с присохшей на них кровью от выдранных, выцарапанных тупыми бритвами волосьев — неловкое для бритья место задумывалось создателем для совсем других, для созидательных дел, а не для болезненной санобработки. Ну ничего, на солдате до свадьбы все заживет.

— Понимаю, понимаю! — приветствовал и ободрял нагих, отошавших людей Мусенок. — Непременно, как только народ приберется, проведем летучки, партийные собрания, беседы, на которых пройдут громкие читки газет с приветствиями товарища Сталина, разрешено будет присутствовать на массовых мероприятиях и беспартийным воинам.

Кто-то робко сказал, что на Великокриницком плацдарме, за рекой, много раненых, бедуют оставшиеся там роты — им бы вот помощь-то оказать надо, к ним бы поспешить с едой и лекарствами.

— Уже, уже, товарищи, все брошено через переправы, и медикаменты и продукты, прямо на правом берегу на новом плацдарме разворачивается медсанбат. Это, понимаете, благородно, это по-советски, товарищи, по-нашему, понимаете, — прежде о товарищах заботиться... Хвалю!

Попался на пути Мусенку бурной деятельностью охваченный Одинец, потный, без ремня, сам себя загнавший до того, что рот его во всю ширь, как у тех глушеных карасей, открыт. Одинец усовершенствовал бочку-вошебойку и теперь вот всем показывал, что проволочную сетку спускать внутрь бочки не требуется, все это заменяется обыкновенными палочками, которые валяются под ногами. Бойцы не понимали такого примитива, не знали, как палочки в бочку вставлять. Удивляясь технической безграмотности людей, Одинец метался от бочки к бочке, лично забивал в каждую окружность бочки палочную решетку и, совершив техническое чудо, бодро орал ошеломленным бойцам: «Вот и все, а ты, дура, боялась!»

Но где-то перегрузили бочку, обрушили решетье, замочили амуницию. Где-то бочку вовсе опрокинули, в кустах вопил ошпаренный боец, и уже раздавался здоровый призыв: «Бить еврея!» Одинец отважно налетал на объект, мигом все приспособление восстанавливал и запаленно кричал: «Сначала вошей бить научитесь, потом уж за евреев принимайтесь!» — и рвал дальше, чувствуя везде свою необходимость, радовался своей технической сметке.

— В каком вы виде, капитан?! До чего вы распустились... — отчитывал Одинца полковник Мусенок.

Но это был единственный начальник в дивизии, которого Одинец не боялся, подозревалось даже, что и презирал. Взяв разгон, деловитый Одинец заполошно крикнул:

— Занимайтесь своим пропагандом у другом месте, а мне вас некогда вслушивать! — И умчался помогать народу баниться, истреблять вшей самым простым и доступным средством, которое доживет до конца войны и до которого так и не дойдет умом высокограмотный, мозговитый, технически подкованный немец, да и вся Европа с ним вместе.

— Я еще с тобой встречусь! — грозился Мусенок. — Я еще поговорю с тобой! — И подался на окраину хутора, где без дверей и без окон стояла коробка обгорелой хаты. Помывшись в такой же пустой, полуобгорелой хате, занавесив отверстия окон, двери и отверстия для трубы плащ-палатками, прямо на полу, на соломе, вповал спали в свежем нижнем белье уцелевшие в боях офицеры. Полковнику Бескалустину в порядке исклю-



чительного положения был сколочен топчан, возле которого дежурила Фая. Врач из медсанбата, осмотрев командира полка, определил у него предынфарктное состояние, велел сделать уколы, дать снотворное, но с места пока не трогать. Когда полегчает, надлежит полковнику приехать в медсанбат, на что Бескапустин пробубнил, что он, слава богу, не ранен, что сердце придавило, так это еще с сорок второго года, под Москвой, как придавило, так придавленное, худо-бедно, еще тянет, ретивое, скворчит, правда, как сало на сковородке иной раз, но вот человек поспит, каши поест, может, даже и выпьет сколько-то и, благословясь, наладится, — повернулся несокрушимой широкой спиной ко всей публике, сказав, чтоб «художники» не торопились во все горло жрать водку и харч во все пузо.

— Загинаться станете, а я за вас отвечай.

Фая прислушивалась, стараясь уловить тихое дыхание полковника, который, несмотря на приступ, накурился из новой трубки, и так она, зажатая в кулаке, и осталась, но погасла или не погасла — Фая не знала и все боялась, кабы под Авдеем Кондратьевичем не загорелся матрац. В холодной и сырой хате рушил стены, подымал потолок монолитный боевой храп, раздавался кашель, стоны, время от времени кто-нибудь из командиров принимался командовать — попробуй тут расслышать дыхание больного человека. Фая не только не слышала дыхания больного человека, она и Мусенка, вошедшего в хату, не заметила, и только когда он громко спросил: «Есть тут кто живой?» — вздрогнула и торопливо отозвалась:

— Есть! Есть! Все живые.

— А почему часового нет?

— Чего ж ему, часовому, тут караулить? Я тут дежурю, а бойцы изнуренные.

— Изнуренные! Война кончилась? Ни охраны, ни бдительности уже не требуется? Здесь же штаб полка, насколько мне известно.

— Штаб, штаб. Но штаб отдыхает, полковник болен.

— Что значит болен? Почему тогда не в медсанбате?

— Авдей Кондратьевич не хотят.

— Что это за Авдей Кондратьевич?! Что значит — не хотят? Здесь, понимаете, богадельня или полк?

— Полк, полк, — раздалось с полу из-под толсто наваленных шинелей и плащ-палаток. — Богадельня — это у вас.

— Где это у нас?

— В политотделе.

— А-а, это опять командир батальона, который пререкается со старшими по званию, собачится с командиром полка. А высоту, понимаете, между тем сдал.

— А ты вот пойдя, поведи за собой партийные массы и возьми ее обратно, раз такой храбрый!..

Это уж было слишком. В избе затих храп. Товарищи командиры, привыкшие на плацдарме спать вполглаза, проснулись. Сделалось слышно тяжелое дыхание Авдея Кондратьевича. Фая подумала, что надо звать Нэльку, только она еще могла управляться с совершенно осатаневшим капитаном и укрощать нравного полковника Бескапустина. Но Нэльку куда-то унесло, бегаёт, спасает войско от перепада и перепоя, да и злится на нее Щусь, на всех злится.

— Встать! — взвизгнул Мусенок. — Встать! Я приказываю!

Одно окно было неплотно прикрыто, и Фая увидела, как на полосу света свинцовой дробью вылетают пузырьки изо рта начальника политотдела и под каблуками его детских сапожек постукивает. Чететка получалась. Нервная.

— Тебе приказано старшим по званию встать, дак вставай! — раздалось с топчана.

Что-то ворча под нос, шурша соломой, Щусь полез из совместно свитого теплого гнезда, предстал перед пляшущим, что-то по-сорочьи трещащим человеком, ничего пока со сна не понимая, да и понять было невоз-

можно, но брызги слюны до лица долетали, комбат брезгливо отворачивал лицо к окну, Мусенок, видя это, сатанел еще больше. Босой, в просторном, не по его отошавшему телу белье, поддерживая все время спадающие кальсоны, мятый, с соломой в волосах, шекочущей под рубахой остью, стоял комбат на холодном полу. Привыкший к выправке, к строгому, пусть и убогому, военному порядку, даже к щегольству, умеющий из армейской амуниции сотворить форс, он понимал, как нелеп, как жалок и унижен сейчас. Сонная одурь сходила. Глаза его побелели от бешенства. Плотнo, в ниточку сжались губы, отвердели и покатались по лицу желваки, но ничего этого, к несчастью, не видел разгневанный политначальник. Он кричал, что политическая работа в полку, понимаете, запущена, дисциплина, понимаете, хлябает, разброд, халатность, попустительство, низость нравов и антисоветские, вредные настроения да разговорчики. Если кое-кто полагает, что раз войско находилось за рекой, так здесь никому ничего, тем более в политотделе, не известно?! Это глубокое заблуждение. Славную гвардейскую дивизию всегда отличала высокая бдительность и идейная сознательность.

— Пожалуйста, короче.

Но Мусенок не умел и не хотел короче. Язык его, от рождения болтливый, ни устали, ни удержу не знал. Товарищи командиры, воздев очи в потолок, кривились, усмехались, начальник политотдела дивизии все это видел и нарочно говорил, цитируя важнейший идейный документ эпохи — «Историю ВКП(б)», речи Сталина, и как бы ненароком всякий раз поминал непреклонного государственного деятеля, верного помощника партии товарища Мехлиса.

Разойдясь в праведном гневе, политический начальник сокрушал строптивного офицера с явным расчетом, чтобы все в хате его слышали и на ус мотали, прежде всего командир полка, этот неугомонный, неповоротливый вояка, которого давно бы надо заменить, да нечем, из тыла на поле брани никого не выцарапаешь, а из шпаны, что окружает Бескапустина, достойного не выберешь.

До того распалился Мусенок, до того ослеп от праведного гнева, что не видел остекленевших глаз капитана, искаженного судорогой лица его. Мусенок грозился сделать все, чтобы была разогнана пораспустившаяся шайка офицеров, своим поведением позорящая боевое знамя гвардейской дивизии. Все это происходило при попустительстве бывшего командира дивизии и продолжается не без высокого покровительства и поныне, но он знает кое-кого и повыше и подальше и писать еще не разучился.

«Убью курву!» — каталось, каталось в голове, стучалось, стучалось в лоб и наконец осколком ударилось в череп Щуся твердое решение. Плохо, ох как плохо знал товарищ Мусенок боевую шпану, этих издерганных, израненных трудяг офицеров. Если б знал, понимал, чувствовал — не полез бы в полуразбитую, с горелым, переломанным садом, закопченную хату.

Зато претотлично знал своих «художников» командир полка Бескапустин. Когда, стуча дамскими каблучками, продолжая вывизгивать угрозы, сорить слюной на ходу, Мусенок упорхнул, он похвалил своих офицеров:

— Вот молодцы, вот умно поступили, что не пререкались с этим говном.

Молодцы тяжело молчали, подозрительно примолк и комбат, всегда не ко времени возникающий, предерзкий человек, позволяющий себе иметь свое мнение. Это в нашей-то доблестной-то — свое мнение? Ха-ха-ха! Выйди сперва в главнокомандующие или хотя бы в начпуры — и имей все, что тебе хочется, в том числе и свое мнение, подавай свой голос на здоровье... Полковник встревоженно повернул голову, отыскал глазами белеющую у стены фигуру досадника-комбата — лежит поверх одежды, в потолок уставился, молчит. О чем ухарь молчит?

— Не вздумай какой-нибудь номер выкинуть! — на всякий случай прикрикнул Авдей Кондратьевич и услышал, как снова вошла в грудь длинная, медленная игла, погрузилась вглубь и остановилась, острием

воткнувшись в самую середку груди. Да и какое тут сердце выдержит?.. Стоит боевой офицер, а его, как бурсака, за чуприну таскают. Хорошо хоть той оторвы Нэльки не случилось здесь в это время — быть бы скандалу великому.

Командиры-молодцы зашевелились, заворчали, Шапошников резко циркал зажигалкой, пытаясь закурить. Авдей Кондратьевич робко предупредил, чтоб не запалили солому. Никакого ответа. И вдруг опалило жаром голову — а в прежней, в русской армии попробовал бы какой-нибудь тыловой ферт оскорбить окопного офицера, унижить его достоинство? Что было бы с ним? Впрочем, не было тогда, слава богу, никаких политотделов, один поп-батюшка осуществлял всю агитационно-массовую работу, а к батюшке отношение особое и он батюшка. на рожон не лез, окопным людям, войной измятым, не досаждал морально, больше о душе живых и усопших пекся.

— Душечка, миленькая! — позвал полковник Фаю. — Накапай иль лучше кольни... — нарочно жалобно, нарочно внятно обратился Авдей Кондратьевич к медсестре, чтоб слышал, слышал мятежный комбат, чтоб все «художники» слышали, как тяжело и больно их отцу командиру За них, за них, зубоскалов и мошенников, им полковником Бескапустиным любимых, страдает он, из-за них и помрет, коли надо, но чтоб без скандалов, чтоб не хорохорились, зубы чтоб при начальстве не выставляли, в боевой обстановке, в сражении — давай дуй, крой зубаться. Он и сам в боевой обстановке лютой. Да не бой, не окопная обстановка, не дела и отвага в актик записываются, а примерное поведение, которое называют достойным, учитывается. Снова плешивого Сыроватку и его офицеров орденами осыпят за то, что послушные за то что меньше у него, чем в соседнем полку, потерь. Товарищу же Бескапустину Авдею Кондратьевичу втык будет — гнида эта из политотдела еще и выговор по партийной линии запишет Зато он, Авдей Кондратьевич Бескапустин, твердо знает: ни один из этих битых и клятых офицеришек его не подведет, никуда никто от него не уйдет, хотя бы к тому же Сыроватке, пусть там и снабжают лучше, и награждают чаще.

— Приспустите белье, товарищ полковник.

— Чего?

— Приобнажитесь маленько, я вам укольчик сделаю.

— А-а, укольчик! Давай-давай, делай-делай. — Авдей Кондратьевич переворачивался на живот, отводил подштанники ниже ягодицы, жалостно ворча: — Уж лучше бы мне на том плацдарме сгинуть, лучше бы в берег лечь, чем видеть и слышать такое.

— Тебе, Алексей Донатович, может, тоже укольчик треба? — попробовал кто-то разрядить обстановку.

На шутку Щусь не отреагировал. Бескапустин удрученно вздохнул и принялся набивать трубку.

— Нельзя вам, не велено курить..

Полковник большой пухлой рукой погладил Фаю по аккуратной головке. сам, мол, знаю, что можно чего нельзя, давно знаю, милая девушка.

— Спите, робяты. Постарайтесь. Первый ли нам комок грязи в лицо? Отплюемся и станем дальше дело свое исполнять. Это главное.

Алексей Донатович бродил по берегу и по окрестностям хутора. Обмундирование было прожарено, пропарено, он побрился, подстригся, начистил сапоги, туго затянул под обмундированием и шинелью обноски своего тела, от природы не размашистого, на плацдарме же и совсем убывшего. Похожий на подростка-старшеклассника, но с усталым-усталым, даже старым лицом, он ни с кем не общался. Полковник Бескапустин отошел на берег Нэльку. Щусь одарил ее таким взглядом, что она вмиг улетучилась на прежние позиции, в полуразбитую хату, где по приказу командира полка на сбитых в виде стола плахах был накрыт торжественный

обед в честь благополучного возвращения с того света и одновременно — поминовения павших. Бескапустин выслал Барышникова за своим комбатом, и когда тот сказал давнему другу про коллектив, который без него не начнет обедать, и про поминки, Щусь, сердито хрустя камешником, двинулся в расположение штаба. Войдя в хату, молча взял стакан водки, выпил до дна, заткнув кулаком рот, постоял и, смахнув горстью со стола неначатую бутылку с водкой, на ходу засовывая посудину в карман шинели, удалился.

Все удрученно молчали. «Че он один пить подался, че ли?» — не одна Нэлька впала в смятение.

— Гордыня! — прокряхтел полковник Бескапустин. — Она его, змея подколодная, гложет. Она его, однако, и погубит. Гордыня в нашей армии не к месту. Носить ее разрешено одному только товарищу Жукову, Георгию Константиновичу. Прежде Ворошилову можно было, но с него галифе принародно спали... — И похихикал мелко над своим юмором, и опять его никто не поддержал. — Ну, делать нечего, давайте, ребятушки, гулять. Напейтесь сегодня хоть до усера — заслужили, только языки не распускайте, митингов не устраивайте: у политика этого важнящего везде свои сторожа расставлены.

---

На правом берегу реки похоронные команды и в помощь им выделенные саперы конскими и ручными граблями, вилами, крючьями, лопатами, на волокушах, на носилках, впрягшись в тягу, свозили, стаскивали под яр, сплошь избитый, осыпанный, останки солдат, кости, тряпки, осклизлые части тела, нательные кресты, раскисшие в карманах письма, фотокарточки, кисеты, скрученные ремешки, сморщенные подсумки, баночки из-под табака, кресала, ломаные расчески, оржавелые бритовки — все-все добро, все пожитки вместе с хозяевами валили в большие неглубокие ямы, отекающие по краям, спешащие поскорее укрыть прах и срам человеческий. Затерянных, разбросанных по оврагам, по закутам, по речке Черевинке и по щелям мертвецов находили по запаху, по скопищу ворон и крыс. Около иных трупов крысы успели уже окотиться и спрятать под тлеющим солдатским тряпьем голых крысят. Потревоженные, они яростно защищали свои оголенные гнездовья, с визгом бросались на людей. Их били лопатами, каменьями, затаптывали сапогами.

На левом берегу происходили пышные похороны подорвавшегося на минах начальника политотдела гвардейской дивизии.

«Чего его, заразу, понесло на ночь глядя? По Изольде своей, видать, соскучился?» С затаенным злорадством штабники ждали прилета семьи Мусенка с Урала, но никто не прилетел — далеко и страшно добираться до фронта.

Изольда Казимировна в нарушение военной формы была в черном кружевном платке. Вдова не вдова, в общем-то, близкий покойному человек, по заключению грубияна Брыкина, «просто блядь», гладила и гладила тонкопалой, изящной и трепетной, что у дирижера, рукой крышку гроба, поправляла живые цветочки, ленточки на венках; слеза прорезала на ее тонкой щеке серебряющуюся, нарядную полоску, похожую на шрам, однако нисколько не безобразя ее лица. Хоть картину скорби пиши с пани Холедысской. А и писали. Придворный дивизионный художник чуть в стороне, никому не мешая, решительными мазками набрасывал с природы полотно «Похороны героя комиссара».

Оркестр играл революционное, не чуждаясь, однако, и утвержденных новым временем камерных произведений. Изольда Казимировна составила список-директиву к исполнению: Вторая соната Шопена, отрывок из героической Девятой симфонии Бетховена и непременно полонез Огинского «Прощание с родиной».

Чиновный народ, в парадное одетый, при орденах, все прибывал и прибывал. Привезли с гауптвахты шофера Брыкина, бросившего своего начальника в неурочный час. Ушел, подлец, за каким-то ключом, получил тот ключ, что и записано в амбарной книге, где-то шлялся, а начальник-то крутенок был нравом и норовист характером. Желая наказать разгильдяя — пусть пешком топает до штаба дивизии, пусть ночью по лесам и логам ноги набьет, — взял и сам зарулил. Автоас выискался!

С Брыкиным Мусенок конфликтовал всю фронттовую дорогу, грозился под суд или на передовую его упечь. И жаль, не успел исполнить своего сурового намерения. Надо бы этого сукина сына Брыкина судить и в штрафную определить, но за что? На всякий случай упрятали раздолбая в отдельную хату, назвав ее гауптвахтой. Спит на соломе Брыкин, сало жрет и яблоки, а что начальник его умолк навсегда, ему наплевать.

Нет, не наплевать. Подошел вон ко гробу, рукавом заутирался.

— Эх, товарищ полковник, товарищ полковник! Что ты натвори-ы-ы-ыл? Скоко я те говорил-наказывал: не твое это дело — баранка, не твое-о-о.. твое дело — пламенно слова людям нести, сердца имя зажигать...

«Во художник! — удивленно покрутил головой Щусь. — Во артист!» — и покосился на полковника Бескапустина, который топтался и пыхтел рядом. Начиная митинг Командиру полка предстояло выступать, но что говорить, он, по всему судя, придумать не мог, вот и тужился, будто на горшке.

— А ведь есть там что-то! — толкнул полковник локтем в бок Щуся и воздел набухшие очи в небо. — Наказывает он, наказывает срамцов и грешников. — И слишком внимательно, слишком пристально поглядел в глаза Щуся

— А ты что, в этом сомневался? — подавляя смятение, поспешно ото звался Щусь.

— Да не то чтобы сомневался... ох-хо-хо-о-о, грехи наши тяжкие...

Бескапустин отвернулся.

— Молодец! Экой ты молодец! Ай-я-я-я-яй, ай-я-я-яй.. — И в упор глядя, в глаза прямо и горько глядя, покачал головой. — А ты, удалец, обо мне подумал? Об седеющей башке своей подумал? Ох-хо-хо-хо-хо, до чего же эдак можно довоеваться-то?! Подумал, нет? Подумал ты, в каком виде тебе и далее жить? Когда жив будешь?

Щусь молчал, Бескапустин замолчал тоже.

Тут его затребовали на трибунку, и он, подтолкнув локтем Щуся, добавил:

— Стучать, дознаваться — ясно, не смогу. Значит, молчком таскать? Не знаю, как такое делается...

Щусь локоть полковничий отстранил, хотел что-то сказать, хотел на полковника глянуть — не глянул, уперся глазами в землю.

На трибунке Авдей Кондратьевич, сильно напрягаясь голосом, напрягаясь даже и попуще других, произнес:

— Перестало биться сердце пламенного борца за передовые идеи, верного сына партии, самозабвенного служителя советскому народу — Полковник удивился подвернувшемуся проникновенному слову и не без удовлетворения раздельно повторил: — Самозабвенного... — И освобожденно, всей грудью выдохнул: — Прощай, дорогой товарищ!..

«Так тебе, старому хрену, и надо! Не хитри!» — позлорадствовал Щусь, а вслух сказал отчужденно молчавшему, лоб платком вытиравшему полковнику:

— Что ж, пойди доложи.

Полковник Бескапустин отнял ото лба влажный платок и вдруг плюнул Щусю под ноги.

— Мальчишка! Сопляк! — И, резко повернувшись, пошел прочь.

— Чего это он? — спросил стоявший неподалеку командир дивизии.

— Разнервничался, сердце опять прихватило, — угрюмо молвил Щусь и с трудно скрываемой злобой добавил: — Я за него доскорблю

Брыкин стоял у изголовья гроба, хлюпал уже распухшими от слез губами; рукав, которым он утирался, потемнел от мокра. Как понесли под скорбные звуки оркестра гроб к машине, кузов которой был украшен красным полотном, чтоб доставить покойного на берег, поместить на ветровой круче, Брыкин первый подставился под изголовье гроба плечом и во все время похорон помогал толково, сноровисто, со все той же душой пронзающей, горькой скорбью.

Над рекой вырос холм с ворохом венков и цветов, вознесся временный, пока еще деревянный обелиск с золотом писанными на нем словами, теми самыми, которые произносились на траурном митинге, жажнул дружный винтовочный залп над кручею. За рекой же продолжалось сгребание обезображенных трупов, заполнялись человеческим месивом все новые и новые ямы, однако многих и многих, павших на Великокриницком плацдарме, так и не удалось найти по оврагам, предать земле...

Через десяток лет места боев, нерожалую землю, пропитанную кровью, и самое деревушку Великие Криницы покроет толстой водою нового рукотворного моря и замочет песком, затащит илом белые косточки. Захоронение же начальника политотдела гвардейской стрелковой дивизии будет перемещено в глубь территории. Подгнивший гроб с потускневшим серебром, снова покрытый гвардейским знаменем дивизии, под оркестр, торжественно, с речами и еще более впечатляющим залпом будет предан земле на новом месте. Каждый год в День Победы пионеры и ветераны войны станут приходить к той героической могиле с цветами, венками, кланяясь могиле, станут говорить взволнованные, проникновенные речи и выпивать поминальную чарку за здесь же, на зеленом берегу, накрытыми столами.

Тем временем уже привычно, с обыденным тупым напором советские войска переправятся южнее Великокриницкого плацдарма через Великую реку, начнут затяжные, кровопролитные бои за объединение всех четырех плацдармов и в конце концов убедят немецкое командование, что здесь, именно здесь, с этой неудобницы, начнется наступление в заречье. Гитлеровцы стянут сюда основные силы центральной и южной групп войск, чтобы отразить упорное, с огромными потерями наступление Красной Армии. Отразив его, войскам непобедимого рейха ничего другого не останется как перейти в контрнаступление, переправиться обратно за реку и продолжить поход в глубь этой проклятой, самовозрождающейся страны под названием Россия. Главаря вермахта надеялись еще и на то, что, ежели силы той и другой стороны окажутся на исходе, заключить с советским командованием, со вчерашними этими союзниками и братьями по партии и смертельными затем врагами, почетный мир, оттяпав у России большую часть плодородных земель и установить границу по берегу Великой реки

Завоеванного для работающего, умеющего копить и экономить немецкого народа, расширившегося вдвое, если не втрое, хватит для накопления сил и новой, на этот раз уже все сметающей, победоносной войны. Под крылышком Гитлера человечеству готовится кое-что из таких подарков, которые сметут не только русские войска и русские города, они способны уничтожить, испепелить, прахом развеять в поднебесном пространстве любое государство на земле — нужно время и терпение.

Терпение у немцев было великое, в мире только русские превосходили их по покорству и терпению. Но времени на затяжку войны русские не оставляли. В отдалении от четырех первых плацдармов, в среднем течении Великой реки советскими войсками был нанесен удар такой сокрушительной силы, такая масса войск и техники хлынула на просторы заречья, что на этот раз немецкое командование совсем уж не знало, где и чем латать дыры. Войска вермахта еще будут хереходить в контрнаступления, нанесут несколько ощутимых ударов по зарвавшимся, как всегда при большом успехе, шапкозакидательством заболевшим и норовистым частям Красной Армии, даже отбросят назад целый фронт. Крепко попадет корпусу и

Лахонина. Уже примеривавший на себя мундир командующего армией, Лахонин на какое-то время задержится на старой должности, но скоро должность командарма все-таки получил, и в достижимо близких даях сверкнули ему в пятаяк величиной золотыми звездами маршальские погоны. После харьковской и ахтырской конфузий, где гвардейской дивизии Лахонина пришлось принимать на себя удары и выручать отступающие войска, дивизию его затем и корпус привычно засовывали туда, где труднее, пускали на самые кровавые дела. Он-то знал, что те же командующие соседними армиями, коих выручала дивизия, а затем и корпус не могли простить ему своего позора. Командующий фронтом все время старался поручать Лахонину проведение операций локальных, выводил, где возможно, из зависимости тех, кто умел сокрушительно рассчитывать за добро. Так что сибирская дивизия не просто так, не прихоти ради попала на отвлекающий, мало чего в общей наступательной операции значащий Великокриницкий плацдарм, хотя бойцам и командирам, там воевавшим, казалось, что они-то и есть самый центр войны, они-то и решают главные задачи фронта.

Получив под начало резервную, вспомогательную армию, генерал-полковник Лахонин изловчился забрать под крыло свое и «родную» дивизию, где сибиряков осталось по счету. К началу ноября, когда был взят древний город — колыбель славянского христианства, дивизия пополнилась, переобмундировалась, довооружилась, обрела боевой лад и вид. И ей, опять же ей пришлось в конце осени, почти зимою, прикрывать ударную силу главного фронта, позорно драпающую от далеко не превосходивших сил противника.

Во время тех предзимних боев, наступлений-отступлений в походных условиях закончат земные сроки полковник Бескапустин Авдей Кондратьевич, выйдет в генералы, примет под начало свое родную гвардейскую дивизию генерал-майор Сыроватко. Еще раз ранена будет Нэлька Зыкова, в ее отсутствие наложит на себя руки, повесится на чердаке безвестной хаты Нэлькина верная подруга Фая. Будут комиссованы по инвалидности и отправлены домой комроты Яшкин, подполковник Зарубин, получившие звание Героя.

Обескровив зарвавшегося противника в осенних боях, два могучих фронта начнут глубокий охват группировки вражеских войск, засидевшейся на берегу, с севера и с юга. Давно потерявшая надежды на блицкриг, но заиклившаяся на идее реванша, все еще не желавшая верить в свое окончательное крушение гитлеровская свора до глубокой зимы удерживала на Великой реке, возле никому уже не нужных плацдармов, значительные силы. Когда уже на оперативном просторе, развернув общее наступление, два мощных фронта, а за ними и все остальные хлынут к границе и до нее останется рукой подать, фюрер соизволит наконец отдать приказ об отводе своих войск от Великой реки — отступление в зимних условиях превратится в паническое бегство, в хаос, в свалку, и в конце концов растрепанные фашистские дивизии будут загнаны в такую же, как возле Великокриницкого плацдарма, земную неудобь, в голоснежье.

Голодные, изнуренные, большие, накрытые облаком белых вшей, будут чужеземцы замерзать, замерзать тысячами, терять и бросать раненых, их станут грызть одичавшие собаки, волки, крысы, и наконец бог смилует над ними: загнанные в пустынное, овражное пространство остатки немецких дивизий подавят гусеницами танков, дотопчут в снегу конницами, расщепают, разнесут в клочья снарядами и минами преследующие их советские войска.

---

---

ИННА КАБЫШ

\*

## НЕ НАДО ОТВЕТА

Поэт, ты думаешь, тебя  
твои стихи спасут,  
когда архангелы, трубя,  
всех призовут на суд?

Поэзия — такой же труд,  
как ловля рыбы, поиск руд.

И не возьмет с собой туда  
никто земных плодов труда.

И будешь легок ты и мал.  
И что ты скажешь? «Я писал»?..

\* \*  
\*

Все рвется родина, где тонко, —  
где дети, нервы, провода...  
Я снег топила —  
        мыть ребенка,  
и черною была вода  
И все ж была она от Бога.  
и все отмылись добела.  
А снега выпало так много,  
что я и впрок не набрала.

\* \*  
\*

Господи, вот он, покой, —  
мысли густые, кисельные..  
Вот он, выходит, какой:  
дом, занавески кисейные

Разве бывает полней?  
Речка, ребенок, смородина ..  
Прочь от калитки моей,  
родина...



\* \*  
\*

Я ни к чему не прикипаю  
и не жалею ни о ком  
мое — со мной, и там мой дом,  
где нынче я дитя купаю  
Где нынче я варю варенье  
Люблю, что вижу из окна  
мой рай, что больше ада на  
мой угол,  
то есть угол зренья

\* \*  
\*

Я в горе —  
рыба в море,  
и мне оно под стать:  
с приливом и отливом..  
Кто хочет быть счастливым,  
тот зверем должен стать

\* \*  
\*

Браки совершаются на дачах в раннем детстве

Дача была удивительная  
бревенчатая,  
с резными ставнями,  
двумя крыльчками  
и до того большая,  
что, когда однажды вечером  
мы все сидели на одной половине  
и пили чай из самовара —  
тоже большого, блестящего, —  
на другую половину забрели цыгане  
и унесли все наше столовое серебро,  
а мы и не услышали.

А сад был такой большой,  
что переходил в лес  
мы собирали грибы, не выходя за калитку

Мы жили на даче с мая по октябрь. вечность

...Мне было пять лет.  
Кончался октябрь.  
Шел мелкий дождь.  
В саду было сумрачно.  
Я стояла на крыльце и грызла яблоко:  
янтарно-наливное и холодное до ломоты в зубах.  
Яблоками был завален весь дом..

Дом насквозь пропах Буниным,  
тем его томом —  
большим, с желтыми страницами, —  
где были «Антоновские яблоки».  
Но в конце того октября,  
на краю вечности,  
я еще не умела назвать этот запах по имени.

...Ему было тридцать пять:  
земную жизнь пройдя до половины,  
он очутился в сумрачном саду,  
то есть вошел в дальнюю калитку  
и по тропинке направлялся к дому.  
За ним шли еще двое.  
Но я увидела его одного.

Он был большой и сказочно красивый:  
синие глаза, русая борода, пшеничные кудри —  
королевич

Я влюбилась сразу — вся:  
вместе с яблоком, которое грызла

Он пришел копать колодец.  
Я чувствовала, что это ненадолго,  
что это не навечно,  
да иначе и быть не могло:  
стояли последние октябрьские дни —  
вечность кончалась.

Но я не желала с этим мириться.  
они копали весь день,  
а я всю ночь —  
забрасывала.  
Пятилетняя Пенелопа,  
я сводила на нет труд трех мужиков.  
Трех женихов.  
Нет, настоящий жених был один:  
те, что шли за ним, были так. подобья

И напрасно я боялась.  
он никуда не ушел —  
так и остался в том октябре

И я осталась

Так мы там и стоим:  
королевич и Пенелопа с яблоком в руке

А дедушка и бабушка,  
и рабочие с лопатами,  
и цыгане с серебром —  
все сидят в саду за большим столом,  
кричат: «Горько!» — и пьют:  
пьют вино —  
прямо из колодца.

\* \*  
\*

Живой не должен видеть ад,  
чтоб не лишиться вмиг рассудка  
чтоб, возвращенному назад,  
ему бы не было так жутко,

как мертвецу среди живых.  
Но Дант?

Я думаю, что этот  
хотя и был из чад земных,  
был проводник, был просто метод

Господень — приподнять покров  
над тайной смерти, тайной жизни:  
он потому и был суров  
и чужд своей земной отчизне.

...Живой не должен видеть то,  
что Богом от него сокрыто.  
А я дерзнула: сняв пальто,  
дошла до самого Коцита.

От койки к койке: вплоть до дна.  
Одежды белые мне дали,  
предупредив: пойдешь одна,  
сопровождать в такие дали

охотников, как видишь, нет.  
И я ответила: «Согласна».  
И тронулась, и вспыхнул свет  
о, как тот свет я вижу ясно!

И бабу, девочку почти  
с кольцом на пальце и без матки,  
и мальчика лет девяти  
без ног — на маленькой кровати.

И мать, молившую всю ночь:  
«Прости, как я простила, сыну...»  
И блудную — в порезах — дочь,  
и: «Жрать!» — ревевшего детину...

И я давала им бульон,  
и я им подставляла судна,  
и я лгала, что всяк спасен.  
и знала я, что неподсудна.

Что Дант нас просто напугал.  
так, думал, совесть в нас разбудит —  
что Дант, он тоже всем солгал  
и Страшного суда не будет.

\* \*  
\*

*Н. С.*

Я люблю тебя так, словно я умерла,  
то есть будто смотрю на тебя с того света,  
где нам каждая жилочка будет мила,  
где любовь так полна, что не надо ответа.

Мне не нужно уже от тебя ничего...  
Все земные сужденья о счастье лживы,  
ибо счастье — оно не от мира сего.  
И тем более странно, что мы еще живы...



---

---

# ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

СЕРГЕЙ ФОМИН

\*

## ТРИ ДНЯ В ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ СТОЛИЦЕ

**Н**е странно ли, господа, что в заново славный город Санкт-Петербург сейчас приходится отправляться по-прежнему с Ленинградского вокзала?

Яйцеголовый Ленин с испытывающим прищуром смотрит вам в спину Раньше никто особенно и не собирался оценивать выражение его лица: раз сказано — «живее всех живых», то и думать было нечего На поезд бы не опоздать Вон сколько таких же, как ты, снует мимо мраморной подставки основателя А вдруг в кассе кому-нибудь из них продали билет на ваше место?

Теперь, кажется, ездить стали меньше. Зал перед перроном гулок и прохладен, и ты движешься по нему совершенно отдельным существом, осознающим приближающийся акт начала передвижения в пространстве. Обычные очереди в кассы сократились вдвое, а на коммерческий поезд «Афанасий Никитин», где цены хотя и выше, но всего лишь на семь тысяч рублей, за которые, впрочем, вам оптом предлагается и приготовленная постель, и всемирно известный чай «Липтон», а не стопка сероватого белья и ржый напиток неизвестного происхождения, сюда и вовсе никого нет.

Цены на билеты, даже из Москвы в Петербург, теперь пятизначные, но не в этом только, вероятно, причина сокращения пассажиров. Знаменитые «колбасные поезда», кажется, окончательно и бесповоротно отошли в область достижений социализма. Это было в самом деле дико и стыдно: люди убивали то небольшое, что им оставалось — выходные и отпуска, — на то, чтобы привезти за сотни километров сумку и рюкзак товара. Поезда и автобусы жгли бензин, уголь и электричество, перевозя людей, прилагавшихся к вещам и продуктам. А люди, как известно, самый неудобный груз — ими нельзя же завалить ни вагон, ни трейлер до самого потолка. Избавиться от этого кошмара можно было бы очень просто: все желавшие привезти откуда-то товар могли бы сложить деньги, которые они отдали бы за билеты, и вручить их одному водителю в уплату за то, что он загрузит и сопроводит товар. Разницу составило бы свободное время. Но, к сожалению, водитель был тогда всего лишь водителем, а не хозяином своего грузовика.

Оттуда, из этих странных уже времен, и смотрит нам в спину вождь пролетарской революции. «Что, батенька, в Питер собрались?» — «В Питер, Владимир Ильич» — «А не боитесь? Поезда-то ведь грабят При развитии-то социализме только товарняки опрастывали А теперь, говорят, и за пассажирские взялись. Неужели не боитесь?..»

Ну что же — раз грабят значит, есть что взять. Значит, теперь солидные люди едут

Солидных людей разбудил на рассвете грохот отодвигаемой мощной рукой двери купе Усатый милиционер появился в проеме

— Линейный контроль. Что же это вы — запирать надо! Гляньте, все ли цело? Сумки, вещи

С презрением бросив взгляд на неисправимых столичных разгильдяев и разгильдяек, умудренный провинциальным опытом страж порядка прикрыл дверь, стараясь, однако, сделать это потише Но спать было уже невозможно Взяв сигареты, я вышел в коридор. За окном все выглядело так же, как и десять и двадцать лет назад: под железными мостами протекали коричневые речки, вкривь и вкось лежали зачем-то поваленные деревья, возвышались возводимые по тысячелетней технологии новые срубы, светились золотым торцы поленниц и бесконечно тянулся самый длинный в стране забор вдоль Октябрьской железной дороги.

Прежде приезжавших в Ленинград встречал на Московском вокзале все тот же смотревший им при отъезде в спину человек, что было несколько странно для прибывших не только из столицы, но и откуда бы то ни было, поскольку памятники Ленину стояли везде. И, уезжая от него, к нему же всегда и приезжали. Теперь вас встречает здесь Петр Великий. Основанный им город за три прошедших года приобрел два новых скульптурных изображения государя. Один, сработанный Михаилом Шемякиным, сел в Петропавловской крепости. Он оказался странен: длиннорук, длинноног и лыс, как председатель СНК, причем голова выглядела к тому же непропорционально маленькой. Мнения тогда еще ленинградцев, узревших новый монумент, разумеется, разделились, поскольку для них не было и нет больше-го удовольствия, чем заниматься дискутированием.

— Во урод-то, — говорили одни.

— Конечно, урод, — отвечали другие. — Да только он таким и был. Все промерено и уточнено в соответствии с данными истории и антропометрии.

— Да ведь император все-таки. Отчего же лысый-то?..

— А ты сам от чего? Вот и он от того же. И вообще — выродок, хотя, конечно, и император.

Вокзальный же новопоставленный Петр Алексеевич Романов своим внешним видом споров не вызвал. Он был и широкогруд, и суров, и по-над плечами его клубилось нечто романтическое, и шевелюра была на месте. Как все романтики, он смотрел канонически выпученными глазами куда-то вверх всех и влево, что, повторяю, всех же и устраивало. Однако сам факт установки на месте убранного вождя царской статуи вызвал некоторое смятение, которое еще успел зафиксировать в «600 секундах» Александр Невзоров. В те времена он был репортером и, считая это звание выше всякого депутатства, демонстративно отказался баллотироваться в разогнанный ныне Верховный Совет. Теперь он признает его единственно законной властью, будучи, впрочем, уже с удовольствием избранным в абсолютно незаконную, надо полагать, с его точки зрения, Государственную Думу.

Кто может разобраться во всей диалектике петербургской души, если это не удалось до конца даже ее же и умыслившему Достоевскому?

Мой будущий собеседник окажется совершенно прав, сказав, что город влияет на своего жителя, хотя они, и город и житель, этого не чувствуют. Действительно, нужно быть весьма малочувствительным, чтобы не сопоставить два текста, простершихся над привокзальной площадью Восстания: «Ленинград — город-герой» (что не подлежит никакому сомнению — все пережитое с этим названием можно считать только подвигом) и напротив — «„Жилетт” — лучше для Мужчины нет». Хотя я лично и бреюсь исключительно при помощи электричества, мне очень нравится эта реклама, потому что слово «мужчина» в ней всегда пишется с заглавной буквы.

Лет тридцать назад братья Стругацкие в романе «Стажеры» описали заведение общепита далекого будущего, где на одной стене было написано что-то вроде: «Заходи, пальчики облизнешь», а на другой: «Наше кафе борется за звание кафе отличного обслуживания». Как видно, будущее наступило несколько раньше, чем предполагали классики отечественной фантастики.

Бросив дорожную сумку в заказанный для меня номер, с трудом отысканный в бесконечных коридорах гостиницы «Октябрьская», я вышел на Невский.

Приезжая сюда, я всегда прохожу его пешком из конца в конец, потому что нигде нельзя сыскать грусти такой безукоризненной чистоты, которая, как мне кажется, охватывает всякого, кому случится идти вдоль этой великой архитектурной линии от голубой стены Московского вокзала до золотой вертикали Адмиралтейства. Эта линия создана, быть может, слишком определенным человеческим замыслом, и это вам не Москва, погруженная в бесформенное историческое болото и набитая загадками для игроков телевизионных викторин: «Откуда происходит название Щипок?». Если знаете это или отгадаете, получите кофемолку — не забудьте поблагодарить спонсора. Здесь же кофемолки не выиграешь, хотя именно Петербург всегда пил преимущественно кофе, в то время как Москва — чай, здесь каждая часть города, как часть корабля, имеет свое название и объяснение. Может быть, эта вссобщаемость и порождает такую совершенную грусть, что она заставляет отложить саму мысль о ее временности и случайности, не дает возможности предположить, что можно сменить пространство и переждать время — и тогда где-нибудь и когда-нибудь что-нибудь сможет быть иначе. И для этой грусти нет декорации более подходящей, чем Невский проспект, которому Гоголь так призывал не

верить. Но именно на его середине, у арок Гостиного двора, он, проспект, убеждает тебя окончательно в своей абсолютности, и ничего более не остается как переживать свою грусть до самой высшей ее точки, той, где существует великая легкость твоего отсутствия в мире. И так вот, будучи как бы не бывши, ты проходишь оставшуюся часть проспекта до самого конца, чувствуя, как энергия твоего существования растворяется в движении вечной толпы, находящейся в постоянном противостоянии с автомобилями и троллейбусами из-за патологического отсутствия подземных переходов, на фоне набережных, мостов и зданий, которые, по мнению некоторых местных жителей, уже пришли в полное обветшание и вот-вот должны провалиться в ту трясины, на которой они когда-то были воздвигнуты. Впрочем, я отметил, что наконец-то сняли леса с храма Спаса на крови, о чем так хрипло и отчаянно просил на своих концертах артист, ныне исполняющий под фамилией Розенбаум обязанности купринского Сашки-Гамбринуса.

Гостинный же двор, наоборот, частично был в ремонте, и на его обнаженных стропилах мужчины в вечных ватниках громозвучно перелистывали блестящие жестяные плоскости. Скрючившийся на табурете продавец лотерейных билетов вводил в соблазн проходящих мимо женщин.

— Купите! Обязательно выиграете и будете симпатичной миллионершей!

И тогда, конечно, начнется другая жизнь, и не надо будет составлять часть метрополитеновской сороконожки, потому что именно вас будут ждать бордовые такси-«мерседесы», собравшиеся стайкой у гостиницы «Невский палас». И не вечно недовольный полковник в отставке и пиджаке неопределенного цвета будет заворачивать перед вашим носом двери временного жилья, а не дослужившийся, наверное, и до ефрейтора здоровый парень в куртке с золотыми аксельбантами и бранденбургскими делает все, чтобы вы не расшибли лоб о прозрачную до невидимости преграду между тем миром и этим.

«Невский палас» возник как бы из ничего там, где была когда-то гостиница «Балтийская». Шесть лет назад я именно в ее номере обнаружил на экране черно-белого телевизора «Рекорд», что на отечественном ТВ появилась программа «Пятое колесо». Сейчас мало кто в это поверит, но в первом выпуске состоялась всего лишь экранизация только что вышедших в свет комментариев Юрия Лотмана к «Евгению Онегину».

Номер делил со мной директор завода.

— Какого? — спросил я, вертя в руках бутылку «столичной», которую в первые годы реформ следовало доставать лишь по крайнему знакомству, а он сделал это просто из портфеля.

— Механического, — ответил он и добавил, глядя на показавшегося на экране Горбачева: — И говорит, и говорит, и говорит... И не надоест ему...

Всего этого уже не было. И мой будущий собеседник на вопрос о том, что значит появление на вечном проспекте нового пространства, ответил, что сделавшие это преследуют чисто практическую цель. И вложенный сюда рискованный капитал теперь приносит колоссальные прибыли и окупится за три года. И это не какие-нибудь альтруистские выходки, это — жесткий бизнес. Но сколько стоят номера и здесь и в «Европейской», которую отделала шведская компания? На Западе такие цены и не снились — 300 долларов в день. Это сверхприбыль, но если не будет таких отелей, то не будет и здесь, в Петербурге, и бизнесменов, которым нужны те условия, к которым они привыкли. И мы это осознаем и тоже хотим сделать, но российскими деньгами.

Слово «риск» прозвучит в его речи еще не раз. Собственно, с этой темы и начался наш разговор. По стране только что прошла волна убийств. В газетах и на телеэкранах замелькали изображения крупных мужчин с простреленными головами. Московские банкиры в знак протеста объявляли однодневную забастовку. Банкиров в этом году убивали так же, как в начале века — великих князей, губернаторов и полицмейстеров, а в 20-х и 30-х годах — советских дипломатов, председателей колхозов и секретарей партячеек. Мой же собеседник, как вы уже, наверное, догадались, был петербургским банкиром и тема риска для жизни в собственной профессии не могла его не касаться.

Деньги все это связано с деньгами, с желанием получить кредиты, которые часто просто не могут отдать. Деньги берут под рискованные операции, там прибыль, конечно, больше. Но, четко не просчитав ситуации, их не могут вернуть, и тогда возникают вот такие взаимоотношения...

Ленинградец Бродский в своем эссе о Достоевском назвал деньги пятой, обнимающей отношения между людьми, стихией. В свое время, срывая верхушки с Марксова «Капитала», я успел запомнить, что и он приходил примерно к таким же выводам: капитал — это человеческие отношения. И в принципе кажется верным, что все в той или иной степени зависит именно от них. Но в разное время и в разных местах они разные. На это мой собеседник, заметив, что «Капитал», пожалуй, единственный экономический труд, который более или менее последовательно изучали у нас в свое время, не стал пускаться в метафизику сравнений отношений при капитализме и социализме. По-видимому, это мало его интересовало, слово «взаимоотношения» для него означало прежде всего отношения с клиентом.

Они, по его мнению, требовали прежде всего профессиональной взвешенности. Они были для него тоненькой нитью, не оборвать которую позволяет лишь точный анализ. Банк существует за счет клиента, и если клиент не возвращает кредита, это вина банка, значит, он не спрогнозировал ситуацию и не защитил клиента договорными отношениями. Тем более что сегодня кредитные ресурсы направляются не в государственные, а в коммерческие структуры, и здесь уже вступают в силу жесткие правила игры. А законов нет, или же они недостаточно проработаны. И тогда партнерские отношения, основанные на законной юридической основе, перерастают в межличностные. А клиент, знаете ли, бывает наглый. И нагл он от незнания всей серьезности тех проблем, которые его окружают. Человек вообще чем меньше знает, тем больше уверен в своей правоте. Впрочем, и банк виновен, если поторопился выдать кредит. Но ситуацию сейчас трудно прогнозировать. Встают самые устойчивые предприятия, платежи задерживаются, арбитражные суды устали рассматривать взаимные претензии. И конечно, клиенту невтерпех, если оборачиваемость у него, скажем, пятнадцать дней, а платежи идут месяцами. С одной стороны, это проблема роста, а с другой — неумение работать. В стране две тысячи банков, возникшие за какие-то три последних года, а раньше было всего шесть. Банкиров никогда не готовили. И, как правило, в условиях инфляции платежи, по идее, должны идти значительно быстрее. А у нас, как и положено, все наоборот...

Таким примерно будет наш будущий разговор, и мне понравится, что мой собеседник окажется одет не в яркий кашемировый пиджак — форменный для мальчиков от бизнеса, — а в клетчатый, считавшийся неотразимым в годы его молодости, когда он оканчивал финансовый институт.

Когда я, еще бледный юнец, вдыхая запах клея, исходящего от только что полученного аттестата зрелости, и ведя пальцем по списку вузов моего родного города, пискнул: «Финансовый!..» — то присутствовавшая при этом знакомая девушка тут же подняла меня на смех: «Я тебе нарукавники сошью!» Я испугался и стал журналистом.

Мой же собеседник, как видно, страху никогда подвержен не был и нарукавников не испугался, хотя, быть может, их у него никогда и не водилось, как не испугался он затем стать предпринимателем (тогда в таком шаге не было ничего исключительного, этого просто потребовала ситуация).

Он был начальником областного управления Жилсоцбанка, когда в 1987 году произошла самая «первая конъюнктурная реорганизация», приведшая к тому, что в коммерческие структуры ушло 23 процента всех служащих. И стало ясно, что нужно что-то предпринимать, дабы спасти банковскую систему, от которой, кстати, зависела и вся жизнедеятельность города. И от Москвы тогда потребовали «эксперимента», предоставившего Ленинграду частичный хозрасчет. Не затем, чтобы стать собственником, а в первую очередь, как стало ясно тому, кто сумел просчитать и продумать надвигающуюся ситуацию, чтобы избежать катастрофы. Для того чтобы удержать людей и сохранить профессиональные взаимоотношения, нужно было как-то изменить систему показателей прибыли и часть ее распределить в виде заработной платы, составившей до того 137 тех еще, с Лениным и надписью на пятнадцати языках, рублей.

Вот с чего, собственно, все и началось. Сейчас звучит почти неправдоподобно, но это случилось в те баснословные времена, когда еще не прозвучала впервые историческая фраза: «Борис, ты не прав!» — которая теперь в той или иной форме стала необходимой банальностью каждой газеты, считающей себя вправе анализировать политику президента. Тогда у нас не было еще ни таких газет, ни президента. Но и тогда уже было ясно, что страна находится на грани полной деградации и нужно что-то делать, что-то предпринимать, чтобы успеть эволюционно пе-

рейти из одной системы в другую... Это был простой и естественный ход, сделанный профессионалом, — взять на себя ответственность, стать предпринимателем, освобождая государство от усилий в той сфере, где вполне можно было справиться без них. И началось то, что началось.

А ведь как просто и хорошо было раньше. Все прогнозировалось на год вперед, и в шесть часов можно было закрывать контору и идти заниматься «своими делами». Теперь же, работая по двенадцать и четырнадцать часов в день, как ни странно можно почувствовать большую свободу. Впрочем, ничего странного — ведь свои дела теперь здесь, и без всяких кавычек. А там, в государственном секторе, — напряженное ожидание, большая нагрузка душе, зависимость от множества не подвластных тебе обстоятельств. А у тебя задача простая — крутиться. Дело уже нельзя бросать, когда понимаешь, что тобой начинает руководить здравый смысл и ты можешь что-то сделать, и, прилагая усилия, человек может сам воспользоваться их плодами. Сам, а не кто-то.

И потом, это просто-напросто интересно. Кто бы что ни говорил, а таким вот образом, начавшись эволюционно банковская система страны за три года совершила революцию. И ведь никто не помогал, ни государство, ни западные партнеры. И тем не менее международная банковская система принимает нас, это то, о чем может мечтать каждый экономист. Это свобода, возможность быть не зависимым от государства и возможность государства не отвечать по нашим обязательствам...

А что я знал о банках, идя сюда, к моему собеседнику, в великой грусти по вечному проспекту? Наверное, не больше, чем те совершенно рекламные старичок со старушкой, которые, поддерживая друг друга под руки, приковыляли сюда и, не зная, к кому обратиться, ткнулись к охраннику.

Хотим деньги к вам положить

— Это вот туда — Он указал направление, и потенциальные клиенты двинулись мимо смонтированных в стену больших медных часов с гордой маркой «Павел Буре», шевеливших как ни в чем не бывало стрелками и указывавших правильное время.

Здесь, в этом здании, все вообще было как-то по-нашему. Не было пугающего шика интерьера, и длинноногие девицы не пробегали, прижимая к бюстам золотом тисненными кожаными папки, и молодые люди в двубортных пиджаках не смотрели им вслед. Ходили обычные чиновные люди обоего пола в мятых брюках и юбках ниже колен, занозистые деревянные козлы обозначали продолжение бог знает когда начавшегося, как у Ноздрева, ремонта, и лишь скромное объявление, прищипленное кнопками к мешковине, сообщало, что с сегодняшнего числа столовая обслуживает сотрудников банка только по кредитным карточкам. Для меня это означало, что обедать придется в городе, здесь деньгам был уже другой счет.

Однако если вы думаете, что описываемая мною сейчас беседа произошла тотчас же по моем прибытии в город Санкт-Петербург, то я вынужден буду уточнить истины ради: ни в первый, ни во второй дни встреча не состоялась. Дело в том, что у моего собеседника была назначена встреча более важная. В тот же день, что и я, только на собственном самолете, в Петербург прибыл известный во всем мире собиратель крышек для унитазов, участник самого громкого семейного скандала этого года — принц Уэльский и Честерский, герцог Корнуоллский и прочая и прочая по имени Чарльз, представитель правящей королевской династии Великобритании. И в то самое время когда я, переживая в обратном порядке вышеуказанную грусть великого проспекта, плелся в гостиницу, Юрий Иванович Львов, президент АО «Банк „Санкт-Петербург“», находился в театре «Эрмитаж» и с бокалом шампанского в руке обращался к присутствующим с таким спичем (дается в сокращении):

— Ваше королевское высочество! Уважаемый господин мэр! Дамы и господа! Друзья, коллеги! Проснувшаяся после долгой спячки Россия еще только учится жить по общечеловеческим законам здравого смысла. Она еще на пути к возрождению исконных ценностей национальной истории, духовности, культуры, традиций предпринимательства. Это страна, которая вызывает извечно противоречивые чувства своей внутренней мощью и кажущейся непредсказуемостью. Это страна духовный потенциал которой соизмерим разве что с ее необъятными просторами и неисчерпаемыми природными богатствами. Это страна, где еще совсем недавно слова «предприниматель», «банкир», «бизнесмен» воспринимались как злая пародия и насмешка. Это страна, в которой тем не менее жить нашим детям и внукам.



Сказав свое твердое «да» рыночной экономике, российское общество отказалось тем самым от патерналистской роли государства как всеобщего попечителя и универсального благодетеля. И часть сильных, здоровых и вполне образованных людей с головой окунулась в бизнес, добровольно взяв на себя ответственность за свое личное благополучие и благополучие своих семей. Этих людей вы не встретите сегодня в забастовочных пикетах и на демонстрациях. У них нет времени вести дискуссии. Они работают, ежедневно рискуя своими скромными капиталами, учатся на ошибках, тяжким трудом возрождают славу и процветание России. Мы должны освободить русского человека от внушаемого ему подчас комплексом неудачника, зависимого холопа, равнодушного обывателя. Я выдал бы Нобелевскую премию тому фармацевту, который изобрел бы специально для России заразный, как холера, вирус предпринимательства. Даже гений русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин, будучи далек от общегосударственных финансовых проблем, справедливо считал деньги «единственным способом благопристойной независимости». Но сегодня уже вряд ли кто-то может сказать, что Санкт-Петербург — периферия активности западного бизнеса. Восточная мудрость гласит: не бойся медлить, бойся остановиться! Уверен, что набирающий скорость локомотив российской экономики уже не остановится, несмотря ни на какие препятствия. Спасибо за внимание.

Августейший англичанин такого ранга посетил Санкт-Петербург впервые после коронации Николая Второго. И кроме всего прочего целью его приезда была и встреча с деловыми кругами. Принц Чарльз, оказывается, занят не только разводом с принцессой Дианой. Под своим именем он объединяет крупнейших бизнесменов Европы и Америки в движении, которое призывает деловые круги шире участвовать в решении общественных проблем. Каждый бизнесмен должен понимать (такова концепция принца), что предпринимательская деятельность теснейшим образом связана со всеми остальными формами общественной жизни. И бизнесмен отвечает не только за свои прибыли, но и за те отношения, в которых он по необходимости участвует. И часть прибыли ему необходимо отдавать на решение социальных проблем: здравоохранения, образования, экологии...

Об этом мне рассказал Львов. А из городской программы «Информ-ТВ» я узнал, что принц посетил в Петропавловской крепости могилы своих дальних родственников и торжественно подписал соглашение об издании в Англии полного собрания сочинений Пушкина. Уже после моего возвращения я узнал (тоже из телепередачи), что посещение принцем Санкт-Петербурга оказалось для него связанным со смертельным риском. В английский магазин на проспекте Тухачевского, в который он зашел поболтать с соотечественниками, кто-то подложил восемь килограммов тротила.

А в том выпуске новостей вслед за сообщением о визите принца показали репортаж о том, как четырнадцатилетний подросток убил заточенной отверткой своего соседа, бывшего десантника и отца четырех детей.

Все это я узнал позднее, а пока же брел по Невскому, чувствуя, что у меня пропала куда-то старая советская привычка обегать в чужом городе все попадающиеся на пути магазины с целью что-то купить. Этот вид спорта явно деградировал: «что-то само лезло изо всех подворотен, смотрело из-за каждой остекленной поверхности и провоцировало к новому виду упражнений — перебежкам из заведения в заведение для выяснения разницы цен. Попутно я читал вывески: «Продажа ценных бумаг», «Продуктовый магазин „Антанта“», «Булочная international», «Эротик-дэнс-шоу ежедневно, кроме понедельника», «Бар „Престол“», «Казино — занятие для настоящих мужчин»... «Настоящие мужчины» обладали повышенной смуглостью лиц и специфической статичностью взоров. Их родина — гостиницы, а национальная одежда — белые носки, тапочки и фирменные спортивные костюмы «адидас», но не исключаются и кожаные куртки. Худенький блондин быстро и равнодушно раскладывал перед ними на зеленом столе комбинации «Блэк Джека», в который у нас теперь переименовано классическое советское «очко».

Особенный приступ грусти вызвала афиша «Гастроли московского театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина». Мне очень не хочется, чтобы Питер поддался соблазну оказаться филиалом Москвы, потому что тогда из столицы решительно некуда уже будет съездить. Не хочется, чтобы его безупречную элегантную линейность победила бы хроническая московская суета, круглая, как пирожок с мясом неизвестных животных, продававшийся прежде незамерзающими женщинами за десять копеек из больших алюминиевых кастрюль. И как заклинание от такой на-

пасти повторял я про себя блистательную гоголевскую формулировку: «Москва женского рода. Петербург — мужского».

Небольшой «супермаркет, двадцать четыре часа в сутки» предлагал импортную еду и напитки, упакованные в пластик и снабженные бумажками с указанием веса и цены. Рядом, у трамвайной остановки, его отечественный вариант реализовывал товары того же назначения без всех этих излишеств цивилизованной торговли:

— Мужчина, хлеб мягкий!

— Почему?

— Шестьсот.

— В магазине же триста.

— Магазин в девять закрывается. А у нас когда захочешь без отказа. А в супер-е черненького-то не купишь.

— Куры горячие, картошка!..

В Питере у всех есть знакомые.

Юная сотрудница местной газеты сразу же попыталась всучить мне поручение проинтервьюировать для них Львова в связи с надвигающимся Днем города:

— К нему ведь не пробиться... — И тут же похвасталась: — На прошлой неделе у нас в одном дворце Спиваков выступал. Весь бомонд собрался, я тоже была...

— Ну и как?

— Знаете, жены всех этих бизнесменов были одеты просто как купчихи. Все уже немолодые, толстые, а платья с рюшечками, вырезами. И бриллианты, бриллианты где только можно. А у тех, кто помоложе, я даже не знаю, как их назвать, вообще одежды был минимум...

Она хихикнула, а «тех, кто помоложе», мне сразу же стало жаль, потому что зима в этом году затянулась, а отопление даже во дворцах отключили вовремя.

— Правда, — добавила моя ехидная собеседница, — у меня тоже было платье с голой спиной.

И хихикнула уже со значением. Свой ваучер, одну стопятидесятиmillionную часть совокупного национального достояния России, она продала сразу же, как только получила — и купила колготки.

— У нас тут все дороже, чем в Москве. Самый дорогой город в России. — Вздохнула и добавила: — Хороший человек всегда думает о деньгах, потому что их у него никогда нет...

Г-н И., кинорежиссер, недавно снявший свой первый фильм, оцененный отечественной критикой как «очень стильный», теперь время от времени с большим удивлением получал известия о том, что его работа включается в спецпоказы то на одном, то на другом международном фестивале. Узнав, зачем я приехал, г-н И., снисходя с вершин своей высокоэстетической осанки, как бы между прочим заметил:

— Львов? С ним следует поддерживать отношения...

То, что мне «было назначено» Юрием Ивановичем, автоматически делало меня в Санкт-Петербурге «значительным лицом».

— Вот как бы ему намекнуть, — продолжал г-н И., — что сейчас выгодно вкладывать деньги в кино. Допустим, на картину тратится миллион долларов. Год съемок, полгода проката — и возвращается минимум два.

— Это как же?

— Билеты подходят к мировым ценам — два-три доллара. Зрителей пускай будет два миллиона...

— На наше кино столько не пойдет.

— «Иван Лапшин» по клубам пять миллионов посмотрели. Если бы я сейчас столько собрал, меня прокатчики на руках носили бы, а так — телепередачу вот подрядился делать...

Талант считал деньги и завязывал «правильные взаимоотношения».

Через два дня, когда наша встреча наконец состоялась, Львов, куря одну за одной сигареты «Ротманс», на мое длинное дилетантское размышление о том, что чем у человека больше знакомых, тем больше возможности кредита и, стало быть, связи способны заменить ссуды, ответил:

— В бизнесе межличностных отношений быть не может. Да, конечно, работают на доверии, но есть и документ, закрепляющий права и обязанности каждой стороны. И тот, кто сумеет составить его грамотнее, тот и выигрывает. Во всем мире

так: кто предусматривает все факторы, влияющие на прибыли и убытки, тот и побеждает в этих самых взаимоотношениях.

«Побеждает» означало прежде всего борьбу, а не возможность вытянуть счастливый билетик на право быть «симпатичным миллионером».

— Сейчас всем кажется, что разбогатеть можно легко. Если не тебе именно, то кому-нибудь другому. Та реклама, что идет по телевидению, не заставляет человека заботиться о своих деньгах. Она, наоборот, всячески поощряет людей отдавать свои деньги и не работать. «Я получил деньги и теперь ем булку с икрой» — полная утопия хотя бы потому, что никто в мире не живет на дивиденды. Процентные ставки на Западе невысоки. четыре — шесть годовых. А у нас — тысяча, полторы тысячи. В конечном счете это просто дискредитирует рынок ценных бумаг, движение капиталов, сохранение денег.

По-моему, однако, идею движения капиталов и сохранения денег больше дискредитировали газетные сенсации, сообщавшие о том, что некто из «новых наших», будучи, кажется, в Швейцарии, взял да и купил себе два «роллс-ройса». Ну один еще туда-сюда, это можно понять, кому не хочется покататься на хорошей машине, но два дома в Ницце, вклады в западные банки... Движение капиталов тут налицо, но о сохранении говорить уже как-то неудобно.

Это малая доля в экономическом процессе, хотя газеты и телевидение именно на этом любят акцентировать внимание. Вот человек вдруг, не имея ничего даже головы, взял и заработал деньги. Сегодня заработал, а завтра пустил по ветру. Тот, кто зарабатывает деньги, имея голову, тот так просто с ними не расстается. И большинство удовлетворяются даже не самими деньгами, а чувством того, что он сам сделал свое дело, что ему никто не помог, что он разработал красивую финансовую схему.

А если я не финансист и никакой схемы не разработал? Если я специалист, каких большинство среди самостоятельного населения, зарабатываю на жизнь, меня на пресловутые бумажки свои нервы, способности, опыт, время, жизненные силы? В образцовой предпринимательской стране США собственноручно предпринимателей, кажется, 5 процентов от всего этого самого самостоятельного населения. А все остальные — такие же, как и я. А я ведь, в общем, остался таким же, как и десять лет назад. И я не очень хочу меняться. Государство — да, хочет, реформируется, говоря, что это мне на пользу. Пока я ему верю. Но верит ли, скажем, мой двоюродный брат, забравшийся когда-то в столь глубокие математические дебри, что заниматься арифметикой, подсчитывая ежемесячную зарплату, считал, видимо, слишком простым занятием. В последние полгода реорганизация института, в котором он проработал пятнадцать лет, лишила его этого рутинного времяпрепровождения. Тетушка иногда просто плачет: «Ведь это же ненормально — мужчине в сорок лет получать двадцать тысяч пособия!..» Любопытно, впрочем, что она считает, будто «что-то случилось» не у ее сына, а у государства. Хотя, проживя в нем семьдесят с лишним лет, она, наверное, привыкла, что с одной шестой частью суши все время что-то происходит. Наша пресловутая «стабильность» держалась гигантским внутренним напряжением, время от времени прорывавшимся таинственными «заявлениями Советского правительства, ЦК КПСС и Совета Министров СССР». Что же нам делать с государством теперь? Потому что хотя бы по многолетней привычке во всяком отечественном разговоре нельзя не затронуть этой темы. Еще Тургенев замечал: где соберутся два француза, разговор непременно сведется к женской теме, где два немца — к объединению Германии. Ну а уж где два русских, один из которых, заметьте, банкир...

У нас людям говорят: ты сам отвечаешь за свои деньги, захотел их вложить во что-то, вложил не туда — сам виноват. Это совершенно неверная позиция. Государство изначально создано для защиты частника и частной собственности. А деньги населения — это его, населения, частная собственность. И Центральный банк, выдавая частному банку лицензию, создает систему нормативов, которые в первую очередь защищают частного вкладчика, контролируя частный банк. И задача государства не допустить изъятия средств у населения какими-то мошенниками. Государство должно защищать средства населения прежде всего в государственных банках. Но оно самоустранилось от этого. И в государственных банках сейчас средства населения наиболее подвержены инфляции. Особенно теперь, когда нужно максимально снизить расходы на потребление, нужно накапливать, потому что перспектива остаться безработным очень высока. Этот период нужно пережить, а для этого — скопить какие-то деньги. Наш банк выплатил вкладчикам

сто одиннадцать процентов годовых, хотя нам тоже нужны средства для развития, для борьбы за место на банковском рынке. Но мы осознаём, что и акционеры переживают тяжелые времена, мы фактически покрыли им инфляцию. Те, кто обещает колоссальные дивиденды, возможно, тоже выполнят эти обязательства. Но они участвуют в самых рискованных операциях в сфере движения денег, связанных с экспортом и импортом. А там ситуация постоянно меняется, и рассчитывать на большой дивиденд можно исходя из того, что есть сегодня, не прогнозируя ухудшения. Очень опасно обещать сегодня. Мы, стабильная банковская структура, работающая уже три года как акционерное общество открытого типа, не имеем права обещать такие дивиденды. Это попахивало бы авантюрой, к чему люди не готовы. Государство должно выделять колоссальные средства на обучение населения, чтобы оно не осталось у разбитого корыта, чтобы человек сам мог бы себя защищать, а государство должно ему в этом помочь. Везде государство при потере рабочего места помогает переучиться, переквалифицироваться. А мы не готовы к тому, чтобы, когда рабочее место «кончается», сняться и переехать в другое место. Причем не только работник, но и предприниматель. У нас для этого нет никаких условий. Попробуйте переехать из Петербурга, допустим, на Урал... А в Лос-Анджелесе я видел целый пустой район. Там тоже конверсия, рабочие места закрываются. И все, кто их лишился, снялись и уехали. А появятся — опять снова туда вернуться...

И я вспомнил, что первым прохожим, к которому я обратился, чтобы спросить, как пройти к АО «Банк „Санкт-Петербург“», оказался американец, который от души хотел помочь мне, но не знал как. Что-то ведь привело его сюда, в предпоследнюю нашу столицу, в Россию, где, как нам кажется, все и всегда не как у людей. А может быть, не все? Может быть, мы плохо представляем себе, кто такие люди и что им надо?

От этих размышлений в троллейбусе седьмого маршрута отвлек меня билетный контролер, оштрафовавший пишущего эти строки. Но что мне было делать, если московский единый тут оказался недействительным, а где продавались местные проездные документы, составляло, вероятно, одну из самых больших тайн «самого умышленного города на свете»? Ну как тут, скажите на милость, быть мобильным и искать свое счастье в дальних краях, когда даже из конца в конец Невского нельзя проехать без приключений, если, конечно, пользоваться казенным транспортом?

В гостинице я обнаружил, что мне под дверь подсунута отпечатанная типографским способом карточка: «Господа! (Номер мой был одноместный, но специальных текстов для таких жилищ, видимо, не предусматривалось.) Если Вы одиночки и хотите прекрасно провести время в обществе милых прекрасных дам, звоните...» Но я не позвонил по двум причинам. Во-первых, судя по хронической тавтологии этого рекламного текста представления о прекрасном не были абсолютны для всех. А во-вторых, мой поезд отходил в двадцать три тридцать пять И рисковать уже не было времени

Май 1994

**Читайте в ближайших номерах  
путевые записки Алексея Алехина  
«Письма из Поднебесной»**

---

---

## БОРИС ХАЗАНОВ



*Дорогая редакция прочитав в «Новом мире» (1994 № 2) прекрасный очерк Герма на Андреева, я подумал что мог бы продолжить тему Решаюсь предложить вам свой материал*

*С дружеским приветом и уважением*

*Борис Хазанов*

## EXSILIUM<sup>1</sup>

**О**дному человеку приснился сон. Чей-то голос сказал ему на ухо: поезжай в Прагу, там увидишь реку и мост, под мостом спрятано сокровище. Человек продал свое имущество, добрался до Праги, но оказалось, что мост охраняет стража. Каждый день приезжий ходил вокруг. Наступила осень, а за ней зима. Однажды он разговорился с начальником стражи. Офицер сказал: «Хочешь, я расскажу тебе, какой странный сон мне привиделся этой ночью? Будто я слышу какой-то голос и этот голос говорит, что далеко отсюда в одном городишке есть дом и будто бы в этом доме лежит сокровище, о котором никто не знает. Так что я даже засомневался, не двинуть ли мне туда» А что это за городок? — спросил приезжий. Начальник охраны назвал галицийское местечко и описал, как должен выглядеть дом. Приезжий попрощался и недолго думая пустился в обратный путь. Он добрался до местечка, разгреб снег на крыльце, вошел в дом, спустился в погреб — и откопал клад.

Можно было бы считать этот хасидский анекдот притчей об эмиграции, если бы не его конец. Нужно было закончить иначе. Выслушав офицера, человек догадался, что незачем было тащиться за тридевять земель: сокровище спрятано в его собственном доме. Но домой-то он все-таки не вернулся.

Вы предложили вашим зарубежным читателям рассказать о том, как им живется в эмиграции. Рассказать о нашей жизни — значит напомнить, что мы отправлялись в изгнание без надежды когда-либо снова увидеть страну, друзей и близких, но это значит также объяснить, почему же теперь когда режим рухнул, большинство беглецов не возвращаются.

Несколько месяцев назад баварское телевидение показало репортаж о писателях — эмигрантах из стран бывшего Восточного блока, один из многих документальных фильмов на эту тему. Режиссер расспрашивал разных людей, всем был задан один и тот же вопрос: хочется ли вернуться? Фильм назывался «Die Türen sind verschlossen» («Двери заперты») и, собственно, это и был ответ. Известный русский писатель, периодически приезжающий в Россию давал свое интервью на улице в Москве. Случайно мимо проходили две женщины. Одна из них, увидев камеру, стала кричать, что евреи убивают русских, а тут дескать, телевидение берет интервью у одного из этих негодяев. Диктор перевел, несколько смягчив выражения. Но и это был своего рода ответ.

Я полагаю, что ответов может быть не меньше чем объяснений почему пришлось уехать.

---

<sup>1</sup> Изгнание (лат.).

\* \* \*

Я живу в Федеративной Республике почти двенадцать лет. Я уже состарился. Можно предположить, что здесь я и окончу свои дни. Моя фамилия (я говорю о паспортной фамилии, а не о литературном псевдониме) имеет славянское окончание и сложный иудейский, латинский и германский корень; этимология хранит следы многовековых скитаний моих предков. И похоже, что круг замкнулся. Сам я вырос в Москве и не испытываю потребности доказывать свою «подлинность». В одной статье Борхеса есть забавное рассуждение о верблюдах: в самой арабской из всех арабских книг — Коране — верблюды не упоминаются. Если бы священную книгу писал национально озабоченный автор, верблюды маршировали бы у него на каждой странице. Но ему не нужно было доказывать, что он араб; он и так был арабом. Я не вижу противоречия в том, что одновременно являюсь евреем и русским интеллигентом: это достаточно традиционное сочетание.

Мой отъезд с семьей из Советского Союза летом 1982 года был связан с обстоятельствами моей биографии, но на нем есть отблеск общей судьбы. Я бывший заключенный и годы юности провел в лагере. Моя литературная карьера была связана с самиздатом, и хотя мне принадлежали две выпущенные в Москве популярные книжки для школьников — о медицине и об Исааке Ньютоне (набор третьей книги, о философии врачевания, был рассыпан, когда в издательстве догадались, что я за птица), — я оставался нелегальным писателем. От этих времен сохранился мой псевдоним, придуманный редактором самиздатского журнала для конспирации. Секрет, само собой, был быстро разоблачен. Дело о журнале тянулось несколько лет, слезка, обыски, потеря рукописей, взлом квартиры, публикации за границей, аресты и отъезды друзей — вся эта банальная история, о которой сейчас скучно вспоминать, кончилась, как и следовало ожидать, тем, что пришлось выбирать или — или. К этому времени диссидентство было разгромлено, эмиграция почти прекращена. Мне, однако, принесли необходимые документы на дом. И все же я не могу сказать, что единственной причиной, которая вынудила меня отряхнуть со стоп пыль отечества, было учреждение, оказавшееся, как мы теперь видим, бессмертным.

Люди, подобные мне, никогда не осмелятся бросить камень в Хрущева: не окажись он у власти, мы давно уже сгнили бы на полях захоронения. Вторая половина 50-х годов — это и было короткое время, когда я вышел на волю и даже смог поступить в провинциальный медицинский институт. И до и после мы были свидетелями гнуснейших времен. По крайней мере одно стало ясно: реформировать эту махину невозможно. Демонтировав систему принудительного труда экономическую основу советского строя, — Хрущев нанес ему смертельный удар. И если режим, казавшийся отлитым из чугуна, в конце концов повалился, то причиной было именно то, что служило для него высшим оправданием, на чем покоилось все вероучение, — экономика. Это была поистине чудовищная насмешка судьбы.

Вслед за потеплением — буквально по Леонтьеву — началось гниение. «Застой» — метафора неудачная во всех отношениях. 70-е годы были временем умственного движения, захватившего и людей старшего поколения, и студенческую молодежь. Я говорю сейчас не о политическом инакомыслии; новое движение, главным образом философское и религиозное, не было и восстанием против философии диалектического материализма по той простой причине, что философия эта не считалась достойным противником: это был мертвец, которого без лишних слов оставили в покое. Слишком очевидно было, что и наука и отвлеченная мысль ушли далеко вперед и в разные стороны; появились новые дисциплины, формировался новый язык, с Запада словно из серебристого тумана наплывали материки для которых попросту не было места на архаической карте марксизма-ленинизма. Я мог бы назвать целую группу людей, которые персонифицировали это духовное брожение и заряжали его новыми, неслыханными идеями. Вместе с тем эпоха стремительно приобретала черты безвременья.

Что-то произошло с часовым механизмом: стрелки двигались все медленней и наконец остановились. В воздухе стоял густой запах старческой мочи. Было ощущение

шение, что история прекратилась. Компания зловещих старцев на трибуне мавзолея была как бы вывеской страны. Она удостоверяла безнадежную дряхлость режима. Она служила моделью «руководства» на всех уровнях, образцом для всех учреждений и предприятий, включая научные институты, учебные заведения и редакции. Самые невинные начинания немедленно пресекались. Молодые писатели даже не пытались толкаться в официальную литературу. Все знали ей цену. Целые этажи общества были заняты призрачной деятельностью. Огромное множество «трудящихся» давно позабыло, что такое труд. Коррупция уже не была сорной травой или бурьяном, это были джунгли. Без блата вы не могли никуда сунуться. Без подкупа все останавливалось. Пустопорожней болтовней стали все заявления и постановления, политическое словоблудие побило все прежние рекорды. Газеты устали лгать самим себе. Успехи социалистической экономики, о которых все еще говорилось в докладах были последней отчаянной попыткой инвалида отплясывать на протезах; самую возможность передвигаться следовало расценивать как успех, и было совершенно очевидно, что так называемая теневая экономика, или, проще говоря, круговая порука жуликов, необходима в этой стране, как костыли, которые не дают увечному свалиться окончательно. История не оставила советскому государству альтернатив. Спасти положение могла разве что реставрация кровавой диктатуры.

В сущности, то, о чем здесь говорится, было известно всем. Темному мужику в деревне было ясно, что государство и общество разлагаются.

Если это забыто, если теперь многим кажется, что крах, постигший нашу страну — результат злонамеренной деятельности временщиков, а не возмездие, которое творит история, не знающая правых и виноватых, то это происходит лишь в силу понятной, хоть и абсурдной, ностальгии по прошлому.

\* \* \*

На самом деле мы дышали азотом. В конце концов и внутренняя эмиграция — единственный способ сохранить достоинство — оказалась невозможной; не только наше собственное будущее, но и будущее наших детей было ампутировано; всякая деятельность потеряла смысл. За свою жизнь я испытал много иллюзий, от некоторых — например, от преклонения перед «народом» — меня освободил лагерь. Позднее я с увлечением занимался медициной, мотался по своему участку и благоустраивал свою маленькую сельскую больницу, лечил старых и малых, был и швец и жнец. Еще позже я заведовал отделением в Москве. Врачебная работа погрузила меня в океан человеческого горя, но давала какое-то ощущение смысла жизни. Все это тоже ушло в прошлое.

Оглядываясь, начинаешь верить в то, что твоя жизнь была каким-то образом предопределена. Ничего не значащее слово «судьба» наполняется смыслом, если не стараться уточнить этот смысл; так звезда исчезает, когда всматриваешься в нее, и снова мерцает, если смотреть рядом. То, что произошло, не могло не произойти; то, что со мной случилось, было итогом всей жизни, а не только заслугой вездесущего ведомства. Но без него я, наверное, никогда не собрался бы. Скажем спасибо этим крысам.

Наш отъезд из России напоминал катастрофу. Треснули гнилые доски — и мы как будто ухнули в выгребную яму. Такой случай был однажды в лагере. Человека с трудом вытащили. Опять же нет худа без добра. Должностные лица, от мелких сошек до грозных начальств, сделали все от них зависящее, чтобы убить у отъезжающих последние остатки сожаления об отъезде. Оформление абсурдных документов — хорошо известная система замкнутых кругов: вы не можете получить справку А, не предъявив справку В, для получения которой требуется справка А. Виза представляет собой приказ покинуть страну до указанного срока, но получить визу на руки можно, лишь представив все справки и обойдя все инстанции. Поэтому на сборы остается четыре дня. Все бумаги отбираются совершенно так же, как после вашего отъезда истребляются все следы вашей жизни и деятельности в стране. Вас больше нет и никогда не было. Но прежде надо пройти состояние умершего при жизни. В одно мгновение над разоренным гнездом слетелось жадное жулье. В

свою очередь государство приняло меры, чтобы обчистить беглецов до нитки. Да и как могло быть иначе? За два десятилетия эмиграции из бывшего Советского Союза это государство присвоило себе имущество и пенсии огромного количества семей, но богаче от этого не стало, подобно приснившимся фараону тощим коровам, которые пожрали тучных коров, но сами не потолстели.

Все это не вызывало ни малейших сожалений. Человек, покидавший СССР, хорошо понимал, что за этот подарок судьбы нужно платить. Очевидно, это понимали и власти. Внешне это выражалось в том, что вы должны были внести выкуп — внушительную сумму за отказ от гражданства. И, как уже сказано, осушить огромную, словно кубок большого орла, чашу унижений. Когда в лагере случались побеги, пойманного возвращали с простреленными ногами, искусанного собаками и избитого до полусмерти; начальство рвало и метало. Что-то похожее по отношению к человеку, изгоняемому из страны, испытывали работники всех без исключения контор, куда надлежало явиться. Не следует думать, что там сидели особо подготовленные садисты. Это были обыкновенные советские люди, полагавшие, и не без оснований, что они имеют дело с изменником родины. Их усердие осталось для меня загадкой; быть может, к их патриотизму примешивалась тайная зависть. В аэропорту был произведен обыск с раздеванием догола, по правилам, которые я хорошо помнил со времен Внутренней тюрьмы и Бутырок. Снаружи за загородкой кучкой стояли друзья и, плача, махали нам руками.

\* \* \*

И вот мы вышли, шурясь от солнца, в теплый летний день из советского самолета на аэродроме в Вене и побрели к зданию аэровокзала. Никто нас не остановил, никто не спрашивал никаких документов. Конвейер подвез к нам полуразрушенные чемоданы. Куда податься? Уезжали мы с одним чувством: скорее вон — и чем дальше, тем лучше. Планов на дальнейшее не было. Моя жена и мой несовершеннолетний сын ждали решения от меня. Вдруг оказалось, что Советский Союз далеко, нет больше КГБ и всей этой гадости. Чувство свободы и бездомности — это нужно испытать, нужно глотнуть однажды этого дурманящего напитка. Описать его вкус невозможно.

Можно было на первый случай взвесить две или три возможности. В Израиле были друзья, слабая надежда работать в журнале, я довольно сносно знал иврит, наконец, это была единственная, как казалось, страна, где я мог бы не чувствовать себя эмигрантом. Мой сын, моя русская жена выражали желание ехать туда. Впоследствии я мог убедиться, что эту маленькую страну в самом деле нельзя сопоставить ни с какой другой. Но меня тянуло в Германию. Немецкий язык я знал с отроческих лет, вырос с немецкими книжками, с философами и поэтами. Мне хотелось, чтобы наш сын учился в Европе. Можно было бы обсудить и Францию, приют всех русских эмиграций, страну, о которой не зря было сказано: *chacun de nous a deux patries, la nôtre et la France* (у каждого из нас две родины: наша собственная — и Франция). Но времена, когда эта страна без разговоров оказывала гостеприимство всем политическим изгнанникам, прошли. Не имея представления о пограничной и всякой другой бюрократии, я решил, что съезжу в Западную Германию на короткое время, поведу с геологами, чьи труды я переводил для самиздата, и узнаю что и как. Полусознательно решение уже было принято. Старый товарищ, уехавший за два года до нас, подвез нас к баварской границе, я вылез из машины и, как говорят в таких случаях, сдался властям. В полицейском Revier (отделении) чиновник заполнил с моих слов анкету, после чего мы были помещены в деревенскую гостиницу за счет полиции. Короче говоря, мы остались в Германии.

Так как я не был заслуженным диссидентом или бывшим советским писателем, я не мог рассчитывать на торжественный прием. Прожив несколько недель в существовавшем тогда американском центре для беженцев из восточноевропейских стран, мы затем очутились в немецкой среде. Русское зарубежье третьего призыва не создало организаций взаимопомощи. Поддержку, столь необходимую каждому эмигранту в первые месяцы жизни на чужбине, нам оказали немцы. Люди, ничем мне не обязанные, взяли на себя заботу о моей семье, приютили нас и снабдили



необходимым, помогли с жильем и оформлением бумаг. Ничего подобного я никогда не встречал на родине.

Нужно было подумать о заработке, о продолжении учебы для сына. Спасением для русских эмигрантов (которых в те годы было очень мало) была 16-я статья Основного закона Федеративной Республики (и соответствующая ей статья 105-я баварской конституции) о предоставлении убежища преследуемым по политическим мотивам. Специальная помощь оказывалась учащейся молодежи. Мой сын окончил Studienkolleg (курс подготовки к университету), а затем медицинский факультет Мюнхенского университета. Ему пришлось овладеть не только немецким, но и английским. Студентом и позднее врачом он работал в Южной Африке и Америке. Через семь лет после приезда мы превратились из «азилантов» (от слова Asyl — убежище) в немецких граждан. Уезжая из СССР, я был уверен, что не найду работу за границей. От медицины я отошел. Литература, из-за которой, собственно, и пришлось уехать, — не профессия. Товарищ по изгнанию, известный правозащитник, сумел добыть денег в Америке и предложил мне основать вместе с ним русский журнал. Предприятие не было коммерческим, мы получали зарплату; журнал, для которого в СССР понадобился бы обоз в 15 человек, делали два, затем три работника. Мы просуществовали восемь с половиной лет, после чего журнал закрылся из-за прекращения субсидий. Коллега отбыл в Россию, оставив мне и секретарю долги.

Еще два слова, чтобы покончить с темой «устройства». В устах каждого порядочного эмигранта слово «социализм» — ругательство, тем не менее нашим относительным благополучием мы обязаны немецкому рабочему и социалистическому (социал-демократическому) движению: именно оно добилось того, что со времен Бисмарка эта страна является социальным государством. Каждый работающий в Германии застрахован на случай болезни, безработицы и инвалидности, для чего производится три вида отчислений в половинном размере; другую половину выплачивает работодатель. Так как я не успел отработать необходимого минимума лет (и, следовательно, не успел накопить достаточную сумму взносов в пенсионный фонд), то, достигнув пенсионного возраста, я получаю очень маленькую пенсию. В России я работал шестнадцать лет, но эта страна, как известно, не выплачивает пособий своим бывшим гражданам. К счастью, мне выделил небольшое дополнение к пенсии фонд помощи деятелям искусства и литературы при президентском совете в Бонне. Я подрабатываю тем, что пишу статьи для двух радиостанций и для немецкой прессы, езжу с литературными чтениями, лекциями или докладами, занимаюсь, как и в России, переводами. Само собой разумеется, что литература в собственном смысле слова дохода почти не приносит.

\* \* \*

Значительно интересней вопрос, как чувствует себя за бутром выходец из бывшего Советского Союза. Ответить непросто — и потому, что все мы очень разные люди, и потому, что жизнь сложна и неописуема, и потому, что мне органически претят разговоры о родине, патриотизме, космополитизме, которые я слышал с молодых ногтей.

Человек, живущий в России, живет в России. Американец живет в Америке. Тот, кто проживает в Германии, живет в Европе. Поездки из страны в страну, возня с валютой, автомагистрали скоростные поезда, пересекающие Европу во всех направлениях, австрийские, итальянские, швейцарские железнодорожные вагоны, газеты и журналы всех столиц, одинаково одетая молодежь, одни и те же вывески бензозаправочных станций, итальянские траттории, греческие таверны, турецкие забегаловки, китайские рестораны, бюро путешествий, где вам подберут самый дешевый маршрут и закажут номер в гостинице, — все это обычная жизнь, все это встречает вас на каждом шагу. Наследница и увеличенное подобие древней Эллады с ее крошечными городами-государствами, Европа, как и встарь, представляет собой разношерстное сообщество, и хотя след от удара топором, разрубившего континент, глубок и полон запекшейся крови, рана рано или поздно затянется;

уже сейчас, приезжая в Прагу, вы чувствуете себя по-прежнему в Европе (и даже в старой Австро-Венгрии) Иначе, по-видимому, обстоит дело с барьером, отделившим Западную и Центральную Европу от России, но это другая тема.

Достаточно многолика и сама Германия с ее традицией федерализма, со следами исторически недавней раздробленности, и так же, как греки, вечно ссорившиеся между собой, никогда не забывали о своем единстве, как европейцы, вечные соперники, ощущают себя членами одной семьи, так и немецкие земли (Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Саарская область, Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Саксония-Ангальт, просто Саксония, Тюрингия, Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Шлезвиг-Гольштейн, города-земли Гамбург и Бремен) сохранили двойную самоидентификацию: каждая земля сама по себе и все — одно государство. Вместе с немецкоязычным населением Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна и некоторых других районов число европейцев, для которых немецкий является родным языком, превышает 90 миллионов. И все же, проехав сто или двести километров, вы не только замечаете, что изменился пейзаж, но и видите другую архитектуру, наталкиваетесь на другие обычаи, слышите другой диалект. Северному немцу не всегда легко понять южанина. Речь баварца отличается от диалекта жителей Кёльна не меньше, чем украинский язык от русского. Фризский и алеманский диалекты настолько далеки друг от друга и от Hochdeutsch, что их можно было бы считать отдельными языками, не говоря уж о «швицердютч», диалекте жителей немецкой Швейцарии: фильмы и репортажи из Швейцарии приходится снабжать немецкими субтитрами. Чуть ли не каждое бывшее ландграфство, герцогство или курфюршество говорит по-своему, и живущий в Германии иностранец вынужден, в сущности, осваивать два языка — литературный немецкий и местное наречие. Стоит упомянуть и о том, что Германия — срединное государство: за исключением России, у нее больше соседей, чем у любой другой страны в мире. Если, воткнув в Берлин ножку циркуля, провести на карте Европы окружность радиусом в две тысячи километров, то в нее впишется весь или почти весь континент; другими словами, Берлин — это географический центр Европы

\* \* \*

Говорить о национальном характере трудно, в особенности когда речь идет о большом народе, где всегда присутствует множество разнородных этнических элементов. Маленькие черноглазые женщины Верхней Баварии — вероятно, дальние потомки римских легионеров. Немцы из бывшей Средней, ныне Восточной, Германии по виду мало отличаются от славян. Долговязые светловолосые ребята с побережья — ни дать ни взять скандинавы. Немца не спутаешь ни с французом, ни тем более с итальянцем, но зато немцы могут походить на евреев, а может быть — кто знает? — и на бушменов. Говорить о характере народа трудно потому, что нужно постоянно преодолевать предрассудки и стереотипы. В сущности, национальный характер невозможно определить, скорее его можно почувствовать.

Немцы производят впечатление спокойных, внешне уравновешенных людей; немцы скорее скупы на проявление чувства, чем экспансивны, скорее стеснительны, чем откровенны, скорее нелюдимы, чем общительны, скорее мученики жизни, чем гедонисты. Немцы любят чистоту и опрятность, и их страна выглядит, как комната у хорошей хозяйки: пол вымыт, вещи на своих местах; улицы, дороги, луга, леса — все в порядке, размечено, обозначено, вы нигде не заблудитесь; но немцы могут быть и изумительно неряшливы, разболтанны, безвкусны. Немцы держат слово, что выгодно отличает их от россиян, и верны однажды принятому порядку; Тгеуе (верность) — традиционная и даже главная германская добродетель. Но, как сказал мудрец Ларошфуко, наши достоинства продолжают в наших пороках, и иметь дело с немецкой принципиальностью не всегда приятно. Немцы трудолюбивы, иногда сверх всякой меры, и, что еще важнее, умеют ценить высокую культуру труда и воспитывают ее в детях, тем не менее в стране сколько угольных лоботрясов и бездельников

Национальный характер можно почувствовать на автостраде и за обеденным столом. Когда-то Вильгельм II произнес эффектную фразу: «Будущее Германии — на море!» Он ошибся: будущее оказалось в воздухе и на суше, на свистящих авто-

страдах. И какой же немец не любит быстрой езды? Его ли душе... Дальше вы помните. Избалованные образцовыми дорогами и техническим совершенством своих машин, немцы ездят быстро дерзко и весьма грубо. Если немцы склонны афишировать свою неприязнь ко всему отечественному и критикуют свой образ жизни свою историю, свою страну жестче и безжалостней, чем кто бы то ни было за ее пределами, то этот комплекс самоуничижения во всяком случае не распространяется на автомобиль и автомобилизм; напротив, сверкающий автомобиль как будто компенсирует эти чувства, и за рулем гражданин Федеративной Республики чувствует себя почетным и привилегированным гражданином мира. Машина возвращает ему уверенность в себе. Он может забыть о том что в Германии было изобретено книгопечатание, дифференциальное исчисление, открыты рентгеновские лучи и расщеплено ядро урана. Но он твердо помнит: автомобиль построен в Германии. Машина его второе «я». Машина есть транспортальная клетка его свободы

Ровно в назначенный час, минута в минуту автомобиль подъезжает к дому, с исключительным мастерством, змеиным маневром водитель вклинивается в плотный ряд машин, заставивших улицу. Хлопают дверцы. Постарайтесь не опаздывать, этого требуют не только вежливость и пресловутая немецкая точность но и практическая необходимость: хозяйка не хочет, чтобы блюда остыли. Гости переходят из гостиной в столовую. Гости стоят, ожидая когда хозяйка укажет каждому его место за столом. Хозяева садятся на двух противоположных сторонах. Блюда по кругу передают друг другу. Хозяин разливает вино. Типичная немецкая кухня — это все знают — довольно пресная. Обед начинается с бульона с клецками или супа-пюре. Мясо и рыба обычно вареные, к ним полагается довольно скучный, хотя и разнообразный гарнир. Впрочем, в разных районах страны есть свои гастрономические пристрастия и свои названия кушаний. Потчевать гостей не принято; каждый берет себе столько, сколько хочет. Оставлять еду на тарелке не полагается. Обычай заканчивать обед сыром пришел из Франции; настоящий то есть традиционный, немецкий обед завершается сладким блюдом: кремом или чем-нибудь в этом роде. Крепкие напитки если и употребляются, то после еды. Скванность окончательно исчезает, когда выпито положенное число бутылок божолы золотис того мозельского или франконского, и разговор переходит на политику.

\* \* \*

Как-то раз произошел забавный случай. В Мюнхене перед студентами университета выступал довольно именитый советский писатель. Он рассказывал о том как писатели в СССР борются за восстановление храмов разрушенных после революции. Желая дать понять слушателям, что это был за вандализм, он сказал: представьте себе (и показал на окна), что в этом прекрасном городе уничтожены все церкви.

Представить трудно. Между тем, о чем гость не подозревал, именно так обстояли дела в 1945 году, когда столица Виттельсбахов лежала в развалинах. И не только она. Возмездие постигшее Германию в минувшей войне, была таково, что его можно сравнить разве только с катастрофой Тридцатилетней войны. Но тогда не было воздушных налетов. Геринг хвастал, что ни один самолет союзной авиации не проникнет в воздушное пространство рейха. К концу войны не уцелело ни одного сколько-нибудь крупного города. Гамбург, Берлин, Аахен, Эссен, Дортмунд, Дюссельдорф, Мюнстер, Майнц, Франкфурт, Кассель, Нюрнберг, Вюрцбург были разнесены в щепы. Дрезден погиб в одну ночь, тысяча двести гектаров руин осталось на месте красивейшего из европейских городов. Под обломками погибли, задохнулись в дыму пожаров 60 тысяч человек. Престарелый Гауптман видел зарево на небе с крыльца своего дома в Силезии.

Гуляя сегодня по старому Кёльну, вы едва ли поверите, что одна из последних военных сводок гласила: «Войска оставили поле развалин, некогда называвшееся городом Кёльном». Посреди этих развалин, словно огромная выщербленная и черная от копоти сосулька, стоял шестистолетний собор.

Ряд обстоятельств привел к тому, что приблизительно с середины 60-х годов Западная Германия стала одним из трех экономических гигантов мира. Это значит, что общество развило невиданный динамизм

Жизнь меняется очень быстро. Жизнь изменилась даже за те двенадцать лет, что я живу здесь. Вот две бросающиеся в глаза, хоть и совершенно различные приметы: компьютерная революция и превращение национального государства в полиэтническое общество, в страну иммигрантов. И однако традиционный уклад, отечество в бытовом и интимном смысле слова, то, что философ и семиотик Вилем Флюссер назвал святилищем привычек, отнюдь не ушло в прошлое. Европейцам вообще значительно трудней поспеть за непрерывным кризисом традиций, за шумным и пестрым карнавалом перемен, чем американцам, за спиной у которых нет долгой истории. По сей день в Баварии живы реликты классического бюргерского и даже феодально-сословного общества. Можно добавить, что это единственная из немецких земель, где народный костюм — часть быта. Как встарь, облик Германии определяют маленькие города. (Деревень в русском смысле слова здесь нет.) С известной долей условности можно сказать, что эта самая высокоразвитая страна Европы — страна провинциальная.

Тот, кто живет в Германии, знает, что это страна лесов, гор, дождей и туманов, страна, постепенно спускающаяся от Альп к северному и балтийскому побережью, страна, где на юге бывает холодней, чем на севере, лунная страна, лишенная счастья принадлежать к миру Средиземноморья, страна людей, которых не вдруг поймешь, у которых мешански-трезвый, экономно-расчетливый образ жизни неожиданно сочетается с мечтательностью, самоуглубленностью, непредсказуемостью, страна романтических ландшафтов и страна музыки. Пение в хоре, игра на музыкальных инструментах есть нечто обычное и обыденное, почти само собой разумеющееся, любовь к музыке воспитывается с детства, и знание классики, умение слушать серьезную музыку и наслаждаться музыкой — вовсе не привилегия интеллигентной элиты. При огромном числе концертных залов они никогда не пустуют. В Мюнхене на Королевской площади перед тысячной толпой устраиваются концерты на открытом воздухе. В любом городишке есть по крайней мере оркестр школьников. Музыка исполняется в церквах. Существует несчетное количество музыкальных ферейнов. Мне не раз приходилось бывать на домашних концертах, в них участвуют и любители и профессионалы; домашнее музицирование не смогли убить ни радио, ни телевидение, ни магнитофоны и компакт-диск. Не зря некоторые из знаменитых немецких романов похожи на музыкальные композиции. И если Францию и Россию принято считать литературными странами, то в немецкой культуре доминирует музыка.

Нужно прожить здесь много лет, чтобы начать — с трудом и понемногу — разбираться в здешней жизни. Не знаю, могу ли я сказать это о себе. Итак, не доверяйте рассказам людей, прокатившихся по европам, не верьте, когда вам говорят теперь я там был и знаю что почем. Как человеку, читающему иноязычный текст, гостю трудно расставить правильные акценты. Двенадцать лет тому назад, очутившись в Германии, я испытывал чувство встречи с чем-то знакомым: вот знаменитый собор, вот часовня на холме под Тюбингеном (она была нарисована на роскошном томе Уланда, когда-то подаренном мне ко дню рождения, и я тотчас вспомнил эти стихи), вот лицо девушки в пригородном поезде, как две капли воды похожее на лицо наумбургской Уты, вот улица Шопенгауэра, вот могила Гёльдерлина, вот скала Лорелеи на излучине Рейна. Надписи, реплики прохожих, дорожные щиты с названиями прославленных городов. Это было приятно и волновало, как путешествие в призрачную юность. Это было ложное чувство. Очень скоро и достаточно грубо действительность напоминает эмигранту, что он не турист. И тогда он начинает понимать, что значит на самом деле жить в чужой стране и в пятьдесят лет начинать с нуля. Тем не менее мне понадобился не один год, чтобы отучиться смотреть на эту жизнь через литературные очки.

\* \* \*

Поколение уехавших, к которому я принадлежу, не вправе считать свою судьбу чем-то исключительным. Sie ist die erste nicht, как говорит Мефистофель («Она не первая»). Рядом с тремя послереволюционными русскими эмиграциями существуют или существовали и уже вошли в историю эмиграция из нацистской Германии, из франкистской Испании, рассеянные по миру колонии политических

беженцев из Восточной Европы (если говорить лишь о выходах из государств нашего континента). Наши братья по общей судьбе — это не только Бунин или Ходасевич, это также Томас Манн, Роберт Музиль, Герман Брох, Берт Брехт, Пауль Целан — это Чеслав Милош, и Милан Кундера, и Лешек Колаковский, и великое множество других, известных или неизвестных. Можно удивляться постоянству ситуаций, которые воспроизводятся в разные времена и в разных странах у людей с различной национальной и культурной идентификацией. Философ Эрнст Блох устроился в Америке мойщиком тарелок в ресторане, но был уволен с работы, так как не мог поспеть за другими посудомойками. Карл Вольфскель, поэт из кружка Стефана Георге, бежал на седьмом десятке в Новую Зеландию, «уж сюда-то, — писал он — они не доберутся». На его могиле в Окленде написано: «Exsul poeta» («Поэт-изгнанник»). Вальтер Беньямин пытался ускользнуть от гестапо в Пиренеи и покончил с собой на испанской границе, когда выяснилось, что его не впускают в страну. Это было в сентябре 1940 года. Случай поддается моделированию: достаточно представить себе, что было бы со всеми нами, если бы Советская Армия вместе с армией ГДР вторглась в Западную Германию. К чему это войско, между прочим, готовилось.

Но эмиграция — это не только кораблекрушение. Худшее, на мой взгляд, что ожидает беженца, — эмигрантская скорлупа, невидимое гетто, когда номинально живешь в чужой стране, а на самом деле остаешься там, дома. Такова печальная участь политизированной эмиграции из большой и отгороженной от мира страны, откуда вместе с родным языком и остатками скарба с горделивым чувством верности отечеству перевезены националистическая затхлость, провинциальная спесь, боязнь мира и навязчивое стремление поучать мир. (Как часто мы убеждались в том, что пресловутая всемирная отзывчивость есть не более чем красивая фраза.) Между тем мир огромен и не может жить одними лишь российскими проблемами. Время идет, и люди стареют. И плесневеют идеи, и устаревают шедевры. Заключительный акт этой драмы начинается, когда бывший изгнанник принимает решение вернуться. Я ваш! — хочет он сказать. Но для оставшихся он тоже чужой.

Было бы наивно думать, что, утратив все, что привычно связано с представлением о родине, можно на другом конце жизни обрести в полном смысле слова новую родину. Но я спрашиваю себя, не изменилось ли значение слов настолько, что от прежнего смысла ничего не осталось. Эмиграция перерубила мою жизнь. Эмиграция неслыханно расширила доступный моему зрению горизонт. Эмиграция открыла для меня огромный и вольный мир. Я увидел города и континенты. Я не знаю мест волшебней Прованса и Тосканы зрелища более восхитительного, чем Иудейская долина весной или Греческий архипелаг под крылом лайнера. Покидая Россию, я с ужасом думал о том, что окажусь в среде, где не говорят по-русски. Но писатель по своей природе существо маргинальное; писатель везде эмигрант и едва ли способен создать что-нибудь стоящее, барахтаясь в «гуще жизни». Я не могу вернуться в страну, где я никому не нужен, где меня никто не ждет. Мое истинное отечество — это русский язык, и его у меня никто не отнимет.

---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВ

\*

## ГОСУДАРСТВО И РЫНОК

**Р**азвал коммунистической империи оставил Россию без государства. Сегодня у нас практически отсутствуют институты и структуры, готовые выполнять единственную неотъемлемую функцию государственной власти — обеспечение легального правопорядка. Многочисленные псевдогосударственные учреждения занимаются административной торговлей, уступив монополию на правосудие организованным бандитским группировкам. Вакуум реальной государственной власти является основным препятствием не только политического, но и экономического развития России. Однако даже обращаясь к теме не столько экономической, сколько социально-политической, начну все же с экономики

1

Уже сегодня можно констатировать, что Россия свои основные, фундаментальные макроэкономические проблемы в целом решила. Иными словами, страна нашла способ нормально жить, развиваться и процветать. Все, что сейчас происходит в нашей экономике, все наметившиеся в ней тенденции свидетельствуют об этом. Прежде всего продолжается колоссальная структурная перестройка. И любые разговоры о том, будто бы структурная перестройка в России еще и не начиналась, что экономический спад носит общий, глобальный характер, что гибнет все самое лучшее и ценное и т. д. и т. п., вполне бессмысленны. Один из наших известных экономистов в недавнем споре с академиками, выдвинувшими пресловутую и теперь уже, слава богу, забытую программу «корректировки реформ», возражал своим оппонентам, пророчествовавшим о тотальном крахе российской экономики, примерно так: о чем, собственно, у нас речь, когда еще в восьмидесятом году мы считали, что если в нашей стране все будет идти как идет, в конце концов должны остаться только ТЭК (топливно-экономический комплекс) и очень небольшая часть «оборонки» — ВПК? Так что сегодня делать круглые глаза и кричать: «Господи, все рушится, все пропадает, уничтожается наш потенциал!» — это либо глупость, либо (что скорее всего) сознательный обман и демагогия.

Структурная перестройка состоит (в первую очередь) в стремительном формировании сектора финансового и торгового посредничества, без которого никакой рынок существовать просто не будет. Разумеется, посреднический сектор на первых порах складывался в ущерб собственно производственной сфере. Но в условиях отсутствия конкурентной среды и доставшейся нам в наследство от коммунистического режима экономической системы и, соответственно, высокой инфляции иначе быть не могло. Зато болезненный процесс роста посреднических структур и банков прошел очень быстро.

Банки и фонды возникали как пузыри, стремительно всасывающие, впитывающие в себя свободные финансовые ресурсы. Теперь уже совершенно ясно, что как только инфляция начнет «схлопываться», «пузыри» неизбежно станут давить друг на друга: мелкие лопнут моментально, те, которые покрупнее, может быть, чуть позже, какие-то будут выдавливаться в иные — более просторные и потому благоприятные для их существования — пространства. Главным образом в пространствах не посреднических, а производственных. Иначе говоря, если инфляция и далее будет снижаться, нас ожидает резкое оживление инвестиционной актив-

ности создание нормального инвестиционного климата. Причем за счет собственных внутренних ресурсов (Иностранные же инвестиции в российскую экономику конечно, пойдут тогда и только тогда, когда начнутся инвестиции внутренние)

Важно учитывать еще и то обстоятельство, что инвестирование в наших условиях может быть лишь частным, рыночным, а не государственным, поскольку свободных денег в бюджете просто нет. Средства в государственном бюджете могут появиться, только когда рыночная экономика заработает на полную мощность и наметится реальный экономический рост (Но если он наметится, то тогда зачем, спрашивается, аккумулировать средства на стимулирование экономического развития в бюджете?)

В общем, даже на фоне теперешнего, все еще недостаточно благоприятного инвестиционного климата многие крупные коммерческие структуры уже ощущают, чувствуют, что рыночная конъюнктура в самом недалеком будущем начнет меняться. Потому-то они так активно и скупали ваучеры у населения, обменивая их на акции наиболее перспективных предприятий. А раз уж они стали владельцами или совладельцами этих предприятий, то без серьезных инвестиционных программ им не обойтись.

По существу, положение дел в российской экономике могло бы измениться в самую благоприятную сторону уже сейчас. Что же мешает осуществиться нашему «экономическому чуду»? Конечно, есть помехи и социокультурного и социально-психологического свойства. Однако главное препятствие на пути к экономическому оздоровлению России — это деградация, распад едва ли не всех государственных политических (не экономических) институтов, за исключением разве что института президентства. А между тем рыночная экономика — в своем самом что ни на есть либеральном виде — остро нуждается в минимальном, но предельно эффективном государстве.

**Рынок** — структура горизонтальная, где все равны; структура, где все продается и все покупается

**Государство** — структура вертикальная, иерархическая, где ничего не может, не должно продаваться и покупаться

И совершенно очевидно, что без органичного взаимодополняющего и равновесного существования свободной рыночной экономики и достаточно действенной и жесткой (хотя и либеральной по существу) государственной системы современного цивилизованного общества не создать и процветания страны не обеспечить.

Государство не должно тупо командовать гражданами, не должно навязывать людям надуманные «направления развития». Государство не может иметь никаких собственных целей, отдельных от интересов всего общества и законопослушных граждан, это общество составляющих. Государство обеспечивает порядок, легальную правовую систему и является гарантом исполнения законных договоров между гражданами. Единственной монополией, которой должно обладать государство, это монополией на закон и на насилие, закон защищающее. Эту свою монополию оно обязано отстаивать от любых конкурентов всеми доступными ему средствами.

Деградация и разрушение легальных государственных институтов, что бы там сегодня ни кричали коммунисты-империалисты, начались у нас задолго до реформ — лет, наверное, тридцать назад. Дело в том, что советская система не являлась системой административно-бюрократической или командно-административной (как ее ошибочно назвал Г. Попов). Она представляла собой систему **бюрократического рынка**. С одной стороны, мы имели гигантское тотальное государство, проникающее во все поры общества и пытавшееся всем управлять и руководить, а с другой — внутри самое себя оно, государство, давно уже утратило, изжило строгую и жесткую иерархию подчинения, подменив ее системой **вертикального торга** — между чиновником и другим чиновником, между чиновником и предприятием, между чиновником и гражданином. **Все обуславливалось сделкой**: ты мне даешь то-то, а я тебе то-то. Такие понятия, как «общий закон», «единое правило», «приказ», перестали существовать. Но не там, где они действительно должны отсутствовать: в экономике, культуре, частной жизни и т. д., — а в коридорах самой власти и в подчиненных ей структурах: в армии, полиции и даже, видимо, в КГБ.

Приказ и закон для государственного чиновника самого высокого ранга, пусть и генерала (не важно, военного или штатского), перестали быть собственно приказом и законом, превратившись в повод для размышления и предмет торга с другими чиновниками-генералами. Все это означало, что ресурсы хоть сколько-нибудь видимой легитимности прежнего государства окончательно иссякли и внутренний кризис системы сделался необратимым. Когда вертикальный торг превысил некий критический уровень и всем стало понятно, что коммунистическая власть сама себя съела, тогда и началась **перестройка**, то есть **приватизация административного капитала**.

Живет себе, скажем, директор госпредприятия или какой-нибудь чиновник партхозактива. И в процессе приватизации он получает чудесную возможность реализовать свой административный капитал, получив тем самым кусок собственности. Причем он необязательно должен реализовывать украденное у государства имущество. Он замечательным образом может превращать в реальные деньги, например, свои связи, имеющуюся у него эксклюзивную информацию и т. п. Но ведь в той же иерархической пирамиде обретаются прокуроры, милицейские начальники, командующие округами, чей статус не менее, а то и более высок, нежели у нашего чиновника. А им что прикажете делать? Они что — рыжие? Они тоже жаждут поживы и имеют свои резоны и основания участвовать в административной дележке. Их предмет приватизации — государственные институты.

В результате мы получили то, что получили: уникальное квазигосударство, все элементы, составные части которого работают на реализацию исключительно частных или групповых интересов. И какой бы регулят мы ни попытались бы включить в подобную систему, он обязательно будет использован как источник для удовлетворения личных устремлений и амбиций. (Например, регулят, направленный на упорядочение таможенного дела, тотчас же превращается в инструмент реализации интересов отнюдь не государства, но корпоративных интересов самой таможни.) В лучшем случае такой регулят просто не заработает. Потому-то даже самые ярые адепты активного государственного регулирования экономики не способны ответить на простой «детский» вопрос: кто его регулирование будет конкретно осуществлять? Не существует таких личностей, не говоря уж об учреждениях. Можно чертить схемы, до хрипоты и посинения спорить о мировом опыте государственного регулирования, но любому непредвзятому и здравомыслящему человеку понятно, что в отношении современной России дискуссии подобного рода являются пустым, праздным словоговорением. Ну нет у нас, в нашем тотально торгующем государстве, субъектов, которые могли бы осуществлять это регулирование строго согласно правительственным предписаниям даже в тех редких случаях, когда подобные предписания не идиотские.

Скажу еще раз: если Россия собирается стать жизнеспособной, здоровой, нормальной страной, то **экономическое, хозяйственное регулирование должно быть сведено в ней к минимуму. В идеале — ликвидировано вообще.**

Однако обеспечивать правопорядок (если требуется, то и через прямое насилие), гарантировать неукоснительное соблюдение закона, общественных, экономических и иных соглашений и договоров между гражданами **государство обязано по определению.**

Главная ошибка наших реформаторов заключается в том, что они в процессе экономических преобразований упустили из виду, проглядели (а многие и теперь не хотят видеть) эту проблему, сделав в сфере общественно-государственных отношений ставку на вариант «стационарного бандита» (о котором речь ниже). Логике либерального рынка совершенно недопустимо было распространять на государственные институты, которые такой логике подчиняться не должны. Судья, ориентирующийся в своей деятельности на спрос и предложение, не судья, а преступник. Наши же государственные институты зачастую присутствуют и действуют в области правопорядка именно как рыночные структуры, представляющие свои услуги в зависимости от спроса и предложения, от конъюнктуры. Тем самым государство практически утратило органически присущую ему монополию — **монополию на насилие**. Право и порядок в сегодняшней России устанавливают и обеспечивают бандиты. Это уродливая, абсолютно неприемлемая в цивилизованном социуме самоорганизация общества, реактивно заполняющего таким способом образовавшийся вакуум государственной власти. Если я собираюсь работать в бизнесе, завести собственное дело и хочу, чтобы мои партнеры исправно выполняли свои



обязательства передо мной, попросту платили по договорам, я вынужден обращаться за помощью к бандитам, которые повсеместно обеспечивают соблюдение экономических договоров игру по правилам, «по закону». Но эти их правила и этот закон воровские.

Сложилась ситуация, когда в стране не существует какой-либо микроэкономической и даже макроэкономической проблемы, которая имела бы исключительно экономическое решение. Я берусь утверждать, что ни один профессиональный экономист, хорошо понимающий существующее положение дел, не возьмется на практике решать эти проблемы чисто экономическими методами, ибо они не имеют сугубо экономического решения.

Какой толк до посинения обсуждать проблему неплатежей, если всем понятно, что в нормальной (даже и в не до конца отлаженной) экономике такой проблемы быть просто-напросто не может. А у нас она есть, да еще какая. Почему? Если тебе в течение длительного времени никто ничего не платит, а ты продолжаешь с тупым упорством выпускать продукцию, то, стало быть, ты либо психически болен, либо у тебя наличествуют какие-то скрытые причины работать за здорово живешь, то есть тебе **выгодно** это делать. Последнее как раз соответствует действительности.

Многие банки намеренно, искусственно перекрывают, тормозят часть финансовых потоков и, обеспечивая стабильные неплатежи, получают тем самым свободные кредитные средства под нулевой процент. Допустим, два государственных предприятия должны обеспечить между собой платеж. Что они делают? Учреждают банк, получают в нем какое-то участие. Платежные средства — государственные. А банк вроде как частный. Зачем же, спрашивается, платить, если неплатежи — это бесплатные кредитные ресурсы?

Или взять проблему инфляции. На протяжении всего года мы слышим, что правительство выдерживает жесткий курс на финансовую стабилизацию. Видимо, так оно и есть. Курс и впрямь просматривается достаточно отчетливо. Только стабилизация отчего-то никак не наступает. Ведь 4—5 процентов инфляции в месяц — это очень много. Такой процент если и может считаться приемлемым, то только в сравнении с 30—15 процентами. Но сами по себе 4—5 процентов — уровень огромный. Утверждать, что такое положение приемлемо и нормально, может лишь прожженный демагог (дескать, не дай-то бог нам переусердствовать по части обуздания инфляции, опередить события, когда инфляция вдруг прекратится раньше, чем это будет полезно для хозяйства). Нет и положительно не может существовать никаких разумных экономических оснований и поводов, чтобы самым решительным образом не бороться с инфляцией, а, напротив, поддерживать ее хотя бы на самом низком уровне. При любом раскладе инфляция — дрянь. Она бич для экономики и для государства в целом. Инфляция — это всегда фиктивные, фальшивые деньги. И огромное количество острейших экономических проблем, в условиях инфляции абсолютно неразрешимых.

Но раз нет экономических поводов и причин искусственного поддержания инфляции, стало быть, имеются другие, не экономические — политические причины. Центральная из них — все тот же дефицит нормального, работоспособного, эффективного государства.

Нынешнее наше правительство — это в строгом смысле слова не вполне правительство. Это собрание (даже не коалиция, а именно собрание) лоббистов, представляющих интересы исключительно своих ведомств и отраслей, давно уже не скрывающих, что они лоббисты, и открыто дерущихся за перераспределение в свою пользу государственных средств. В этой межведомственной борьбе в ход идут любые способы и приемы: подковерные, коверные, социальная демагогия, шантаж через намеренное провоцирование отраслевых забастовок (вспомним абсурдную забастовку связистов, устроенную руководством Минсвязи, или перманентные угрозы забастовки угольщиков, подспудно инициируемые руководством соответствующего министерства). Причем при существующем положении дел в стране как-то неловко, грешно бросать камень в чей-то персональный огород. Таковы правила игры, не вчера, как мы выяснили, сложившиеся. Блефуют, передергивают, мухлюют все. Если в такой компании кто-то попытается играть по другим правилам —

честно, открыто, цивилизованно, — он заранее окажется обреченным на поражение. Лучше уж ему не трепать себе попусту нервы и заранее с горя утопиться.

Единственный действенный и авторитетный государственно-политический институт, который на сегодняшний день есть в России, это институт президентства. Потому что институт этот новый, ничем не связанный со старой разложившейся системой бюрократического рынка и наполненный реальным легитимным содержанием.

Кстати, на фоне института президентства очень бледно смотрится такой институт, как Госдума. Многие социологи утверждают, что если бы вместо злосчастных декабрьских выборов был бы проведен общенациональный референдум по вопросу, нужна ли нам вообще Дума, то мы скорее всего остались бы без нее. Людям непонятно, зачем нужен какой-то парламент, когда есть президент, а правительство, по сути, выполняет функции парламента, причем парламента сословного: тут тебе и аграрии, и промышленники, и военные. И все тянут бюджетное одеяло на себя.

Так можно ли, находясь в здравом уме и твердой памяти, при теперешнем квазигосударстве, не способном обеспечить элементарный правопорядок, уповать на какую-либо социальную или экономическую стабильность?

## 2

На что же рассчитывать? Разве на саму жизнь, на благоразумие и волю простых россиян, которые худо-бедно, постепенно научаются самостоятельно решать свои проблемы, обеспечивать себя, свои семьи, как-то самоорганизовываться. Только не случилось бы, что наше общество возьмет да самоорганизуется на основании не цивилизованного права, а воровского закона, однажды окончательно и бесповоротно возобладающего в России над законом легальным. Социальные обстоятельства и нравы сегодняшней российской жизни, по всей видимости, спешествуют именно такому течению событий.

Для государства не слишком опасно, когда бандиты, мафия контролируют нелегальный бизнес, некие маргинальные сферы экономики. В большинстве западных стран существует бизнес криминальный, теневой, и бизнес законный, цивилизованный. Доля первого в национальных экономиках в сравнении с долей второго может быть весьма различной в зависимости от степени цивилизованности страны. Но между этими двумя сферами — криминальной и легальной — наличествует граница, демаркационная линия, межа.

Россия же (почувствуйте разницу!), пожалуй, единственная страна, где подобная граница отсутствует совершенно, а государственные структуры насквозь и сплошь «маркетизированы». В России глупо рассуждать об отмывании грязных денег. Какое отмывание нужно для как бы легального экспорта сырья государственными и полугосударственными предприятиями или импорта на основе эксклюзивных льгот, квот и лицензий? Наш бизнес весь субкриминальный.

В социальной жизни, в политике экономика отражается, как известно, адекватно. И вот мы уже стоим на грани, за которой брезжат очертания криминального государства — того внешне цивилизовавшегося и легализовавшегося «стационарного бандита», о коем я говорил выше.

Старые и новые экономические субкриминальные структуры с некоторых пор усердно ищут и находят способы трансформироваться в структуры политические, претендующие на места в высших эшелонах государственной власти. Вспомним так называемую «партию спортсменов», созданную, профинансированную и фактически возглавленную вскорости убитым конкурентами уголовным авторитетом (то есть все тем же «стационарным бандитом») Отари Квантришвили.

Не менее интересна и существующая на, мягко говоря, сомнительные деньги организация г-на Жириновского, высокопарно и звонко именуемая себя Либерально-демократической партией России. (К слову, автору этих строк не раз доводилось писать о самых тесных связях ЛДПР со странной трастовой корпорацией «ГММ».) Совсем недавно скандально известный сочинитель Эдуард Лимонов настроил многостраничный памфлет против Жириновского. Казалось бы, с чего вдруг? Вроде и тот и другой нацисты, соратники по борьбе с «оккупационным режимом». Ан нет. Лимонов настоящий модельный теоретик отечественного нацио-

нал-социализма, его романтик, то есть деятель сюрреальный, книжный. И он ругает Жириновского за то, что тот не настоящий «социалист» Для него Жириновский слишком реалист, слишком прагматик и циник, слишком делец, ориентирующийся исключительно на спрос, причем спрос платежеспособного криминалитета (и думаю, Лимонов тут Владимира Вольфовича угадал). Жириновский на самом деле практик, и он должен ориентироваться на платежеспособный спрос. Для теневых организаций ЛДПР — это прежде всего высоколиквидное предприятие. У партии Жириновского нет ни принципов, ни реальной политической программы. Только рассчитанная на маргиналов демагогия, доведенный до последней степени маразма популизм

Жириновский готов приспосабливаться к любой аудитории, предоставляя ей самой право формировать его образ, стиль поведения, лозунги, наделять его, Жириновского, теми чертами и характеристиками, которые присущи ей самой и которые она желала бы воплотить в нем. Владимир Вольфович стал как бы языком, инструментом своего электората, состоящего по преимуществу из массы экономически и политически необразованных, лишенных всяких мировоззренческих опор, переживающих глубокий кризис самоидентификации (и в силу чего предельно невротизированных) людей. ЛДПР предоставляет им уникальную возможность идентифицировать, обрести себя в наиболее примитивных и агрессивных формах и лозунгах. Это и есть бандито-нацизм. Избиратели видят, что Жириновский не противник рынка. Так ведь и бандиты ими не являются. Они тоже любят частную собственность. Только не берут в расчет принципа ее неприкосновенности. Идеология Жириновского, как и идеология ориентирующихся на него молодых (двадцатилетних) энергичных криминальных бизнесменов («мальчиков в красных пиджаках», как определяет их Лимонов), есть идеология мародерства, подразумевающая новый, «последний» передел собственности, после чего будто бы и должно установиться статус-кво. Однако механизм мародерской дележки таков, что, будучи однажды запущенным, он уже иначе как с помощью тотального насилия неостановим. Значит, для наведения порядка в стране влед за всеобщим беспределом опять же придется прибегать к экстремным, насильственным мерам. Только насилие это будет не цивилизованным, а бандитским.

Кому как, а мне перспектива воцарения на огромных, начиненных ядерными боеголовками пространствах России «стационарного бандита» видится столь омерзительной, что я не берусь, отказываюсь обсуждать и прогнозировать дальнейшее развитие подобного сюжета. Просто, если существует хоть какое-то политическое будущее у жириновских, стало быть, никакого будущего нет у России. И противодействовать политиканствующим гангстерам необходимо любыми, самыми жесткими, а если понадобится, и непопулярными, недемократическими методами. Хотя бы уже потому, что на карту поставлена судьба страны, миллионов ее граждан, ее культуры.

### 3

Констатирую очевидное: семьдесят с лишним лет коммунистического правления оставили страшный и глубокий след в судьбе России — самосознание большинства россиян серьезно травмировано, повреждена сама онтологическая религиозная, этическая и культурная почва, куда уходят корнями и на которой произрастают здоровая народная нравственность, право и закон, на которой формируется и существует любое цивилизованное общество. Но вместе с тем именно теперь, когда Россия избавилась от имперского бремени, перестала быть частью непомерно разросшегося и пожиравшего все ее внутренние силы и энергию монстродально-го образования с неуклюжим (под стать его строю и существу) аббревиатурным названием СССР, у нас появился хороший шанс создать **собственное** динамично развивающееся и процветающее государство, отвечающее **нашим национальным целям, задачам и интересам**. Государство одновременно и **сильное и свободное — строго правовое**. Непримируемое в отношении всякого разбойника (независимо от его масти, профиля и окраса — политического, экономического или бытового) и предельно благорасположенное к честному, законопослушному гражданину, в меру

сил деятельно и достойно приумножающему личное и, соответственно, общественное состояние. Для начала нам следует перестать неустанно ностальгировать и скорбеть по утраченной, сгнувшейся «великой империи», оставив это «трудоемкое» и «плодотворное» занятие профессиональным публичным плакальщиком из стана коммуно-шовинистов. Формирование русского национального государства произойдет только в результате преодоления имперского наследия.

Империи образуются и структурируются на принципах этатистских и в конечном итоге космополитических.

Империи (в том числе и Российская, а позднее советская) не имеют четких культурных, экономических, социальных, а часто и геополитических, государственных границ. Дело вовсе не в фортификационных сооружениях. Их можно создать в одном месте, потом по необходимости передвинуть в другое. До сих пор ведь не ясно, были ли страны так называемого социалистического содружества и ряд развивающихся азиатских и африканских стран (скажем, Ангола) частью советской мироимперии или нет. (А если да, то до какой степени? Ведь бытовала же в 60 — 70-е годы поговорка «курица не птица, Болгария (Польша, Монголия и т. д.) не заграница».) К тому же в отличие от других империй советская мироимперия оформилась таким образом, что «колонии» столь прилежно и с таким энтузиазмом раздевали и доили «метрополию», что у последней не оставалось элементарной возможности заняться собой, даже и в социокультурном смысле, не говоря уж об экономике и государственном строительстве. Без натяжки можно сказать, что русские, народ древней и богатейшей культуры, собственно, до сих пор не имеют своей стройной государственности, еще и потому у них не оставалось на себя ни сил, ни времени.

Распад Союза был неизбежен именно потому, что россияне просто надорвались на империи, вырвали ее из рук. Они, конечно, могли любить империю, привыкнув к ней, как Сизиф к своему камню, но ничего не поделаешь: руки отсохли. Оно и к лучшему. Сейчас, во всяком случае, хотя бы видно, кто кого кормил-поил, обеспечивал, одевал и обувал. Состояние экономик стран постсоветского пространства (за исключением только, может быть, балтийских) тому лучшая иллюстрация.

В настоящее время в отношении бывших союзных республик национальным интересам России более всего отвечает разумный, здоровый политико-экономический изоляционизм. И не дай бог пытаться восстанавливать империю, к чему нас склоняют не только наши отечественные сумасшедшие, но и шкурно заинтересованные во всевозможных (по типу прежнего) союзах правительств вновь образованных государств, коим, при всей их громогласно декларированной независимости, без привычной российской дармовщинки жизнь не в радость. Если вопреки здравому смыслу подобное воссоединение все же удастся провести без кровопролития (что, конечно, вряд ли), то и тогда Россия неизбежно погибнет, перестанет существовать как самостоятельный культурный и геополитический организм. И не просто надолго — навсегда. А потому любые шаги в направлении экономической и политической реинтеграции нам необходимо совершать исходя исключительно из трезвого расчета и национальной целесообразности. Сохранять другие, пусть и дружественные, народы, обескровливая собственную страну, мы больше не в состоянии: своих дел по горло. И главное из них — обустройство собственного дома.

Имперское государство являло собой своеобразную раковину, под внешней оболочкой которой на надуманных идеологических основаниях кое-как уживались и сосуществовали совершенно разнородные, зачастую несовместимые и враждебные друг другу национально-культурные группы. Новую российскую государственность предстоит создавать исходя из совсем иных — органических, естественных — принципов общественной самоорганизации.

Если принять за аксиому, что нация формируется на основе единства, общности исторической и культурной судьбы составляющих ее племен, этносов и народов, то тогда мы можем сказать, что русская (российская) нация как единая историческая и достаточно однородная социокультурная и психологическая общность к настоящему времени складывается. Однако для завершения этого процесса и построения в России прочного государственного здания требуется еще нечто.

Некая интегрирующая общенациональная стратегическая идея, идея, которую разделяло бы большинство россиян независимо от их этнической, профессиональной и сословной принадлежности и которая помогла бы сохранившемуся здоровому гражданскому элементу российского общества организовать и естественным образом сподвигнуть всех остальных граждан сплоченно, согласно, добровольно и целенаправленно работать на благо своей страны и нового государства. Думаю, что сегодня эта общая идея могла бы быть выражена так **единая, свободная, экономически сильная, процветающая и культурная Россия без коммуно-империалистов, фашистов и бандитов.**

Но для воплощения этой высокой стратегической национальной идеи необходима отправная точка, некая изначальная базовая социальная ценность, опять таки приемлемая для **всей страны**, пользующаяся **максимальным спросом максимально большего числа россиян.** И такой ценностью бесспорно является **естественный национальный порядок.**

Социологические опросы показывают, что установление порядка в России есть основная цель почти всех поддерживающих ту или иную партию или движение электоральных групп населения, независимо от их непосредственной политической ориентации. Другое дело, что разные люди — в зависимости от своего мировоззрения — вкладывают в понятие «порядок» различное содержание. Для кого-то это тотальное насилие, свирепость власть предержащих, предельная, а вернее, беспредельная регламентация всех сторон не только государственной, но и экономической, общественной и частной жизни граждан, ставшая привычной за десятилетия большевистского царства. Для большинства же россиян, успевших за последние три-четыре года осознать непреходящую ценность политических, гражданских и экономических свобод, порядок ассоциируется с естественными и твердыми гарантиями личной безопасности и безопасности их близких, гарантиями неприкосновенности их собственности, действительной свободы экономической деятельности, с их защищенностью от произвола госчиновника или же вольного лиходея.

К слову сказать, наши крупные и средние предприниматели и коммерсанты, работающие в цивилизованном, легальном бизнесе, заинтересованы сегодня в легальном государственном порядке, наверное, более чем кто-либо иной. Им регулярно приходится тратить массу энергии, времени и «живых» денег, чтобы хоть как-то оградить себя и свое дело от поползновений заматеревших экономически и политически криминальных структур (не говоря уж о постоянной угрозе непосредственной физической расправы с ними самими и их семьями, исходящей со стороны бесчисленных разбойничьих шаек.)

Цивилизованный предприниматель начинает понимать, что если дела так пойдут и дальше и в России окончательно укоренится и восторжествует «стационарный бандит», ему, предпринимателю, ничего другого не остается как только навсегда уходить из бизнеса либо мылить лыжи и навсегда съезжать из этой страны. И смиренно, отрешенно наблюдать, как Россия превращается в вотчину бандитов, в одну сплошную воровскую малину, они не желают. От этих людей во многом зависит экономическая будущность страны — ее процветание или уже окончательное падение, — и их **спрос на порядок** не просто частный, гражданский, но и **высокоплатежеспособный.**

Короче говоря, порядок является на сегодняшний день для огромного большинства граждан России **вербальной ценностью**, которую предстоит **конкретизировать**, наполнить **реальным смыслом.** И очень важно, **кто** (красно-коричневые, легализовавшиеся воры в законе или люди, исповедующие принципы цивилизованной, либеральной государственности), **в каких целях**, с помощью **каких структур** и **какими методами** это сделают. Одно дело — стремиться к тоталитарному порядку, чтобы затем помыть сапоги в Индийском океане, реанимировать СССР или Российскую империю в границах 1991 и соответственно 1917 года (то есть в целях бесспорно антинациональных) или же устанавливать авторитарный режим коррупционера, вора и бандита (что национально-государственным задачам тоже не отвечает) и совсем другое — устанавливать в стране легальный правопорядок, если надо, то и жертвуя какими-то формальными демократическими механизмами и процедурами, руководствуясь идеалами создания цивилизованного свободного об-

щества, нормальной рыночной экономики, либерального и правового национального государства.

Сейчас главное, кто выиграет инициативу: либерально настроенные государственники или же мафиозные, антинациональные и проимперски настроенные силы, в своих корыстных интересах эксплуатирующие, а вернее, профанирующие идею национального порядка. Какую-то часть электората жириновцев, коммунистов и аграриев при умелой и направленной работе с ней (особенно в средствах массовой информации), наверное, возможно «распропагандировать», перехватить и перетянуть из лагеря демагогов-популистов на сторону цивилизованной демократии. Но можно просто не успеть. Времени до новых парламентских и президентских выборов слишком мало (и это еще при благоприятном для демократов стечении обстоятельств, так как у красно-коричневых и воров в законе сроки и планы, как мне представляется, несколько иные — свои). Допустить же, чтобы через демократические процедуры к власти в России (как это уже однажды случилось в веймарской Германии) пришли маргиналы и просто бандиты, нельзя ни в коем случае. Поэтому в критической ситуации **временное** приостановление некоторых **демократических процедур** (при сохранении основных конституционных свобод граждан) и переход к прямому президентскому правлению (поскольку, как мы уже отметили, институт президентства на сегодняшний день — единственный действенный и легитимный государственный гарант соблюдения правопорядка и равно политической свободы в стране) могут оказаться той необходимой ценой, которую, как и в октябре девяносто третьего, нам потребуется заплатить за возможность нормально жить в стабильном и цивилизованном государстве.

Само собой, безответственная часть образованцев социал-демократического толка из числа «пикейных жилетов» и отставной политической козы барабанщиков поднимут в прессе, на радио и телевидении вселенский гвалт и плач по злодейски убиенной российской демократии (как то, собственно, уже и было в конце прошлого года), благо просвещенно-либеральное (в общепринятом европейском смысле последнего понятия) авторитарное правление, в отличие от коммуно-шовинистического и уголовно-криминального, им подобную возможность предоставит. Как последнее время водится (чудны дела Твои, Господи!), поучаствуют в информационной истерии и коммунисты, прежде всегда люто почитавшие демократические нормы и отчаянно, до скрежета зубовного обожавшие свободу. Однако думаю, что здравомыслящие либералы-государственники обязаны будут пренебречь кликушеством людей, более приверженных демократическим механизмам, нежели демократическим **ценностям**, слепо предпочитающих форму содержанию и готовых безответственно пожертвовать вторым ради первого (если, конечно, настоящие демократы не желают повторения в России 90-х годов событий февраля — октября 1917-го). В этом смысле я готов подписаться под словами Наума Коржавина, высказанными им еще в 1984 году в открытом письме, адресованном упрекавшему некоторых русских эмигрантов-антикоммунистов в «недостаточной демократичности», ныне покойному немецкому прозаику Генриху Бёллиу («Страна и мир», 1984, № 11): «К сожалению, жизнь часто оставляет нам выбор только между далеко не очень хорошим и ужасающим. Если уйти от реально стоящего выбора и выбрать в этих обстоятельствах «замечательное», отвергая «далеко не очень хорошее», практически выберешь ужасающее».

В случае **вынужденного временного** приостановления некоторых демократических процедур речь должна идти не о длительной политической «подморозке» страны (и уж тем более не о тотальном политическом, идеологическом и экономическом терроре, какой практиковался большевиками), а напротив — о достаточно коротком, ограниченном **одним-двумя годами**, периоде дебандитизации, радикальной правовой санации государственных институтов и структур, их кардинальном обновлении (приведении в соответствие с нормами цивилизованной рыночной экономики). Без жестких, но **легальных** насильственных мер тут вряд ли обойдешься. Не обойдешься и такими паллиативами, как последний президентский указ о борьбе с организованной преступностью. Его пафос абсолютно оправдан и понятен. Но реализовать указ с помощью старых, несанированных государственных структур и органов практически нельзя.

Доставшиеся нам в наследство от советской системы правоохранительные органы — неотъемлемая часть деградировавшего, торгующего государства. И как все остальные его части, они также коммерциализированы и коррумпированы. Президентский указ для них — возможность повышения качества и стоимости платных услуг, предоставляемых ими организованным бандитским группировкам. Дальнейшее легко просчитывается. Для многих бандитов новая стоимость подобного рода услуг окажется непомерно высокой, и им придется уйти либо с рынка, либо из жизни. И все. Рынок полицейских услуг, а вслед за ним и весь криминальный рынок в целом монополизирован больше прежнего.

Никакие указы и начинания, сколь бы благими намерениями они ни диктовались, сами по себе, не будучи встроенными в **продуманный и последовательный комплекс экстраординарных мер и действий**, наших больных проблем не решат. Для того чтобы свернуть шею бандитам и построить новую, цивилизованную Россию, надо сначала очистить строительную площадку от хлама, от смердящих останков разложившегося старого государственного мастодонта.

Госчиновник должен раз и навсегда уйти с рынка: должен перестать заниматься экономическим регулированием и распределением в сфере производства и торговли, то есть теми формами деятельности, которые не только тормозят нормальное функционирование и развитие экономики страны, но и являются в наших нынешних условиях **главным источником государственного воровства и коррупции**. К предельному минимуму следует свести функции чиновника в фискальной и социальной областях. (К слову заметить, справедливыми налогами и эмиссионными доходами государства могут считаться лишь те, которые тратятся исключительно на пенсии, пособия, медицину (и здравоохранение в целом), на образование и культуру, на содержание армии и полиции. **И только**. Это первое. И второе. Построение государства не разовая сиюминутная волевая акция, но долгий и кропотливый общенациональный процесс самоорганизации всего общества (отделочных работ достанет не на одно десятилетие, хватит не одному поколению россиян). Единственное, чего **ни при каких обстоятельствах** невозможно позволить, это чтобы наше начавшееся общенациональное дело было прервано перехватившими власть авантюристами-маргиналами (жириновцами ли, зюгановцами, руцкистами, легализовавшимися амбициозными паханами — в данном случае не важно, кем конкретно). И потому сам фундамент и каркас нового государственного здания нам необходимо заложить и возвести в предельно короткие сроки...

\* \* \*

Вернусь к началу своих заметок и повторю уже сказанное: русское «экономическое чудо» не за горами. Все необходимые базовые собственно экономические условия для него созданы. Осталось обеспечить условия институционально-политические.

Сегодня наша страна находится на переломе: либо мы, русское общество, совместными усилиями создадим свое государство, либо мы обречены на долгий, унижительный период экономической стагнации, социальной нестабильности и бандитского произвола, прерываемого вспышками кровавого насилия, пока порядок в России не восстановят сами бандиты в собственных корыстных интересах.

Если мы не хотим жить в стране, полностью принадлежащей бандитам, нам необходимо заново и на новом национально-демократическом основании выстроить русское государство и обеспечить легальный и законный порядок, защищающий человека от произвола, от кого бы он ни исходил: от чиновника, политического смутьяна или бандита.

Август 1994.

---

---

АНДРЕЙ БЫСТРИЦКИЙ

\*

## Urbs et orbis<sup>1</sup>

*Городская цивилизация в России*

**М**ногие мыслители утверждали, что все свои изобретения люди используют в первую очередь для нужд человекоубийства. Это не совсем верно — только во вторую. В первую — для расширения общения. Стоило открыть электричество, как люди применили его для создания телеграфов, семафоров, телефонов и тому подобного. Бумагу очевидно изобрели для общения. Про телевидение и радио и говорить нечего, причем, в отличие от атомной бомбы, ученых понукать не приходилось. (Даже такой важный процесс, как питание, и тот теснейшим образом связан у людей с общением. Психологи давно заметили, что маленькие дети, чувствуя нелюбовь родителей, перестают есть.)

В каком-то смысле все развитие, все становление человеческого мира можно связать с развитием коммуникаций — с общением. Мера эта универсальна: общение безусловно одна из самых важных, уникальных и наиболее интегративных ценностей. Все, что способствует нормальному общению людей, безусловно хорошо, все, что препятствует, — безусловно плохо. При этом общение следует понимать как самую широкую коммуникацию, куда входят, в частности, торговля, производство, межличностные отношения и т. д. Практически любое действие можно оценить с точки зрения отношения к общению (социальное неравенство, к примеру, с определенных пор ограничивает общение).

Иначе говоря, общение — доминантная ценность, аккумулирующая в себе собственно человеческую, самостоятельную активность. Мы часто ищем причины самых разных конфликтов в столкновении идеологий, финансовых интересах, в психических отклонениях и тому подобном. Но практически всегда в основе всех конфликтов, начиная от межцивилизационных и кончая бытовыми, лежит общение, его различное понимание. Во время склоки на коммунальной кухне люди, по всей видимости, подспудно спорят прежде всего о своих коммуникативных ролях и о предмете общения. Конфликт между фашизмом и либеральной демократией не в последнюю очередь возник из-за несочетаемых представлений у идеологов и представителей этих двух политических формаций о способах общения и возможностях человека участвовать в коммуникации. (Немецкие национал-социалисты считали, например, что славяне и евреи не могут участвовать в социокультурном общении на тех же основаниях, что и представители «высшей расы». Кроме того, они предполагали, что межличностное общение линейно и жестко детерминировано статусом в социальной и расовой иерархии. Естественно, что те страны, для которых свобода выступала прежде всего как свобода общения, не могли согласиться с такими представлениями.)

Город — одно из самых универсальных выражений общения. Если развитие человечества связано с расширением общения, то одна из наиболее эффективных и действенных форм этого расширения — урбанистическая, то есть городская, цивилизация, выступающая как его своеобразный интегративный показатель.

---

<sup>1</sup> Город и мир (лат.)



\* \* \*

Возникновение городов загадочно. Разговоры о том, что необходимость совместной обороны и торговля вынудили людей поселиться вместе, на мой взгляд, сомнительны. Думаю, что все происходило несколько иначе — сначала люди обживали определенные территории, а уж потом нападали на других и отражали чужие нападения. Сначала находили и определяли потенциальных покупателей и только потом производили и продавали товар. Конечно, это до некоторой степени художественная натяжка, но возникновение городов едва ли есть следствие только однозначных рациональных причин (хотя последние, разумеется, сыграли свою роль). Лорка как-то заметил, что истинная поэзия заключается не в том, чтобы придумывать, скажем, великанов для объяснения возникновения пещер и представлять, как огромные и нелепые существа прорубают горы чудовищных размеров кайлами и кирками, — действительная поэзия состоит скорее в умении увидеть, как маленькая капля воды в течение тысяч лет постепенно точит скалы. Точно так же обстоит дело и с городом. Кому-то, возможно, проще вообразить, как безликие и грозные силы слепой инстинктивной необходимости заставляли людей сбиваться в стаи для безопасности и торговли. Но, по мне, куда вернее и прелестительнее угадать в создании городов свободную действенную волю личностей и их главный мотив — любознательность, познание, общение, коммуникацию. (Другой вопрос — какого рода коммуникация, какого типа общение лежит в основании каких городов. Мусульманский город отличается от христианского, индийский — от китайского.)

Совершенно ясно, что города возникают только на определенном этапе человеческого развития. Должен накопиться некоторый опыт взаимодействия между людьми, люди должны почувствовать и осознать, что мир шире их племени и деревни, что они нуждаются в том, чтоб их стало, «как песка морского», что без создания новой единицы общения их дальнейшее существование и эволюция невозможны.

Становясь и развиваясь, город определяет возникновение государственности, нового смысла и порядка жизни социума. Город оказывается мерой развития и структуризации человеческой жизни. Каждый из нас знает, что одна из самых важных проблем в жизни человека — организация времени, а через него и всей своей жизни, поведения, успехов и неудач, работы и отдыха и т. д. И чем развитей, культурнее человек, тем важнее и одновременно сложнее для него структурировать свою жизнь. Неврозы, расстройства, нервные срывы и депрессии чаще всего следствие неструктурированности времени, в котором живет человек. Сельский житель, пахарь, близкий к природе, пастух на альпийских лугах укоренен в органической структуре и цикличности времени. Времена года, погода, естественное поведение обитающих рядом и вместе с ним животных задают естественный строй времени, и если сжиться с ним, то и проблем почти не возникает. Однако такой ритм хотя по-своему органичен, хорош и привлекателен, но не всегда позволяет человеку совершать волевые интенсивные усилия для самоустроения жизни, задать новый темп своей деятельности, сколь-нибудь независимый от окружающей природы.

Развитие человека требовало новой структуры общения, новой формы для него. Банально напоминать, что греки называли город полисом и что полис, по существу, являлся государством. Для нас здесь важно то, что появившийся город и государство принесли с собой иерархию, то есть структуру коммуникации. А без структуры, как известно, почти ничего не возможно. Социальная иерархия устанавливала правила поведения (по сути — общения), предписав, кто, когда, с кем и как может общаться, в какой степени общение является произвольным выбором человека, а в какой ему полагается поступать единственно возможным способом. (Таким образом, кстати, возникла проблема соотношения между произвольным и вынужденным общением. Некоторым, хотя и неполным, ее решением можно считать утверждение, что там и только там, где есть общение, есть свобода. То есть, общаясь, мы свободны. В коммуникации мы не только обретаем свободу, что, конечно, значимо, но и становимся субъектами свободы, что куда важнее.)

Город — в сравнении с селом и деревней — не только прибавил степеней свободы поведению человека, но и создал принципиально новую организацию пространства и времени для человеческого взаимодействия. Если не замыкаться на общении как вербальной коммуникации, то город можно вообще считать разверну-

тым во времени материальным высказыванием, метаязыком поведения, на котором могут разговаривать люди разных поколений, подчас разнесенные друг от друга на сотни и тысячи лет. (Конечно, город как язык не вполне удовлетворяет аксиомам Карла Бюлера. Город скорее не сам по себе язык, но средство этого языка.) Когда видишь разрушенный или брошенный, да и просто запущенный город, каковыми, к сожалению, являются и многие российские города, то невольно возникает ощущение незавершенного высказывания, высказывания с пропущенными словами. В таких городах постоянно возникают проблемы цивилизованного взаимодействия людей друг с другом, разрушения коммуникативного пространства. Нецензораздельная речь, бессмысленный бунт, жестокость, тупая агрессивность выступают суррогатами действительной коммуникации. В неполноценных городах не может сложиться полноценного общения.

Возникнув, город дал мощнейший импульс для развития науки и культуры, научных и культурных, государственных и политических структур (вспомним, например, афинскую академию, александрийскую библиотеку и т. д.). *Urbi et orbi* (городу и миру) — это римское обращение во многом символично, поскольку ставит на первое место то, что и в самом деле первично и изначально важнее. Пока мы ведем речь о городах европейских, о тех городах, что являются прародителями всей современной Европы, включая Россию. В Китае и Японии, в Индии и на арабо-персидском Востоке такие города не возникли. (В этом отношении характерны воспоминания Марко Поло и других христианских путешественников о городах, посещавшихся ими во время странствий.)

В настоящей статье я не стану слишком углубляться в особенности развития городов различных типов цивилизаций. Замечу только, что, по всей видимости, европейская модель города — так, по крайней мере, было до самого последнего времени — оказалась коммуникативно продуктивнее (что и обусловило очевидное лидерство европейских цивилизационных моделей в Новом Свете — в Северной и Южной Америке, Канаде, Австралии).

Мусульманский город, к примеру, при всем видимом богатстве сосредоточенной в нем культуры, основывается на, по сути, механическом, чисто внешнем сожительстве различных племен. Каждый квартал мусульманского города заметно изолирован от других и является своеобразным ареалом обитания отдельного племени или рода и представляет собой как бы отдельное и, в сущности, замкнутое поселение. Иначе говоря, такой город сохраняет территориальное членение, горожане принадлежат прежде всего своему кварталу, а уж потом городу в целом. Внутренние перегородки, жесткая иерархия, существенная опосредованность связи горожанина с городом как с единым социокультурным организмом — характерные черты не только мусульманского Востока, но, например, и Китая.

Конечно, и европейский средневековый (и даже позднесредневековый) город являл собой своеобразный конгломерат ремесленных цехов — целых улиц, населенных исключительно медниками, кожевниками, оружейниками. Но не следует забывать, что, во-первых, это было деление все же по профессиональному, то есть самостоятельно выбранному человеком, признаку, и, во-вторых, даже при всех этих внешних перегородках перемена места жительства и цеха для европейца была достаточно легка. Во всяком случае, степень несвободы, которую приходится преодолевать при перемене профессии, несравнимо ниже, чем при перемене своего рода-племени (Последнее на Востоке вообще практически невозможно, за исключением специально оговоренных случаев: брак, изгнание, продажа в рабство и т. п.)

Естественно, что различные культуры прямо или косвенно влияют друг на друга. Так, многое и в городской цивилизации Ближнего Востока сформировалось благодаря сперва эллинскому, а затем европейскому и вообще христианскому влиянию (начиная с походов Александра Македонского и позднее крестоносцев). Европа безусловно много приобрела благодаря тесным контактам с арабами, китайцами и индийцами. Не случайно современная Анкара — город весьма европеизированный, а Стамбул являет собой пример удивительного мозаичного смешения и взаимопроникновения различных культур и цивилизационных моделей. Коммуникативная сущность человека в состоянии взломать многие замкнутые этнические культурные и религиозные традиции. Одновременно, естественно, эти самые традиции чаще всего необратимо уникальным образом влияют на тип и характер городов, на их социокультурную физиономию.

Сегодня проблема городов во всем мире — наиболее эффективное и органичное сочетание вековых традиций, национальной ментальности с коммуникативной, открытой и свободной сущностью полиса. Где такая связь устанавливается, там возникает вполне процветающий, удобный для человеческого общежития город, исполненный одновременно национального своеобразия и предельно благоприятный для межнационального, межкультурного общения его жителей и гостей. Такие города завораживают, о них пишут книги, в них царит доброжелательность и любовь, предприимчивость и искусства. Возможно, именно такими были (и все еще остаются) Париж и Рим. И быть может, именно таким городом суждено стать в недалеком будущем Москве.

\* \* \*

Городская цивилизация сегодня формируется в нашей стране достаточно быстро. Уровень урбанизированности России выше, чем в прибалтийских республиках: три четверти населения страны живет сейчас в городах, почти половина в крупных. И хотя качество жизни в них оставляет желать лучшего, они все же остаются городами. Если мы обратим внимание на сравнительное спокойствие, сопровождающее нынешние фундаментальные российские реформы, то, видимо, объяснение этому следует искать также и в достаточно успешном развитии городской цивилизации в России. (Исследования, проводимые в настоящее время социологами, показывают, что в целом характер претензий, предъявляемых сегодняшним российским обществом правительству, в основном соответствует претензиям, обыкновенно высказываемым гражданами других развитых современных цивилизованных государств своим властям. Не менее важен и способ выражения этих претензий. По всей видимости, хамский бунт как форма выражения несогласия с политикой государства уже не набирает — или набирает с трудом — необходимой критической массы для политических волнений.)

В равной степени и многие наши теперешние проблемы, сложность и противоречивость идущих демократических преобразований в значительной мере имеют причиной сложное и непоследовательное становление городской цивилизации в России. Ее особенности, ее недоформированность весьма существенно сказываются на ситуации в стране. Трагические катаклизмы, пережитые в нынешнем столетии Россией, во многом, и не в последнюю очередь, были обусловлены сложной и драматической историей развития российских городов. Особенность же нынешней ситуации в том, что, пожалуй, впервые в отечественной истории силы городской цивилизации в худшем случае равны, а возможно, и превосходят силы и возможности ее противников.

Особенности совершающихся в современной России преобразований, необычайная многомерность, сложность идущих в нашей стране социокультурных процессов требуют — для анализа происходящего — применения каких-либо универсальных мер. Город как раз и является такой естественной мерой, органически сочетая в себе самые разнообразные измерения — от социально-демографических до ценностных.

То, что в России не сформировались города чисто западного типа, — аксиома. Проблема в другом — в том, о чем столь часто и столь подробно говорят и спорят наши «западники» и «славянофилы»: что являет собой сама Россия? Неполноценную европейскую страну? Неполноценную азиатскую? Нечто межумочное — Евразию (Азиопу)? Просто некую ни с чем не соотносимую цивилизацию? Ясного ответа нет. Например, профессор Хантингтон дал два цивилизационных определения России: с одной стороны, Россия относится к особому восточно-православному типу цивилизации (вместе с Украиной, Белоруссией, Сербией), а с другой — к «расколотым странам», в которых идет борьба между различными видами цивилизаций. В чем-то г-н Хантингтон, наверное, прав. И то, что сегодня Россия совершает важный цивилизационный выбор, очевидно. Равно как очевидно и то, что в России сейчас стремительно меняется тип господствующей культуры, образ жизни, поведения, общий рисунок национальной ментальности. Следовательно, меняется и тип российского города, характер нашей городской цивилизации. При этом только воспаленное воображение «патриотов» и прочих неадаптированных к городу невротиков может воспринимать эти процессы исключительно как губительные

для отечественной культуры, предвещающие закат Российского государства и тому подобную глупость. По-моему, все обстоит как раз наоборот: происходит обновление и нормальная эволюция форм национальной жизни и россияне постепенно избавляются от собственной болезненной и злокачественной социальной инфантильности. Но обо всем по порядку.

Начнем с того, что славянские, а точнее — русские, города приобрели качественные отличия от западноевропейских не сразу. Во времена Киевской Руси если такие отличия и существовали, то они не носили сущностного, принципиального характера. (История утров, населявших территорию нынешней Венгрии, в этом отношении достаточно показательна, как, впрочем, и вообще судьбы западных славянских племен.) Действительные и значимые отличия начали складываться со времен разделения Церкви на западно- и восточнохристианскую, усилились с началом в Европе эпохи Возрождения и приобрели сверхзначимые черты после Реформации.

Становление и развитие свободного европейского города явились формой и содержанием, причиной и следствием формирования гуманистической цивилизации, науки и права, духа социального партнерства и гибкой социальной иерархии.

России все время приходилось догонять. Города развивались медленно, ремесленные и купеческие сословия были слишком слабы. Я вовсе не хотел бы выступать таким очернителем и хулителем своего отечества. Бесспорно, что Россия имеет судьбу великой державы, что русский народ не раз проявлял поразительное мужество и не менее удивительные таланты. Русские сумели построить могучую страну, одержать многие изумительные победы. Но цена, заплаченная ими за все исторические достижения, была непомерно высока. Какие-то пути, очевидно, мешали успешному и поступательному движению российского общества. Не станем здесь называть и рассматривать их все. Остановимся лишь на одной из причин, бывшей тормозом многих наших новаций (и являющейся предметом рассмотрения настоящей статьи), — на месте и роли российского города в трагических коллизиях отечественной истории.

Владимир Соловьев писал, что «исторически сложившийся строй русской жизни выражается в следующих ясных чертах: церковь, представляемая архиерейским собором и опирающаяся на монастыри, правительство, сосредоточенное в самодержавном царе, и народ, живущий земледелием в сельских общинах. Монастырь, дворец и село — вот наши общественные устои, которые не поколеблются, пока существует Россия»<sup>2</sup>. Но именно они-то и поколебались, причем не просто поколебались, а разрушились едва ли не в одночасье. Заметим, что позже Вл. Соловьев высказал немало других соображений о развитии городской цивилизации в России. Однако остаются открытыми вопросы: почему же город и городские сословия, по мнению Соловьева (да и не только по его мнению), не составляли социокультурной основы тогдашнего Российского государства и почему то сельская община, то маргинализованный пролетариат воспринимались обществом как фундамент в равной степени и стабильности государственных институтов, и их преобразований? Ответ, по всей видимости, прост: города в полном смысле этого слова в России долгое время не существовало, а когда он стал по-настоящему формироваться и структурироваться, его смели те, чье существование было невозможным в условиях цивилизованного полиса.

Характерно, что эта проблема была присуща не только России. Нечто сходное переживали, к примеру, латиноамериканские страны. У романа Сьерранто «Факундо» есть подзаголовок: «Борьба пампы и городов в Аргентине». Именно пампы, а не просто села, фермеров, помещиков. Пампа есть нечто пограничное, межеумочное, возникшее в пространстве между традиционной сельской и городской культурами. В Аргентине на рубеже веков именно гаучосы, всякого рода бродячий, нигде не пустивший прочных корней элемент, живущий то на окраинах городов, то в пампе, то приторговывающий намытым в горах золотом, то доставляющий контрабандное спиртное, то пасущий быков, и составляли для государства главный предмет беспокойства, являясь постоянным источником всевозможных восстаний, смут и мятежей. Вероятно, существовало множество причин для недовольства этих людей условиями своего существования; окружающий их мир часто был по отношению к ним жесток и несправедлив. Но почему они всегда избирали путь мяте-

<sup>2</sup> Соловьев В. С. Сочинения в 2-х томах. М. 1989, т. 1, стр. 243

жа, почему город был для них не тем местом, в котором они стремились самоутвердиться, обрести новый социальный статус, а просто территорией для разграбления?

Я далек от мысли искать прямые прототипы гаучосов на равнинах России, но очевидно, что сходные причины даже в весьма не сходной обстановке привели к сходным последствиям.

Ю. Тынянов в свое время прозорливо обратил внимание на явление, названное им культурой городского посада, то есть на существование особого, не менее, а может быть, в чем-то и более значимого, нежели собственно городское население, слоя жителей пригорода, посада, занимающего как бы промежуточное положение между селом и городом. В 1917 году именно этот слой сыграл в России решающую роль в победе большевиков. Отряды красногвардейцев состояли вовсе не из кадровых рабочих, которые относились к призывам к восстанию большевистских военно-революционных комитетов довольно-таки индифферентно, предпочитая более заботиться о таких простых и насущных вещах, как прибавка к жалованью и сокращение рабочего дня. В основном в красногвардейцы шли мелкие лавочники, малоквалифицированные пролетарии, люмпены, босяки, уголовники и тому подобная публика.

Сначала реформы, начатые Александром II и отчасти продолженные Александром III и Николаем II, а затем решительные столыпинские преобразования русской деревни нанесли сокрушительный удар крестьянской общине. Массы сельских жителей ринулись в города. Но немногочисленные и недостаточно развитые российские города просто не смогли принять и ассимилировать всех желающих. Массы мигрантов неизбежно сосредоточивались главным образом на городских окраинах, занимались мелким предпринимательством, трудились как разнорабочие, получали зачастую мизерную зарплату и при этом видели город только издали как манящую, но недоступную им мечту, вызывающую зависть и раздражение, желание одновременно и захватить и уничтожить городской мир.

Впрочем, справедливости ради следует признать, что и до реформ середины XIX — начала XX века российским городам была присуща не собственно городская структура, такая, как, скажем, в городах Западной Европы, а скорее квазигородская. Город в России составляли в основном присутственные здания, дворцы, магазины и весьма ограниченное число чиновничьих и купеческих домов. Мещанство, то есть подлинно городское сословие, у нас так и не успело сложиться. Городская культура в действительно развитых и массовых формах отсутствовала, а сельская постепенно, но верно распадалась.

Тем не менее после начала столыпинских реформ русский город все же стал развиваться более интенсивно. Об этом свидетельствуют и расцвет в начале нынешнего века литературы и искусств, и начавшееся интенсивное формирование гражданского общества, и бурный рост промышленности, и появление значительного слоя собственно горожан: рабочих и служащих, объединенных общим культурно-цивилизационным ландшафтом, единым типом общения. Становление города окончательно подрывало позиции социального разночинца-интеллигента. Недоучившийся студент или двоечник из телеграфного ремесленного училища, пишущий стихи и тайком читающий Маркса, переставал быть культурным героем и предметом романтических бредней русских барышень. Общество взрослело, но, так и не успев достигнуть зрелости, сорвалось в кровавую революцию, учиненную люмпенской массой под водительством небольшой кучки успешно использовавших свой последний шанс на самоутверждение интеллигентов-недоучек.

После революции и гражданской войны нормальное развитие российских городов было прервано. Процесс миграции сельских жителей в города с воцарением большевиков еще более усилился, в особенности в результате варварской коллективизации и раскулачивания. Вчерашние крестьяне несли с собой свою культуру, только в отличие от культуры нормального сельского мира, это была культура покореженная, псевдопатриархальная.

Попадающий в город маргинал чувствовал себя первопроходцем, покорителем «каменных джунглей», которые ему предстояло освоить, одолев сонм воображаемых недругов. Подозрительный и злой, лишенный корней, униженный необходимостью проявлять непривычные по интенсивности и форме усилия для выживания, такой человек был предельно социально опасен и агрессивен. Естественно, что он стремился не столько овладеть чуждым ему прошлым, сколько до основания разрушить его. Отсюда «экспроприация экспроприаторов» (захваты и разграб-

ления дворцов и музеев), отсюда массовые расправы над «бывшими», насилие и вандализм. То, что прежде было далеким, теперь сделалось близким, а главное, легкодостижимым.

В большинстве своем переселенцы из села пытались создать оазисы сельской культуры в городе. Самое яркое выражение этого процесса — появление городских дворов, очевидных аналогов сельской околицы. Их нравы, присутствие вечного судилища из старух у подъездов, предписывающих молодежи жестко регламентированные и зачастую фарисейские нормативы поведения, отсутствие приватности личной жизни — все это известные признаки деревенского быта. Органичные в изначально консервативной и патриархальной деревне, в городе они совершенно неуместны, поскольку город основан на принципиально ином уровне коммуникации.

В этом отношении стихи, песни, повести и рассказы, принадлежащие многим нашим талантливым литераторам (например, Б. Окуджаве и В. Высоцкому) и поэтизирующие дворовой, коммунальный быт, представляются мне отвлеченными, имеющими весьма малое отношение к реальности ностальгическими рефлексиями. Очень трудно, если вообще возможно, вообразить себе, допустим, Алексея Толстого, Михаила Булгакова или Михаила Зощенко (не говоря уж о таких сполна хлебнувших коммунального лиха поэтах, как О. Мандельштам и А. Ахматова) восторгающимися дворами и коммуналками и ностальгирующими по поводу их исчезновения. Эти и многие другие писатели, будучи по природе своей представителями подлинной, а не псевдогородской культуры, на дух не переносили советской коммуналности, являвшейся для них свидетельством крушения цивилизационных ценностей и торжества варварства и хамства.

\* \* \*

Однако вернемся еще раз к социально-психологическим причинам событий 1917 года. В последнее время уже достаточно много писалось и говорилось о накопившихся к этому времени в России нерешенных экономических, социальных и политических проблемах, обостренных к тому же мировой войной. Но почему все же вдруг определенная группа людей решает, что ей подходит исключительно насильственный, радикальный способ действия? Отчасти потому, что масса так называемой рабочей молодежи, живя и работая в своих предместьях, не имела никакого представления, как им структурировать свою жизнь во времени, чтобы хоть чего-нибудь добиться. Замкнутые в необычайно упрощенном общении, они не видели мостика между своей жизнью и жизнью города, находившегося рядом. У них не было ощущения ясного операционального способа поведения, с помощью которого они могли бы изменить свой статус, достичь желаемого материального благополучия, самоутвердиться. В них жило то, что называли нетерпением, горением то есть дикое и плохо продуманное стремление сейчас, немедленно, разом захватить то, чего нормальным, цивилизованным путем они добиться не умели. Эти люди были абсолютно дезадаптированы к городу, погружены в стихию патернализма, исключаящую личную ответственность и порождающего страх перед необходимостью принятия индивидуальных решений.

Американский психолог Эриксон писал о регрессивном поведении у подростков, которое, по сути, диктуется подсознательным желанием как можно дольше избегать взрослой, ответственной жизни. Характерно, что подобное желание часто толкает подростка в шайки, полукриминальные или просто преступные группы под опеку авторитетного взрослого лидера. Невозможность структуризации времени и участия в сложном и разветвленном городском общении неизбежно превращает незрелого, безответственного человека в большого ребенка, ищущего покровительства и крайне упрощенного общения с четким ролевым расписанием. Так формируется социальный инвалид, тупой солдат в бандитской шайке, шпана, не врозик, при малейшей сложности впадающий в агрессивную или эскапистскую истерику.

Революционная жестокость, крайняя ненависть бунтарей к состоятельным горожанам во многом стала следствием их коммуникативной неадаптированности, неумения управлять временем и собой во времени.

Российские города, еще достаточно молодые, не сдались сразу на милость «победителям». Городская жизнь в России постоянно воспроизводила себя, и патерналистская власть большевиков столь же постоянно подавляла ее. В 20-х и 30-х годах

большевикам было кого сажать. Стихийное, а отчасти сознательное сопротивление молодой российской цивилизации продолжалось приблизительно до 40-х годов.

У нас сегодня бугует целый ряд предвзятых представлений и мифов о том, как утверждалась советская власть. Существует, например, мнение, будто бы огромные массы российского населения были охвачены революционным подъемом, что коммунистическая идеология превратилась в России в своего рода религию, которая-де заменила христианскую. Как уже говорилось, опоры большевизма на самом деле составляли антигородские, сущностно маргинальные, псевдопатриархальные, патерналистски ориентированные слои. И хотя доля этих слоев в тогдaшнем российском обществе и была значительна, но составляющие их социальные группы все же были меньшинством населения, и только слабость традиционной сельской культуры, разлагавшейся по меньшей мере с середины XIX века, и недоформированность культуры собственно городской позволили этому относительно меньшинству овладеть ситуацией. Но это меньшинство не имело никакой осознанной идеологии, кроме идеологии вульгарного нищезанства. За исключением ничтожно малой кучки фанатичных коммунистов все остальные «революционеры» воспринимали совершающийся социальный катаклизм как уникальный шанс переменить судьбу, вскарабкаться на вершину социальной пирамиды.

Большевицкие кадры в основном состояли из молодых, энергичных людей, прежде относившихся к низам общества. В свое время автору этих строк привелось пообщаться с рядом «видных деятелей государства и партии». Эти деятели начинали в 20-х годах и сделали фантастические карьеры, став к 30-м годам всевозможными наркоманами, управленцами, «командирами производства», то есть верхушкой советской номенклатуры. Характерно, что никто из них особенно не упивался идеями коммунизма, вообще-то не сомневался в лживости обвинений, предъявленных репрессированным во времена сталинских чисток. Просто все они воспринимали жизнь как беспощадную и кровавую ссватку за власть и статус. И репрессированные, кстати, при таком подходе выглядели как естественные жертвы нормальной борьбы — им не повезло, они проиграли, и только. Что было для новых устроителей и управителей жизни действительно ценным, так это атрибуты власти. Империя, огромные территории, миллионы людей в подчинении, трепещущий перед ними мир — вот это грело их души, наполняло сознание ощущением собственно-го величия.

Однако помимо этих людей и социально близких им типов существовали миллионы других. Это только в советских книжках для детей писали о миллионных отрядах пионеров и комсомольцев, существовавших будто бы уже в 20-х — начале 30-х годов. В реальности же в те годы пионеров и комсомольцев было совсем немного. Настолько мало, что в ряде школ второй ступени (старшие классы) и комсомольских организаций-то не было. А там, где были, учащиеся часто лупили их членов и даже изгоняли из школ. Архивы избобилуют данными о непокорстве молодежи новой власти, об отторжении ею комсомола. Мне нередко доводилось читать, как учащиеся такой-то школы избили комсомольских активистов, как освистали выступление назначенного комсорга, как закидали тряпками и огрызками свежеспеченного комсомольца. Одновременно школьники издавали самостоятельные журналы, создавали общественные объединения, пытались организовывать клубы и кафе, устраивать вечеринки — в общем, всячески на свой лад воспроизводили некоторые структуры нормального городского гражданского социума. И процесс этот был столь обширен, что в 30-х годах партии и комсомолу пришлось практически в каждую школу назначить комсорга, то есть специального комиссара и надсмотрщика.

И это только одна сторона, одна линия сопротивления городской среды опиравшейся на люмпенов большевистской системе. (По-своему отстаивали себя наука и искусство.) Большевики вели против города войну тотального характера, хотя при этом сохранялась странная двойственность их отношения к урбанистической цивилизации. Инстинктивно понимая, что традиционный и развитый город смертельно опасен для их власти, они тем не менее сами втайне продолжали мечтать о своем городе, полностью им подчиненном и только им принадлежащем: зависть двигала ими не меньше, чем ненависть. Именно эта зависть заставляла партийцев создавать своеобразные закрытые квазигорода для самих себя. Спецраспределители, особые (улучшенной планировки) дома и клубы, рестораны, загородные виллы (а это тоже атрибут города) давали им иллюзию комфорта и принад-

лежности к цивилизации, которую они же сами разрушали. Процесс этот приобрел совершенно фантастические черты после окончания Отечественной войны.

Приблизительно в середине 50-х годов подростки и повзрослели дети первой «красной элиты». Они, во-первых, составляли едва ли не единственную генерацию в СССР, хоть сколько-нибудь преданную коммунистической идеологии (победа в войне, сравнительно быстрое восстановление хозяйства, известная собственная устроенность и так далее — вот некоторые причины их пусть и достаточно зыбкой, но все же веры в идеалы коммунизма), и, во-вторых, эти молодые наследники дела своих отцов страстно и целеустремленно стремились к бытовому комфорту. Правление Хрущева, затем многолетнее «царствование» Брежнева, повлекшие за собой обновление правящей элиты (как в силу кадровых перестановок, так и в силу естественного процесса старения прежней номенклатуры), привели к тому, что в России началось ускоренное развитие городов. Плюс соревнование с индустриальным, а позже постиндустриальным Западом требовало быстрого становления крупных агломераций, на основе которых формировались и собственно города.

В начале 60-х годов численность городского и сельского населения сравнялась. Резко изменилась и сама городская среда. Количество коммуналок, этих псевдосельских поселений, ближе всего стоящих по типу к американским гетто, неуклонно сокращалось. Началось массовое жилищное строительство (знаменитые пятиэтажки-«хрущобы»). Быстрыми темпами развивались телефонная связь и транспорт. Существенно менялось и отношение к вещам. Одна-единственная пара ботинок или туфель перестала быть достоянием нескольких семейных поколений. Изменялись, становясь все более городскими, и формы поведения людей: открывающиеся многочисленные кафе служили уже не просто и не столько для банального питания граждан, сколько для их свободного времяпрепровождения, для общения. Круглосуточная уличная жизнь стала некоторой романтической ценностью, транспорт ходил уже допоздна, а ночные гуляния и утренние возвращения домой превратились в своеобразный культурный ритуал, в своего рода полумистическое действо. В конце концов произошло то, что должно было, несмотря ни на что, однажды произойти: в активную социальную жизнь вошло первое действительно городское поколение — те, кто родился на рубеже 50—60-х годов.

Выросшая к концу 70-х — началу 80-х новая генерация горожан хотя бы латентно освоила многие ценности современной городской цивилизации (свободу слова, приватность личной жизни, партнерство, права человека, свободу передвижений), что не в последнюю очередь обусловило горбачевскую перестройку и последовавший за ней крах всей коммунистической системы.

Конечно, процесс роста и развития городов в современной России идет не гладко и далеко не в самых благоприятных условиях. У него множество издержек (о них речь ниже). Но все же он идет. Россия сегодня оказалась в ситуации, когда резервы антигородских сил чрезвычайно ограничены. В селах ныне проживает около четверти всех россиян. Городское же население постоянно и неуклонно растет (и это несмотря на общее падение рождаемости). Большая часть молодых людей родилась и выросла в городах. Поднять их против города и городской культуры уже невозможно. Борьба «пампы» и городов у нас, в общем-то, завершилась. И не в пользу «пампы».

\* \* \*

Прежде чем перейти к разговору о современном российском городе, о его «физиологии» и проблемах, важно уяснить одно существенное обстоятельство, связанное со становлением всей городской европейской цивилизации. Дело в том, что европейский город тесно связан с христианством, а последнее предполагает существование и господство определенных этических и нравственных ценностей. К ним, в частности, относятся ценности партнерских отношений между людьми, стремящимися к постепенному эволюционному преобразованию мира. И если внимательно взглянуть на европейский город, то видно, что именно партнерство его граждан во многом определяет его характер. И партнерство и прогресс (или эволюция, что в данном случае одно и то же) подразумевают в первую очередь открытое свободное общение. Из этого следует ряд существенных, фундаментальных особенностей, на которых изначально выстраивалась урбанистическая цивилизация.

Во-первых, как узел коммуникации город представляет собой уникальное сочетание того, что известный культуролог Виктор Тэрнер назвал коммуниасом и



иерархией<sup>3</sup>. Любое сообщество людей построено, с одной стороны, на общении, на чувстве принадлежности всех к единому обществу, на идее равенства. С другой — на упорядоченности этого общения, на распределении ролей и функций — на иерархии. Между равенством и иерархией обязательно должно существовать равновесие, зависящее от уровня культурной и цивилизационной развитости сообщества, от его величины, степени вертикальной и горизонтальной мобильности внутри его основных социальных страт. В каком-нибудь африканском племени в течение почти всего года его члены полностью подчинены законам строгой иерархии. Однако раз в год все бросаются на вождя, лупят его, говорят ему всякие гадости. Средневековые европейские карнавалы, проходившие чрезвычайно бурно и разнузданно, имели сходный смысл временной отмены всякой иерархии, стихийного, но ограниченного во времени, «канализованного» проявления всеобщего равенства и демонстрации относительности любого рода сословных различий. Современные города, конечно, не могут себе позволить подобного. Аналогичные проблемы в них решаются несколько иначе, в основном за счет организованных и контролируемых властями праздничных гуляний, спортивных мероприятий, массовых зрелищ и т. д.

Во-вторых, городская культура базируется на принципе безусловной анонимности и автономности личности, на существовании специального городского ландшафта культурно-коммуникационного характера. То есть город система многоуровневая. Единое городское пространство мозаично, оно как бы рассечено или, точнее, расчерчено крышами зданий, линиями дорог, эстакад и улиц, шпилями и куполами церкви, составлено из интерьеров множества квартир, театров, ресторанов, клубов, баров, офисов и т. д. И всюду идет жизнь, способная перетекать из одного «отсека» в другой, сохраняя при этом свою целостность. Важно и то, что жизнь эта в границах города имеет экстерриториальный характер, то есть способы группирования людей несильно зависят от места их непосредственного жительства: чаще всего люди работают не там, где живут, их друзья, их компания совсем необязательно обретаются по прямому соседству (хотя, конечно, не следует забывать и о наличии известных территориальных образований).

В-третьих, город есть система социокультурных институтов, выступающая как интегрирующее начало и позволяющая людям эффективно контактировать друг с другом и с городом в целом. Экстерриториальность — одно из оснований таких институтов. (В сельской местности основным коммуникативным, интегрирующим сельский мир институтом всегда являлось само село или деревня как таковая. Таким образом, административно-территориальное образование и институт социальной интеграции оказываются абсолютно идентичны.)

В-четвертых, город создает свой собственный язык общения, оригинальный для каждого полиса и состоящий из общих слов, идиом, символов и мифов, легенд и преданий, форм ухаживания за женщинами, способов покупки спиртного и ловли такси и т. д., а также образов всем известных городских персонажей самого разного рода: владельцев магазинов и ресторанов, режиссеров театров, актеров, издателей, поэтов, городских идиотов и прочих знаменитостей (причем язык этот присущ всем, даже самым большим городам, таким, как Париж, Нью-Йорк или Мехико).

В-пятых, город и городской образ жизни настолько сильны и, видимо, настолько соответствуют направлению социальной эволюции нашей, в особенности европейской, цивилизации, что уничтожить их необычайно сложно. При первой же возможности, при первом же послаблении они начинают самовоспроизводиться. Городские ценности, например в России, как мы уже могли убедиться, так и не были начисто уничтожены, вытоптаны маргиналами. (Они, эти ценности, трансформировались, и как только сложилась подходящая ситуация, немедленно началось их бурное воссоздание. Даже в самые мрачные годы большевистского правления крупные российские города сохраняли многие черты урбанистического образа жизни, элементы своей самобытной инфраструктуры.)

Понятно, что любой из перечисленных признаков, любое из свойств современного города имеет свои как плюсы, так и минусы.

Взять хотя бы упомянутое мною присущее полису единство иерархии и комунитасов. Тот же Виктор Тэрнер писал о том, что в гетто современных, в основ-

<sup>3</sup> Тэрнер Виктор. Символ и ритуал. М. 1983.

ном американских, городов подчас воспроизводятся совершенно чудовищные формы общения. И это понятно. Если у большой массы людей мало оснований для построения реальной иерархии, создается псевдоиерархия. В чикагском негритянском гетто, где множество молодых, лишенных работы жителей и ограничены возможности нормального цивилизованного проявления своей индивидуальности, легко формируются огромные банды со своими кастами и множеством ступеней посвящения. Каждая каста отделена от другой сложными ритуалами, внешними знаками. Подчас переход из одной касты в другую страшно унизителен для личности, и член вышестоящей касты имеет неограниченные возможности воздействия на нижестоящих. В известной мере это напоминает деловщину в армии, которая, в сущности, имеет те же корни: масса обезличенных солдат без значимого дела ищут и находят наиболее примитивные и уродливые способы упорядочивания своего общения и поведения.

Применительно к России довольно интересен в этом отношении так называемый казанский феномен. Как известно, в Казани в середине 80-х наблюдалось стремительное формирование молодежных территориальных (квартальных) группировок, между которыми постоянно происходили жуткие драки-разборки, чудовищные по жестокости и количеству жертв. В Казани несколько позже, чем в Москве, произошла новая массовая застройка окраин города. Казанский полупатриархальный центр оказался разрушен, а вместе с ним рухнули и прежние дворовые традиции: драка до первой крови, авторитет взрослых и т. д. Новые кварталы росли как грибы, а никакой городской инфраструктуры создано не было: кафе, клубы, открытая улица отсутствовали. Новая застройка напоминала гетто. В таких условиях и стали складываться псевдоиерархические молодежные группировки. Сочетание недоразвитости города с общим низким культурным уровнем, разрушением языка, влиянием уголовной среды и окончательной гибелью патриархальных традиций и дало должный эффект — стихийное появление многочисленных полубандитских формирований молодежи. Все попытки местных комсомольских, партийных и советских властей противопоставить им иные, более цивилизованные формы молодежной организации нужного эффекта не дали. (И все же криминальные группировки казанских подростков просуществовали очень недолго. Городская экстерриториальность все-таки взяла свое.) Поскольку — в отличие, скажем, от Чикаго — в столице Татарстана не было нормального города, противостоящего гетто, формы и образ жизни гетто свободно перетекали через границы новых кварталов и стали распространяться дальше. При этом тусовочно-уголовная верхушка в тесном взаимодействии с тогдашней партийной номенклатурой постепенно стала предъявлять городским властям требования по созданию себе сравнительно комфортных условий существования: гостиниц, ресторанов, баров, транспорта, сервиса (включая проституцию) и т. д. и т. п.

Когда в прошлом мне приходилось беседовать с некоторыми комсомольскими вожаками по поводу «казанского феномена», то в их высказываниях мне часто слышалось тайное желание столкнуть криминальные группировки с представителями сравнительно цивилизованных течений и субкультур городской жизни. хиппи, поклонниками рока и т. д. Но если такая идея и существовала, то она благополучно лопнула. Хотя даже в Москве происходили массовые побоища между люберами и металлистами, придать им окраску идеологического конфликта между «простыми рабочими подростками-комсомольцами» и выразителями «чуждых нам явлений буржуазной культуры» советскому агитпропу так и не удалось. А все потому, что и люберы и металлисты принадлежали к городской культуре. Другое дело — к какой.

Говоря о развитии города в России, мы должны отдавать себе ясный отчет в том, что современного развитого и полноценного полиса у нас пока нет. Хотя мы уже и сталкиваемся с новыми, вполне городскими проблемами и конфликтами, даже не вкусив еще по-настоящему всех прелестей и радостей нормальной городской жизни.

Конечно же, бросается в глаза и раздражает эстетическое и нравственное чувство людей недостроенность нашего городского ландшафта, призванного сделать переход от замкнутого квартирному быта к открытому уличному мягким и приятным.

К очевидным негативным свойствам современной городской цивилизации России бесспорно относятся и всевозможные фобии, а проще говоря, страхи, даже не всегда осознанные, присущие значительной части российских горожан, не до

конца адаптировавшихся к динамичным и интенсивным ритмам и формам урбанистического существования. Говоря о страхе, следует иметь в виду также и небывалый размах нашей преступности. Речь идет даже не только и не столько о криминальных внутренних разборках так называемой мафии, занятой переделом сфер влияния, сколько об обыкновенном уличном разбое, диком и отвратительном, вполне сопоставимом со средневековым. Иначе говоря, наш город все еще не в состоянии цивилизовать большие массы молодых людей, переживающих весь комплекс неполноценности, зависти и неумения целенаправленно в поте лица своего строить собственную судьбу. Эти-то молодые люди с дубьем, железными прутьями, ножами и пистолетами как раз и выходят на улицу. Убить могут за копейку.

К сожалению, агрессия вообще в той или иной мере присуща многим людям, но в нормальных современных западноевропейских городах агрессия обычно имеет приемлемый для большинства мирных граждан канал реализации. Конечно, наиболее агрессивные типы все равно попадают в банды и шайки. Другие, мало-мальски умеющие управлять собой и дисциплинированные, идут в армию и в полицию. Остальные до умопомрачения болеют за футбольные команды, сами активно занимаются спортом, увлеченно смотрят боевики и находят себя в рискованном бизнесе. Наш же город очень плохо умеет канализовать агрессию. Поэтому угроза криминализации российского общества, равно как и угроза крайнего политического радикализма, по-прежнему остается для нас актуальной.

Чрезвычайно неудовлетворительно решается в России и другая важная урбанистическая проблема — идентификация личности, особенно «новых русских»: молодых бизнесменов, политиков, экономистов. Прежде, лет тридцать назад, правящая элита как развитых западных, так и развивающихся государств была довольно демократична и либеральна, а массы, напротив, консервативны и придерживались в основном традиционных ценностей и норм поведения. Сейчас картина в целом иная. Самые широкие слои населения западного мира весьма (порой сверх всякой меры) американизированы и настроены сверхлиберально, а элита ищет самоидентификации в вечных религиозных ценностях и консервативных традициях. Это связано прежде всего с окончанием холодной войны, распадом советской империи, крахом всей коммунистической системы, а также с некоторой истощенностью прежних путей линейно-прогрессистского, исключительно технотронного развития человечества и наметившейся сменой цивилизационных парадигм (с однозначной техногенной на более гуманитарную и антропогенную) и поиском нестандартных решений, возникающих перед миром новых задач и вызовов (прежде всего экологических и национальных).

Наши «новые русские» тоже ищут ценности и идеи, к которым им можно было бы «прислониться». Казалось бы, традиционные, скорректированные историей национальные ценности, идея построения крепкого, прочного и одновременно гибкого и эффективного национального государства как нельзя лучше подходят для самоопределения и становления отечественной элиты. Но вот незадача. Все еще недоформированный российский город с его недостаточно (а то и просто плохо) развитой инфраструктурой явно тормозит становление здорового национального сознания, способствует профанации естественных, нормальных ценностей и идей, порождает убогие и пошлые идеологические суррогаты вроде коммуно-шовинизма или вульгарного поклонения некоему абстрактному рынку. (Не случайно отряды наших фашистов состоят отнюдь не из стариков, а из крепких, молодых и, что показательно, часто обеспеченных, состоятельных людей).

Таким образом, сохраняется опасный зазор, некий разрыв между настроениями и эмоциями утратившей прежние ценностные ориентиры и способы поведения, но не обретшей новых (в силу чего предельно невротизированной и склонной к импульсивной агрессии) части россиян и мировоззрением политической элиты, вялой и почти не способной к четкой и внятной артикуляции, отвечающей общим национальным интересам тактических и стратегических государственных задач<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Исследование «Народ и политика», недавно проведенное Фондом общественного мнения, показало, что не стоит переоценивать значимости для россиян либеральных ценностей и установок. Полученные данные позволяют сделать вывод, что становление отечественного либерализма находится в самой начальной стадии, когда риторические декларации о приверженности демократии сочетаются у многих наших сограждан с ориентацией либо на государственный произвол (крайний патернализм), либо на личную безответственность и безнаказанность (см. Капустин Б. Г., Клямкин И. М., «Либеральные ценности в сознании россиян» — «ПОЛИС» 1994, № 1)

Заметим, что в начале века подобный разрыв, достигнув критических размеров, привел в России к страшным и кровавым революционным потрясениям. Очень хочется надеется, что сегодня такого рода событий не случится. Однако надежда еще не гарантия...

Ко всему прочему ситуация усугубляется еще и тем, что в России слишком медленно формируются полноценные и цивилизованные движения и партии, которые могут и должны направить энергию политически активной массы населения в правовое демократическое русло и тем самым обеспечить гражданский мир и государственную стабильность. И опять же не в последнюю очередь это благое для молодой российской демократии, общества и государства дело тормозится и пробуксовывает из-за недостаточной развитости городских — экстерриториальных — институтов и структур. Ведь партии по самой своей сути являются типичными экстерриториальными ассоциациями граждан. Но что же получается у нас? Территориальный принцип партийного строительства ушел в прошлое, а новый (точнее, общемировой) — экстерриториальный — так и не утвердился

\* \* \*

Возвращаюсь к тому, с чего и начал. Бесспорно, что для обеспечения государственной стабильности и правопорядка Россия остро нуждается в достижении реального (а не просто декларативно провозглашенного) гражданского согласия на основании обретения общенациональных ценностей и выработки стратегических направлений мирной эволюции страны в сторону цивилизованной демократии. Для этого требуется волевое напряжение, некое духовное и интеллектуальное сверхусилие всей нации, то есть всех без исключения ее составляющих этносов, общественных слоев, групп и сословий. Иначе говоря, необходим интенсивный и плодотворный гражданский диалог. А для такого диалога (если понимать под ним не праздную дискуссию двух-трех яйцеголовых на страницах газеты тиражом в 100 тысяч экземпляров, но постоянное и предметное обсуждение многочисленных стоящих сегодня перед нами вопросов и проблем максимально большим количеством граждан) нужно место и средство. Современный город с его разветвленной и многоуровневой сетью коммуникаций, на мой взгляд, как раз и является наиболее оптимальным средством и местом общенационального диалога.

Ведь если хотя бы просто на какое-то (очень незначительное) время сохранится ныне существующая тенденция развития СМИ, то человечество (и Россия разумеется, тоже) очень скоро вступит в новую эру общения, когда, допустим, телевидение из средства только массовой информации, предполагающего, что меньше всего информирует большинство и в силу этого имеющей возможность манипулировать им, превратится в форму массовой коммуникации многих со многими. (Точно так же как телеграф в конце концов породил современную телефонную сеть, и уже сегодня из квартиры в каком-нибудь Конькове-Деревлеве можно позвонить австралийскому фермеру, южноафриканскому буру или сенатору США.) Совсем еще недавно средний европеец или американец мог смотреть 10—20 телеканалов. Теперь же число каналов достигает многих сотен. Создается интерактивное телевидение, при котором человек сможет влиять на то, что он смотрит — самостоятельно формировать нужную ему программу и даже управлять ее ходом. Телевидение, линии телефонной связи, компьютер, соединяясь, порождают нечто совершенно удивительное по степени открытости и интенсивности общения. Другими словами, город как бы перерос сам себя, и в мире складывается единая коммуникационная система, стирающая территориальные границы городов и стран.

Раньше у нас много писалось о неизбежном сближении и слиянии города и деревни. В известном смысле это сейчас уже произошло на Западе. С одной стороны, урбанистическая цивилизация там окончательно победила. (Западный полис перестал быть местом обороны от варварства. Историческое противостояние сельского жителя и горожанина в Европе практически исчезло.) Городские ценности, городской образ жизни сделались господствующими. Однако уже из этого победившего города стали развиваться новые формы общения, человеческого общежития. Город превратился в универсальную форму, на основе которой появляются ее новые, более удобные для современного человека подвиды. Банально говорить о том, что большинство западноевропейцев и американцев стремятся иметь собственные дома в зеленой зоне — пригороде. Массовое экологическое движение —

предвестник становления более гибкого и требовательного отношения к городу и к цивилизации в целом.

Совсем недавно мне довелось побывать в маленьком немецком городе Даун. В нем живет всего 10 или 11 тысяч человек. Прежде, скажем в начале нынешнего столетия, такой город мог бы с полным на то основанием считаться провинцией. (Хотя в Германии, да и в Европе в целом, провинции в российском понимании этого понятия не существует. Центров много, каждая земля самодостаточна.) Даун расположен километрах в восьмидесяти — девяноста от столицы земли Рейнланд-Пфальц. Но сейчас, в общем-то, бессмысленно говорить о каких бы то ни было принципиальных цивилизационных отличиях этого городка от крупного промышленного полиса, каким является, например, Франкфурт-на-Майне. Требуется всего лишь час езды на машине по великолепной дороге, чтобы добраться из Дауна до Бонна или Франкфурта. Электронные коммуникации (телефоны, модемы, компьютерные линии) формируют единое для всех социокультурное пространство. В Дауне расположена радиостанция «Радио Роба», вещающая двадцать четыре часа в сутки на всю Центральную Европу. На ней работают 35 человек, которые обходятся безо всяких вышек, башен и радиорелейных станций. Спутники на геостационарных орбитах, новые информационные технологии позволяют молниеносно распространять сигнал. Житель такого города, как Даун, совершенно не испытывает проблем с коммуникациями любого вида. Если только пожелает, он без особых затруднений может приобщиться к быту крупного полиса, погрузиться в его атмосферу веселья и карнавальности, побывать в театрах, музеях, библиотеках. Если же он, напротив, стремится к размеренной и уединенной жизни, к его услугам его же собственный спокойный, тихий, экологически чистый зеленый городок. Однажды поместив человека в среду интенсивного общения, город тем самым быстро развил его индивидуальность, повысил уровень его запросов и притязаний. Теперь же, когда личность современного горожанина приобрела некую устойчивость, цивилизовалась и утончилась, она все более нуждается в приватности, свободе выбора и самовыражения, в возможности совершенно самостоятельно, без постороннего вмешательства определять ритм, стиль и образ собственной жизни. В условиях необычайно разнообразного и напряженного общения современный человек все более ищет (и находит) уединение, оригинальное эстетическое обустройство своего жилища, бытового уклада и т. д. Недаром все мало-мальски обеспеченные граждане преуспевающих стран предпочитают собственные дома и коттеджи пусть и благоустроенным, но типовым, слишком унифицированным многоэтажным спальным корпусам.

В современном, прежде всего европейском, мире сейчас одновременно идут два взаимосвязанных процесса становление все более открытой разноплановой и общедоступной цивилизации и дальнейшее формирование преодолевающей всякого рода утилитарность, «общинность» и стремящейся к многообразным культурным формам бытия личности.

Создающийся на наших глазах общеевропейский дом, а правильнее было бы сказать общеевропейский город, станет не коммунальным бараком, но сложной конструкцией из хотя и сообщающихся между собой, но оригинальных в национальном отношении и индивидуальных по своим социокультурным проектам жилищ.

И вопрос вопросов — деятельное (и животворное для нее самой) участие России в процессе этого общеевропейского строительства. Безусловно перед российским городом все еще стоит задача окончательно сложиться, сформироваться (Пока наши полисы чем-то напоминают большие, но, увы, не действующие макеты в натуральную величину все или почти все, кажется, на месте, а вот ощущение полноценной городской жизни отсутствует.) Однако начавшаяся широкая интеграция России в единые западноевропейские структуры нам, россиянам, тут бесспорно в подмогу. Тем более что не только мы, но, кажется, и сами европейцы уже ясно осознают, что складывающийся общеевропейский (и шире — общемировой) город без нашей страны, с ее богатой историей, огромными культурными традициями, людским и природным потенциалом, очевидно, не будет достроен.

---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЛЕОНИД БЕЖИН



## НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОГО ВЕКА

*Записки sentimentalного историософа*

### 1. Последняя повесть о бездомном холостяке

**Д**уховность и демократия?! Ну уж извольте... Мы еще признаем за демократией некое право на то, чтобы сочетаться со свободой, прогрессом и прочими достижениями либерального гуманизма, но с духовностью у ваших демократов брак невозможен! На эту невесту вы и не посягайте — в православной России у нее издавна был куда более серьезный, основательный и почтенный жених. Монархический консерватизм, он же — исконный русский монархизм. Демократы ему не соперники, потому что он Бога боится, царя чтит, отечеству служит, и народ его за это уважает!.

Столкнувшись с подобным мнением, так и угадываешь рядом с собой рослую, широкоплечую, представительную фигуру в чесучовой тройке, серебряную цепочку, свисающую из жилетного кармана, гладкую, расчесанную, слегка раздвоенную бородку, так и слышишь скрип кожаных ботинок, постукивание папиросы о крышку портсигара, раскатистый смех и иронично-язвительное величание милостивым государем каждого, кто имеет смелость не согласиться с его взглядами. Таков мой воображаемый оппонент, почти не изменившийся с тех времен, когда в России обозначились первые попытки соединить духовность и культуру с демократией. Хотя сам он нынешний, конечно же, никакой не монархист и тем более не консерватор, а бывший коммунист с двадцатилетним стажем, и те, кто его до сих пор поддерживает, держат в руках не иконы Спасителя и Приснодевы, а жалкие бумажные портретики вождей, некогда отрекшихся от Бога, свергнувших царя и разоривших отечество. Парадоксально? Да, парадоксально и загадочно, как и все в сегодняшней России, увязшей на перепутье трех дорог — демократической, имперско-монархической и посткоммунистической — и потерявшейся в заколдованном пространстве между прошлым и будущим

Поэтому стоит ли удивляться парадоксам и к чему полемизировать, если доводы, аргументы, нравственные принципы ничего не значат и все решает пудовый кулак и луженая глотка! Если все можно и ничего не нужно! Тем не менее я удивляюсь и в полемику вступаю: слишком это важный и наболевший для России вопрос — духовность и демократия. Наболевший, набухший, как кровавый нарыв, вот-вот прорвется, а крови и так достаточно — поэтому лучше полемика! Полемика с чесучовой тройкой, равно как и с теми, кто молится не перед иконами, а перед бумажными портретами. Но вступаю я в эту полемику не для того, чтобы сразу запальчиво возразить, а для того, чтобы сначала согласиться: да, когда-то в женихах у русской духовности действительно ходил консерватизм. Не английский парламентский (такого у нас отродясь не было), а консерватизм в самом крайнем — монархическом (а точнее, цезарепапистском) — выражении.

Сохранилось предание о том, как к преподобному Серафиму Саровскому накануне восстания на Сенатской площади приезжали декабристы, «блестящие офицеры», под благословение. Старец их с гневом прогнал, а затем подвел келейника Гурия, свидетеля этой сцены, к роднику и сказал: «Вот что они хотят сделать с Россией». И прозрачный лесной родник — каждый камушек на дне виден — вдруг замутился, камушки скрылись, и вода почернела. Разумеется, декабристы не де-

мократы в нашем понимании и среди нынешних святых отцов второго Серафима, пожалуй, не найдешь, но важно то, что преподобный не благословил.

Те, кто занимался Саровом и Дивеевом, соглашались, что там — духовный корень русской истории последних веков, что Дивеево по чудесам своим — некое инопространство России, где Небо соприкасается с землей. (По преданию, Серафим Саровский в воздух поднимался, когда молился, и в его келье сама собой зажигалась лампадка. Двенадцать раз преподобному являлась Богородица, а чего стоит зеленая ветка с райскими плодами, которыми он угощал — среди зимы! — саровских иноков после одного из таких посещений!)

Многие пророчества Серафима уже сбылись, а предсказывал он и Крымскую войну, и октябрьский переворот, и репрессии, и гонения на Церковь, но Дивеево, как сказочное наливное яблочко на золотом блюде, показывает не только прошлое, но и будущее. По дивеевским предсказаниям, православие еще возродится и воссияет у нас в России и на престоле воссядет избранный Богом царь. Значит, духовность снова соединится с монархией, словно невеста с законным женихом. А что же сейчас? В том-то и парадокс, что законного жениха у русской духовности сейчас нет, а есть родная сестра — демократия.

От нынешних же претендентов в женихи надо ставни держать на запоре — иначе ночью украдут, тайно обвенчаются, а через год изменят и бросят. Раньше они на такую невесту лишь в щелку забора глазели, но у нас-то заборы повалены, вот они и затаились под окнами, дожидаясь своего часа. А разве они ей пара? — она высокая, статная, чернобровая, с длинной косой, они же все как на подбор конопатые, курносые, да и ростом не вышли, все сплошь мелюзга и коротышки. Иными словами, плохенькие женишки, советские, хотя и величают себя патриотами, консерваторами и монархистами, а чуть поскребешь и крошки сдуешь — увидишь все того же рядового и испытанного коммуняка.

Правда, есть среди них и дядя в тройке — их вожак, атаман, батька, — тот с виду ничего, осанистый и приодеться умеет, но плохо образован, неумен и недалёковиден. Да и куда ему жениться — старик уж по возрасту! Потому-то и не с кем венчаться чернобровой красавице. Но и у младшей сестры ее — демократической России — судьба куда печальнее: кто же ее замуж возьмет, после того как соблазнил ее некий студент, обещал жениться, а сам погулял-погулял и тихонько в сторону. Тут-то и начинается печальная повесть о демократии и интеллигенции...

И пролог к этой повести — октябрьские 1993 года события в Москве. Вот я раскрываю записную книжку, с которой ходил по центру 4 октября: «...на Новом Арбате слышны автоматные очереди.. снятые с рейсов автобусы — к окнам прижаты щиты ОМОНа и МВД.. тут же в подземном переходе продают щенков... в переулке Янышева — танки, а рядом торгуют бананами... у здания Румянцевской библиотеки — танки и бронетранспортеры.. из бронетранспортера передают водителю военного грузовика кусок спелой дыни... набережная Москвы-реки перекрыта Тверская перегорожена грузовыми фургонами, из всех магазинов работают только булочная.. с балкона Моссовета объявляют о последних новостях из Белого дома все ждут митинга.. в церкви Космы и Дамиана священник читает молитву «Господи, прости грехи России»...» В конце своих записей за 4, 5 и 6 октября я поместил: «Чудесные золотые осенние дни». И — «ощущение еще более гнетущее, чем во время первого путча».

В книжку я наскорю заносил то, чему был свидетелем сам, но дальше Садового кольца меня не пустили (в конце Нового Арбата стояли патрули, а с крыш стреляли снайперы), и остальное я вместе со всеми видел по американскому телевидению. Говорю — американскому, потому что и не разберешь, какое у нас в те дни было телевидение: наше оборонялось, американское же вело передачи. Видел и призывавших брать штурмом мэрию и Кремль, обстрел Белого дома, по черневшего от пожара, и наконец — добровольную сдачу его защитников. Что же после?

Врезалось в память, как ночью за стенкой плакал алкоголик, сторонник Руцкого и Хасбулатова (у нас весь подъезд — сторонники), с горечью повторял: «Все кончилось! Все пропало!» И запомнилась кухонька моих близких знакомых — чай, бутерброды, битком гостей и разговор, конечно же, об октябрьских событиях и о Ельцине, в поддержку которого я высказался... Высказался — и остался в полном одиночестве: один против всех. Тут-то я и почувствовал, что интеллигент (из студентов он или профессоров — не столь важно) порвал с наскучившей ему демократией после десяти лет их тайного сожительства.

Да, да, у нее дома жил, под ее атласным одеялом спал, ее пироги ел, ее орехи шелкали, но порвал, каналья, так и не решившись сделать ей предложение. Иными словами, попользовавшись демократическими свободами, наша интеллигенция — или, скажем осторожнее, некая ее часть — легко демократию предала. Предала потому, что демократия ей практически не угодила, интеллигент же у нас великий практик — не зря в Евангелии сказано, что «сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Ну какой сын века потерпит, чтобы обратили в прах его скудные, но законные сбережения (у меня самого было десять тысяч на книжке, и я считал себя богачом), потерпит такой политический раздрой и экономический раскардаш! Не угодила — значит, прощай идея!

В этом главная моя мысль: интеллигенция сейчас не просто критикует демократов (их есть за что критиковать), но отказывается от самой демократической идеи. Иначе чем объяснить поразительные метаморфозы, происходящие на моих глазах? Чтобы быть до конца честным, скажу сначала о собственной метаморфозе — метаморфозе центриста, который некогда пытался объективно учитывать противоположные точки зрения, но с тех пор как «русская идея» в высоком понимании В. Соловьева и С. Булгакова была занижена до уровня мордатого лавочника в картузе и поддевке, сдувающего пену с пивной кружки, сплевывающего на мостовую шелуху подсолнухов и призывающего к еврейским погромам, я эту точку зрения учитывать перестал. Уверен, что «русская идея» найдет себе в будущем иных выразителей, об этих же вспомнят с брезгливостью и досадой. Уверен (и это не радужные мечтания), что духовность и демократия все же воссоединятся как родные сестры и мир вступит наконец в то светлое время, которое пророчески предрекали и святые души (не только в Дивееве), и лучшие умы России.

Такова моя метаморфоза, обусловленная отчасти и личными причинами — тем, что я лучше узнал людей (об узнавании — мои статьи в «Литературной газете» «Как я был большим человеком» и «Как я стал свободным гуманитарием»). Теперь упомянем и о метаморфозах в обратную сторону, тем более знаменательных, что это не только метаморфозы от центра вправо, но и от крайне левых прямехонько к крайне правым взглядам. Наверное, и в этом есть что-то личное, иначе не объяснишь, как некий писатель, который был адептом западничества, проповедовал индустриальный романтизм, самозабвенно воспевал технократию и заслужил прозвище «соловей Генштаба», теперь стал столь же оголтелым адептом низового и предельно опешленного славянофильства, шовинизма и возглавил газету будто бы духовной оппозиции, а другой писатель, некогда разоблачавший комсомол и советскую бюрократию, одним из первых написавший о дедовщине в армии, теперь тоскует об этой системе (надеюсь, не о дедовщине) и охотно сотрудничает с «коричневыми» изданиями!

Все это, повторяю, слишком личное — из разряда того, в чем можно оправдаться лишь перед самим собой. Перед другими не оправдаешься, потому что другой тебя непременно спросит: а как же, братец, принципы, позиция, мировоззрение? Что ты ему на это? «Я против развала!» Но ведь и ассирийская держава рухнула, потому что держалась на крови, — что ж ее теперь восстанавливать! Взгляды менять сразу-то не стоит — еще пригодятся! Нельзя совсем уж без взглядов, без принципов, без мировоззрения! Пропадешь!

Лучше изначально не иметь никакого мировоззрения — тогда можно, наезжая из Парижа, проповедуя сексуальную свободу и наводняя книжный рынок порнографическими романами, выступать на митингах «Трудовой России». Выступать — и славить «Союз нерушимый» перед ожесточенными, сбитыми с толку стариками с потертыми орденскими планками и растерявшимися тетками с пустыми хозяйственными сумками. Достойнее было бы наоборот: в романах — славить, а перед стариками и тетками — проповедовать. Только за такие проповеди старики и тетки, пожалуй, и бока намяли бы, но, к счастью, романов они не читают, речи же доверчиво слушают, вот и ври им напропалую — авось проглотят...

Однако хватит о личном — поговорим об общественном, или, иными словами, об обратных метаморфозах тех, кто, казалось бы, не изменяя собственному мировоззрению, все же соскальзывает от центра вправо. Сергей Есин, автор незабываемого «Имитатора», печатавшийся в «Новом мире» и «Знамени», теперь носит рукописи в «Наш современник»... Руслан Киреев, автор когда-то знаменитого «Победителя», сначала увлекший меня идеей нового, изначально отсутствовавшего в России парламентского (на английский манер) консерватизма, недавно резко выступил против Мстислава Ростроповича, не распознав в его поведенческой симво-



лике той совестливости и жертвенности, которые делают его выразителем своеобразного «анонимного христианства» (наряду с официальным и катакомбным это тоже форма существования христианства в атеистическом обществе).

О чем свидетельствуют такие метаморфозы? Подсчитаем: на наших глазах сменилось три поколения демократов. Перестройку готовили публицисты (Шмелев, Селюнин и другие), затем к ним на правах официальных экспертов присоединились академики (Шаталин, Абалкин...), но реальную реформу начали прагматики во главе с Гайдаром. При всей несогласованности их действий, при всех различиях меж ними все они были идеалистами в том смысле, что так или иначе служили демократической идее. И вот Гайдар ушел в отставку, идеалисты изгнаны, зато явилось четвертое поколение — чиновники, а с четвертого, как подтверждает история, и вырождается любая реформаторская идея. Мельчится, опошляется, чахнет и гложет — собственно, это сейчас и происходит, а поэтому чего нам ждать в будущем... Будет у нас и гражданский мир, и материальный достаток, и товары на прилавках, и профессиональный парламент — только идеи не будет, и виноват в этом интеллигент! Виноват, как ни оправдывайся, — о том и повесть...

Познакомился ты с двумя красавицами сестрами — духовностью и демократией, стал бывать у них в доме, чай пить из самовара, пироги с блинами есть, разговоры вести. От старшей сестры — духовности — ты сразу отвернулся: слишком умной тебе показалась, слишком загадочной, даже как бы отрешенной (всё посты и молитвы, а ты и креститься-то не умеешь), и к тому же не слишком потакала твоим капризам, не слишком позволяла хорохориться, кичиться, гордость свою выпячивать, хотя не то чтобы осаживала, а мягко жалела. Ты же такой жалости к себе не терпишь, и потому-то и выбрал младшую сестру, демократию: с ней попроще. Поначалу все складывалось у вас неплохо — ты ей цветы дарил, конфетами угощал, на маскарады возил, ласковые слова шептал на ухо, но как только доверилась она тебе душой, ты ее бросил. Бросил и в другие дома теперь едешь...

Только счастья своего без демократии все равно не найдешь, так и останешься бездомным холостяком. Из других домов тебя скоро за дверь выставят — там другие женихи нужны. Вот и будешь свой век куковать в одиночку: твоя злая мачеха, тоталитарная система, скоро умрет, детей у тебя нет, и, когда наступят новые времена, никто о тебе не вспомнит, не посочувствует, не пожалеет. Проиграл ты, бездомный холостяк, поэтому и повесть о тебе — последняя...

## 2. Конец еврокультуры, или Новое солнце над Старым Светом

Признаюсь: я западник, законченный и убежденный. Другой вопрос — в каком роде? Что я, собственно, вкладываю в свое западничество, тут необходимо объясниться.

Читающая публика со мной согласится, если скажу, что так уж у нас принято: избирать западников холодными, сухими, бесстрастными, не способными на возвышенные порывы и т. д. и т. п. Я же западник, потому что люблю. Но не вчерашние газовые фонари и рессорные экипажи на резиновых шинах, дорогой одеколон в причудливом фиолетовом флаконе стиля модерн, вуали, муфты и манто, трости и цилиндры, поданные на отлете в руки швейцару; не сегодняшние авто последних моделей и компьютеры, ксероксы и полароиды, «марсы» и «сникерсы», но — европейскую культуру от Гомера до Томаса Манна. Я люблю меланхолического Пруста, чья проза напоена запахами прогретого летнего воздуха, рассеянной в воздухе цветочной пыли, носимых ветром лепестков роз, плетеных соломенных кресел и чайного столика, вынесенного на зеленую лужайку; люблю вдохновенного, пленительного, лукавого и скабрёзного Боккаччо, чья показная фривольность служит лишь осторожным напоминанием о его потаенном благочестии; люблю благовейную набожность Августина и иступленно-страстные восторги Франциска; люблю печальные скандинавские саги, сохранившие отсветы языческих костров, и опаленные мистическим заревом средневекового христианства рыцарские романы; люблю могучие дубовые роши вагнеровских опер и «низкорослый кустарник бетховенских сонат», — восторженно, пылко, нежно, суеверно, с ранних лет и по сию пору, и поэтому мне особенно горько сознавать, что близится конец если не европейской культуры, то еврокультуры уж точно.

Попробуем обозначить разницу между этими двумя понятиями и в дальнейшем вести речь именно о еврокультуре как некоем вторичном образовании, возникающем по тем же неисповедимым законам, по каким обрастает мхом засох-

ший ствол дерева или камень, покрывается ряской стоячая вода, живое религиозное чувство подменяется внешним благочинием и формальным соблюдением ритуала, а высочайший духовный взлет Ренессанса приводит к холодной изысканности маньеризма и рококо. Так чему же конец? Разумеется, те священные камни Европы, о которых писал Достоевский, никто с места не сдвинет, но мох еврокультуры с них должен сойти — красивый, изумрудно-зеленый, пышный, с мелькающими в нем юркими ящерками. Иными словами, многое из того, что мы так восторженно, пылко, нежно, суеверно.. — кончается, уходит, утрачивает признаки внутренней жизни и превращается в засохшую мумию, муляж, манекен. Короче, закат Европы

Ну, это мы уже слышали, об этом читали! — с облегчением вздохнут большинство читателей. Все это перепевы Шпенглера, Ницше и Тойнби, которые еще сто лет назад предсказывали закат Европы, гибель западного мира. Предсказывали — и что же? Этот обреченный западный мир не только не погиб и не распался, но и обрел невиданную индустриальную мощь, добился политической стабильности, повысил жизненный уровень и сейчас неуклонно движется к окончательному единству, к созданию соединенных штатов Европы! А вы тут с вашими доморощенными пророчествами и кухонными прогнозами! Именно такие возражения я предвидел, и ответ на них у меня заготовлен заранее. Да, Шпенглер, Ницше и Тойнби творили на закате Европы, но они не видели солнца! Того рассветного, сияющего, золотого, которое ныне восходит. Поэтому им и казалось, что и они погибли, и вся европейская культура гибнет. А погибала-то не великая европейская, а лишь еврокультура — та, которая вполне достойна объединенной Европы.

Достойна и, так сказать, соответствует по духу... Я придерживаюсь того мнения, что объединенная Европа в наших условиях — такое же искусственное, двойственное и вторичное образование, как и еврокультура, — отсюда и соответствие, или, вернее, несоответствие, метафорически обозначаемое нами образами горы и мыши (надеюсь, читатель без труда вспомнит иносказание о высокой горе, родившей маленькую мышь). Вот я и боюсь, что возведенная на месте старой Европы искусственная — из стекла, бетона и пенопласта — гора произведет на свет мышь, которая усядется на вершине, будет попискивать и дрожать мелкой дрожью, пока ее не схватит и не унесет в когтях какой-нибудь стервятник. Думаю, понятно без объяснения, что в данном случае мышь — это та самая еврокультура, процесс образования которой развивается параллельно процессу объединения Европы. Параллельно и разнонаправленно: если объединенная Европа движется к началу, то еврокультура — к концу. Более того, готов утверждать, что сама идея политического объединения в наших условиях — ярчайшее свидетельство культурного кризиса.

Почему? Конечно же, вовсе не потому, что идея плоха, напротив — идея прекрасна, гуманна и прогрессивна, но ее воплощение требует высочайшего уровня нравственности, духовности и культуры, поддерживаемого некоей авторитетной инстанцией, европейским синклитом, подобным тому, о котором писал в «Розе Мира» поэт и мыслитель Даниил Андреев. Этот синклит бдительно следил бы за тем, чтобы во главе объединенной Европы не встали злые силы — такие, как Сталин, Гитлер и Муссолини, тоже своего рода объединители. А где у нас инстанция, способная взять на себя такую роль, где синклит, состоящий из пророков и властителей дум? Нет авторитетного синклита, да и гениев, пророков, людей безукоризненной нравственной репутации почти не осталось: опустела Европа.

Где найдешь особняк под черепичной крышей, окруженный забором из жимолости, чтобы благоговейно прочесть имя на медной табличке, подержать за дверное кольцо, неуклюже представиться горничной, уронить пальто перед швейцаром и ринуться в кабинет со скатанной в трубочку заветной рукописью, дневником или восторженным посланием? Понимаем ли мы до конца, что живем в отсутствие Швейцера, Эйнштейна, Томаса Манна — иными словами, в условиях заниженного личностного масштаба? Сейчас в Европе заправляют политики — президенты, министры, главы департаментов, спикеры парламентов. Устраиваются дебаты, выступают ораторы, проводится обмен мнений. При открытых дверях... за закрытыми дверьми. И двери-то непременно высокие, в дворцовом стиле, с орнаментом, инкрустацией, и диваны с резными спинками на изогнутых ножках, и стены с гобеленной обивкой, и картины старых мастеров в золоченых рамах... Одним словом, обстановка самая европейская, но вместо того чтобы принять форму

проповеди, духовного кредо, нравственного манифеста, идея объединения принимает форму меморандума, протокола, компьютерике. Скрипят перья, дробно стучат пишущие машинки, попискивают компьютеры, и так выходит, что Европа объединяется, а культура молчит.

Молчит — как будто и нет ее, как будто и она поменяла свободную блузу Рембрандта и вагнеровский берет на дипломатический фрак, отутюженный сюртук конторского клерка и министерский портфель, и вот тут-то убеждаешься, что все самое великое, пророческое, дерзновенное в европейской культуре было создано еще тогда, когда об объединенной Европе еще никто не помышлял и все гении и властители дум ютились в маленьких княжествах, герцогствах, графствах, землях, и даже олимпиец Гёте довольствовался скромной ролью министра захудалого веймарского двора... Казалось бы, никакого простора для ума, никакого обмена информацией, никакой среды для духовного общения, а вот на тебе — и «Фауст», и «Божественная комедия», и «Гамлет»! Какой всеевропейский, всемировой размах и охват при изначальной связи с местными условиями, обстоятельствами, нравами! На нынешнем же всеевропейском интеллектуальном просторе рождается лишь то, что способно размахнуться на размер герцогства или графства и охватить своим влиянием лишь некую местность, участок, уголок Европы, да и то при условиях соответствующей рекламы. Одним словом, бестселлер, для которого сто тысяч экземпляров — уже огромный, фантастический, почти невероятный тираж!

Так что же такое «евро» — разрозненная культура бестселлеров и ничтожных тиражей? Культура полнейшего одиночества при массовой коммуникации? Культура неведения при информационном буме? Культура крошечной тьмы при сияющих неоновых огнях? Возможно, читатель обнаружит в ней сходство с массовой культурой и даже попытается отождествить эти явления, с чем я бы, пожалуй, не согласился: это слишком упростило бы картину. Та, которую мы именуем массовой (собственно, недокультура, хотя и возникшая на основе «евро», сама же «евро»), — безусловно культура, но особого рода. Некоторые из определений для нее уже имеются: рационалистическая, позитивистски окрашенная, исповедующая скепсис, сомнение и иронию, психологически изощренная, пронизанная эротикой и мистикой (но не метафизикой!) — как видим, определений достаточно, но я бы в дополнение назвал ее плотной, непросветленной, непроницаемой для духовных свечений, наглухо закрытой для сквозящих отблесков иного, сверхфизического мира. В целом это культура эссенций, искусственно сгущенных запахов, синтезированных ароматов, иллюзий и галлюцинаций, подчас правдоподобных до полного совпадения с реальностью, культура психологического анализа, тончайших натуралистических наблюдений, исследовательских порывов в самые разные сферы конкретных знаний и проч. и проч., но не культура веры, молитвы и духовного опыта. Иначе говоря, это изумительный спектакль, поставленный на сцене с прекрасными декорациями, создающими иллюзию реальной обстановки, с искусственным освещением, великолепными костюмами и неподражаемой игрой актеров, делающих все как в жизни, спектакль, но не мистерия, участники которой не играют, а реально соприкасаются с потусторонним, трансфизическим миром. Реально — как Гамлет, общавшийся с призраком...

Сейчас наступает такое время, когда надо уносить со сцены картонные декорации, снимать театральные костюмы, сдавать в гардеробную костюмерную бутафорский реквизит, гасить софиты — время мистерий, а не спектаклей. И называться они будут не «Закат Европы», как некогда у Шпенглера, а «Рассвет над Европой», потому что над Старым Светом — тут я хочу сказать главное — должно взойти новое солнце!

Где же оно? Старое солнце нам как будто худо-бедно, но светит. А новое солнце — что это? И где оно взойдет? Как и положено солнцу, на востоке, восток этот христианский. Говорю это как **русский православный европеец**. Именно возродившемуся христианству суждено воссиять в начале нового века — в этом сходятся и эсхатологические предсказания старцев, монахов, пустынников, и прогнозы философов, и чаяния поэтов. Иоанн Кронштадтский предвидел восстание мощной России — «еще более сильной и могучей. На костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу; крепкая своей верою в Христа Бога и во Святую Троицу» (выписываю из книги «Россия перед Вторым Пришествием», 1993).

В ноябре 1917 года Вячеслав Иванов писал, воссоздавая строй русского духовного стиха:

Знаю, Господи, — будет над Русью чудо  
 Узрят все, да не скажут, пришло откуда  
 И никто сего чуда не чает ныне  
 И последи не сведает о причине  
 Но делом единым милости Господней  
 Исхищена будет Русь из преисподней  
 Гонители, мучители постыдятся,  
 Верные силе Божией удивятся,  
 Как восстанет дивно Русь во славе новой  
 И в державе новой, невестой Христовой.

Взойдет солнце обновленной христианской духовности, и заструится, забрезжит тот удивительный и чистый свет, в котором распадется культура эссенций, иллюзий и галлюцинаций и волшебно образует, подобно морозному узору на стекле, иная культура — веры, молитвы, духовного делания, культура, которая не отменит нашей способности ценить психологизм, завершенность формы, пластику языка, отточенность стиля, но вместе с тем дарует новую способность — видеть невидимое и слышать неслышимое. Способность, соединяющую нас со второй — духовной — реальностью, с тем сказочным царством, которое Христос называл Царствием Небесным. В его сиянии восстанет великая многовековая европейская традиция — традиция Августина, Франциска, Данта, Петрарки, Шекспира и Гёте — и волшебно обозначатся светлые контуры новой. Какой она будет, мы не знаем, но она будет такой же великой, ибо подлинное величие — в духе любви и жертвы, милосердия и всепрощения.

Так я считаю как западник, человек, который искренне любит европейскую культуру, но по законам мистерий, требующим искренности во всем, я должен признаться, что я и славянофил. Да, да, законченный и убежденный — не потому, что противопоставляю Россию Западу, а потому, что Россия — часть Европы и у них общее духовное солнце — Христос. Под этим солнцем Августин и Франциск — братья Сергия Радонежского и Серафима Саровского, а Толстой, Достоевский и Пушкин — единомышленники с Гёте, Петраркой и Дантом. Это солнце одинаково светит и православным, и католикам, и протестантам — всем народам, населяющим Европу. У этих народов общая вера, общая историческая судьба — значит, и рассвет у них должен быть общим...

### 3. На пороге гуманитарного века

Кажется, к этому невозможно привыкнуть: неужели через каких-нибудь восемь лет нынешний XX век станет прошлым, а XIX, который мы привыкли считать нашим прошлым веком, — аж позапрошлым, принадлежащим далекой истории? И не только век, но и тысячелетие: сейчас мы живем во втором, а будем жить в третьем. Ударит двенадцать, мы, собравшиеся за столом, у наряженной и усыпанной блестками елки, поднимем бокалы с прозрачным голубым шампанским, произнесем с шутливой беспечностью: «Ну, с Новым годом!» — и ступим в XXI век и одновременно с этим в третье тысячелетие. Непостижимо! Мы и в XX веке толком пожить не успели, а ему на смену уже... Не успели — даже если родились в самой середине века, в 40-е или 50-е годы. Прикинем: сначала детство, пора бессознательная, затем отрочество и юность — время формирования характера, взглядов, принципов, мировоззрения, и вот когда характер сформировался (если жизнь мерить семилетиями — годам к двадцати одному или двадцати восьми) — казалось бы, и осознать сопричастность веку, духовно и психологически освоиться в нем, почувствовать его изнутри и обжить, как мы обживаем комнаты нового дома, а он уже на исходе, истачивается, истаяет и чернеет, словно последний мартовский снег. Чернеет — отсюда и то тревожное, гнетущее, апокалиптическое предчувствие, которое всегда сопутствует концу тысячелетия и закату века. Так было и в иудео-эллинском мире времен земной жизни Господа, так было в средневековой Европе накануне второго тысячелетия, и нечто подобное мы испытываем сейчас, накануне третьего...

Конец света уже не раз предсказывался — во многих странах и в разные эпохи, — земля от этого не разверзлась, города не обращались в прах и человечество не проваливалось в геенну огненную. Значит, и на этот раз обойдется? Обойдется, чего там! — можно спокойно жить дальше. Этот грешный мир еще миллион лет простоит! Но наиболее вдумчивые и чуткие из верующих рассуждают иначе: у Бога

«тысяча лет как один день», сроки нам неизвестны и нет смысла их заранее высчитывать. Надо жить, молиться и творить добрые дела, положившись на волю Божию.

И все же как относиться ко всему, ныне совершающемуся, нам, людям, которые не только верят, но и пытаются осмыслить социокультурные, историософские и духовные процессы в категориях этики и гуманитарных знаний? Начнем, пожалуй, с вопроса о том, каким же он был, наш удивительный и ужасный век, в чем его главная особенность. Хотя он еще не кончился, но определение ему давно найдено — век техники, индустрии, эпохальных научных открытий. Вспомним технократическую эйфорию и индустриальный энтузиазм начала века. автомобили, самолеты, телефоны, электрические лампочки. Кумирами общества были затворники ученые, склонившиеся над ретортами и физическими приборами и заполняющие страницы тетради столбцами своих расчетов, и смельчаки пилоты в кожаных шлемах и защитных очках, дерзнувшие подняться в небо на неуклюжих крылатых этажерках. Кумиров славили, им рукоплескали, о них писали газеты, их озаряли магнєвые вспышки фотоаппаратов, и на волне всеобщего воодушевления и оптимизма возникало предчувствие небывалых перспектив, которые открывала техника, золотого века индустриального прогресса и благополучия всего человечества. Предчувствие, воплощенное в художественную форму гением Жюль Верна и Герберта Уэллса — фантастов и мечтателей, впрочем, ненадолго опередивших век в своих прогнозах, поскольку научная мысль оказалась смелее художественной.

Смелее, богаче — и плодотворнее. Запомним это и двинемся дальше. Последовали еще более ошеломляющие открытия в области ядерной физики, была сформулирована теория относительности, началась подготовка к освоению космического пространства. Ошеломляющие и по своему теоретическому значению, и по возможностям практического применения: человечество овладело новым мощнейшим видом энергии, освободившейся из расщепленного атомного ядра. Эта энергия разве не символ века? Однако не менее символично и то, что веком была разбужена и невиданная социальная энергия — энергия огромных человеческих масс.

История принимает характер массового действия, заставляющего предположить, будто некий высший разум, устав от разнообразия форм, в которых человечество выступало на исторической сцене, стал формировать из него однородные монолиты, наделенные гигантскими зарядами. В соединении же двух видов энергии — физической и социальной — кроется одна из неразгаданных загадок века. Поэтому постараемся вникнуть в его смысл и постичь хотя бы тот факт, что цепная реакция при делении атомного ядра, порождающая взрыв чудовищной силы, причудливо совпадает с цепной реакцией в сознании толпы, которая приводит к таким явлениям массового гипноза, как коммунизм, фашизм, геноцид и прочие зловещие призраки XX века.

Итак, постараясь.. В XX веке, как известно, стремительно выросло население земли, настолько стремительно, что вслед за теорией расовых различий человечества, оправдывающей колониальный захват и грабеж, родилась теория, объясняющая все беды человечества — голод, войны и революции — его постоянно умножающейся численностью. Независимо от того, верна или нет эта теория, следует признать, что увеличение численности вызвало и качественные сдвиги в сознании человечества, утрату и изменение смысла многих традиционных понятий. И прежде всего тех, в которых человечество мифологизировало собственную историю.

То, что раньше, во времена добропорядочной старой Европы и тихой, созерцательной Азии, называлось нацией и государством, приобрело черты транснациональных и трансгосударственных образований, и веками складывавшееся понятие «народ» было вытеснено понятием «массовое общество». Соответственно изменился и статус того, кто возглавляет и ведет свой народ: бывший монарх как фигура почти священная, избранник и помазанник Божий, своеобразный регулятор и проводник высших энергий, или всенародно избранный президент, олицетворяющий собою гуманитарные начала конституционной свободы и демократии, стал политическим вождем, или лидером, совершенно иной фигурой, призванной возглавить не столько народ (во всем богатстве содержания этого понятия), сколько однородную человеческую массу. А человеческая масса, обожествляющая своего вождя, это и есть тоталитаризм независимо от того, кем он создан — Лениным, Гитлером, Сталиным, Мао Цзэдуном или Пол Потом.

Гитлер и Сталин, как свидетельствует история, были чрезвычайно близки к созданию атомной бомбы. Близки и лишь чуть-чуть не успели. Не успели, но если бы. Легко себе представить, что ожидало человечество, если бы два вида энергии соединились в буквальном смысле. Бомбу же первыми взорвали американцы — сверхиндустриальная нация, овладевшая энергией расщепленного атомного ядра, но при этом не позволившая скопиться в своих недрах разрушительной социальной энергии. Защитой от тоталитаризма послужили вековые традиции конституционной свободы и парламентской демократии. Поэтому общемировая трагедия обернулась только трагедией двух японских городов — Хиросимы и Нагасаки. Двух маленьких городов, ставших первыми жертвами ядерного взрыва, но ведь и это трагедия, причем свершившаяся, состоявшаяся, а не гипотетически предполагаемая. Иными словами, в мире это было — значит, конституционная свобода и демократия оказались недостаточной гарантией, недостаточной силой, способной сдерживать зло. В таком случае, спрашивается, в чем же эта сила и в чем эта гарантия?

Можно было бы ответить на этот вопрос так, как отвечали лучшие умы человечества всех веков: в добре, в истинной вере, в служении высшим духовным началам. Но XX век требует особого ответа, и поскольку зло приняло в нем формы иллюзорного технического прогресса, воплотилось в культе рационального начала и абсолютизации точных знаний, добро должно быть гуманитарным, восстанавливающим утраченные ценности религии, философии, искусства и литературы. Такое понимание добра уже обозначилось в нашем сознании, и мы стоим у истоков движения, которое я бы назвал гуманитарным ренессансом.

Даст Бог (и я на это надеюсь), итальянские мальчишки, разносчики газет и посыльные в лавках, в скором времени снова будут насвистывать мелодии классических опер, как это было во времена Россини и Верди, почтенные немецкие пивовары, наполняющие пенистой струей тяжелые кружки, — с партитурой в руках слушать оперы Вагнера и симфонии Брамса, английские клерки с белоснежными манжетами и расчесанными на прямой пробор волосами — встречать посетителей цитатами из Шекспира, а французские цветочницы и модистки — читать наизусть Вийона и Шенье. Кумирами общества вновь станут чудаки гуманитарии, штудирующие в библиотеках Платона, устроившиеся на ступенях храма с томиком Библии или проповедующие Христа у центрального городского фонтана, где катаются на велосипедах дети и дремлют на лавочках их седые няни. И глядишь, наша рука тоже потянется и к Платону, и к томику Библии, а главное, изменится наше представление о жизни и самих себе. Мы поймем, что наше существование подчинено более высоким задачам, чем накопление материальных благ, стремление к комфорту, поиск удовольствий и достижение той приятности, о которой так мечтал главный герой повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». Очень уж ему хотелось устроиться в жизни, чтобы все было в высшей мере приятным — приятная обстановка в комнате, приятные мысли, приятные отношения с женой, приятное общение со знакомыми и сослуживцами, и вот вроде бы все достигнуто, все есть, есть, но Иван Ильич внезапно заболевает раком и, сознавая неизбежность конца, вместе с физическими страданиями испытывает мучительные страдания от мысли, что жил он не так, без истинной цели и смысла, и поэтому жизнь его прошла зря. Хотя Толстой впрямую об этом не говорит, мы угадываем в его герое несчастного сына материалистического, индустриального века (так же, впрочем, как и в самом Толстом, проповедовавшем добро, но не признававшем таинства евхаристии и всей мистической символики христианства), и мучившие его сомнения — а правильно ли он живет? — неизбежно должны разделить те, для кого технический прогресс заслонил истинно гуманитарные ценности.

Толстой писал свою повесть накануне XX века, и вот этот век на исходе. Что же ждет нас в будущем веке? Каким он будет — век, с которого начнется новое тысячелетие? Думается, что он будет гуманитарным, но не в том обычном значении, в каком был гуманитарным XIX век, а в том сокровенном значении, в каком был I век первого тысячелетия — великий век христианства, расширивший гуманитарность античных философов, вавилонских магов и ветхозаветных пророков до масштабов вселенского сострадания, милосердия и жертвы. Расширивший — и возвысивший: такие же задачи предстоят и XXI веку — задачи апостольские, заключающиеся в том, чтобы распространить по миру благое гуманитарное веяние.

Если XX век прошел под знаком сомнений апостола Фомы, которому понадобилось вложить персты в раны Иисуса, чтобы убедиться в его воскресении, то XXI

пройдет под знаком Петра и Павла, основавших новую Церковь и пронесших не меркнувший факел евангельской истины по всему миру Распространится и на мировую политику возродив в ней идеи Священного Союза, некогда созданного императором Александром I и объединившего — на духовной основе — государства Европы Распространится и на мировую духовность, прежде всего европейскую, которая вспомнит о своем великом гуманитарном прошлом, но вспомнит не так, как Вагнер и Ницше, воскресившие национальный миф, чтобы провозгласить о том, что «Бог умер», а так, как Дант выбирал в вожатые Вергилия, как романтики вспоминали о готике, как в классической немецкой философии оживал гуманитарный пафос средневековых схоластов.

Кто знает, быть может, гуманитарный ренессанс Европы суждено возглавить именно России — стране, распявшей себя на кресте коммунистической утопии, прибитой к ней ржавыми гвоздями тоталитарного режима, увенчанной терновым венцом атеизма, а теперь воскресающей к духовной жизни. Воскресающей — и помогающей воскреснуть другим Не в том ли судьба России, что она приняла на себя грехи мира, чтобы спасти этим мир, или, словно самоотверженный врач, привила себе палочки неведомой болезни, чтобы переболеть ею, прометаться в бреду и горячке, но зато найти средство для ее лечения? Вот и теперь побеждена не только сама болезнь — тоталитарная чума, но и найдена причина того состояния мира, которое к ней приводит избыток индустриальной углекислоты и недостаточность гуманитарного кислорода.

Поэтому как реакция на индустриальный бум XX века в XXI (таков мой прогноз) возникнет широкое, охватывающее весь мир экологическое движение. Планета начнет очищаться — как город очищается весной от остатков грязного, ноздреватого снега, который грузят на самосвалы и с высоких гранитных набережных сбрасывают в реки Сбрасывают, чтобы проститься Вот так же и мы простимся с дымом фабричных труб, радужными нефтяными пятнами в море, удушливыми выхлопными газами и радиоактивным свечением атомных электростанций Вместо этого вокруг зазеленеют поляны, ветер всколыхнет густые травы, закружится пух одуванчиков над лесными оврагами, дохнет прохладой от замшелых валунов, застучит дятел по звонкому стволу березы, вдали таинственно отзовется кукушка, большеголовые стрекозы пронесутся на прозрачных крыльях, виолончельной струной басовито загудят шмели, и человечество вновь испытает утраченную радость — просыпаться от крика петуха, умываться ключевой водой и пить из простой деревенской кружки парное молоко

Если для XX века экология была наукой, то для XXI она станет способом жизни, и человек не только теоретически — через призывы и манифесты, — но и практически соединится с природой Соединится, верный своему гуманитарному призванию Это же призвание приведет его к Богу — не книжному, а живому, такому же, как зеленеющие под солнцем поляны, волнующиеся под ветром травы и кружащийся пух одуванчиков Природа же и Бог разбудят в человечестве новые творческие силы, которые будут направлены не только на служение точным наукам, техническому прогрессу и индустрии, но и на создание великих произведений искусства и литературы. Мы, собственно, уже забыли, что это такое — подлинно великие произведения. Нам, свидетелям эпохальных открытий в области физики, кибернетики, генетики и прочих наук, трудно себе представить, что значит жить в одну эпоху с непревзойденным творцом, испытывать влияние необыкновенного художественного дара, быть современником гения или пророка. Так же как и физическую материю, XX век подчинил искусство делению, распаду, разложению на составные элементы (недаром его выразителями стали Пикассо и Дали, всякого рода и калибра формалисты и постмодернисты) XXI же век, очевидно, должен вернуться к органическому художественному синтезу В XXI — хочется думать — появятся музыканты, художники и писатели, чей дар будет соразмерен гению Толстого, Гёте, Шекспира, Бетховена, Рембрандта И тогда в противоположность техническому XX веку новый век назовут столетием искусства.

Думать, надеяться, верить, любить — с этим желанием мы стоим на пороге и стучимся в двери будущего века, будущего тысячелетия

---

---

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

## ПРОТИВ СОЦИАЛИЗМА

Новая книга Д. Штурман

**В** известной серии «Исследования новейшей русской истории», выходящей в парижском издательстве «YMCA-PRESS» под общей редакцией А. И Солженицына, появился том 10, опечатанный на этот раз в России. Два его пол тома заняты книгой Доры Штурман<sup>1</sup> «О вождях российского коммунизма» (в выходных данных — 1993 год, реально — 1994-й). Большая часть этого исследования была опубликована в книге «Мертвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина, Троцкого» (изд. ОРІ. Лондон. 1982), но материал существенно переработан и дополнен. В книге три части: «Победа и крушение Ленина», «Николай Бухарин — любимец партии» и «Читая Троцкого». В задачу автора входило нарисовать несколько политико-психологических портретов. Д. Штурман объясняет:

«Главный метод данного исследования — текстологический анализ: исторические фигуры возникают перед читателем в основном в том, что написано и произнесено либо ими самими, либо их современниками о них. За автором остается лишь комментарий».

В годы «перестройки» и «гласности» явились на свет многие архивные документы, в основном в процессе «реабилитации» (когда репрессированные коммунисты реабилитировались на основании их — теперь доказанной — верности коммунистической партии). Но, замечает автор,

«сколько бы документов ни извергли из своих недр архивы коммунистической эры, <...> исключено появление документов, которые могли бы реабилитировать коммунизм (подчеркнуто мною. — А. В.). Ни в качестве доктрины, ни в качестве практики он не может быть оправдан и обоснован никакими соображениями теоретического, практического или морального порядка. Объяснен — да; оправдан — нет».

Д. Штурман развенчивает мифы, сложившиеся вокруг ее персонажей. Миф о том, что Ленин унес с собой в могилу тайну спасения России от наступающего сталинизма и оживи он — все изменилось бы в судьбах России и мира. Многие верят в это до сих пор (см., например, совсем уж недавнюю статью академика П. Волобуева в «Независимой газете» от 12.3.94 — о том, что Ленин явился в мир, чтобы — ну?.. — сделать блага цивилизации и культуры доступными для миллионов граждан «любимой им России»). Миф о том, что Бухарин унес с собой в могилу конструктивную альтернативу сталинизму — какой-то хороший социализм с человеческим лицом. Миф о том, что Троцкий, будучи противником Сталина, был и его позитивной антитезой (другой вариант этого мифа: еврей Троцкий погубил хорошие замыслы русского коммуниста Ленина). И делает она это убедительно, темпераментно. Нельзя сказать, что она топчет мертвых, воюет с призраками. Нет, ее противник — живой современный социализм. И не только нынешний оголтелый коммунизм, размахивающий портретами Ленина и Сталина, но социализм во всех его видах — от раннеутопического до «демократического». Не случайно в книге подробно и пристрастно анализируется красивый проект благородного В. Чернова «Конструктивный социализм» (Прага. 1925), совпадающий с проектами «всех демократических (по их собственному убеждению) социалистов».

По мнению автора, нет и не может быть хорошего пути к социализму (ни революционного, ни эволюционного). Потому что сам социализм (будь то «национальный» или «интернациональный») и есть зло.

---

<sup>1</sup> См. ее статьи в «Новом мире»: «Они — ведали» (1992, № 4), «Человечества сон золотой...» (1992, № 7), «Остановимо ли Красное Колесо?» (1993, № 2), «У края бездны» (1993, № 7), «В поисках универсального со-знания» (1994, № 4), «Дети утопии» (1994, № 9, 10).



«Я не хочу и не могу углубляться в проблему взаимоотношений между волей и тем, что мы привыкли называть материей и ее объективными законами. Речь идет только о четко ограниченной сфере — о хозяйственной и социальной деятельности человека, человеческого общества, органические закономерности которой можно силой *сломать*, но нельзя произвольно заменить другими, «сознательно» изобретенными и более плодотворными, по мнению изобретателей, закономерностями. Что *объективно* (богоданно, природно, фундаментально для основ бытия — я не берусь спорить о наиболее адекватном термине), то *объективно*. Оставаясь в ограниченной сфере хозяйственной самоорганизации общества, можно утверждать, что сконструировать принципиально новые закономерности, которых в социальной природе нет и которые противоречат ряду основных законов природы, политический произвол бессилён. *Уничтожить* хозяйственные и гражданские свободы можно. Можно сосредоточить власть над обществом и его имуществом в руках одной обезличенной совокупной силы и/или диктатора. <...> Но замысел объективно утопический при попытках его воплощения в жизнь создает монстров, в которых неосуществимое не работает, а осуществимое работает безобразно. Помехи в таких системах со временем нарастают и множатся все быстрее.<...> Обратить государственную монополию, политическую, идеологическую и экономическую, «на пользу всему народу» нельзя. Ни одно правительство, ни одна партия, ни одна олигархия и ни один вождь не смогут по-настоящему принести пользу обществу, не восстановив при этом нефиктивных начал плюрализма, свободных рынков и не зависимой от государства собственности, то есть не перестав быть всеобъемлющими монополистами. *Иначе* при самых благих намерениях обусловленный природой всех феноменов посюстороннего мира неустранимый дефицит информации-времени не позволит им обеспечить удовлетворительное существование и благоприятные перспективы всему обществу».

Я поневоле и с сожалением опускаю аргументы Д. Штурман, оставляя только выводы. Выводы, к сожалению, актуальные, поскольку в России еще нет гарантий от попыток, зачастую вполне респектабельных, реставрации государственного социализма. Что уж говорить о тех, кто грезит о новом революционном восстании, сметающем «оккупационный режим».

«Автор просит читателей не делать вывода, что, отворачиваясь от революционного поворота событий, он рвется в объятия Ивана Грозного. Единственная цель автора — понять, как свобода, ища беспредельности, утрачивает себя самое. <...>

...Но ведь Россия рухнула в рабство не из царевых рук, а из состояния свободы, сравнимой по ее полноте разве что с современной западной (и той полнее)!

Не исключено, что в марте—мае 1917 года большевистскую демагогию еще можно было бы нейтрализовать пропагандистскими средствами, если бы Временное правительство и партии центра были настроены это сделать <...>.

Чуть позднее одним только пропагандистских мер было бы уже недостаточно для нейтрализации большевизма. Но на довольно долгое время еще хватило бы ряда продуманных полицейских и (или) военных акций против экстремизма в столицах и хорошей пропаганды в провинции, в армии и в деревне <...>.

Ревнителю джентльменского отношения к противникам, играющим без всяких правил, вопиют по сей день об опасности для демократии перестать быть демократией, если она начнет отвечать на «слова» репрессиями и прибегать к силовым акциям против потенциальных насильников. Но в акте сознательного творения всегда вначале бывает Слово. И желающий жить должен прислушиваться к тому, что звучит в словах сил, претендующих в мире на роль Творца».

И далее:

«...к противникам типа Ленина и его партии следует относиться с профилактической подозрительностью. С людьми и организациями, для которых правил игры не существует, надо сражаться по правилам детективной, а не спортивной борьбы, ибо сами они не спортсмены и не солдаты».

Последнюю фразу можно выбить в камне.

А. В.

---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО



## ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ

*Формовка советского читателя*

Телегою проекта нас переехал  
новый человек...

*Осип Мандельштам.*

«**М**ы говорим: «читатели». Но можно ведь сказать и «народ». В условиях нашей страны без малого каждый грамотный человек является читателем; а неграмотные уже редкость, аномалия. Читатель-народ верит нам, советским литераторам. Мы этим должны гордиться, дорожить и отчетливо сознавать ту огромную ответственность, которая возлагается на нас доверием народа»<sup>1</sup>. Эта формула Вс. Кочетова таит в себе некую безысходность.

Советский читатель, зритель, слушатель никогда не был просто адресатом и потребителем искусства. Согласно «общественно преобразующей» доктрине, лежавшей в основании соцреализма, он — объект преобразования, формовки. Он сам — существенная часть общего политико-идеологического проекта, и в конечном счете функции советской литературы (как и всей советской культуры) состояли в «перековке человеческого материала». В классическом сталинском определении советских писателей как «инженеров человеческих душ» подчеркивалась именно эта радикальная обращенность эстетической деятельности на читателя. Радикализм состоял в фундаментальном преобразовании отношений между ним и автором.

Своеобразным заветом классической традиции может служить понимание читателя О Мандельштамом, наиболее полно раскрытое им в эссе «О собеседнике» (1913), где он отстаивал право поэта на обращение к читателю далекому, находящемуся «в потомстве». Мандельштамовская концепция читателя основывается на понимании сотворчества автора и читателя как участников беседы («собеседник»). Вне такой беседы поэзия не рождается, ибо задача поэта — бросить «звук в архитектуру души», ибо «нет лирики без диалога»<sup>2</sup>.

Мандельштамовские размышления о собеседнике прозвучали в преддверии новой «социальной архитектуры», новой эпохи, которая как бы говорила, что ей «нет дела до человека, что его нужно использовать как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него», которая «враждебна человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством»<sup>3</sup>.

### «Проницательный читатель» эпохи Москвошвея

Новая стратегия чтения, рожденная в революционном котле, явилась результатом культурного коллапса, когда «старая культура» получила нового адресата. Новый читатель, зритель, слушатель формирует оптику своего восприятия в самом процессе «приобщения к культуре». Это исключительно сложный и болезненный

---

<sup>1</sup> В. Кочетов, «Писатель и читатель» («Нева», 1955, № 1, стр. 175).

<sup>2</sup> О. Мандельштам. Сочинения в 2-х томах. М. 1990, т. 2, стр. 146, 149.

<sup>3</sup> Там же, стр. 205 («Гуманизм и современность»).

процесс. Он сопровождается резкой ломкой сложившегося эстетического опыта масс и, как следствие, массовым негативизмом к культуре вообще: и к «старой культуре», и к восставшей на ее развалинах культуре авангардной. Процесс этот приводит к отказу от потребления искусства и стремлению создавать искусство самим, к отказу от сотворчества и желанию творчества: реципиент перерождается в автора.

Прежде всего новый читатель и зритель обнаружил, что «старая культура» ему не принадлежит: «Играли пьесы Чехова. Прошли вещи, ничего не давшие рабочему — ни уму, ни сердцу»<sup>4</sup>. «Смотрели «Дядюшкин сон» по Достоевскому... Спрашивается, нужно ли выводить на сцене разваливающуюся вельможную персону, достаточно опротивевший нам тип выжившего из ума князя? Такая тема рабочему не нужна»; «На днях посмотрел я премьеру из римской жизни («Антоний и Клеопатра» Шекспира) и подумал — на что нужно рабочему, занятому целый день тяжелой работой, смотреть этот заплесневевший исторический хлам?»<sup>5</sup>.

Рабкоровские отзывы об опере и балете — предел того тупика, в который зашло массовое сознание в попытках «овладеть культурным наследием». Здесь не может быть и речи о какой бы то ни было «переработке старой культуры». Здесь действительно обнаруживается культурная пропасть: «...зачем нам, рабочим, показывают вещи, которые отжили, да и ничему не учат? — возмущается рабочий после оперы Чайковского. — Все эти господа (Онегин, Ленский, Татьяна) жили на шее крепостных, ничего не делали и от безделья не знали куда деваться!»; «Нам кажется, что «Пиковая дама» по своему содержанию совершенно устарела и ее пора снять с постановки»; «Опера «Демон» навевает скуку. Все действующие лица ноют и молятся. Ноет и молится Тамара, молится ее жених Синодал (чахленькая личность), молятся его слуги, ноют и молятся подруги Тамары и даже... ноет и пытается молиться Демон»; «Многие рабочие недоумевают, кому служат наши русские театры и для кого играют заслуженные народные артисты республики?»<sup>6</sup>. Разумеется, с восприятием авангардных театральных постановок — Мейерхольда или Вахтангова, например, — возникали не меньшие трудности.

Традиционная модель описания советской культуры, сложившаяся как на Западе, так и в 60-е годы в СССР, строится на том, что отрицание культуры прошлого исходило либо от авангарда, либо от Пролеткульта и впоследствии от РАППа, то есть слева и справа — внутри культуры. При этом не учитывается то обстоятельство, что отрицание культурной традиции в связи с соответствующим эстетическим порогом массового восприятия искусства исходило от широчайших масс города и деревни, активно вовлекаемых новой властью в «культурное строительство». Признание этого фактора не вписывалось в левую парадигму как западного антитоталитаризма, так и советского шестидесятничества, склонных вполне по-народнически во всем усматривать вину идеологов и предателей интересов народа, настаивая на непричастности масс. С другой стороны, это обстоятельство не могло быть признано и национально-традиционалистским сознанием, также переоценивающим и мифологизирующим «народный лад».

Несравненно больший интерес массового зрителя вызывал фабрично-заводской театр, создававшийся «собственными силами», где зритель оказывался приобщенным через собственное авторство и «близкий сюжет» к «произведению искусства». Вот что писали рабкоры: «Центральные театры пока обслуживают только центр города, т. е. буржуазную и советскую интеллигенцию. Массы рабочих в этих «настоящих» театрах не бывают. Они видят только постановки драмкружков в своих рабочих клубах. Вся тяжесть обслуживания театром рабочих масс несет на себе именно они... Вот это — наше! — говорят рабочие»<sup>7</sup>.

Чтобы представить сюжет подобных пьес, пользовавшихся столь высокой популярностью среди рабочих, приведем изложение одного из них по рабкоровскому письму: «Расскажу про инсценировку, которую мне пришлось видеть на одном из

<sup>4</sup> С. Крылова, Л. Лебединский, Ра-бе (А. Бек), Л. Тоом. Рабочие о литературе, театре и музыке. Л. «Прибой». 1926, стр. 43.

<sup>5</sup> М. Алатырцев, «Почва под ногами» («Литературный еженедельник» (Петроград), 1923, № 8, стр. 12).

<sup>6</sup> С. Крылова, Л. Лебединский, Ра-бе (А. Бек), Л. Тоом. Рабочие о литературе, театре и музыке, стр. 73 — 76.

<sup>7</sup> Там же, стр. 53.

московских кожевенных заводов. На сцене — диван. На диване лежит директор завода, и вот ему снится сон. Выползают из всех углов кожи. И готовые выделанные, и только что содранные шкуры, словом, кожи из всех отделений завода, начиная со склада сырья и кончая складом готового товара. Кожи начинают между собою разговор. И здесь попадает всем: протаскивают и директора, и мастеров, и рабочих. Указывают на все недостатки производства и выясняют, кто в этом виноват. Потом «директор» (загримированный под директора рабочий) просыпается, хватается за голову и обещает устранить все указанные недостатки. Постановка пользовалась у рабочих огромным успехом»<sup>8</sup>.

Желание масс творить самим, служившее постоянной подпиткой для пролеткультурной и впоследствии рапповской риторики, позволяет увидеть пропасть между массовым реципиентом и культурным репертуаром эпохи. Именно заполнение этой пропасти стало культурной задачей соцреализма, подтягивавшего массы и искусство друг к другу, подгонявшего одно к другому, что и породило специфику сталинской культуры с ее задачей создать «красных Львов Толстых».

Между тем, чтобы решить эту задачу, необходимо было поступиться радикализмом целей и методов, к чему революционная культура была органически не способна. Такую «историческую миссию» и взял на себя соцреализм. Зрелая советская культура более последовательно, чем ее революционные предшественники, пошла «навстречу массам», сняв традиционный комплекс неполноценности масс перед «высоколобым искусством». По классической сталинской модели произошло усреднение: драмкружковцы, оставшись у станка, сделали, как им и положено, «советским зрителем»; упадничество и неврастения, которыми пролеткультурцы попрекали старых творцов, стали устойчивыми характеристиками западного искусства; авангардный театр умер, а ему на смену пришло «народное искусство» соцреализма. При этом была основательно учтена новая читательская реакция. На призыв «предъявить требования» массы откликнулись довольно живо и фактически соорудили каркас новой культуры.

Что же нравится в литературе советскому массовому читателю 20-х — начала 30-х годов? Каков горизонт его эстетических ожиданий? Каковы художественные предпочтения?

**Книга должна быть познавательно полезной, должна учить:** «Полезная книга. Из нее я узнал, как жилось крестьянам в прежние времена» (мужчина, 22 года) — о книге Ал. Алтаева «Стенькина вольница»; «Дала полезные указания о восстаниях крестьян» (женщина, 20 лет); «Полезная. Из этой книжки узнала, как крестьяне в старые времена боролись за свою свободу» (женщина, 17 лет) — о книге Ал. Алтаева «Под знаменем башмака»; «Полезная. Учит, что нужно верить в дело, начатое революцией» (женщина, 17 лет); «Полезная. Учит правильно жить женщину» (женщина, 18 лет) — о романе Максима Горького «Мать»; «Полезная. Учит, до чего доводит водка» (женщина, 22 года) — о книге Александра Неверова «Авдотьяна жизнь»; «Полезная. Показывает, что деревня страдает от своей темноты» (женщина, 22 года) — о книге Александра Неверова «Андрон Непутевый»<sup>9</sup>.

**Книга должна содержать ясную авторскую оценку событий:** «Больше всего не люблю книг, когда читаешь, читаешь, а все конец недоговорен. Не высказывается писатель, значит, нечисто. все норовит сторонкой. А по-моему, если ты пишешь, так пиши без хитрости, все объясняй до конца, чтобы понятно было, о чем твои думы, а то лучше совсем не пиши, не отнимай зря у людей время» (колхозница, 28 лет)<sup>10</sup>.

**Книга должна воспитывать:** «Нужно поставить на вид Gladкову, чтобы писать такие романы, как «Цемент», нужно выводить и положительные типы, чтобы пролетариат мог стремиться к усовершенствованию»<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Там же, стр. 55 — 56. Атмосферу подобных представлений хорошо передал В. Шишков в рассказе «Спектакль в селе Огрызове».

<sup>9</sup> Отзывы приводятся по кн.: Б. Банк, А. Виленин. Крестьянская молодежь и книга. М.—Л., 1929, стр. 71 — 72.

<sup>10</sup> Отзыв приводится по ст.: Б. Брайнина, «Колхозный читатель о книге» («Новый мир», 1935, № 8, стр. 263).

<sup>11</sup> Отзыв приводится по ст.: Л. Поляк, «К вопросу о методике обработки читательских отзывов (Рабочий читатель о «Цементе»)» («Красный библиотекарь», 1928, № 9, стр. 56).

**Литература должна создать картину будущей «хорошей жизни»:** «О книгах одно скажу: пусть они мне в лицах покажут, как люди хорошо вперед двигают хозяйство и как наша колхозная жизнь годика через 3 — 4 будет» (колхозный бригадир)<sup>12</sup>, «Вы загляните немного вперед, обрадуйте нас. Когда приезжают к нам хорошие ораторы, которые описывают будущий социализм, невольно подымается дух» (рабочий)<sup>13</sup>.

**Литература должна быть оптимистичной:** «Новая литература полна грусти и уныния, а в жизни много радости. На фабриках нет тех упадочнических настроений, какие имеются в наших новых книжках»<sup>14</sup>; «Нужно не прошлое, такое обыденное и серенькое, а нужно, чтобы литература диктовала здоровую и красивую, нравственно красивую жизнь» (рабочая, 23 года, о романе «Цемент» Федора Гладкова)<sup>15</sup>.

**Литература должна быть героичной, возвышенной:** «Все геройские подвиги нашей жизни надо в книгах изображать» (комсомолец-колхозник); «Недавно я прочитала «Человек, который смеется» Гюго. Сколько там ярких, благородных приключений — сердце разрывалось от жалости. Пусть пишут о нашей жизни так же волнующе, не хуже, чем Виктор Гюго»<sup>16</sup>.

**Герой книги должен быть образцом для подражания:** «Эту книгу прочитал с удовольствием, она мне понравилась... По прочтении этой книги самому охота быть таким, как товарищи Горин, Арон, Федор, а также Феня и информатор Коля свою роль исполнили блестяще» (рабочий о книге Алексева «Большевики») <sup>17</sup>.

**В произведении должна быть показана руководящая роль коллектива и партии:** «Хотелось бы отметить один недостаток, характерный не только для этой книги, а для большинства произведений из рабочей жизни: где-то отсутствуют завком и партийный коллектив. Ведь эти организации немалое значение имеют на предприятии, и невольно недоумеваешь, почему ни в чем не видно их влияния»; «В отношении завода не видно самого главного — массы... Не видно комсомола»<sup>18</sup>.

**В книге все должно быть «как в жизни»:** «Островнов очень жизненно изображен, прямо ненавидишь его, как живого; то же самое можно сказать и о чиновнике-бюрократе, секретаре райкома, — его поведение возмутительное... Ближе всех и понятнее показался мне Кондрат Майданников. Совсем он знакомый, знакомый...» (комсомолец-колхозник)<sup>19</sup>; «Все верно описано, я сама из деревни и могу сказать, что все рассказано точно, как оно и на самом деле бывает»; «Поверили бы, если бы было указано, где, в какой губернии, в каком уезде это было, а так получается не факт, а одна коммунистическая мысль» (крестьяне о повести «Бабуя деревня» Александра Серафимовича)<sup>20</sup>.

**Сюжет должен развиваться последовательно:** «В современной книжке нет «плановности»: показывают небольшой кусочек жизни человека. Неизвестно, откуда герой явился, и часто не рассказывают, куда он идет. Так не годится. Книга должна показать основательно всю жизнь человека, без скачков»<sup>21</sup>; «Книга идет с отрывистыми темами, что не понять, где начало, где конец» (мужчина, 20 лет) — о повести «Пожар» Дмитрия Фурманова; «Ничего не понять, дрянь. Все перепутано» (мужчина, 17 лет) — о романе «Голый год» Бориса Пильняка<sup>22</sup>; «Мой отзыв на

<sup>12</sup> Отзыв приводится по ст.: Б. Брайнина, «Колхозный читатель о книге» («Новый мир», 1935, № 8, стр. 262).

<sup>13</sup> Отзыв приводится по кн.: «Писатель перед судом рабочего читателя». Л. 1928, стр. 69.

<sup>14</sup> Отзыв приводится по ст.: Шипов, «Рабочий читатель о новой литературе» («Журналист», 1927, № 2, стр. 49).

<sup>15</sup> Отзыв приводится по ст.: Л. Поляк, «К вопросу о методике...», стр. 56.

<sup>16</sup> Отзывы приводятся по ст.: Б. Брайнина, «Колхозный читатель о книге», стр. 264.

<sup>17</sup> Отзыв приводится по ст.: Веже, «Что читают. Лицо рабочего читателя» («На литературном посту», 1927, № 9, стр. 63).

<sup>18</sup> Отзывы приводятся по кн.: «Голос рабочего читателя. Современная советская художественная литература в свете массовой рабочей критики». Л. 1929, стр. 139 — 140.

<sup>19</sup> Отзыв приводится по ст.: Б. Брайнина, «Колхозный читатель о книге», стр. 263.

<sup>20</sup> Отзывы приводятся по кн.: «Какая книга нужна крестьянину». М.—Л. 1927, стр. 21, 22 — 23.

<sup>21</sup> Отзыв приводится по ст.: Шипов, «Рабочий читатель о новой литературе», стр. 48.

<sup>22</sup> Отзывы приводятся по кн.: Б. Банк, А. Виленин. Крестьянская молодежь и книга, стр. 76

книгу Бабеля — «Конармия» Эта книга сама по себе ничего, только тем плоха, некоторые рассказы совершенно непонятны, и еще поскольку я прочитал и поскольку понял — почти все главы перепутаны, т. е. не по порядку, и этим самым читатель не может понять сущего факта ее слов, и так я заканчиваю свой отзыв» (прядильщик)<sup>23</sup>; «„Степная быль” Шубина как-то написана неловко. Все как-то толчками, то вперед, то назад» (селькор)<sup>24</sup>.

**Книга должна быть большой, толстой:** «Работница не любит коротеньких книжек: „Не успеешь стул согреть, еще ничего не пережила, а уже конец”<sup>25</sup>; «Книга не понравилась. Очень краткая (мужчина, 16 лет) — о книге Волкова «Райское житье», «Хорошая книга. Нравится, потому что большая» (мужчина, 16 лет) — о романе «Чапаев» Дмитрия Фурманова<sup>26</sup>; «Самое важное — чтобы толстая была книга, в которой описывается жизнь человека от колыбели до могилы»<sup>27</sup>.

**Язык должен быть «художественным» и одновременно «понятным»:** «Большая художественно-яркая картина... Так писать может только Горький. Простым и в то же время образно-ярким языком, таким родным и понятным» (рабочий, 48 лет)<sup>28</sup>; «Язык тяжелый, а книга интересная и жизненная» (крестьянин, 19 лет — о «Кон-армии» Исаака Бабеля); «Даже не прочитаешь — язык не идет» (крестьянин, 18 лет — о «Радунице» Сергея Есенина); «Не хорошая книга. Какой-то смешной язык. Никак не разберешь» (крестьянка, 17 лет — о «Бронепоезде» Всеволода Иванова)<sup>29</sup>.

**Нельзя печатать «похабщину»:** «Читая книгу «Железный поток», от начала до конца висит самый беззастенчивый, самый безудержный «мат» и «мат» в самых таких безобразных его проявлениях. По-моему, это отрицательная сторона книги, так как молодежь, читая ее, будет учиться, как можно в обычной своей жизни принять такую форму разговора, каковая указана в «Железном потоке», как вполне нормальную и узаконенную»; «Этот грубый недостаток я наблюдал у всех наших современных писателей, или почти у всех»<sup>30</sup>; «В «Поднятой целине» все правдиво описано... Но очень нехорошие места выражения. Неужели нельзя выражаться так, чтобы было и весело, и не очень похабно?»<sup>31</sup>; «Лавренев увлекается порнографической стороной и ведет читателя с матросом... вплоть до пуховика Аннушки; и дальше, желая точнее описать матроса, употребляет и все время приводит доскональные выражения матроса вплоть до «мата», что, мне кажется, для новой литературы не обязательно; можно хорошо описать матроса и без мата»<sup>32</sup>; «Многие из писателей занимаются вредной работой, вернее, собирают все больше развратное из половой жизни и преподносят современному читателю в соблазнительной форме... вина их в том, что после чтения больше раздражаешься, больше чувствуешь этот «смак» к половой жизни, а не наоборот — не отвращения»<sup>33</sup>.

**Любовь должна быть «возвышенной»:** «Моя любимая книга — «Овод».. как там хорошо про любовь говорится: какая героическая, высокая любовь! Только так и надо о любви писать. А когда писатель начинает во всех подробностях описывать, как герои целуются, обнимаются, соблазняют друг друга, развратничают, это только наталкивает на плохие мысли. Я знаю товарищей, которые начитаются всего та-

<sup>23</sup> Отзыв приводится по ст.: Веже, «Что читают. Лицо рабочего читателя», стр. 61 — 62.

<sup>24</sup> Отзыв приводится по ст.: А. Меромский, «Критическое чутье деревни» («На литературном посту», 1928, № 3, стр. 40).

<sup>25</sup> Отзыв приводится по ст.: Шипов, «Рабочий читатель о новой литературе», стр. 48.

<sup>26</sup> Отзывы приводятся по кн.: Б. Банк, А. Виленин. Крестьянская молодежь и книга, стр. 81

<sup>27</sup> Отзыв приводится по ст. А. Левицкая, «Читательская трибуна. Читатель в роли критика» («На литературном посту», 1929, № 6, стр. 68).

<sup>28</sup> Отзыв приводится по ст.: Э. Коробкова, Л. Поляк, «Рабочий читатель о языке современной прозы (К постановке вопроса)» («На литературном посту», 1929, № 14, стр. 60).

<sup>29</sup> Отзывы приводятся по кн.: Б. Банк, А. Виленин. Крестьянская молодежь и книга, стр. 75 — 76.

<sup>30</sup> Отзывы приводятся по ст.: Э. Коробкова, Л. Поляк, «Рабочий читатель о языке современной прозы (К постановке вопроса)», стр. 61.

<sup>31</sup> Отзыв приводится по ст.: Б. Брайнина, «Колхозный читатель о книге», стр. 265.

<sup>32</sup> Отзыв приводится по кн.: «Голос рабочего читателя...», стр. 112.

<sup>33</sup> Отзыв приводится по кн. «Писатель перед судом рабочего читателя», стр. 79 — 82

кого и начинают безобразничать... А про такую любовь, как в книге «Овод», хорошо читать. Такая любовь возвышает»<sup>34</sup>.

«Фантастика» и «небылицы» не нужны: «Это утопическая книга. Какой-то чудак прислал с Марса рукопись, и там расписано про жизнь марсеян. Одна чепуха» (рабочий об утопии Александра Богданова «Инженер Менни»); как так — «люди летают по воздуху без всяких аппаратов... Много вымысла и несбыточного. Не доказывает факты» (рабочий о романе «Блестящий мир» Александра Грина)<sup>35</sup>.

Менее всего читатель склонен был выступать в роли просителя необходимой ему «литературной продукции». Напротив, он чувствовал себя уверенно — как хозяин, которому «принадлежит искусство». Согласитесь, в совокупности все его требования вырастают в стройную эстетическую систему. Это вполне «возможная эстетика» (если вспомнить известную книгу Режин Робэн «Соцреализм: невозможная эстетика»). Возможная уже потому, что строилась в явном соответствии с массовым социальным заказом. Так что в рассматриваемом здесь феномене содержится один из мощнейших источников соцреализма. Нельзя всерьез полагать, что советская официальная критика (как утверждала традиционная советология) руководствовалась только какими-то политическими резонами, требуя от литературы правдоподобия, тотального реализма, последовательности, «толстых книг», «живых людей» и т. п. Социалистического реализма требовал читатель. Именно так: «У наших читателей вполне определенные художественные вкусы — они хотят реализма в искусстве, реализма социалистического, изображения живого человека, действующего и думающего, без натуралистического копирования в подробностях физиологического порядка и без зауми, без формалистических фокусов»<sup>36</sup>.

Советская критика озвучила требования массового читателя, и эти требования почти полностью совпали с требованиями власти. Народность является поистине основным принципом соцреализма. Искусство соцреализма — самонастраивающийся механизм, это, по точному определению Э. Надточия, «машина кодирования потока желаний массы»<sup>37</sup>. На вопрос, желания какой социальной среды (с ее эстетическими опытом и вкусами, с ее горизонтом ожиданий) здесь учитывались, существует примерно следующий набор ответов:

советская культура апеллировала к неразвитому вкусу масс;

советская культура опиралась на вкусы вождей;

советская культура реализовала авангардный политико-эстетический проект, она явилась продуктом кризиса авангарда.

Эти наиболее распространенные ответы в действительности не противоречат друг другу. Каждый, конечно, не абсолютен. И напротив, при абсолютизации ни один не работает. Таков случай Б. Гройса, полагающего, что соцреализм был чужд «настоящему вкусу масс», но был навязан Сталиным, что вместо соцреалистической доктрины могла быть с тем же успехом внедрена фонетическая заумная поэзия в духе Хлебникова и Крученых или живопись в духе «Черного квадрата» Малевича<sup>38</sup>. Между тем очевидно, что советская культура не могла — именно в силу опоры на массовый вкус — идти от черного квадрата или от заумной поэзии. Дело еще и в том, что определяющей была не прямая опора на конкретный вкусовой уровень, а опора на постоянно сдвигающийся вкусовой порог. «Неразвитый вкус масс» — феномен в пореволюционных условиях д и н а м и ч н ы й.

Советская культура действительно реализовала авангардный политико-идеологический проект, элитарный по своему генезису. Но в реализации этого проекта

<sup>34</sup> Отзыв приводится по ст.: Б. Брайнина, «Колхозный читатель о книге», стр. 265.

<sup>35</sup> Отзывы приводятся по кн.: С. Крылова, Л. Лебединский, Ра-бе (А. Бек), Л. Тоом. Рабочие о литературе, театре и музыке, стр. 24.

<sup>36</sup> Г. Ленобль, «Советский читатель и художественная литература» («Новый мир», 1950, № 6, стр. 223).

<sup>37</sup> Э. Надточий, «Друк, товарищ и Барт (Несколько предварительных замечаний к вопросу о месте социалистического реализма в искусстве XX века)» («Даугава» (Рига), 1989, № 8, стр. 115).

<sup>38</sup> Б. Гройс, «Соц-реализм — авангард по-сталински» («Декоративное искусство СССР», 1990, № 5, стр. 35).

она опиралась на массовую культуру. Речь идет об удовлетворении определенного горизонта эстетических ожиданий, об опоре на определенный эстетический опыт.

Ленинскую теорию «двух культур в каждой национальной культуре», из которой исходила советская эстетика, вернее было бы назвать теорией «двух элитарных культур в каждой национальной культуре». «Реакционная культура» не менее элитарна, чем «революционная культура Чернышевского, Добролюбова, Писарева». Это одна культурная парадигма. Массовая же культурная парадигма вообще никогда не бралась революционерами в расчет: революция родила суперэлитарное авангардное искусство и всячески боролась с лубочной литературой, изымала «мещанскую», лубочную литературу с той же непримиримостью, что и черносотенную. Другое дело — культура советская, являющаяся голосом власти с ее исключительным прагматизмом. Эта культура строилась в соответствии с сегодняшними потребностями власти (один из основных принципов соцреализма — принцип партийности — как раз и требовал от искусства такой «сверхчуткости»). Менялись задачи — менялись и темы. Постоянным оставалось одно: любые социально значимые интенции власти должны быть «разрешены» массой, приняты ее совокупным сознанием, должны найти опору в глубинных структурах общественного сознания в данный момент. В этом «единстве партии и народа» действительная основа советской культуры. Единство власти и массы вынуждает культуру власти быть эгалитарной, хотя любая власть тоталитарного типа создается во имя элиты. Анатолий Иванов или Константин Симонов действительно были одними из самых читаемых авторов в 70-е годы, так же как и «Чапаев» — действительно самым популярным фильмом 30-х годов. Соцреализм — встреча и культурный компромисс двух потоков: массы и власти. Феномен же, порожденный их взаимодействием, можно назвать бедствием среднего вкуса. Эгалитаризм советской культуры состоял не столько в примитивной опоре на «неразвитый вкус масс», сколько в тотальной стратегии уереднения и ликвидации остатков автономности.

Соцреализм прошел между Сциллой «массовой литературы» и Харибдой «элитарной литературы». Его художественная продукция не укладывается ни в одно, ни в другое из указанных традиционных русел, его стилевая нейтральность (пресловутая «бесстильность», «серость» соцреализма) — результат этого «третьего пути».

### Власть и безвластие книги

Весь процесс создания, издания, распространения и потребления книги к середине 30-х годов оказывается под контролем государства. Целая серия директив и постановлений начиная с 1918 года закрепляет новый социальный статус книги. «Книга должна явиться могущественнейшим средством воспитания, мобилизации и организации масс вокруг задач хозяйственного и культурного строительства»<sup>39</sup>. Разумеется, подобная «забота о книге» поддерживалась и литературными кругами, ангажированными властью: «Планируя все наше хозяйство, направляя всю культурную жизнь нашей страны, мы не должны забывать и о литературе, осуществить рабочий контроль над книгой», — требовал широкий литературный фронт — от Пролеткульта до РАППа<sup>40</sup>.

Как известно, одним из первых шагов в этом направлении был принятый еще в начале 1918 года декрет ЦИК, которым национализировалось Контрагентство А. С. Суворина, а также большая сеть принадлежавших ему по всей России книжных магазинов, железнодорожных газетно-журнальных киосков, типографий, книжных складов и т. д. Последовательные шаги новой власти были направлены на огосударствление книжных фондов, принадлежавших частным книгоиздательским и книготоргующим организациям, и привели к созданию Государственного издательства — уникального в мировой истории предприятия.

Наиболее крупное негосударственное издательство «Земля и фабрика», основанное по инициативе профсоюза бумажников, просуществовало с 1922 по 1930 год; открывшееся в 1922 году частное издательство «Academia» национализи-

<sup>39</sup> Постановление ЦК ВКП(б) от 15 августа 1931 года «Об издательской работе»

<sup>40</sup> См.: «Страничка рабочей критики» («Труд» (Баку), 1928, № 1-2, стр. 28).



руется в 1924 году и просуществоует уже в качестве государственного до 1938 года. Частные издательства «Время» З. И. Гржебина (1919 — 1923), «Пучина» (1924 — 1929), «Современные проблемы» братьев М. В. и С. В. Сабашниковых (1912 — 1930) были значительно менее мощными, чем государственные, и на книжном рынке не могли составить им серьезной конкуренции. Зато в годы нэпа сильно выросла книжная продукция кооперативных издательств — Книгоиздательства писателей в Москве (1912 — 1919), «Московского товарищества писателей» (1925 — 1934), издательства писателей в Ленинграде «Круг» (1922 — 1929), издательств «Советская литература», «Недра» (1924 — 1932), «Никитинские субботники» (1922 — 1931), «Федерация» (1926 — 1932).

К началу первой пятилетки частные издательства были ликвидированы. Начинается создание централизованной «стройной системы» специализированных, типизированных и универсальных издательств на общесоюзном и на республиканском уровнях. В 30-е годы под контролем государства оказался весь издательский механизм. Первостепенный интерес представляет государственная издательская политика, оказывавшая в силу своей тотальности определяющее влияние на формирование «круга чтения» и через него непосредственно на «читательские массы».

В 20-е годы вопросы книжного рынка обсуждались в литературных кругах весьма активно. Несомненно, ближе всего к пониманию книжного рынка как литературной проблемы подошли деятели ОПОЯЗа. Принципиальное значение в этом смысле имеют книга В. Шкловского «Третья фабрика» (М. 1926), статьи Б. Эйхенбаума «Литература и литературный быт» («На литературном посту», 1927, № 9) и «Литература и писатель» («Звезда», 1927, № 5), Ю. Тынянова «Вопрос о литературной эволюции» («На литературном посту», 1927, № 10). Наиболее полной реализацией идей формальной школы в области «бытования литературы» может быть признана книга Т. Грица, В. Тренина и М. Никитина «Словесность и коммерция» (М. 1929), построенная на материале истории книжной лавки А. Ф. Смирдина. Авторы писали о том, что в 30-е годы XIX века начался процесс относительной (в сравнении с Западной Европой) секуляризации русской литературы и, соответственно, ее коммерциализации. Эта ситуация без труда проецируется и на пореволюционную эпоху. Но уже к концу 20-х годов начинается процесс, который можно определить как ресекуляризация литературы для новой идеологии. Литературный быт, издатель, писатель, читатель радикально меняются.

Советская модель книжного рынка с самого начала была задумана как госмонополистическая. Это прежде всего означает резкое преобладание госпредложения над спросом — непропорциональный рост тиража к количеству выпускаемых книг: число книг растет с 3,5 тысячи до 4,7 тысячи печатных единиц, то есть в 0,5 раза, средний же тираж с 12,9 тысячи до 44,6 тысячи экземпляров, то есть почти в 3 раза (общий тираж корректирует эту ситуацию в сторону увеличения с 45 миллионов до 222,8 миллиона экземпляров, то есть в 5 раз).

Что же касается издания непосредственно художественной литературы, то даже советская статистика постоттепельного периода вынуждена была признать, что «широкий размах послевоенного книгоиздания имел... свои минусы. Увлечение выпуском многотомных и многотиражных изданий, бесчисленные переиздания некоторых не заслуживающих того произведений неизбежно вели к затовариванию книжного рынка, хотя спрос на многие ценные произведения все еще не был удовлетворен... В период с 1948 по 1955 год выходило не более 5 тыс. изданий художественной литературы в год»<sup>41</sup>. Постепенное расширение ассортимента начинается уже в постсталинскую эпоху с возвращением в литературу некоторых писательских имен и относительным расширением возможностей. Та же ситуация и с литературно-художественными журналами, традиционно игравшими ключевую роль в структуре досоветского и советского литературного процесса: их число на всем протяжении 30-х годов катастрофически падает (в особенности в период организации Союза советских писателей и во время войны), пока не достигает минимальной отметки — 4 общесоюзных толстых литературных журнала в послевоенные годы. Это процесс, изоморфный ситуации, сложившейся в советском кино:

<sup>41</sup> «Печать СССР за 50 лет. Статистические очерки». М. «Книга». 1967, стр. 101.

«...количество названий в прокате заменяется количеством копий на название... число кинотеатров при этом растет, а частота смены репертуара резко падает»<sup>42</sup>.

Здесь, впрочем, следует отметить любопытный параллельный процесс — увеличение объема книги: средний листаж одной книги вырастает за период с 1928 по 1955 год почти вдвое, причем скачок приходится на послевоенное десятилетие. Это было не только удовлетворение массового спроса на «толстую книгу» (огромные эпопеи, своеобразные «романы-чулки», по образному определению Ю. Трифонова). За этим процессом — все тот же результат: резкое снижение ассортимента изданий. «Официальная антология» (Р. Эскарпи) сужается подобно шагреновой коже, пока читатель (как, впрочем, и кинозритель) не оказывается буквально на пяточке.

Наконец — государственная библиотека становится институтом, почти монопольно влияющим на читателя, определяющим его спрос. Высокий спрос на книгу — реальный фактор бытования советской культуры в 30 — 50-е годы. Очереди — не только признак советской организации работы, но и действительный показатель читательского наплыва в библиотеки: в часы пик (после окончания смены и в выходные дни) на одного библиотекаря на выдаче приходилось от 50 до 70 читателей. Огромные тиражи, какими издавались книги в СССР, менее всего были предназначены для рынка, расходясь по «общественным фондам потребления»; многомиллионные переиздания классики в своем ассортименте почти полностью совпадали с объемом школьной программы (и большая часть изданий классики поступала прямо в школьные библиотеки). Массовые библиотеки (государственные, профсоюзные, школьные и др.) будут оставаться действительными «очагами новой культуры» до 60-х годов, пока «массовый читатель» не покинет их почти полностью, превратившись в «многомиллионного советского телезрителя».

Советский читатель, где бы он ни был — в школе, на рабфаке, в институте или заводском цехе, — формируется библиотекой прежде всего, во всех категориях читателей доминирует выбор книг по рекомендациям библиотекарей и рекомендательным спискам. Спрос на художественную литературу в молодежной читательской среде к середине 20-х годов практически полностью совпадает с будущей «официальной антологией».

Советская массовая библиотека имела большую историю: родившись из «народной библиотеки» прошлого века, она достигла расцвета в 30 — 50-е годы и наконец исчерпала себя в 60-е, потеряв читателя. Именно в массовых библиотеках, общее число которых по стране достигло к 50-м годам огромной величины, и осела основная часть книжной продукции советского времени.

Нельзя не увидеть в массовой библиотеке политико-идеологический институт, через который происходило огосударствление читателя (подобно тому как Союз писателей был институтом огосударствления писателей).

#### **«Ши шам — рознь», или «Простая охрана интересов массового читателя»**

Декрет о централизации библиотечного дела в РСФСР, отредактированный Лениным и опубликованный 3 ноября 1920 года, не просто связывал все библиотеки страны в единую сеть и передавал их в ведение Главполитпросвета. Из этого декрета видно, что именно предполагала централизация. Речь шла не столько о том, чтобы «помочь народу использовать каждую имеющуюся у нас книжку»<sup>43</sup>, сколько о создании единой государственной системы контроля за книгой через централизацию комплектования.

Но начала новая власть не со снабжения, а с чисток, не с комплектования, а с изъятий. Именно в этом процессе вырабатывались принципы централизации.

Следует иметь в виду, что чистки начались сразу после Февральской революции и были лишь усилены большевиками. Процесс приобрел лавинообразный ха-

<sup>42</sup> М. Туровская, «Эволюция зрительских предпочтений: закономерности спроса» (в кн.: «Огочественный кинематограф: стратегия выживания». М. 1991, стр. 69).

<sup>43</sup> В. И. Ленин. О работе Наркомпроса (в кн.: «Что писал и говорил Ленин о библиотеках». М. 1932, стр. 22).

рактически к лету 1918 года — библиотечные фонды сократились почти вдвое и лишь к концу 1919 года вернулись к дореволюционным цифрам. Крупская видела в этом последнем факте указание на выход из кризиса: завершился «процесс очищения библиотек от негодного хлама и затем пополнение их закупленными книгами»<sup>44</sup>. Здесь было, конечно, заведомое искажение ситуации: новая литература лишь количественно могла заполнить образовавшееся зияние, поскольку основная часть ее была брошюрной и уж никак не могла заменить изъятого «хлама».

О чистках библиотек написано немало. Массовые изъятия из библиотек после революции сразу и прочно вошли в реестр «большевистских преступлений». Для нас важно, что процесс чисток имел свою логику, и эта логика представляет особый интерес. Именно ею обосновывалась новая библиотечная политика. Крупская писала в 1923 году:

«Знание грамоты можно сравнить с ложкой. Ложкой удобно хлебать щи, но если щей нет, то, пожалуй, не к чему обзаводиться и ложкой.

Дело библиотеки поставлять миску со щами — сокровищницу знаний — владельцам ложек, людям, владеющим техникой чтения...

Однако это лишь часть задачи в области библиотечного дела. Щи щам — рознь. Надо варить их не из сена и трухи, а из достаточно питательных веществ, надо сделать варево удобоусвояемым, вкусным. Важно не просто расставить по полкам книги, надо расставить наилучшие, самые ценные, самые нужные книги, самые доступные, наиболее отвечающие на запросы читателя»<sup>45</sup>.

«Удобоусвояемое, вкусное варево», в которое стремилась новая власть превратить чтение, было достаточно сложным продуктом. Речь шла поначалу не столько о новых «щах», сколько о том, чтобы отобрать у «владельцев ложек» прежнюю «миску». Так родилась первая, наиболее полная инструкция 1924 года по «пересмотру книжного состава библиотек», подписанная председателем ГПП Н. Крупской, заведующим Главлитом П. Лебедевым-Полянским и председателем ЦБКМ М. Смушковой<sup>46</sup>.

Было вновь заявлено, что свою политическую и культурно-воспитательную роль библиотеки не смогут выполнять, «если не освободятся от контрреволюционной и вредной литературы». Фактически инструкция 1924 года вводила институт спецхранов в научных библиотеках. Охранная грамота оставалась только у книг, вышедших в советских и партийных издательствах, а также у имеющих визу Главлита. Безусловному изъятию подлежала вся литература по философии, психологии и этике, «защищающая ментализм, оккультизм, спиритизм, теософию... и т. п.», отдел религии должен был содержать теперь только антирелигиозную и «противоцерковную» литературу.

Немалый интерес представляют изъятия беллетристики. К литературе, «возбуждающей, укрепляющей и развивающей низменные, животные и антисоциальные чувства. суеверия, национализм и милитаризм (во многих исторических романах)», была отнесена практически вся массовая литература: «лубочные книжки» («Бова Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Английский Милорд Георг» и т. п.), «лубочные песенники», «бульварные романы» («Нат Пинкертон», «Ник Картер», «Пещера Лейхтвейс»), «уголовные романы» (Габорио, Леблана, Понсон Дю-Террайля и других); когда же «список по отчистке» доходил до русских авторов, напротив почти каждого имени стояло в скобках: все. Это относилось к Арк. Аверченко, Апраксину, Буренину, А. Вербицкой, М. Волконскому, князю В. Мещерскому, Вс. Соловьеву, Л. Шаховской (список состоял из 56 имен)<sup>47</sup>. Попадания настолько точны, что можно предположить, будто власть действительно боролась с «дурными вкусами читающей публики». Между тем безукоризненный отбор был направлен не на воспитание вкуса, а на замену «массовой литературы» «литературой для масс».

<sup>44</sup> Н. К. Крупская. Педагогические сочинения в 10-ти тт. М. 1960, т. 8, стр. 21 («Распределение книжных богатств»).

<sup>45</sup> Там же, т. 8, стр. 68 — 69 («Наши задачи»).

<sup>46</sup> «Инструкция по пересмотру книг в библиотеках». М. — Л. «Долой неграмотность». 1926

<sup>47</sup> Там же стр. 45 — 47

Особенно сильно пострадали в результате изъятий детские библиотеки (здесь, очевидно, сказались педагогические пристрастия и претензии Крупской, считавшейся не только «главным библиотекарем», но и «главным педагогом» страны). Когда дело доходило до детской литературы, расплывчатость формулировок вела на практике к тому, что библиотекари стремились изымать как можно больше (по принципу «лучше перестараться, чем недоглядеть»). По детской литературе даны особенно пространственные списки (два отдельных приложения, требующие изъятия целых категорий детской литературы). Прежде всего речь шла о сказках (в том числе изъятию подлежали сказки Афанасьева, «Аленький цветочек» Аксакова). Власть в это время вполне солидаризировалась с позицией наиболее радикальных литературоведов и педагогов, полагавших, что сказки «вредно влияют на неокрепшее сознание ребенка», воспитывают суеверия, мистицизм, затемняют «материалистическую картину мира». Через некоторое время сказки были «реабилитированы». Прежде всего это относится к русским народным сказкам, возврат которых в «официальную антологию» должен был символизировать поворот власти к «воспитанию патриотизма». Если сказки были возвращены, то повести и рассказы для детей, изъятые по инструкциям 20-х годов (рассматриваемая инструкция 1924 года содержала 97 имен детских писателей), так и не вернулись к детскому читателю. То же относится и к специальному списку детских книг по истории и исторической беллетристике (список состоял из 51 автора) и к комплектам детских журналов.

Между тем литература соцреализма, эта взрослая литература для детей, немедленно становилась достоянием подростков через «официальную антологию» — школьную программу.

Тема изъятий присутствует практически во всех официальных документах, посвященных библиотекам. Адепты новой библиотечной политики исходили из того, что «рабочий — цельный человек. Не укладывается это у него в голове, что у нас при диктатуре пролетариата наряду с усиленным и небывалым по размаху коммунистическим просвещением масс могут выходить и выдаваться ему из библиотеки книги, проповедующие мистику, буржуазно-индивидуалистический анархизм и совершенно антикоммунистическую идеологию. Работа библиотеки — частица общей работы партии. И для рабочего на каждой книге, взятой из библиотеки, лежит клеймо и виза Коммунистической партии. Он не прочь покритиковать и партию, когда дело идет о частностях, но когда дело касается основных вопросов, здесь рабочий всецело доверяет партии. И вот рабочий читатель сидит над мелкобуржуазной книжонкой, силится одолеть ее, напрягает все свое внимание и в результате натывается на какую-то антикоммунистическую и бредовую «окрошку». А между тем для рабочего уже одним фактом выхода книги в свет Коммунистическая партия как бы поручилась за ее содержание. В результате получается растерянность и недоумение. Рабочий сбит с толку. Он не понимает и не решается признаться в этом, стыдится своего непонимания. Вред, приносимый такой литературой, очевиден»<sup>48</sup>.

«Забота о рабочем» («простая охрана интересов массового читателя», по словам Н. Крупской), с какой выписан его психологический портрет, заставляет вспомнить о том, что инициатива в деле библиотечных чисток исходила не только сверху, но и снизу. Один из ведущих теоретиков новой библиотечной политики, А. Покровский, на страницах «Красного библиотекаря» (1923, № 1, стр. 19) сформулировал задачи библиотеки как института социального воспитания: «Библиотека — это мастерская с набором разнообразных орудий для разнообразных работ. Топор плох для отделки поверхности тонких изделий, но хорош для облованивания чурбана; лобзик плох для распилки теса, но хорош для работы из фанеры... Оставим себе и топор и лобзик. Теперь в этих наших мастерских много инструментов старых, ржавых, неуклюжих, кривых, обманывающих неловкую руку. Постараемся очистить от них мастерские, заменяя каждое старое — новым, лучшим. Но в тех случаях, когда для данной цели нового лучшего инструмента нет, оставим и ржавую пилу, и тупую стамеску, и даже топор, соскакивающий с топорика». Эти «смелые предложения» тут же, однако, обставлялись множеством оговорок. Что ка-

---

<sup>48</sup> С. Крылова, Л. Лебединский, Ра-бе (А. Бек), Л. Тоом. Рабочие о литературе, театре и музыке, стр. 30.

саются «практических рекомендаций», то А. Покровский предлагал, например, чтобы «каталог небольшой библиотеки для массового читателя приближался к рекомендательному списку книг», а книги, оставленные в библиотеке ради привлечения читателя, ради их занимательности, по содержанию же малоценные, в списки не включать. Эти и другие «маленькие хитрости» тем не менее не уберегли А. Покровского от разгромной критики. Любопытно, что с А. Покровским полемизировали в основном библиотекари, критиковавшие его за... «гнилой интеллигентский либерализм».

Безусловно, чистки достигли намеченных целей: они проходили параллельно с приходом нового читателя в библиотеку (его уже не нужно было обманывать — он просто не знал, кто такая, скажем, Вербицкая). Массовый читатель рождался на глазах — к книге толкал сам процесс резкого разрушения традиционной социальной стратификации, борьба с безграмотностью, массовая тяга к учебе, которая обеспечивала новым социальным группам возможность найти свое место в изменяющейся общественной инфраструктуре. Все это качественно меняло читательскую аудиторию и состав крови «массового читателя» библиотеки.

Позволительна стала даже декоративная кампания по борьбе с изытиями в 1932 году. Эта кампания была организована по принципу «головокружения от успехов» — «инициатива мест» была скована. Развитию этой инициативы способствовала неопределенность ключевого понятия «идеологически вредная книга». Ликвидация «вредной книги» в этом отношении очень напоминает «ликвидацию кулачества как класса» при неопределенности понятия «кулак». Речь, однако, шла вовсе не о прекращении изытий, которые к началу 30-х годов привели к катастрофическому оскудению библиотечных фондов, сократившихся в среднем на 50 процентов<sup>49</sup>. Просто-напросто завершился полный цикл уже традиционных па власти — шаг назад, два шага вперед; то же самое произошло и с переорганизациями в колхозах, административном аппарате, партии, армии, в среде интеллигенции и т. д. — везде срабатывал один и тот же метод: сначала мощное давление со стороны центральной власти, затем «перегибы» и «головокружения», в которых якобы повинна инициатива мест и от которых берется спасать сама же центральная власть. После библиотечной кампании 1932 года комсомолец с улицы или работник сельсовета уже не могли вмешиваться в процесс чистки; чистки стали регулярно-централизованными, а списки на изыятие и выдачу — определенными и жесткими.

### **Огосударствление читателя, или От эмпирического читателя к идеальному**

«Народность» советской библиотеки, как уже упоминалось, не была рождена революцией, но вызрела в России задолго до нее. Ее корни — в народнических «общедоступных библиотеках». Уже в XIX веке эта доступность понималась в российских народнических кругах специфически: речь шла о резком, если не сказать — революционном, преобразовании «народа» в «читателей». На первом месте оказалась, таким образом, не библиотека, которая (по западному образцу) должна стать общедоступной, но ее потенциальный посетитель — не читающая публика, но нечитающая масса. Именно во второй половине XIX века в России сложилась, а затем заняла доминирующее положение социально-педагогическая концепция библиотечного дела в противовес концепциям «библиофильской» и «образовательно-утилитарной» (помощь читателю в самообразовании).

<sup>49</sup> Например, Московская областная библиотека организовала «помощь» библиотекам составлением списков для изытия. По художественной литературе здесь значились полные собрания Л. Андреева, Белого, Бунина, Брюсова, Гамсуна, Гарина-Михайловского, Гауптмана, Гюго, Гофмана, Додэ, Жеромского, Жироду, Диккенса, Лескова, Ростана, Соболя, Уайльда, Фета, Г. Манна, Метерлинка. А уж «на местах» с книжных полок исчезли Лонгфелло, Де Костер, Флобер, Шиллер. Как заявил один московский библиотекар, «такая была установка — „лучше перечиститься, чем недочиститься“» (Л. Рабинович, «Об извращениях в просмотре книжного состава библиотеки». — «Красный библиотекар», 1932, № 7, стр. 23 — 24).

«Социально-педагогический период» истории библиотек естественным образом совпадает с пореволюционной эпохой. Ему соответствуют и новые теоретические установки. Так, Н. Рубакин на первое место выдвигает уже не знание, а понимание и сознание и основой библиотечной работы считает не распространение знаний, но «содействие умственному и эмоциональному развитию читателя». Отсюда следовали конкретные рекомендации по формированию книжного состава «библиотечного ядра», по созданию в массовых библиотеках «рекомендательных каталогов» (вскоре практически полностью заменивших традиционные каталоги из-за их «объективизма») и «системы чтения».

Фактически вся библиотечная теория 20-х годов в лице Н. Крупской, А. Покровского, Б. Боровича, Д. Балики, В. Невского, М. Смушковой, Е. Хлебцевича, И. Цареградского, Е. Медынского и других обосновывала, развивала и «проводила в жизнь» социально-педагогическую концепцию библиотек (в этом сугубо интеллигентски-народническом контексте следует оценивать и библиотечные чистки: здесь идеалы интеллигенции совпали с интересами власти), выдвигая на первый план именно формовку читателя, а в книге и знании видя не цель, но лишь средство («орудие») для воспитания масс.

Социально-педагогическая концепция имела парадоксальные результаты: с одной стороны, культ книги замещался культом читателя, с другой (на «новом этапе») — читатель с его интересами вовсе исключался из библиотечной практики, а сама библиотека превращалась в нечто значительно большее, чем место хранения и потребления книги.

В первые пореволюционные годы наибольший интерес у адептов новой культуры вызывают изы-читальни. Именно сюда направлялись огромные книжные потоки. Н. Крупская в 1918 — 1923 годах вообще полагала, что именно изы-читальня — идеальный прообраз библиотеки будущего, и к расширению их сети направлялись огромные усилия: в 1920 — 1921 годах их числилось десятки тысяч.

Превращение библиотек в своеобразные агитпункты на местах — последовательная линия новой власти. Это превращение — длительный процесс, начавшийся сразу после революции. В статье с программным названием «Библиотекарь как творческий организатор жизни» главный библиотечный журнал страны еще в 1924 году учил: «Библиотекарь должен суметь создать в библиотеке полуклубное настроение». На практике это означало, что не следует требовать, например, тишины в библиотеке — напротив, «пусть разговоры с собеседником ведутся в библиотеке возможно непринужденной, без всякой предвзятой мысли и совершенно не считаясь с остальными слушателями». Все это «ступени», по которым «поднимается работа от библиотеки к своему должному завершению — клубу»<sup>50</sup>.

Не следует, однако, думать, что власть, на рубеже 30-х годов отказавшаяся от «леваческих загибов», вернула библиотеку в прежнее русло: возвращение на стены библиотек портретов классиков лишь оттеняло новизну советской библиотеки как партийно-государственного института. К 1939 году его строительство было успешно завершено.

Неотдифференцированность функций ранней советской библиотеки (одновременно и клуб и агитпункт) может быть объяснена тем, что церковь — рухнувший центр — не могла быть заменена узкофункциональным институтом. Не случайно библиотека часто и превращалась в непосредственное средоточие антирелигиозной пропаганды. Становясь «очагом новой культуры», библиотека стремительно теряет собственно библиотечные функции. Она работает все более «вне библиотечных стен», занимаясь передвижками, выносом книг на заводы, в цехи, организуя книгоношеские пункты и красные уголки в столовых, общежитиях, рабочих казармах, больницах и т. д. Разрушение же традиционной библиотеки изнутри было связано с формированием так называемых библиотечных советов. Бибсоветы — идея Л. Троцкого, с которой он выступил в июле 1924 года на Всесоюзном библиотечном съезде. Бибсовет, являясь органом коллективного руководства библиотекой, в идеале должен был объединить читателей с библиотекарями. С другой стороны, он должен был стать контролем над библиотекой. В работе издательств соответствующи-

<sup>50</sup> А. Охлябинина, «Библиотекарь как творческий организатор жизни» («Красный библиотекарь», 1924, № 10-11, стр. 87, 88, 90).

щие функции стал выполнять рабочий редсовет — по определению рапповского журнала, «орган связи издательства с рабочей читательской общественностью, орган общественного контроля над издательской работой для наилучшего удовлетворения запросов пролетарского читателя»<sup>51</sup>.

Но этот «демократизм без берегов» как атавизм революционной эпохи к началу 30-х годов уже доживал свои дни. Вместо лозунгов «пропаганды книги», «привлечения читателей в библиотеку», «книгу — в массы» и т. п. выдвигается новое требование: руководство читателем — надзор за чтением и контроль за читательской реакцией.

Идея руководства чтением возникла в первые пореволюционные годы. Однако до 30-х годов она не была методизирована и сводилась лишь к пересмотру фондов. Впрочем, уже в это время концепция руководства обосновывалась наиболее левыми библиотечными теоретиками. Так, В. Невский энергично отстаивал такой подход к библиотечной работе, «...когда читателю дается не столько то, что ему хочется, сколько *то, что ему нужно*. Разве лекарственные средства прописываются врачом-терапевтом по вкусу или по желанию больного? — спрашивал В. Невский. И тут же, продолжая аналогию, отвечал: — Нет! Они даются по их объективному назначению. Пора бы и книгу — *это сильнейшее психотерапевтическое средство* — выдавать не по принципу «чего изволите»... а по признаку объективной пользы»<sup>52</sup>. Система взглядов В. Невского, этот завершенный образец огосударствления чтения в классово-революционном своем изводе, в последующих советских условиях не могла реализоваться полностью, но тем не менее в основных чертах оказалась востребованной.

Впоследствии на этой основе родится идея так называемого планового чтения, активно внедрявшегося по «рекомендательным спискам» и «библиографическим рекомендательным указателям» в 30 — 50-е годы. «Плановое чтение», когда читатель записывался на определенный «план» и читал «в нужном направлении», опиралось на реальный феномен, который можно обозначить как чистый лист читательского сознания с отсутствующим горизонтом читательского ожидания. В результате чтение перестает быть самоценным процессом, но обретает телеологическую перспективу, постепенно дорастая до «вершины» — «общественно-политической литературы».

Фактически перед нами модель, внедренная не столько в библиотеке, сколько в советской школе. Идеально пригодная для чистого листа детского сознания, эта система начиная с 30-х годов и была закодирована в школьной программе. В послевоенные годы «руководство чтением», «плановое чтение» как важные признаки нового, идеального читателя приобретают законченную форму, застывают в чеканных формулах: «Руководство чтением является важнейшей, неотъемлемой частью работы каждого советского библиотекаря, помогающего читателю в повышении идейно-теоретического и культурного уровня, в приобретении специальных знаний»<sup>53</sup>. «Плановое чтение» призвано было поставить под контроль «самообразования» и неучащую молодежь. Процесс перековки выглядел, в полном соответствии с соцреалистической эстетикой, следующим образом («Из опыта библиотеки им. И. З. Сурикова Коминтерновского района Москвы»):

«19-летняя комсомолка З. Н. Соломатина, имевшая семилетнее образование, записалась в библиотеку в конце 1950 года. В это время она работала контролером-браковщицей одной из пошивочных операций на обувной фабрике имени Капранова. Девушка окончила технические курсы и стала браковщиком-контролером по приему готовой обуви, что требует знания всего технологического процесса. З. Н. Соломатина указывает, что ее производственному и общекультурному росту во многом содействовала библиотека.

При первом знакомстве с З. Н. Соломатиной библиотекарь установила, что она обладает навыками самостоятельного выбора книг. Читательница пользуется фабричной библиотекой, где берет техническую литературу. По-

<sup>51</sup> «На литературном посту», 1931, № 13, стр. 46.

<sup>52</sup> В. Невский, «Из записной книжки библиотечного инструктора. 2. „Энциклопедия“ или „Справочник электротехника?“» («Красный библиотекарь», 1923, № 2-3, стр. 22).

<sup>53</sup> Г. Бабанов, «О некоторых вопросах руководства чтением» («Библиотекарь», 1952, № 2, стр. 28).

степенно у библиотекаря сложилось впечатление о З. Н. Соломатиной как об очень вдумчивой читательнице, интересующейся многими вопросами, но без определенной системы.

— Не желаете ли вы посмотреть, что прочитано вами за последнее время? — спросила однажды Н. И. Лебедева З. Н. Соломатину. Это предложение вызвало у читательницы большой интерес.

— В самом деле, — ответила читательница, — книг я брала много, а какие же я знания получила?

Библиотекарь вместе с т. Соломатиной начала просматривать ее формуляр. Девушка убедилась, что читает бессистемно, без всякого плана. Н. И. Лебедева предложила ей посмотреть формуляр т. Богомолова, читающего по плану.

— Я покажу вам формуляр одного читателя, который интересуется вопросами происхождения жизни на Земле. Поглядите, книг он взял немного, но как всесторонне и глубоко они освещают тему.

З. Н. Соломатина с интересом всматривалась в записи взятых юношей книг. Умелый подбор книг привлек ее внимание. Н. И. Лебедева показала вложенный в формуляр текст плана чтения «Новое в науке о происхождении и развитии жизни на Земле», которым руководствовался т. Богомолов в выборе литературы. Затем она рассказала читательнице, какую пользу планы приносят читателю.

— Я бы тоже хотела читать по плану... Но есть ли планы чтения по другим вопросам? — спросила девушка.

Библиотекарь показала читательнице первый выпуск планов чтения. Читательница неторопливо просматривала листок за листком и наконец остановилась на одном. На этом листке было напечатано: «Каким должен быть советский человек». Выбор этой темы не был случайным. Читательница проявляла большой интерес к этим вопросам. В частности, три из одиннадцати книг, указанных в плане, были девушкой прочтены. Одна из самых ответственных задач в руководстве чтением — выбор первого плана чтения — была решена.

В дальнейшем читательница изучила литературу по темам: «Героическая борьба коммунистов зарубежных стран против разбойничьего империализма» и «В защиту мира!»...<sup>54</sup>.

Приведенный фрагмент из журнала «Библиотекарь» — превосходный образец соцреалистического текста. Идеальный читатель, в которого вырастает на наших глазах «т. Соломатина», — соцреалистический персонаж. Она и живет в пространстве литературного текста — с экспозицией (производственная характеристика), завязкой («Я покажу вам формуляр одного читателя...»), кульминацией («Я бы тоже хотела читать по плану...»), развязкой («Читательница неторопливо просматривала листок за листком и наконец остановилась на одном. На этом листке было напечатано: «Каким должен быть советский человек»). Идеальный читатель вообще вырастает в соцреализме как литературный персонаж, проходящий все стадии идейного роста — от несознательности к сознательности, — его подстерегают опасности («развлекательная литература», козни «буржуазных библиотекведов»), его воспитывают («руководство чтением», «плановое чтение», «библиотечное дело — забота партии»), и наконец он попадает в мир прекрасного — «Каким должен быть советский человек».

Но плановое чтение имело и другой культурно значимый аспект: оно превращало разные произведения в литературный цикл, тематизировало литературу в массовом сознании и, наконец, придавало некую цель самому процессу чтения (как у «т. Соломатиной» — «книг я брала много, а какие же я знания получила?»).

Усилению этой — «руководящей» — функции библиотеки способствовала и реорганизация системы учета читателей, превратившаяся из формального мероприятия в процедуру с политико-идеологическими функциями. В 40-х годах в библиотеках вводятся так называемые «аналитические формуляры», куда заносилось множество сведений о читателе — «о его интересах и запросах, о даваемой им оценке прочитанных книг, об отношении его к советам библиотекаря. Записи должны показывать политическую направленность руководства чтением, помощь библиотекаря читателю»<sup>55</sup>. Весь процесс смещения читательских интересов сохранился

<sup>54</sup> Там же, стр. 30.

<sup>55</sup> Р. Кибрик, «Об учете опыта работы с читателем» («Библиотекарь», 1950, № 6, стр. 41).



в этих записях (если, конечно, им верить). Вот читатель, интересовавшийся зарубежной научной фантастикой, переходит к чтению советской научно-популярной литературы. А вот другой читатель, увлекавшийся путешествиями, переориентировался на чтение «по родной стране»...

Разумеется, далеко не всегда руководство чтением было успешным; оно вырождалось в формальную нагрузку (по общественно-политической литературе), когда читателю дается заодно с интересующей его книгой книга по «нужному» отделу

Недостижимым образцом для руководства чтением в массовых библиотеках могла служить соответствующая система в армии. Судя по составу наиболее читаемых в красноармейских библиотеках книг, именно в армии сложилась идеальная модель руководства чтением и тотального контроля за книгой. Но та же модель распространялась и на массовые библиотеки; «формы работы», как уже говорилось, были направлены на поглощение последних анклавов неконтролируемого нечтения даже — спроса, на «огосударствление» общения «на почве книги», на то, чтобы формализовать круг такого общения и, соответственно, свести его к минимуму

Но успехи в формировании нового читателя определялись, конечно, не столько теми или иными формами воздействия, но всем механизмом функционирования книги в советских условиях. Просто в стенах библиотеки — главного института государственного чтения — переналадка механизма особенно видна. Может быть, в большей степени, чем в издательской системе или в системе советской книжной торговли. К примеру, тенденция к превращению каталогов в «рекомендательно-библиографические пособия», возникшая еще в 20-е годы, вылилась наконец в «новую теорию каталогов», объявленную вершиной «советской библиографической науки»: «...каталоги советских библиотек являются средством пропаганды книг и руководства чтением». «Победоносное шествие» этой теории началось после идеологических постановлений ЦК ВКП(б) 1946 года. Согласно ей «читательский систематический каталог является, по существу, основным рекомендательно-библиографическим пособием для читателей библиотеки»; «никакой принципиальной разницы между читательским систематическим каталогом и рекомендательной библиографией нет...»<sup>56</sup>. И конечно, итогом такого переворота должна была стать идея, согласно которой не каталог описывает книги, имеющиеся в библиотеке, а наоборот, книги должны собираться (а в идеале — и создаваться и издаваться) в соответствии с требованиями определенных отделов каталога; отсюда принцип «централизованной каталогизации». Каталог переставал быть зеркалом библиотечных фондов, превращаясь в идеологический фильтр, абсолютно непригодный для своих прежних — указательных — функций. Между тем это была уже вторая система защиты читателя от книги. Первая — механизм централизованного комплектования библиотек.

Массовые библиотеки в России еще в XIX веке не были свободны в комплектовании. С 1890 года осуществлялись государственное регулирование и контроль за пополнением книжных фондов. И все же, как показал А. Рейтблат, в комплектовании «народных читален» не было монополии, но сплетались интересы различных учреждений и политических сил: либеральной интеллигенции, государства, земства (в котором уже сочетались интересы ряда социальных групп и институтов), — это и привело к тому, что «фонды земской библиотеки носили компромиссный характер», когда каждый из влиявших на комплектование стремился «включить в их фонды издания, репрезентирующие его ценности»<sup>57</sup>. Как бы то ни было, контроль за комплектованием не был тотальным. Речь шла лишь об обычной борьбе за влияние на читателя.

Совсем другую картину можно наблюдать в советской библиотеке: «Комплектование библиотеки должно быть направлено к одной основной и все себе подчиняющей цели: мобилизации сознания и активности трудящихся, обслуживаемых

<sup>56</sup> Л. Левин, «Систематический каталог как рекомендательно-библиографическое пособие» («Библиотекар», 1953, № 5-6, стр. 31).

<sup>57</sup> А. Рейтблат. От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века. М. 1991, стр. 174 — 175.

данной библиотекой, на выполнение тех задач, которые стоят перед партией...»<sup>58</sup> Торжество подобных принципов в комплектовании и позволило в 30-е годы «открыть доступ к книжным полкам» (после войны, однако, аннулированный вплоть до оттепелиных 60-х). В предшествующий такому открытию период библиотеки полностью изменили «состав крови» — «вредное» изъято, «полезное» приобретено, а «самый ассортимент книг должен выполнять в несоизмеримо большей степени регулирующие чтение функции, чем их должен был выполнять ассортимент, отделенный от читателя стойкой». Причем «ассортимент, открываемый для читателей, должен быть достаточно широким по тематике, но ограниченным в отношении количества названий в пределах отдельной темы», поскольку «тенденция к расширению ассортимента неизбежно должна привести к снижению требований к включаемым в ассортимент книгам, а это в свою очередь на определенном этапе приведет к превращению открытого ассортимента из орудия регулирования чтения в его противоположность». Все было направлено к тому, чтобы «свести к минимуму элементы случайности» в выборе книги<sup>59</sup>.

Путь побед на библиотечном фронте был, таким образом, путем к созданию нового — идеального — читателя.

### Счастье Корчагина, или Идеальный читатель

Понятие «идеальный читатель» употребляется здесь едва ли не в буквальном, терминологическом смысле. Идеальный читатель — некий аналог автора, это и читатель, который моделируется автором как «собеседник» (у Мандельштама), «друг в поколеньи» (у Боратынского). Но в нашем случае автором является сама власть, а читатель, по аналогии, — продукт сотворчества власти и массы, своеобразный «горизонт ожидания» власти. Идеальный читатель такого рода лишен культурно-критического иммунитета, он не в состоянии читать текст (современный или классический) «вопреки» сформированному и привычному — стереотипизированному — эстетическому опыту. Наблюдаемое сращение корпуса «официальной антологии» и читательских требований — одно из подтверждений этого.

Обратимся к статистике чтения московской молодежи конца 40-х годов. В 1948 году, проверяя эффективность «пропаганды лучших произведений советской литературы» в связи с двухлетием постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», Московский библиотечный кабинет Управления культурно-просветительных учреждений разослал в московские библиотеки анкету о чтении молодых рабочих и учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО. Из 780 молодых читателей 390 назвали любимой книгой «Молодую гвардию» А. Фадеева, 170 — «Как закалялась сталь» Н. Островского, 108 — «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 77 — «Двух капитанов» В. Каверина, 38 — «Людей с чистой совестью» П. Вершигоры, 34 — «Непокоренных» Б. Горбатова, 23 — «Порт-Артур» А. Степанова, 18 — «Чапаева» Д. Фурманова, 15 — «Зою» М. Алигер, 13 — «Петра Первого» А. Толстого, по 12 — «Спутников» В. Пановой, «Василия Теркина» А. Твардовского, «Хождение по мукам» А. Толстого. Перед нами — весь официальный литературный пантеон: «советская классика» плюс произведения, получившие Сталинскую премию. Дело, однако, не только в предложении, но в уже сформированном школьной программой читательском спросе: анкеты показали, что читатели хотели бы прочитать «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (168 ответов), «Двух капитанов» В. Каверина (105), «Молодую гвардию» А. Фадеева (88), «Людей с чистой совестью» П. Вершигоры (80), «Порт-Артур» А. Степанова (67), «Бурю» И. Эренбурга (38), «Хождение по мукам» А. Толстого (31), «Непокоренных» Б. Горбатова, «Кружилиху» В. Пановой, «Угрюм-реку» В. Шишкова (по 29 ответов), «Спутников» В. Пановой и «Дым Отечества» К. Симонова (по 22 ответа), «Василия Теркина» А. Твардовского (20), «Ветер с юга» Э. Грина (18), «Педагогическую поэму» А. Макаренки и «Счастье» П. Павленко (по 16 ответов), «Они сра-

<sup>58</sup> Павелкин, «За большевистскую партийность в библиотечной работе» («Красный библиотекарь», 1932, № 4, стр. 12).

<sup>59</sup> Б. Банк, А. Виленкин, И. Осьмаков, «За реконструкцию работы массовой библиотеки» («Красный библиотекарь», 1931, № 1, стр. 24).

жались за Родину» М. Шолохова и «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (по 12 ответов)<sup>60</sup>.

Сейчас широко распространено мнение, что соцреалистическую литературу вообще никто не читал и вся огромная соцреалистическая литературная продукция — лишь потемкинские деревни. Статистика говорит, как видим, об обратном.

Важнейший признак идеального читателя — полное отождествление себя с героем, переходящее в желание заменить собой литературный персонаж, превратить жизнь в литературу. Когда советская критика писала о том, что читатель «хочет, чтобы книга рождала любовь, ненависть, мечты, жажду действия, чтобы в ней была настоящая жизнь, чтобы герои книги безраздельно владели его воображением»<sup>61</sup>, она лишь вторила голосу самих читателей: «Мне очень хотелось действительно быть с ними (с героями), строить город своими руками, перенести все трудности и стать настоящей комсомолкой»; «Невольно хочется быть с ними, жить их горестями, радоваться их радостями»; «Как хочется самой вместе с этими комсомольцами работать, веселиться, горевать... Как хочется поехать на Дальний Восток! Если не пришлось строить этот новый город в самом начале, так хоть сейчас работать там, с этими жизнерадостными, непоколебимыми строителями города» (о «Мужестве» В. Кетлинской)<sup>62</sup>. Архивы советских писателей (от «мастеров» до провинциалов) и редакции газет и журналов (от центральных до местных) содержат сотни тысяч таких читательских писем.

Моделью для подобной «сублимативной», по словам М. Слонима, самоидентификации явился герой романа Н. Островского «Как закалялась сталь» Павел Корчагин. Когда М. Слоним писал о том, что «популярность этого образа перед второй мировой войной, во время и после нее приняла размеры настоящего культа»<sup>63</sup>, здесь нет и доли преувеличения. Создание корчагинского мифа, ставшего частью героического мифа советской литературы, было столь мощным и стремительным, что уже через год после публикации романа мы узнаем о «корчагинском чуде», о беспрецедентной популярности романа и его главного героя в самой широкой читательской среде. Первые свидетельства буквально всенародного чтения и обсуждения романа находим в статье Н. Любович<sup>64</sup>, где цитируется множество писем-исповедей читателей самых разных возрастов и профессий, увидевших в герое Н. Островского «образец для подражания», «жизненный пример». Объявленные «любимой книгой советской молодежи» роман Н. Островского и «любимым литературным героем» Павел Корчагин зажили особой читательской жизнью.

Так возникает феномен, который вслед за С. Трегубом и И. Бачелисом можно определить как «счастье Корчагина»: «На наших глазах со страниц книги герой переходит в жизнь и продолжает идти в ней своим путем. Человек из книги становится реальным лицом нашей реальной жизни. Совершается тот полный цикл взаимодействия литературы и действительности, который делает книгу Островского книгой большой судьбы»<sup>65</sup>. И действительно, авторы приводят бесконечный перечень материалов, говорящих о том, что герой романа шагнул «из книги в жизнь»: на фронте книгу читают ночью при лучине и днем под бомбежкой, читают в землянках, блиндажах, окопах, читают вслух и про себя как откровение, книгу находят в вещмешках убитых бойцов, для одних она становится талисманом, для других — учебником жизни, о Корчагине бойцы пишут в письмах и дневниках как о самом личном и дорогом, сравнивая себя с любимым литературным героем, ища в нем поддержки, видя в нем жизненный пример... Таким — зачарованным советской литературой — находим мы идеального читателя в военные годы.

В послевоенное время его обобщающий портрет уже эпически всесторонен. «Сколько-нибудь заметных различий между отдельными категориями читателей (в

<sup>60</sup> Данные приводятся по ст.: П. Гуров, «Что читают молодые читатели московских библиотек из советской художественной литературы» («Библиотекарь», 1948, № 8, стр. 33 — 35).

<sup>61</sup> Я. Рошин, «Голос читателя» («Литературное обозрение», 1939, № 11, стр. 70).

<sup>62</sup> Там же, стр. 73.

<sup>63</sup> М. Слоним. Soviet Russian Literature: Writers and Problems 1917 — 1977. N.-Y. Oxford UP. 1977, p. 187.

<sup>64</sup> Н. Любович, «Н. Островский и его читатели» («Новый мир», 1937, № 7).

<sup>65</sup> С. Трегуб, И. Бачелис, «Счастье Корчагина» («Знамя», 1944, № 4, стр. 122). См. подробнее: Е. Добренко. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. München. Otto Sagner. 1993. S. 294 — 297.

частности, рабочими и интеллигенцией), различий, которые носили бы *принципиальный* характер, в общем отношении читателей к советской художественной литературе и ее основным, ведущим произведениям сейчас не наблюдается... можно говорить о складывающемся единстве в основном, в решающем — *о единстве вкусов и единстве критериев оценки* литературных произведений. Если взглянуть внимательней, то мы ясно увидим, что в этом сказывается ценнейшее качество нашего великого народа — *его морально-политическое единство*<sup>66</sup>.

Идеальный советский читатель вовсе не пассивный объект внешнего воздействия, но требовательный субъект творчества. Его постоянные интервенции в сферу писательской работы, кажется, обращены на самого себя; писатель здесь лишь часть читательской массы, и потому его творчество должно быть зеркальным отражением уровня творческого потенциала читателя.

О том, что идеальный читатель состоялся, говорят не только изменения в структуре спроса, но и изменение отношения к тем или иным произведениям. Характерный пример — читательская судьба «Жизни Клима Самгина» М. Горького.

Несмотря на то, что Горький был одним из наиболее читаемых авторов в рабочей среде задолго до своей канонизации, опережая в популярности Л. Толстого, его «Жизнь Клима Самгина» встретила весьма прохладный прием в массовой читательской среде. «Скучная книга» — этот приговор находим почти во всех читательских отзывах той поры. Между тем спустя двадцать лет Клим Самгин, этот, может быть, самый сумеречный герой в русской литературе XX века, неожиданно находит «друга в поколении». В 1949 году московская Библиотека имени Горького провела анкету среди своих читателей. Из 466 читателей разных социальных групп «Мать» прочитали 451 человек, «Детство» — 441, «В людях» — 439, «Дело Артамоновых» — 390, «Мои университеты» — 368, «На дне» — 354, «Фому Гордеева» — 297. На это замыкается объем программы советской средней школы. Но сразу за этой границей — «Жизнь Клима Самгина», которую прочли 239 человек. Причем этот роман стоит на первом месте среди ответов на два следующих вопроса: «Какие произведения Горького вы хотели бы прочесть?» и «Какие произведения Горького вам хотелось бы перечитать?»<sup>67</sup>.

Что так заинтересовало читателей в романе? Философия ли ренегатства? Опыт ли Горького, столько раз изменявшего себе самому и поставившего точку в собственном творчестве этим романом-опытом на себе самом? Или, может быть, права была советская критика, трактовавшая этот феномен следующим образом: «Настойчивая, самостоятельная работа миллионов советских людей над изучением истории партии, влияние сталинского „Краткого курса истории ВКП(б)“ не могли не сказаться на изменившемся отношении читателей к такому произведению, как „Жизнь Клима Самгина“»<sup>68</sup>? Сказался прежде всего, конечно, статус Горького в «официальной антологии». Сказалась мифологизация «буревестника революции» в советской школе. Наконец, роман был прочитан широким читателем все-таки не адекватно, чему способствовали усилия советской критики, убеждавшей, что в своем романе Горький показал «приемы и способы маскировки врагов большевизма, врагов марксизма-ленинизма, проникших в русское освободительное движение»<sup>69</sup>, что главное в романе — это «раскрытие исторических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции и разоблачение буржуазного индивидуализма»<sup>70</sup>. Резкое изменение читательского отношения к этому роману Горького — несомненное свидетельство реальных возможностей воздействия на «широкую читательскую массу» посредством всего института «продвижения книги к читателю». Это тем более существенно, что речь в данном случае идет о книге отнюдь не «читабельной» и уж никак не безупречной с точки зрения «чистоты идеологии». Возможность «продвинуть» такую книгу, не только «обезопасив» ее, но и «поставив на службу коммунистическому воспитанию молодежи», говорит и

<sup>66</sup> Г. Ленобль, «Советский читатель и художественная литература» («Новый мир», 1950, № 6, стр. 208).

<sup>67</sup> Данные приводятся по ст.: Г. Ленобль, «Советский читатель и художественная литература», стр. 226 — 227.

<sup>68</sup> Там же, стр. 227.

<sup>69</sup> Там же.

<sup>70</sup> А. Дементьев, Е. Наумов, Л. Плоткин. Русская советская литература. Л. 1954. Такая трактовка романа стала канонической во всей советской литературе о Горьком.

о резком снижении «сопротивляемости» читателя, чего никак нельзя было сказать о нем еще в 20-е годы и что является одной из главных характеристик идеального читателя как продукта власти.

Сферой раскрытия идеального читателя стали читательские конференции, которые в послевоенные годы превратились в своеобразное торжество соцреалистической культуры. Институт читательских конференций как бы завершал постройку.

Обращает на себя внимание совершенный параллелизм читательской конференции и школьного урока литературы. Институт таких конференций со временем превратился в своеобразные постоянно действовавшие курсы по переподготовке вчерашних учащихся школы, которые, будучи заняты на производстве, не следили, разумеется, за «новинками советской литературы». Так, в качестве тем предлагались (не считая, конечно, конференций по конкретным произведениям): «Великая Отечественная война в советской литературе», «Образ большевика в произведениях советских писателей», «Моральный облик человека сталинской эпохи», «Советская молодежь в изображении советских писателей», «Образ В. И. Ленина в литературе» и т. д. — почти полный набор «вольных тем» на выпускных сочинениях в средней школе. Читательские конференции призваны были стать уроками «правильных отзывов».

Вообще же роман власти с библиотекой как институтом контроля за чтением и книгой завершится лишь к концу 60-х годов, когда читатель покинет библиотеки, отдав предпочтение телевидению. Массовые библиотеки тогда будут брошены властью и обречены на жалкое существование. Заброшенные и покинутые всеми, они станут последним прибежищем пенсионеров — тех самых «бывших», что не находили себе места в новых библиотеках в 20-е годы. Тех самых по возрасту, но не по жизненному и читательскому опыту. Старый «активный читатель» в отличие от «бывших» в 20-е годы помнил библиотеку как свою. Он уже не знал, кто такая Вербицкая, и охотно читал советскую массовую литературу, поглощая буквально все — от толстых журналов до серии «ЖЗЛ», от Ан. Иванова до Ю. Семенова, от И. Стаднюка до братьев Вайнеров, от К. Симонова до Ю. Бондарева, от Э. Асадова до Р. Рождественского — фаворитов советского книжного рынка 70-х годов. Это были, наконец, своя библиотека и свой писатель.

В канун Первого съезда советских писателей Н. Крупская обращалась к писателям и критикам со словами о необходимости «научиться слушать правильно организованные высказывания масс о книжках»<sup>71</sup>. «Правильно организованные» — исходящие от некоего абстрактного читательского субстрата, иными словами, от идеального читателя. В 1933 году, в разгар «литературной учебы», слова эти были куда как актуальны. Знал ли советский писатель своего читателя? Этим вопросом задался в 1929 году кабинет по изучению читателя художественной литературы при Главполитпросвете. Были собраны высказывания 22 писателей. Лишь немногие из них могли конкретизировать свои представления о собственном читателе. Так, Новиков-Прибой называл своим читателем рабочих, совслужащих и моряков; Богданов — рабоче-крестьянскую молодежь; наиболее конкретно высказался по этому поводу Лавренев: «Преимущественный контингент моих читателей составляет квалифицированная верхушка рабочих и служащих. Особенно высоки цифры читаемости по союзам металлистов, печатников и строителей. В этих союзах наибольший процент падает также на технический персонал и рабочую верхушку»<sup>72</sup>. И если в отношении критики мнение писателей самых различных литературных направлений — от А. Караваевой и Ф. Гладкова до Е. Замятина — было единодушно и резко негативным, то о влиянии читательских отзывов на собственное творчество писатели имели различные взгляды. Так, Вс. Иванов говорил о том, что «никогда читателем не интересовался»; Чапыгин сетовал на то, что творческих импульсов общение с читателями не дает и лишь отнимает время; Артем Веселый и вовсе заявил, что в читательских письмах находит «удручающее убожество», а выступления читателей бестолковы. Многие писатели говорили, что они прислушиваются к читательским голосам, но влияния читателей не испытывают. Так думали Е. Замя-

<sup>71</sup> Н. К. Крупская. Педагогические сочинения в 10-ти тт., т. 8, стр. 413 («Библиотека в помощь советскому писателю и литературному критику»).

<sup>72</sup> Э. Коробкова, Л. Поляк, «Писатель о читателе» («На литературном посту», 1930, № 5-6, стр. 100).

тин, Ф. Гладков, видевший в читателе «живой материал», об этом писали Шишков и Леонов. Большинство же писателей утверждали, что не могут писать без общения с читателем. В этом смысле высказывались Низовой, Новиков-Прибой, Богданов, Караваяев, Ляшко, Панферов, Лавренев, Колосов, Катаев, Серафимович<sup>73</sup>.

В своих «Заметках и размышлениях» Б. Эйхенбаум писал: «Писатель в нашей современности — фигура, в общем, гротескная. Его не столько читают, сколько обсуждают, потому что обычно он мыслит неправильно. Любой читатель выше его — уже по одному тому, что у читателя как у гражданина по специальности предполагается выдержанная, устойчивая и четкая идеология. О рецензентах (критиков у нас нет, потому что нет разницы в суждениях) и говорить нечего, — они настолько выше и значительнее любого писателя, насколько судья выше и значительнее подсудимого»<sup>74</sup>. Гротескность этой фигуре придавала готовность «самого себя высечь» («массовая читательская критика» и была своеобразными розгами): убегая от профессионалов идеологической критики, писатель с готовностью отдавал себя «на поруки читателю».

Если в 20-е годы апология читателя царила в основном в среде пролетарских писателей, то начиная с 30-х годов славословия в адрес читателя становятся признаком едва ли не всех писательских выступлений и должны были, очевидно, означать признание писателями идеи всенародности искусства. В советской литературе «хорошее отношение» к читателю приобрело новое — эстетическое — качество и легло в фундамент народности — одной из главных категорий соцреалистической эстетики.

Именно в 30-е годы в писательской среде рождается не только новый мир в литературе, но и новый, идеальный читатель, «отличный от читателей всего мира, советский читатель, читатель-строитель, читатель-борец»<sup>75</sup>. Вот его портрет: «Советский читатель открыт для всего радостного, сильного, ясного, четкого, серьезного и веселого. Он не заражен предрассудками навязанных и отвердевших классических форм. Когда он читает стихи, перед его глазами не плещется ямбический «дядя самых честных правил». Он не ужасается от того, что читаемое им произведение «ни на кого не похоже». Он и не выражает требования, чтобы литература во что бы то ни стало была «не похожа»... Он не страдает скукой и жизненной пустотой для того, чтобы искать, как чеховская акушерка, «атмосферы». Он ценит хороший стиль. Он ценит ясную речь, но безглаголиво отворачивается, когда хороший стиль должен прикрывать отсутствие мысли. Он и не бежит по улице, не несет с дикими криками, как несутся в провинции за вором, если замечает небрежности, явные ляпсусы, какие-нибудь ошибки или срывы. Он занят, прежде всего серьезно занят. Советский читатель самый занятой во всем мире и он знает, что любая работа не обходится без ошибок, ляпсусов и срывов. Он знает, что этому надо помочь не улюлюканьем, не разбойничьим свистом, а товарищеской помощью, поддержкой и самокритикой. Он не консервативен, не анархичен, не истеричен. Он готовится к чтению так же, как настоящий советский писатель должен готовиться к письму. Он хочет от советского литературного произведения полнозвучной мысли и полноценных чувств. Он хочет художественного обобщения»<sup>76</sup>. Этот литературный персонаж и есть идеальный советский читатель.

Идеальный читатель, по сути, замыкает цепь соцреалистической эстетики «литература идет в жизнь», заземляясь в читателе, который в свою очередь аккумулирует ток для нового коллективного творчества. Этот бесконечный процесс сотворения нового мира перемалывает не только индивидуальные судьбы, но целые национальные культуры. Единственное, что противостоит этому «творчеству жизни», — сама творческая жизнь.

Дархем (США).

<sup>73</sup> Там же, стр. 101—103.

<sup>74</sup> Б. Эйхенбаум. Мой временник. Словесность. Наука. Критика. Смесь. Л. 1929, стр. 133.

<sup>75</sup> Ефим Зозуля, «Для кого?» («Красная новь», 1931, № 8, стр. 175).

<sup>76</sup> Там же, стр. 177.

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## БОРХЕС И РЕАЛЬНОСТЬ

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

\*

### РУССКИЙ БОРХЕС

1

**И**стория русского Борхеса, начавшаяся томом в серии «Мастера современной прозы», за прошедшее с тех пор десятилетие умножалась не только книгами вплоть до солидного и долгожданного трехтомника, но и отдельными публикациями в разных и неожиданных изданиях. Покоренная Борхесом отечественная словесность выражает признательность в стиле самого мэтра: русский Борхес пятится от собрания сочинений к журнально-газетному этапу своего существования. Сегодня его текст можно встретить на газетной полосе, где он, иногда играя роль злободневного фельетона, запросто вмешивается в местные распри. У Борхеса ищут поддержки, на него ссылаются, им клянутся. Как это бывает с самыми любимыми из иностранцев, он становится полноправным участником российского литературного процесса.

Все важные для переимчивой русской литературы западные авторы, такие, как Хемингуэй или Кафка, входили в нее не классиками, а соратниками и «попутчиками» Борхес разделяет эту завидную судьбу, которая послушно подтверждает догадки писателя о природе времени, истории и вечности. Он всегда писал, что в «библиотеке» — в мире культуры — нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Читательское воображение, бродя по библиотечным коридорам, сводит воедино авторов всех эпох. Борхес с восхищением вспоминает о персах, «отказавшихся изучать историю поэзии и потому существующих в каком-то подобии вечности, где все современники. Мы же, наоборот, подвержены этому злу: история, даты».

Избавляясь от «зла истории», Борхес считал всех писателей не только современниками, но и соавторами. Понятно, что раз дело происходит в вечности, то проблема приоритета комична, ибо тут оппозиции «раньше — позже» просто не существует. Борхес часто повторял, что вечные идеи, образы и метафоры бродят как персонажи в поисках авторов, которых они, в сущности, берут лишь напрокат. Мысль не бывает оригинальной — череда интеллектуальных прецедентов уходит в бесконечность, — тут не пишут, а цитируют, и плагиат здесь — закон, а не его нарушение.

Можно сказать, что в мире Борхеса случаен человек, но не литература.

Такой литературный фатализм оказался особо уместным в советской культуре. Отгороженная от соседей, она жила в причудливом мире, неожиданно напоминающем борхесианскую вечность. Во всяком случае, для читателей-шестидесятников Кафка, Хемингуэй и, скажем, Аксенов были современниками, как для следующего поколения советских читателей современниками стали Джойс, Борхес и Набоков. В этой карикатурной вечности книги отрывались от своих авторов, чтобы застыть, как мухи в янтаре, там, где их застиг очередной социальный и эстетический катаклизм.

В предисловии к публикации рассказов Борхеса в литературном приложении «Огонька» (красноречивое библиографическое указание!) Дмитрий Стахов пишет:

«Россия, пожалуй, единственная страна, где сказку попытались сделать былью, и попользования вернуться к подобной мифопрактической деятельности наблюдаются и по сей день. Вымыслы Борхеса, его парадоксы, смеше-

ние фантазии с повседневностью, прорастание вымыслов в реальность — это одновременно и характерная, отличительная черта отечественной «взрыхленной» почвы. Здесь Борхес для нас удивительно свой, причем близость его как бы увеличивается день ото дня».

История сыграла с Россией мрачную шутку, которая и в самом деле напоминает интеллектуальные каламбуры Борхеса: советская жизнь и советское искусство как бы поменялись местами. Чем реалистичнее была — или считалась таковой — литература, тем фантастичнее становилась жизнь. Ведь единственной продукцией, которую советская реальность производила в изобилии, были фантомы вроде «социалистического соревнования». И в постсоветской России никак не удается разнять на составные части этот коктейль вымысла с действительностью. В то же время это именно тот растров, с каким имел дело Борхес, писавший о том, как вести себя в искусственном мире, который мы сами себе придумываем. Поэтому в осознанной иллюзорности своей действительности России книги Борхеса кажутся путеводными.

Неудивительно, что русский Борхес всего за десять лет успел завоевать читателей и, что еще важнее, сумел заразить собой писателей. Все последние годы идет негласное соревнование за титул русского Борхеса. В разное время его присваивали то Саше Соколову, то Андрею Битову, то — уже совсем недавно — Виктору Пелевину.

Явление это, конечно, знакомое. Были у нас и русский Байрон, и русский Золя, и целая дюжина русских Хемингуэев. Каждый раз, когда в российскую словесность вторгается по-настоящему крупный западный писатель, он производит потрясение, чреватое эпигонством. Правда, Борхесу подражать труднее. В отличие от того же Хемингуэя механическое заимствование тут бесплодно. Борхес — мыслитель и визионер, а не стилист. Он меняет не столько язык писателей, сколько природу чтения. Да и влияние его на чужую литературу особое, по-борхесиански опровергающее ход времени. К его творчеству применимо его же высказывание: «Великий писатель создает себе своих предшественников. Чем был бы Марло без Шекспира?»

Вот и сейчас в русской литературе идет бурная работа по созданию предшественников Борхеса. Разыскивается, печатается и переосмысливается в борхесианском стиле все мистическое, гротескное, парадоксальное, фантастическое в нашей словесности. (Так, например, поэт Лев Лосев предложил в русские предтечи Борхеса Александра Грина.)

Но куда значительнее влияние Борхеса не на прошлое, а на будущее русской литературы. Из его книг складывается мост, по которому консервативный в большинстве своем российский читатель сможет перебраться из XIX века в XXI. Борхес открывает для художественного освоения вторичную реальность культурного опыта. Материалом для такой литературы, как пишет «борхесианец» Вячеслав Курицын, являются:

«интеллектуальная информация, культурологические концепции, эстетические теории, происхождения мысли. Интеллект превращается в синтаксис... У Борхеса есть несколько шедевров такого рода... их стоит расположить в одном ряду не только с романами Умберто Эко и Джона Фаулза, но и с лучшими голливудскими боевиками, «новым журнализмом», видеоклипами, качественными рекламными роликами и промышленным дизайном, с телевизионным искусством, словом, с той «информационной» или «массовой» культурой, которая, не ставя перед собой «высоких» задач, ухитряется быть очень качественной благодаря умелому оперированию культурными языками и отлично освоенным технологиям текстоустроения».

Последнее слово в этом отрывке — ключевое. Оно указывает на возможную смену кода в отечественной культуре. Литература — это уже не школа жизни, не «диалектика чувств», даже не средство авторского самовыражения. Литература — это «технология текстоустроения». А значит, и книга перестала быть психодермой на жизнь, и автор больше не просвечивает сквозь текст. Литература производит собственную «нечеловекоподобную» вселенную. Не та ли это «дегуманизация» искусства, о которой писал Ортега-и-Гасет? (Вот и еще один «попутчик», воскрешенный капризами российского литературного процесса.) Защищая новое искусство от критиков-традиционалистов, Ортега писал:



«Далекий от того, чтобы по мере сил приближаться к реальности, художник решает пойти против нее. Он ставит своей целью дерзко деформировать реальность: разбить ее человеческий аспект, дегуманизировать ее. Лишив вещи их «живой» реальности, художник разрушил мосты и сжег корабли, которые могли бы перенести нас в наш обычный мир. Художник заточает нас в темный, непонятный нам мир, вынуждая иметь дело с предметами, с которыми невозможно обходиться «по-человечески». Поэтому нам остается подыскать иную форму взаимоотношения с ними, мы должны найти, изобрести новый, небывалый тип поведения. Толпа полагает, что это легко — оторваться от реальности, тогда как это самая трудная вещь на свете. «Реальность» постоянно караулит художника, чтобы помешать его бегству. Создать нечто, что не копировало бы натуру и, однако, обладало бы определенным содержанием, это предполагает дар более высокий».

Теория Ортеги созвучна литературному мышлению Борхеса, который, ценил мысль испанского философа, недолюбливал его цветистый слог. Сам Борхес разработал аскетически скупой, внеэмоциональный стиль. Риторические ухищрения были ему не нужны, ибо он не стремился ни подражать действительности, ни вызывать читательское сопереживание. Другими словами, он отказывался от столпов Аристотелевой поэтики — мимесиса и катарсиса.

Борхеса интересовало другое.

## 2

Сочинения Борхеса — эти книги-шарады, посвященные другим книгам, — содержат в себе все буквы того алфавита, которым он пользовался. Иногда кажется, что овладеть им — непосильная задача.

Но вскоре у читателя появляется надежда найти смиряющий текст грамматический закон, правила поведения в борхесианском мире: он замечает, что необъятная эрудиция Борхеса потому и необъятна, что случайна. «Я брал наугад книги из моей библиотеки» — эта фраза из «Истории вечности» могла бы начинать любой из тех его рассказов, где библиография заменяет пейзаж.

В принципе Борхесу все равно, что читать, потому что чтение, чем оно подозрительно похоже на жизнь, не имеет утилитарной цели. Более того, читатель-гедонист, как не устает именовать себя Борхес, и не прочитанными книгами наслаждается не меньше, чем прочитанными. Заведомая безнадежность затеи прочесть всю библиотеку оправдывает ущербность и случайность наших знаний.

Борхес любит всевозможные перечни, каталоги, компендиумы, классификации, потому что они образуют принципиально незамкнутый ряд, готовый распространяться в беспредельность. Любой такой перечень, пишет он, напоминает о бессмертии. Видимо, это надо понимать так, что, располагая достаточным временем, цепочку перечислений можно тянуть до тех пор, пока в ней не обнаружится закономерность.

Благая весть Борхеса состоит в том, что библиотека хоть и безгранична, но периодична, а значит, повторенный беспорядок становится порядком.

Изящный рецепт спасения, по Борхесу, в том и заключается, чтобы распознать в хаосе порядок — и обрести вечность.

Враги вечности — время, история и случай. В сущности, это одно и то же. Бесцельное мелькание событий превращает историю в пародию на книгу: потомки забывают о том, что кажется современникам судьбоносными вехами, а значит, протянутые историей сюжетные нити повисают в пустоте. Время понижает героев до персонажей, превращает улику в деталь и делает каждый финал промежуточным. Всякая закономерность, которую мы пытаемся навязать истории, не выдерживает испытания случаем. Жизнь бесконечна, как библиотека, но это дурная бесконечность топологически разомкнутого пространства, это бесконечность пустыни, где все равно, куда идти.

Жизнь — это хаос, говорит Борхес, но мир — это текст. Ради сомнительного удобства два этих суждения объединяют в одно, которое своим излишним лаконизмом скорее смущает, чем помогает, — ведь жить и читать совсем не одно и то же.

Когда Борхес, подхватывая традиционный мотив, повторяет «жизнь — это сон», его надо понимать более буквально, чем мы привыкли. Главное в сновидении — избыточное содержание, которого здесь куда больше, чем необходимо для того, чтобы передать сообщение. Образное изобилие сновидения лишает его смыс-

ла. Сон нельзя пересказать, потому что рассказчик неизбежно его организует, сокращает и оформляет в текст. Растолкованный сон — это уже литература, за которой стоит автор. Но у настоящего сна автора нет.

Юнг, столкнувшись с этим обстоятельством, вынужден был такого автора придумать. «Станем смотреть на сны, — пишет он, — словно они проистекают из источника, наделенного умом, целесообразностью и даже как бы личностным началом».

Борхес отвергает двусмысленные палиативы «словно», «даже», «как бы», потому что настоящим сном он предпочитает поэтические. Такой сон — это преодоленный хаос, ибо за всем стоит умысел творца. Этот сон не может быть непонятным, только — непонятым. Его аналог — конечно же излюбленный образ Борхеса: лабиринт, который кажется хаосом лишь тем, кто не знает его устройства.

Мир, полный загадок, но лишенный тайны, являет собой высшее торжество детерминизма, на что не без злорадства и указал Станислав Лем, сказав, что Борхес всего лишь воспроизводит самый незатейливый из всех вариантов мироздания — вселенную Лапласа.

Однако Борхес строит модель своей, а не нашей вселенной. Его литературный мир и не претендует на то, чтобы подменить собой «сырую» реальность. Смысл его существования в предельной непохожести, заведомой искусственности, сделанности, неправдоподобии. Здесь — но только здесь — любое слово сказано не зря, у каждого следствия есть причина, у всякого поступка — цель.

Исключая случайность, Борхес упраздняет историю. Вырывая человека из потока времени, он оставляет его наедине с вечностью. Метод, которым Борхес будывает время, заключается в том, чтобы превращать жизнь в книгу. В эссе «Повествовательное искусство и магия» Борхес пишет: «Я предложил различать два вида причинно-следственных связей. Первый — естественный: он — результат бесконечного множества случайностей; второй — магический, ограниченный и прозрачный, где каждая деталь — предзнаменование. В романе, по-моему, допустим только второй. Первый оставим симулянтам от психологии».

Если в жизни все случайно, то в литературе — ничего. Писатель, делая деталь художественной, дарует ей бессмертие. История невыносима для человека из-за обилия лишних подробностей. В литературе же лишнего не бывает. Борхес об этом то и дело напоминает читателю, бравируя случайными деталями, которые, попав в книгу, становятся необходимыми, даже неизбежными. Вот, например, как это сделано в лекции о буддизме: «Он заточает своего сына во дворец, дарит ему гарем; число женщин я не назову, поскольку оно обусловлено тягой к преувеличению, столь свойственному индусам. Впрочем, отчего же не назвать: их было восемьдесят четыре тысячи».

По Борхесу, в тексте не бывает пустяков, потому что каждый становится камнем в кладке, без которого на странице останется дыра, уже сама по себе требующая пояснения.

Сходным образом Набоков, рассуждая о внезапных пробелах в повествовании Гоголя, предположил, что на эти места текста пришли прорехи в ткани самого бытия.

Борхес решительно предпочитал чтение жизни не оттого, что надеялся докопаться до смысла — библиотека ведь беспредельна, — а потому, что был уверен, что в библиотеке смысл есть.

Современным ученым известно два способа обращения с хаосом: первый — обнаружить в нем порядок, второй — ждать, пока он сам станет порядком. Борхес (кстати сказать, задолго до возникновения научной «хаосологии») использовал оба приема, совмещая их в едином процессе чтения. Опыт такого чтения Борхес перенял у кабалистов, которые, пишет он, «превращают Писание в совершенный текст, где роль случая сведена к нулю.<...> Книга, где нет ничего случайного, — механизм с беспредельными возможностями». Собственно, такой книгой может стать любая, если ей придадут соответствующий статус. На это намекает Борхес, поражаясь Библии: «Редкостная идея — придать священный характер лучшим произведениям одной из литератур».

По Борхесу, книга адекватна миру, но это вовсе не тот мир, в котором мы живем. Литературная вселенная Борхеса — это модель принципиально нечеловеческого мира. И это значит, что Борхес, говоривший: «...всякий культурный человек — теолог», перебрался на чужую территорию — из искусства в религию.

Казалось бы, уж этим русскую литературу точно не удивишь. Но дело в том, что по этой столь обычной для наших писателей дороге Борхес шел в обратную сторону. Вместо того чтобы обращаться литературу в богословие, он трактовал теологию как литературу. Борхес считал ее самой важной — фантастической — разновидностью изящной словесности, которая занята, возможно, единственно существенным для людей вообще и писателей в частности делом — конструированием Другого.

Все чудесное, сверхъестественное, мистическое, божественное, наконец, для Борхеса — дерзкая и величественная попытка человека представить, вообразить, вымыслить или даже «выяснить» другое, чуждое нам сознание и вступить с ним в диалог.

Но самое интересное у Борхеса еще впереди.

### 3

Развитие компьютерной технологии и изобретение виртуальной реальности выводит проблему альтернативной действительности за пределы метафизических спекуляций и поэтических метафор. Вот что об этом пишет Говард Рейнгольд в книге «Виртуальная реальность»:

«Как доказал еще в 60-е годы социолог Маршалл Мак-Люэн, развитие электронной медики меняет соотношение между нашими чувствами: из-за радио, телефона, телевизора мы слышим, видим, а значит, и воспринимаем мир не так, как раньше. Меняются средства связи, доставляющие нам сведения о внешнем мире, меняется и его модель в нашем мозгу. Ведь то, что нам кажется естественной, натуральной реальностью, на самом деле лишь представление о ней, картина, возникающая в сознании на основании собранной органами чувств информации.

До сих пор моделирование реальности шло стихийно, само по себе. Но компьютер дает нам фантастическую возможность сознательно управлять этим процессом. Виртуальная реальность, созданная в информационном пространстве, в «киберспэйсе», позволит перенести человека в искусственный мир. В тот момент, когда технология достигнет такого уровня, что мы сможем отличить виртуальную реальность от обычной, в судьбе человечества произойдет грандиозный перелом, сравнимый, возможно, лишь с культурной революцией неолита».

Аппараты виртуальной реальности существуют уже сегодня. Пока это всего лишь неприятный аттракцион. На вас надевают широкий пояс с проводами, перчатки и шлем с непрозрачными очками. Этот похожий на скафандр наряд изолирует вас от окружающего, чтобы погрузить в виртуальный мир, который напоминает обычную видеоигру — простенький геометрический пейзаж и механические человечки. Однако вступивший в «киберспэйс» сам становится участником, персонажем этой видеоигры. В «киберспэйсе», как в обычном пространстве, можно передвигаться — ходить, бегать, прыгать, стрелять и даже летать.

Хотя вся эта техника весьма громоздка и несовершенна, виртуальную реальность уже довольно давно используют в практических целях. В армии летчики осваивают новые модели самолетов на компьютерных тренажерах. На подобных установках НАСА готовит американских космонавтов к высадке на Марс. Виртуальную реальность используют врачи, биологи, химики, физики, которые могут с ее помощью наблюдать за опытами в микромире. Она нужна и конструкторам, которые могут «оживить» свои чертежи, чтобы перенести проекты в трехмерное пространство. Большие перспективы у виртуальной реальности в торговле. Японцы уже создали компьютерную «примечную». Прежде чем, допустим, пристроить к дому новую кухню, клиент «заходит» в точно такую же, но виртуальную кухню. Тут можно все потрогать руками, включить свет, открыть ящики, пустить воду — иллюзия полная. Считают, что это золотое дно для коммерции.

Понятно, что виртуальная реальность вызывает изменения по всей линии фронта. Но главного прорыва в будущее следует ждать в области искусства — или того, что придет ему на смену, когда технология позволит построить настоящую «машину воображения», аналогом которой Борхес (пора к нему вернуться) считал книгу.

Виртуальная реальность, создающая альтернативный мир, способна вывести нас за пределы человеческого сознания. А моделями для таких опытов, «выкройкой», по которой будет создаваться мир чужого разума, может стать художествен-

ное произведение. Об этом говорил Ю. М. Лотман, считавший литературный текст прообразом искусственного разума, объектом, который ведет себя как мыслящее существо. В статье «Мозг — текст — культура — искусственный интеллект» он писал:

«Думающее устройство само должно быть семиотической личностью и нуждается в другой семиотической личности. Если мы определяем думающее устройство как интеллектуальную машину, то идеалом такой машины будет совершенное художественное произведение. Из сказанного вытекает, что если человеку удастся создать полноценный искусственный разум, то мы все всего заинтересованы, чтобы этот разум был точной копией человеческого»

Для Борхеса таким интеллектуальным партнером, обладающим нечеловеческим сознанием, была книга. Процесс чтения он понимал как погружение в магическую, тоже своего рода виртуальную реальность, где становится возможна встреча с Другим.

Выводя литературу за пределы истории и повседневного опыта, Борхес переносит ее на ту древнюю стадию развития культуры, где искусство еще не отделилось от религиозного обряда. Первоначальная цель искусства, как считают современные антропологи, состояла в том, чтобы, столкнув обыденное сознание с экстраординарным, чудесным, вывести человека из себя, выбить его из колеи, привести в экстатическое состояние. «Экстаз» по-гречески и означает выход за границу нормы. Приобщение к искусству, например участие в дионисийских обрядах, положивших начало трагедии, переносило человека в принципиально иную реальность. В процессе расщепления первобытной синкретичности искусство постоянно приближалось к жизни, теряя по пути свои метафизические качества и магические способности.

Однако виртуальная реальность, пишет в своей книге «Компьютер как театр» Бренда Лорел, способна вернуть нас к древней практике экстаза — к религиозному переживанию искусства. Человек XXI века, как его дальние предки, вновь сможет постоянно жить рядом с альтернативной реальностью, ждущей его в информационном пространстве «киберспэйса». Более того, виртуальная реальность заставляет заново поставить вопрос о «замысле» человека. Возможно, как на заре постмодернистской эры писал американский критик Лесли Фидлер, человек задуман не тружеником, а визионером, и истинное его предназначение состоит в том, чтобы изобретать другие миры, а не преобразовывать этот? Может быть, тут рождается утопия компьютерного века, вернувшаяся туда, откуда она пришла, — в царство иллюзии?

Во всяком случае, виртуальной реальности вряд ли подойдет искусство «кухонного реализма», описывающее наш повседневный опыт. Скорее ей понадобится литература «виртуальных сценариев», буквально выводящих нас из себя. Здесь-то ей и пригодится «виртуальная библиотека» Борхеса — прообраз-той информационной вселенной, в которой нам всем предстоит жить.

Нью-Йорк.

Ю. КАГРАМАНОВ

\*

## ЯВЬ КАК СОН И СОН КАК ЯВЬ

**З**амечательно, конечно, что число изданий Борхеса в нашей стране растет — нам должно быть «внятно все», — но мысль А. Гениса о том, что из его книг складывается мост, по которому российский читатель сможет перейти из XIX века в XXI, представляется мне, мягко говоря, чересчур поспешной.

В статье Гениса Борхес выступает как «чистый» постмодернист, погруженный в мир культуры, лишенный временного измерения и как бы пресекающий течение «обычной жизни», сделавшейся неинтересной, едва ли не излишней. Все это должен символизировать борхесовский образ библиотеки, представляющей собою «подобие вечности», где все — современники, и все — соавторы, и каждый занят «технологией текстоустройства», прекрасно обходящейся без «живой» реальности;

где сами авторы тушуются за идеями, образами и метафорами, живущими вроде бы своей, самостоятельной жизнью

Такой Борхес лишь отчасти совпадает с настоящим. Но будем говорить сейчас о Борхесе-постмодернисте. Одним из первых он выразил характерное для нашего столетия чувство некоторой усталости от непрекращающегося движения времени, некоторой «избыточности» истории (культурной истории, во всяком случае): все уже было, все сказано-пересказано, надо ли двигаться еще куда-то «дальше»? И существует ли оно, это «дальше»? Артистизм, с которым Борхес сумел передать это ощущение, не должен заставить нас позабыть о том, что усталость все-таки не относится к числу чувств, так сказать, позитивных.

Борхесовская неприязнь к истории имеет, однако, и другой источник, о чем здесь следует сказать подробнее.

Вышней волею небес Борхес рожден в Новом Свете, где чувство исторического времени иное, более слабое, чем в Европе. Это относится даже к динамичным, казалось бы, Соединенным Штатам: в известной мере они «выключены» из истории психологически (я не претендую на парадокс, а лишь повторяю то, о чем в разное время писали разные авторы, как европейские, так и американские). Говорят, что заново высаженный лес не скоро обживают птицы и вообще не скоро завязывается в нем своя, таинственная лесная жизнь. Должно быть, что-то похожее происходит и с молодыми по историческим меркам обществами Нового Света: им еще не хватает органики, не хватает наполненности историей, ощущения «связи времен».

Поэтому и явления культурной регрессии, наблюдаемые в современном мире, может быть, особенно заметны именно в Новом Свете; и в южной его части более, чем в северной. В Соединенных Штатах все-таки относительно крепки формы культуры, завезенные туда из Европы. Чего нельзя сказать о Латинской Америке. Здесь выходит на поверхность мощный пласт... даже не варварства — дикости. Мы знали об этом еще до того, как познакомились с Борхесом (впервые появившемся в русском переводе всего лет десять назад. Теперь мы знаем об этом также и благодаря Борхесу. За пределами библиотеки, где все-таки есть какой-то чин, царит «Юг». Здесь люди растут, как сорная трава, — иные гаучо «не знают ни года своего рождения, ни имени его виновника» (рассказ «Евангелие от Марка»). Улица или пампа в любой момент могут показать свое звериное лицо: убить человека здесь все равно что выпить стакан воды. Конечно, отношение Борхеса к этому миру сложное. Есть у него нота опасливого восхищения «жизнью», есть и некоторые другие ноты. И все же вряд ли будет ошибкой сказать, что преобладает в этой гамме отвращение европейски культурного человека, книжника и эрудита, к несокрушимой — напротив, способной многое сокрушить — дикости (обычно хорошо завуалированное, оно прорывается в некоторых вещах, таких, как «Рагнарёк»). С отвращением сопрягается чувство бессилия, очевидно, наложившееся у Борхеса на общеевропейское «разочарование в прогрессе» (характерное для 20-х годов, когда он созрел как писатель, но, впрочем, и для нашего времени).

Жизнь отрезана от библиотеки — но и библиотека отрезана от жизни; не нужная, по сути, окружающему ее человечеству, довлеющая себе, она источает какой-то могильный холод. Говорить о гедонизме, пусть и литературном, в таком контексте можно лишь с изрядной натяжкой. Символическая библиотека в представлении Борхеса «состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей, с широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами... Рядом винтовая лестница уходит вверх и вниз и теряется вдали» («Вавилонская библиотека»). Разве это не похоже на кошмарный сон? А ведь Борхес умел любить «простую» жизнь, изображая ее одним-двумя штрихами. Например, так: улочка провинциального Барракаса (времен юности автора) «была самым воплощением счастья и нищеты» («История вечности»).

Борхесовский постмодернизм не есть просто результат гедонистического выбора. В какой-то (скорее даже большей) мере он представляет собою опосредованный результат целого ряда историко-культурных диссонансов, нехваток, неувязок, недочетов, осечек и провалов.

Когда Генис пишет, что мир полон загадок, но лишен тайны, он выражает, может быть, свою точку зрения, но отнюдь не Борхеса. И когда он утверждает, что Борхес ищет (или конструирует) «другого», то тут явная подмена. «Другой» (или «другое») — модное понятие, изобретенное структуралистами и означающее нечто альтернативное по отношению к данному (принятому, господствующему). «Дру-

гое» помещается в той же плоскости, что и данное; в этом смысле «другой» есть «тот же самый», если воспользоваться названием одного из борхесовских рассказов («Другой, тот же самый»). Борхес ищет не «другого», он ищет или, точнее, разыскивает «иного» — в том смысле, в каком это слово традиционно употребляется в русском языке.

Борхес слишком... скажем так, духовен, чтобы принимать физическую реальность мира за «последнюю», единственную реальность. Его не устраивает то «подобие вечности», которое можно найти в галереях библиотеки, он обращен к самой вечности в подлинном значении этого понятия:

Ты здесь бредешь по долгим коридорам,  
Не знающим предела. За которым  
Увидишь Архетипы и Сиянья.

(«Everness»)

Другой вопрос, какую видел Борхес вечность. Да, он обычно (хотя и не всегда) дистанцировался от христианства; с его точки зрения, «клерикальную вечность» измыслили «далекие бородатые люди в митрах... мечтая про себя хоть чуть-чуть удержать бег времени» («История вечности»). (На самом-то деле все было как раз наоборот: именно христианство ускорило бег времени и вместе с тем сделало его осмысленным.) Верно, что он предлагал читать богословскую литературу как фантастическую; «Сумму теологии» Фомы Аквинского, например, ставил рядом с путешествиями Лемюэля Гулливера. Это значит не то, что самый предмет богословия Борхес считал фантазийным (так выходит у Гениса), а то, что он не верил, что вечность может быть, так сказать, кристаллизована в понятиях (впрочем, и здесь надо добавить «обычно», ибо в разное время Борхес говорил разные вещи).

Отсюда его постоянное сведение реальности к сновидению. Коль скоро то, что называется твердью, перестает быть собственно твердью и превращается в подобие небесного киселя, тогда все земное (если считать, как считал — совершенно справедливо — Борхес, что земное есть производное от небесного) становится чем-то уже совершенно зыбким, призрачным. Любимая тема Борхеса — неразличение: где сон, а где реальность. Проснулся, допустим, человек, видевший во сне бабочку, и думает: кто же он на самом деле — человек, которому снилась бабочка, или бабочка, которой снится, что она человек? То есть спал ли он тогда или спит сейчас? А может быть, и человек и бабочка суть сны, снящиеся Третьему? Тому, Кто является источником всех снов? Позволив себе фамильярность, какую иногда допускает Борхес в отношении «вышних», можно сказать, что Бог в его представлении — неисправимый лежебока; он все спит и видит сны, то есть нашу с вами жизнь.

Интересно, однако, что Борхес постоянно обращался к творениям отцов Церкви, то есть к той литературе, которую называл фантастической. Все перечитывал бл. Августина и св. Григория Нисского. Будто всматривался внутренним взором (тем более что внешнего он к концу жизни был уже лишен): а ну как «там» и в самом деле есть своя внутренняя «архитектура». Примечательно также, что своими любимыми книгами он называл «Божественную комедию» и «Моби Дика» — на верное, самые религиозные, какие можно найти в числе шедевров западной художественной литературы. Конечно, Борхес не был бы Борхесом, если бы не оговаривался, что ценит эти книги с их эстетической стороны. Но, право же, будь я инквизитором атеистического толка, я все эти оговорки не слишком-то принял бы во внимание: уж больно «подозрителен» самый круг чтения.

Борхес — сын скептического века, но он не из породы скептиков; пожалуй, он ближе к тому типу, который представляет апостол Фома (этот тип хорошо описан о. Павлом Флоренским в книге «У водоразделов мысли»). Фоме понадобилось вложить персты в ребра Христа, чтобы уверовать в Его воскресение. Так и Борхесу, чтобы поверить в догматически определенного Бога (в существовании трансцендентного «Икс» как такового он несколько не сомневался), нужно было что-то «осязательное». И может быть, он искал это «осязательное» в тех книгах, от которых не мог оторваться.

Теперь о снах совсем другого рода.

Мне трудно понять энтузиазм, с каким Генис встречает наступление виртуальной реальности. Об опасностях, которые она в себе несет (если исключить некоторые специальные области, где виртуальная технология может оказаться действительно полезной), немало уже говорилось в литературе, в частности научно-фантастической. Неспособность отличить фиктивный мир от подлинного может со-

здать в обществе страшную неразбериху, как пишет Генис, «по всей линии фронта», то есть не только в области культуры, но также, например, и в области политики, где появляются невиданные возможности для всякого рода манипуляций. Здесь, собственно, мы имеем дело с одним из аспектов технологической революции, которая в целом требует осознания исключительности переживаемого исторического момента, в плане взаимоотношений с природной средой. Я думаю, что ввиду «неизбежности странного мира» надо прежде всего создать соответствующее настроение, одинаково далекое и от паники, и от легкомысленного воодушевления. Найти нужную ноту. Освоить перспективу.

Путь лежит по плоскогорью,  
Нас встречает неизвестность.  
Это край фантазмагорий,  
Очарованная местность.  
Глубже в горы, глубже в горы!

(Гёте)

Кто это зовет — Фауст, Мефистофель или Блуждающий огонек? Теперь уже и не важно. Все равно пути назад уже нет, есть только путь вперед — «глубже в горы». Технологическая революция, сама явившаяся результатом двусмысленного акта вкушения плода от древа познания, выводит человека на новый, поистине головокруглительный уровень свободы, где двусмысленность становится кричащей: чудесный дар свободы обжигает руки, и люб-дорог он, и хочется его выбросить. Так и с виртуальной технологией: с одной стороны, дивишься возможностям, которые она открывает, с другой — испытываешь острое чувство тревоги, понимая, что новый груз ответственности ложится на человека, и без того запутавшегося в собственных изобретениях.

Что же касается Борхеса, то, по-моему, он тут совершенно ни при чем. Виртуальная реальность — это «сон», принимаемый за явь, а у Борхеса наоборот — явь смахивает на сон; неразличение сна и реальности относится у него к онтологии, а вовсе не к творчеству человека. В глазах Борхеса мир воображаемого, создаваемый книгой, отнюдь не смешивается с реальностью; смешение возможно до того — на уровне непосредственного самоощущения человека, осознания им своих бытийственных корней. И там, где оно имеет место, различить, где что, может только Бог. Как раз Борхес чересчур сковывает человека изначальными условиями его бытия-в-мире, обрекает его на статичность, на бесконечное повторение архетипических действий. В его рассказах сражаются кинжалы, а не люди, пишут книги перья, а не авторы, то есть кинжалы и перья оказываются реальнее людей, буквально тающих в воздухе. Человек оказывается простой игрушкой в руках Бога, ибо на самом деле «существует один-единственный субъект... неделимый этот субъект есть каждое из существ вселенной, и... все они суть органы или маски божества» («Глён, Укбар, Orbis Tertius»). Мысль эта выдается за гипотетическую, но из того, что она часто возникает у Борхеса, можно догадаться, сколь она ему близка. Да и само божество, как я уже говорил, выглядит у него какой-то сомнамбулой.

Недооценка псоюсторонней реальности фактически ведет к сужению области свободы, если не полной ее дискредитации.

Человек свободен (конечно, в той мере, в какой его свобода допущена и попушена Богом). Он может построить какой-нибудь лабиринт, откуда сам не сумеет выбраться. Может заморочить себя — до полной утраты чувства реального — какими-нибудь «ощущалками» (кажется, у Станислава Лема есть что-то подобное), которые сам же и изобрел. (Да мы еще и не знаем всего, что он может; узнают те, кто придет после нас.) Это его дело. А дело Бога — выставить ему, так сказать, балл за поведение.

Что сказать о «русском Борхесе»? Чтение его вызывает подражательные и конгениальные усилия, это «нормальный процесс». Думаю, что и религиозный опыт его представляет какую-то ценность — хотя бы в плане осмысления нынешней «духовной ситуации» и путей выхода из нее. Но раздувать феномен «русского Борхеса» не стоит. Россия не Латинская Америка, хотя дикости у нас сейчас, наверное, нисколько не меньше. Россия — это Старый Свет. Здесь другое чувство времени. И здесь было другое представление о вечности, которое, полагаю, тоже не исчезло.

# ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## ПРЕДСКАЗАНИЕ ИЗБРАННОСТИ

Евгений Рейн. Избранное. М. — Париж — Нью-Йорк: Третья волна. 1992.

Евгений Рейн. Предсказания. Поэмы. М. ПАН. 1994.

Евгений Рейн. Сапжок. Из книги итальянских стихов. «Новый мир», 1994, № 6.

**П**оэтика Евгения Рейна, несмотря на ее внешнюю традиционность, парадоксальна. Быть может, он самый неожиданный из ныне живущих русских поэтов. Но эта художественная парадоксальность кажется закономерной, помечающей наиболее значимые точки сегодняшних стилистических метаморфоз. Теперь, когда увидели свет представительные «Избранное» рейновской лирики и цельнокройно-эпическая книга его поэм «Предсказание» (вот вам — парадокс первый!), такое изучение неожиданностей желательно и возможно. По крайней мере уместны предварительные соображения, которыми здесь и ограничусь.

...В отличие от гигиенично распахнутых и вылизанных офисов псевдоискусства любой подлинный поэтический мир (мир Рейна в нашем случае) — это пугающий лабиринт жилья, исполненный якобы тщетных и якобы частных тайн, рухляди, ахматовского «сора», или, как говорит наш поэт, «Великого Тлена» жизни. Обозревать здесь нечего, нужно вживаться — мучительно, восхищенно, медленно, вечно... Куда как практичней поухмыляться, присев на вертящийся брокерский или приговский стульчик, нежели проникать в нешуточную нору Минотавра, даже и не пытающегося блюсти коммерческие приличия.

Я все с себя продам и все себе куплю,  
Поскольку ничего на свете не люблю,  
А только этот хлам, позорище веков.  
Ну что поделать, я воистину таков!  
Мне нечего ценить и некого жалеть,  
Чуть-чуть повременить и вовсе ошалеть —  
Разрушить этот мир, раскокать в пыль сортир,  
О, тлен, сегодня ты — единственный кумир, —

пишет Рейн в стихотворении «Рынок подержанных вещей в Риме»...

Практичнее, разумеется, но вот вопрос — слаще ли? К минотаврам-поэтам идти страшно, но кто ж лучше таких средиземноморских и звездных («с лазурным мозгом») чудовищ выразит смысл жизни и лирики — ценность жалости, слитую с жалостью к ценности (пускай даже — в парадоксальной интонации отрицания!), иными словами: человечьи-бычьую тоску по всегда умирающей — как Дионис, Адонис, Христос — мировой культуре? Больше того — тоску человеческой двуприродности? Никто. «Она, — писал о поэзии Иннокентий Анненский, — дитя смерти и отчаянья, потому что хотя Полифем уже давно слеп, но его вкусы не изменились, а у его эфемерных гостей болят зубы от одной мысли о том камне, которым он задвигается на ночь...»

Наверное, у эфемерных персонажей Рейна и у тех подержанных «милых вещей», которые поэт стремится перетрогать и подержать, а в сущности, «вочеловечить», зубы болят точно так же. Не потому ли, что поэт, исчадие Пасифаи, — лишь сколок, только уменьшенная модель безжалостного циклопа — природы? О, он и не в состоянии быть домашним, ручным, добродетельным!

В шевитовое нутро  
Он сует именной «ТТ»,  
Шоколадное серебро  
Ночью падает в декольте.



Что же будет в конце концов?  
 Как всегда: ничего и все,  
 А пока с ним нарком Ежов  
 Пьет в Алушке «Абрау-Дюрсо».

«„Красота страшна” — Вам скажут...» Страшна, да глаз вот не отвести... Базиснейший парадокс искусства!

Но строчка из блоковского, Ахматовой посвященного, стихотворения приходит на ум еще и потому, что стоит только начать разговор о поэтике Рейна, как литературные его предки вкрадываются реминисценциями в нашу речь, как бы контаминируют девиз кентаврической этой поэзии — «вочеловечить» «милые вещи». От Блока — рейновский романтизм, ресторанные переборы городского романа; литературный герой, разгуливающий по ночным и нетрезвым питерским улицам; Крестовский, влекущий на Острова Блаженства, проспект; фантазмагорические и криминальные персонажи «поэм», лучше сказать — «вольных мыслей»...

Но блоковский ген поэтики Рейна и так очевиден, поверхностен. Куда занимательней приглядеться к иным ее чертам, унаследованным от Кузмина. Об этой родственной стилистической связи поэт знает — и говорит о ней сам:

Белой ночью, сумрачную ранью  
 Дешево купили вы меня,  
 И лежит билетик ваш — гаданье  
 В книге Михаила Кузмина.

Важней не то, что написано в гадательной записочке, сочиненной бархолочным Калиостро и вынутой морской свинкой под граммофонный мотив Козина. Важней — куда ее, эту записочку, сунули, купив тут же, на Обводном канале, растрепанную книжку никому не нужных стихов. И это подлинная судьба. Ибо Кузмин — едва ли не главный для Рейна поэт.

От Кузмина — потайные шкафы и подземные ходы стиля; метафоры, разросшиеся до размера стихотворения или «поэмы»; фантазмагория вещного ряда — все эти ликеры «Абрикосины», кагоры «Александриты», бамбуковые мундштуки, терракотовые костюмы, наконец, взлетающие над заливом малиновые ракеты, даже «две родинки на твердом подбородке / и, Боже мой, зеленые глаза»...

Жаль, нет здесь места, чтобы отследить каждый отсыл рейновского «Предсказания» к кузминской «Форели...» — то насмешливо-пародийный («А К. Моне, а Э. Мане?»), то тончайше кинематографический, стрекочуще-многокрылый:

Вот только ящик водки у окна.  
 Мы выпиваем. Боже, Боже правый,  
 Как вкусно быть живым, великолепно  
 На черном хлебе натюрморты с салом,  
 Селедкой и с отдельной колбасой.  
 Мы говорим, уже оживлены!

Так и хочется — не правда ли? — воссоединить это с кузминским: «Мы этот май проводим как в деревне: / Спустили шторы, сняли пиджаки, / В переднюю бильярд перетащили...»? Главное, что роднит нашего современника с Кузминым, — удивительные модуляции белого стиха, его экстраординарная эмоционально-смысловая емкость, словно бы подводящая стихи к последней черте, к грани прозы и как бы заставляющая их балансировать на самом краю поэтически возможного, над пропастью беллетристики и пошлости. Такая мнимая, по существу, прозаизация, такое странное сращение жанровых признаков превращает рейновскую «книгу поэм» в некое подобие стихотворного пушкинского романа. В то, за что, по нашему постороннему и пристрастному мнению, и следовало бы присуждать Букеровские премии, даваемые обычно за «Иванов Выжигиных» и «Ледяные дома». Вот лучшая проза нашего времени:

Переходя Садовое кольцо,  
 я обнял спутницу за плечи,  
 как бы спасая от автомобиля.  
 Промчался черный «мерседес» посольский,  
 повесило бензином и духами,

ночной Европой, музыкой, простором,  
артериальной кровью, клокотавшей  
в телах и дизелях, венозным смрадом,  
соединявшим Рим и Византию,  
Нью-Йорк, Варшаву, Лондон и Москву  
под безграничным дымом этой ночи.  
Свистели поезда на Комсомольской,  
и пролетел мотоциклист... <...>

По осевой  
промчались «Чайки», мотоконвоиры,  
ГАИ и пеленгаторы — Никита  
Сергеевич Хрущев спешил на дачу.  
Мы переждали их и перешли кольцо.

Но одно дело — унаследованные стилистические признаки, совсем иное — жизнь. Именно на фоне блоковской и кузминской поэтики особенно зримы индивидуальные и, если угодно, исторические особенности овеществленного и воплощенного универсума Рейна — «сущего» и одновременно «несбыточного». Поэзия Рейна — закат ампира, а слово «ампир» — производное от слова «империя». Как и его сверстники Бродский и Кушнер, Рейн — последний певец Империи. Даже — творец Империи, ибо если она где-либо еще существует, то прежде всего — здесь, в лирике.

С персживанием — изживанием? пережевыванием? — ее в определенном смысле связана и свойственная поэту «прозаизация» стиха, стихопроза, возникающая словно бы вследствие замещения — как нереализованное желание слить «империю» и «свободу», «волну и камень», повенчать, наконец, «розу белую с черною жабой».

У Ходасевича есть знаменательная строфа, цитирование которой обычно обрывают на первой строчке:

И каждый стих гоня сквозь прозу,  
Вывихивая каждую строку,  
Привил-таки классическую розу  
К советскому дичку.

Нечто подобное, думаю, мог бы сказать о себе и Рейн, заброшенный два десятилетия назад в лауреатско-буддийскую вакханалию высотной столицы, в эпицентр пышного и соблазнительного умиранья империи, в ампир пастернаковских «ЗИМов», «ЗИСов» и «татр», заброшенный, как он пишет в одном из стихотворений, «тайным агентом» петербургской, то есть не ампирной, классицистической лирики. Рейновская диверсия состоит в том, что он как бы взорвал изнутри алебастровые статуи позднесоветской поэтической метрополии — и тем самым, по сути, поэзию эту оправдал, привил и ее, ущербную, к пушкинскому побегу, дотянул «младшую линию» до высоты «старшей». Вся эта линия — от Багрицкого до Левитанского, от Смелякова до Евтушенко — должна быть Рейну метафизически благодарна: он залог ее литературного будущего.

Достаточно, кажется, заглянуть в «Середину века» Владимира Луговского с ее «Эфемерами», «Токаем 12», «латышом в пальто реглан» — со всем необратимо алкологическим, но жадным до упоительной жизни безумием позднеримского всадника, — чтобы еще более уточнить генезис рейновского стихоромана. То же самое, кажется, изобилие столичного гастронома, советско-барского Рождества, крымского (вот-вот, имперского!) шампанского погреба... Но и не то. Ибо к дичку поэтов-рубак привита петербургская роза. А потому — нюанс: и по пути вроде бы Рейну с этими жизнелюбцами, да табачок врозь. Недаром в «поэме» «Кабинет» Рейн, хоть и замороженный красотой разбойничьей и разбойничающей жизни, не может не расквитаться с тем же Поленовым-Луговским:

О, Поленов,  
я не хочу столь позднего суда, нелепого,  
твой сын родной и пылкий, я все, что мог,  
приял из рук твоих,  
но именно сыновнее зазнайство  
мне говорит: «Поленов, ты не прав!»

„Поэзия есть Бог в святых мечтах земли”

И прав

Василь Андреевич Жуковский.. <...>  
 Покойся с миром, добрый Клим Поленов,  
 ты сделал все что мог, — ты проиграл

А Рейн выиграл. Ибо, в отличие от священных тельцов литературно-обжорного ряда соцреализма, он — Минотавр, звездный Астерий. Он знает: «Самый сильный наркотик — жизнь как таковая» Но он знает еще: поэзия не исчерпывается жизнью; она, быть может, прекраснее зримого и осязаемого мира; она, возможно, — неискаженное отражение Божества.

С -Петербург

Алексей ПУРИН.

\*

### «ГРАНИЦА СОВЕСТИ МОЕЙ»

Варлам Шаламов. Колымские тетради. М. «Версты». 1994. 287 стр.

История этой книги началась в 1949 году на ключе Дусканья, куда колымский заключенный Варлам Шаламов попал фельдшером на лесную командировку. Здесь он впервые обрел возможность записывать свои стихи в тетрадь, предназначенную для рецептов и назначений. «Колымские тетради» продолжали пополняться и после возвращения автора с Колымы, во время его пребывания в поселке Туркмен Тверской области, то есть вплоть до 1956 года. Отдельные стихотворения, вырванные из общего поэтического цикла, впоследствии попадали в маленькие поэтические сборники, выходившие при жизни Шаламова. Вышедший посмертно том (В. Ш а л а м о в. Стихотворения. М. «Советский писатель». 1988) тоже не мог дать серьезного представления о заветной книге поэта. Мечта Шаламова осуществилась без малого сорок лет спустя после завершения «Колымских тетрадей» благодаря самоотверженным усилиям составителя — Ирины Павловны Сиротгинской. Вышедшая книга включает наконец все шесть «Колымских тетрадей» в том составе и компоновке, как было предусмотрено автором, и вдобавок с его же краткими комментариями. Эта книга, безусловно, поможет осознать истинные масштабы и характер поэтического дара Шаламова. Ведь на пути его стихов к читателю стояли не только цензурные преграды.

Пониманию поэтического достоинства Варлама Шаламова мешала его обжигающая самиздатская проза. Стихи из «Колымских тетрадей» воспринимались очень часто как сглаженный перепев его же «Колымских рассказов». Между тем сам Шаламов видел в себе прежде всего поэта, а не прозаика, временами обращаясь к стихам. Я даже думаю, что его рассказы — это именно проза поэта с ее опорой на звучащее слово, четким ритмическим узором, жестким отбором впечатлений и острой динамикой повествования, где отсутствуют развернутые описания, публицистические отступления и детальные психологические портреты. Эта проза лежит в традиции Пушкина, что отчетливо сознавал сам автор (см. его «Манифест о новой прозе». — «Вопросы литературы», 1989, № 5). Что же касается поэзии, то Шаламов видел себя продолжателем Тютчева и Баратынского, которых он считал вершинами русской поэзии. Чтобы глубоко понимать прозу Шаламова, необходимо войти в мир его поэзии.

В этой книге, образующей задуманный поэтом контекст, прежде публиковавшиеся вразброс стихи получили новое звучание как неотъемлемые компоненты ранее неизвестного целого. Теперь ощутимы их смысловая связь, переходы от одного к другому, стало прозрачным их родство и как бы перетекание друг в друга. Рискну предположить, что выход «Колымских тетрадей» окажется стимулом к углубленному изучению поэтики Шаламова. Эта задача особенно увлекательна потому, что сам автор высказывал очень интересные идеи о сущности поэзии и ее средствах, среди которых он особо выделял роль гармонии согласных. На эту тему была даже прижизненная публикация — статья «Звуковой повтор — поиск смысла»

(см. «Семиотика и информатика». Вып. 7. М. 1976). Любопытно попытаться обнаружить звуковую гармонию в стихах самого Шаламова. Открываю наугад страницу и нахожу стихотворение «Я — Архимед...». Это имя звучит в каждом из трех четверостиший, составляющих стихотворение. Три из четырех согласных этого имени — «р», «м», «д(т)» — повторяются многократно в словах «стремительный», «смятый», «смутный», «слагаемый», где к ним присоединяется еще и «с», а также поодиночке почти во всех остальных словах. Наконец, в последнем из четверостиший они встречаются все четыре, образуя центральное слово «смерть», лейтмотив всего стихотворения, за которым следует ключевая мысль: «Я — Архимед, не выроню пера. Не скомкаю развернутой тетради». Так на его собственном стихотворном материале подтверждается мысль, которой очень дорожил Варлам Тихонович: звуковой каркас стихотворения образуют тройки или четверки согласных, и на них строятся семантически ключевые слова.

Про стихотворение «Не старость, нет, — все та же юность...» Шаламов пишет в примечаниях, что это «одна из моих важных поэтических формул». Основу звуковой гармонии в нем составляют звуки «р», «с», «т», явно выделяющие смысловый центр стиха: «И прежней молодости ярость / Меня бросает все вперед». Слово «ярость» может быть, ключевое для всей книги. Ярость сопротивления судьбе, северной природе, «стране морозов и мужчин». Ярость, присутствующая в боли и даже в признании неизбежности собственной гибели, когда поэт восклицает: «Мне все равно / Погибнуть где-нибудь в камнях / Предсказано давно». Не застилающий туманом сознание гнев, но трезвая (и даже смиренная!) ярость, в которой черпает силы для сопротивления герой шаламовских стихов: «И чтобы, как чума, дотла / Зараза раболепства / Здесь уничтожена была / Старинным книжным средством» («Волшебная аптека»).

Может быть, наиболее ярко и непосредственно это яростное сопротивление царящей жестокости и несправедливости выражено в его стихах о старовегах — «Утре стрелецкой казни», «Боярыне Морозовой» (с программными для автора строчками «Не любовь, а бешеная ярость / Водит к правде Божию рабу») и особенно в, можно сказать, исповедальном «Аввакуме в Пустозерске». Прочитав из него только самое мне дорогое: «Наш спор — не духовный / О возрасте книг. / Наш спор — не церковный / О пользе вериг. / Наш спор — о свободе, / О праве дышать, / О воле Господней / Вязать и решать».

Стихи Шаламова могут показаться традиционными, ибо поэт использует классические для русского языка каноны стихосложения с четким ритмом и звучной рифмой. Между тем к формальным изыскам он относился скорее благосклонно, в том числе и к формальным методам анализа стиха. Он даже написал стихотворение «В защиту формализма», изъясняющее его позицию: «То просто ветреная оспа / И струп болезни коревой. / Она не сдерживает роста: / Живым останется живой. / Зато другие есть примеры, / Примеры мщенья высших сил. / Тем, кто без совести и веры / Чужому богу послужил». А дальше идет недвусмысленный намек на человека, отдавшего свой могучий талант лживым «чужим богам», на человека, который был для него примером того, каким нельзя быть поэту. Шаламов даже ритмом своих стихов спорит с ним, мастерски используя короткие строчки, хотя Маяковский считал их неподходящими для выражения трагического. Но, как сам Шаламов пишет: «Тогда любой годится повод / И форма речи не важна, / Лишь бы строка была как провод / И страсть была бы в ней слышна».

Впрочем, Шаламову вообще нет нужды оригинальностью формы свидетельствовать свою архисовременность. Эта современность засвидетельствована его поэтической мыслью, обращенной тем страшным опытом, который принес с собой XX век, лишивший нас не только самой робкой мечты об идиллической жизни, но и надежды на воспевавшуюся поэтами XIX века идиллическую кончину. «И без одежды, без белья, / Костлявый и нагой / Ложусь в могилу эту я, / Поскольку нет другой» («Похороны»). Эти стихи не нуждаются в указании времени и места — всякий поймет, что написано это о коммунистических лагерях (в фашистских покойников жгли в печах лагерных крематориев, в их распоряжении не было бескрайних северных просторов). Со строками из «Похорон» переключаются другие: «В настоящем гробу / Я воскрес бы от счастья, / Но неволить судьбу / Не имею я власти». Готовность к смерти у Шаламова не отчаяние, но часть все того же яростного сопротивле-

ния. Оно направлено не на то, чтобы любой ценой сохранить жизнь, но на то, чтобы сохранить дух. А это значит сохранить в себе поэта и выразить себя в стихах.

Как ни парадоксально, но в стихах Шаламова есть ощущение счастья. Пусть вокруг «Приклады, пули, плети, / Чужие кулаки — / Что перед ними эти / Наивные стихи?». Но сама возможность записывать и тем самым создавать стихи, удерживать в них снег и камень воспринимается поэтом как великое счастье: «Я беден, одинок и наг, / Лишен огня. / Сиреневый полярный мрак / Вокруг меня... / И только эхо с дальних гор / Звучит в ушах, / И полной грудью мне легко / Опять дышать».

Особо значительна в шаламовской поэзии грозная природа Севера. Она смертельно опасна для человека и десятикратно — для незащищенного перед ней заключенного. Но она же для поэта оказывается самой прочной связью с вечностью, на нее он опирает свое духовное естество: «Я слышу, как растет трава, / Слежу цветка рождение / И, чувство превратив в слова, / Сложу стихотворенье».

Природа для Шаламова принципиально доброкачественна в своих самых суровых проявлениях. В ней нет дьявольской силы — ее используют во зло только бесы в образе людей, устраивающие лагеря для узников в этих гибельных местах. В поэзии Шаламова природа не выступает ни обиталищем бесовских страстей, ни последним источником умиротворения, ни гибельной угрозой. У Шаламова не языческое, но скорее христианское представление о природе как об эталоне независимости от зла, внесенного в мир падшим человечеством. И потому природа служит опорой в обретении независимости духовной.

Природа порой предстает у Шаламова высшим одушевленным существом: «В природы грубом красноречье / Я утешение найду, / У ней душа-то человечья / И распахнется на ходу». В сущности, задача поэзии для Шаламова состоит в выражении этой природной души: «А мы? — Мы пишем протоколы, / Склонясь над письменным столом, / Ее язык, простой и голый, / На наш язык переведем». Душа природы понимается как Единое, подчиненное высшей цели: «Тогда отчаянная зелень, / Толкая грязный, липкий снег, / Явит служенье высшим целям / И зашумит, как человек». Про эту душу не придет в голову, что «имя ей легион», она для человека не источник соблазнов, но надежный духовный ориентир.

«Колымские тетради» очень бедны любовной лирикой; в запредельных условиях человек не в состоянии спастись уходом в мир любовных страстей. Но там, где этот мотив прорывается, он звучит пронзительно и правдиво: «Мне надоело любить животных, / Рук человеческих надо мне, / Прикосновений горячих, потных, / Рукопожатий наедине». У Шаламова вообще нельзя найти поэтизации страстишек, мелкого поэтического греховодничества, стремящегося выдать несбыточную похоть за высшее проявление духа. Вот его программные стихи: «Мы вмешиваем быт в стихи, / И от того, наверно, / В стихах так много чепухи, / Житейской всякой скверны. / Но нам простятся все грехи, / Когда поймем искусство / В наш быт примешивать стихи, / Обогащая чувство». И вот стихотворение — одна из вершин шаламовской любовной лирики, — проникнутое обжигающей нежностью к любимой женщине: «Незащищенность бытия, / Где горя слишком много, / И кажется душа твоя / Поверхностью ожога».

Шаламов один из тех поэтов, в творчестве которых не ощущается разрыва между поэтическим даром и верностью высшим духовным ориентирам. Как ему удается сохранить это в себе, пройдя все круги сталинского ада, одно наличие которого в жизни страны привело к моральному излому многих не менее одаренных людей? Однажды в моем присутствии Варламу Тихоновичу был задан прямой вопрос: «Как вам удалось не сломаться? В чем тут секрет?» Ответ прозвучал неожиданно: «Секрета нет. Каждый может сломаться». Только много лет спустя до меня дошло, что в этом и заключался его секрет. Он один из немногих ясно осознавал человеческую слабость. Он знал, что может сломаться, и не рассчитывал на собственные силы. Это глубоко христианское понимание человеческой природы, и только с таким пониманием можно сохранить в нечеловеческих условиях. Для меня лично было бы очень соблазнительно сделать отсюда заключение, что Варлам Шаламов являл собой образец православного христианина. Тем более что он вырос в семье священника, протоиерея Вологодского собора, бывшего миссионера на Алеутских островах. Шаламов всегда отмечал, что священники и просто глубоко верующие люди отличались в лагерях наибольшей стойкостью. Над его гробом

православный священник отслужил панихиду. Все это так. Но не все так просто. Шаламов любил своего отца, чтит его память, но вырос в противоречии с ним. Он не был «церковным человеком» в традиционном понимании этого слова. Был ли он верующим? Не знаю.

Воцерковить Шаламова уже не в силах человеческих, вопрос о его личном христианстве нам решить не дано. Но мы вправе судить о христианской направленности его творчества, в данном случае — его поэзии. Его стихи лишены всяческого бесолубия — обожествления темных страстей, упоения «бездной на краю», горделивой эстетизации человеческой самодостаточности. (Хотя в быту он стремился быть самодостаточным, тщательно оберегая свою независимость.) Не был он в поэзии и пантеистом тютчевского толка. В «Колымские тетради» входит «Атомная поэма», где природа выступает в роли судьи человеческих грехов: «Быть может, у природы есть / Желанье с нами счеты свести / В физическом явленье / За безнаказанность убийц, / За всемогущество тупиц / И за души растленье». И все же в этих строках природа выглядит скорее как орудие Божьей кары, как божественная энергия, чем как самодовлеющая активная сила. Поэтика этих строк ближе к Библии, чем к Тютчеву или Гёте.

Но еще сильнее и ярче христианский, по существу, максимализм поэта выражен в предельно исповедном, даже покаянном стихотворении:

Меня застрелят на границе,  
Границе совести моей,  
Кровавый след зальет страницы,  
Что так тревожили друзей.  
Когда теряется дорога  
Среди шетинящихся гор,  
Друзья прощают слишком много,  
Выносят мягкий приговор.

К этим стихам в книге имеется авторское примечание, которое привожу целиком: «Написано в 1956 г. в поселке Туркмен Калининской области. Входит в «Колымские тетради». Нам слишком много прощено». А ведь как естественно было бы написать вместо «нам» — «нами». Однако поэтический дар — это особая способность постижения истины. Сам Шаламов ощущал себя как поэта инструментом познания мира. Мандельштам говорил об особой правоте поэта, а Блок писал о задаче поэта открывать в мире гармонию. Проблема в том, на какого уровня истины распространяется эта способность. Марина Цветаева в эссе «Искусство при свете совести» утверждает, что поэзия не только не способна достичь высот христианского осознания действительности, но даже оказывается препятствием на этом пути.

Все же цветаевский вывод представляется мне неверным. Ведь и книга стихов Шаламова свидетельствует, что истинный поэтический дар постигает реальность не в частности, не в специфически эстетическом аспекте, но в ее целостной полноте, подразумевающей присутствие Бога. Провозглашенная Цветаевой безблагодатность поэзии как помехи воспарению души на «седьмое небо» означала бы, что поэзия в целом и поэтический дар каждого суть бесовские порождения. Только в этом случае благодать Святого Духа не могла бы проникнуть в эту сферу. Впервые прочитав «Искусство при свете совести», я восхитился смирением поэта, поставившего все свои творения ниже религиозного озарения безвестной монашенки, лишенной поэтического дара. Но ведь на самом деле что-то тут не так — монашенке этой принадлежат прямо-таки гениальные строки: «Человечество живо одною / Круговую порукой добра», свидетельствующие и о поэтической ее незаурядности. Не перекладывает ли Цветаева на поэзию как таковую ту ответственность за собственный дар, которую несет сам поэт, когда поддается подстергающим его многочисленным соблазнам?

Шаламов сумел сохранить свой дар в чистоте, не впадая в соблазны, и это сделало его поистине христианским поэтом, хотя он ставил себе исключительно поэтические задачи и не поверял свое творчество религиозными критериями. Поэтический опыт Шаламова заставляет вспомнить известное выражение: «душа человеческая по природе своей христианка» — и применить его к душе поэзии. Вышедшая книга помогает осознать масштаб и характер Варлама Шаламова как поэта, чье реальное место в русской лирике еще предстоит установить.



### «...ПРОКЛИНАЯ — ПОПРОБУЙТЕ ПОНЯТЬ...»

Виктор Суворов. Ледокол. Кто начал вторую мировую войну? М. Издательский дом «Новое время». 1992. 351 стр.

Виктор Суворов. День-М. Когда началась вторая мировая война? Продолжение книги «Ледокол». М. АО «Все для Вас». 1994. 255 стр.

Война — область недостоверного; три четверти того, чем строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности...

*К. Клаузевиц.*

**Е**ще недавно важнейшие этапы нашей истории были неприкасаемы: нельзя было говорить о многих трагедиях, событиях, именах. И вот неожиданно широко разошлись по России книги «Ледокол» и «День-М», написанные Владимиром Резуном (псевдоним — Виктор Суворов), офицером Главного разведывательного управления Советской Армии, невозвращенцем, приговоренным к расстрелу. Несмотря на множество разных изданий о войне, именно его книги оказались в центре внимания российской читательской аудитории, отреагировавшей на них удивлением, непониманием и резким неприятием. Слишком беспощадной показалась авторская оценка Советского Союза как «главного виновника» и «главного зачинщика» второй мировой войны.

Особенно больно эти книги обожгли души людей фронтового поколения<sup>1</sup>. Ведь это из них, рождения 1922—1925 годов, домой с войны вернулись лишь трое на сотню. «Я не хочу оскорблять память миллионов погибших, но, срывая ореол святости с войны, которую затеяли коммунисты на нашу общую беду, я словно невольно оскорбляю память о тех, кто с войны не вернулся. Простите меня», — обращается к читателям В. Суворов.

Славить победу — приятно, говорить о войне правду — горько. Но без правды нельзя, ибо кровь и муки народа не дают забвения злу и тем, кто так щедро расплескал его. Не в радость обо всем этом было писать и Суворову, по крайней мере он считает нужным сделать вид, что это именно так: «...я замахнулся на единственную святыню, которая у народа осталась, — на память о Войне... я пожертвовал всем, что у меня было, ради книги своей жизни... Страшно было умереть, не написав этой книги, не высказав того, что открылось мне... Ругайте книгу, ругайте меня. Проклинайте. Но — проклиная — попробуйте понять...»

«Ледокол» и «День-М» построены на аналитическом разборе общеизвестной и общедоступной литературы и мемуаров. Автор утверждает, что сделал это преднамеренно, дабы читатель имел возможность сам проверить его версии. Однако Суворов не может не знать, что в советской литературе о войне слишком многое настолько искажено, а авторы мемуаров так часто кривили душой, что теперь очень трудно отличить правду от фальсификаций. И тем не менее он опирается только на эти книги, подчас сам попадаясь на ложной информации, которой они переполнены. Представляется, что такое искусственное ограничение источниковой базы книг у Суворова скорее вынужденное, нежели преднамеренное. Все дело в том, что единственный объективный свидетель дней минувших — подлинные исторические документы о войне по-прежнему закрыты в российских архивах под грифами «совершенно секретно», «не выдавать никому!» и др. Естественно, что они были недоступны Суворову, как недоступны они и нынешнему российскому обществу. А потому как же сегодня нам судить, прав или не прав Суворов, когда даже профессиональные историки, много лет разрабатывавшие так называемую военную тему, не знают важнейших для ее постижения секретных архивных фондов.

<sup>1</sup> Впрочем, далеко не всех. Б. Окуджава, например, в обширном интервью в «Литгазете» (11.05.94) заявил: «Суворова прочитал с интересом... Мне трудно усомниться в том, что мы тоже готовились к захватническому маршу, просто нас опередили, и мы вынуждены были встать на защиту своей страны».

Этот огромный пласт исторической информации не один десяток лет остается изъятым из национальной памяти. А ведь за каждым таким документом — неизвестная правда о судьбах наших соотечественников, творцов подлинной, а не придуманной правившей системой истории.

Лишь в последние годы стала чуть приподниматься архивная завеса. Как историк мне удалось соприкоснуться с некоторыми неизвестными подлинными документами, и сегодня считающимися секретными. В их свете можно предложить читателям поразмышлять над некоторыми страницами книг В. Суворова.

«Давайте вспомним, — пишет Суворов, — что после первой мировой войны Германия потеряла право иметь мощную армию и наступательное вооружение... На своей собственной территории германские командиры были лишены возможности готовиться к ведению агрессивных войн... они делали это... на территории Советского Союза. Сталин предоставил германским командирам все то, чего они не имели права иметь: танки, тяжелую артиллерию, боевые самолеты... Сталин с какой-то целью не жалеет средств, сил и времени на возрождение германской ударной мощи. Зачем? Против кого?.. Ответ один: против всей остальной Европы».

Многие читатели справедливо возмутятся: ведь советская пропаганда всегда внушала, что СССР активно выступал против возрождения милитаризма в Германии. Но вот заговорили десятки лет пролежавшие в безвестности подлинные документы, под которыми стоят подписи Л. Д. Троцкого, М. В. Фрунзе, Ф. Э. Дзержинского, И. В. Сталина, К. Б. Радека, Г. В. Чичерина, Л. Б. Красина, Н. Н. Крестинского, В. В. Куйбышева, Э. М. Склянского, К. Е. Ворошилова, М. Н. Тухачевского, А. И. Егорова, Я. К. Берзина и других. Они свидетельствуют о том, что, нарушая запреты Версаля и Женевы, вермахт (тогда рейхсвер) с 1920 по 1933 год набирал силы на нашей земле. СССР и Германию связал тайный милитаристский союз, предусматривавший как создание строго засекреченных немецких военных центров, так и широкое сотрудничество в многочисленных сферах военной индустрии. На страницах документов мелькают зашифрованные названия: «Липецк», «Кама», «Томка». И оказывается, что «Липецк» — это крупный авиацентр, подготовивший сотни летчиков для будущего вермахта. Здесь на специальных полигонах испытывались самолеты, проводились маневры, а также опытно-исследовательская работа. Знаменитая фирма «Хейнкель» испытывала здесь самолеты с моторами БМВ для дальней разведки и дневного бомбометания. Обучавшимся в «Липецке» строго запрещалось выдавать любую информацию об их деятельности на объекте. Даже сообщения о смерти в результате несчастных случаев при полетах фальсифицировались, а гробы с телами разбившихся летчиков при возвращении в Германию упаковывались в ящики и вносились в декларации как детали самолетов. 22 июля 1933 года немецкий военный атташе в Москве Кестринг сообщал начальнику штаба РККА А. Егорову, что «Командующий Рейхсвером от имени Рейхсвера выражает особую благодарность Красной Армии и Красному Воздушному Флоту за многолетнее гостеприимство в Липецке». Немецкие летчики, пройдя обучение в «Липецке», в 1940 году бомбили города Европы, а годом позже — Москву.

В 1926 году немцы организовали танковый центр «Кама» в Казани. По мнению немецких историков, подготовленная здесь группа танкистов облегчила позднее быстрое создание германских танковых войск. Генерал Гудериан, прошедший обучение в «Каме», в 1939 году обрушил «танковые клинья» на Польшу, а в 1941 году направил их против Красной Армии.

Наиболее засекреченным объектом в СССР была школа химической войны «Томка» (в Поволжье), в которую немцы вложили около миллиона марок. На полигонах «Томки» испытывались новейшие методы применения отравляющих веществ в артиллерии, авиации при помощи приборов-газметов, а также средства и способы дегазации зараженной местности. В 1992 году ученый Вил Мирзаянов взбудоражил мир сенсационным сообщением о производстве в России нового поколения химического оружия. Вместе с тем он невольно коснулся и деятельности зловещей «Томки», казалось бы давно ушедшей в историю. Упомянувшиеся в его сообщениях населенные пункты Шиханы, Вольск и другие, где земля и люди отравлены смертоносным химическим оружием, это те самые районы, где семьдесят лет назад СССР и Германия втайне от всего мира налаживали его производство.

В СССР обучался цвет будущей германской армии: Модель, Гудериан, Браунхич, Горн, Крузе, Файге, Кейтель, Манштейн, Кречмер и многие другие. Через несколько лет войска вермахта под их руководством станут ужасом для Европы, а затем и для СССР. «Это Сталин помогал привести Гитлера к власти и сделать из



Гитлера настоящий Ледокол Революции<sup>2</sup>. Это Сталин толкал Ледокол Революции на Европу... Это Сталин снабжал Ледокол всем необходимым для победоносного движения вперед» — эта основная идея книг Суворова вызвала резкую критику в его адрес со стороны как читателей, так и профессиональных историков. И вновь обратимся к закрытым документам.

В секретных трофейных фондах Особого архива СССР удалось обнаружить сведения о том, что 19 августа 1939 года, то есть за четыре дня до подписания советско-германского договора о ненападении (пакта Молотова — Риббентропа), Сталин срочно созвал Политбюро и руководство Коминтерна. На этом заседании он выступил с речью, текст которой у нас никогда не публиковался. Через пятьдесят пять лет после этого события Суворов напишет: «Точный день, когда Сталин начал вторую мировую войну, это 19 августа 1939 года».

О чем же говорил тогда Сталин?

«Вопрос мира или войны вступает в критическую для нас фазу. Если мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия откажется от Польши и станет искать «модус вивенди» с западными державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять опасный характер для СССР. Если мы примем предложение Германии о заключении с ней пакта о ненападении, она, конечно, нападет на Польшу, и вмешательство Франции и Англии в эту войну станет неизбежным. Западная Европа будет подвергнута серьезным волнениям и беспорядкам. В этих условиях у нас будет много шансов остаться в стороне от конфликта, и мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну.

Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен. Мы должны принять немецкое предложение и вежливо отослать обратно англо-французскую миссию. Первым преимуществом, которое мы извлечем, будет уничтожение Польши до самых подступов к Варшаве, включая украинскую Галицию.

Германия предоставляет нам полную свободу действий в Прибалтийских странах и не возражает по поводу возвращения Бессарабии СССР. Она готова уступить нам в качестве зоны влияния Румынию, Болгарию и Венгрию. Остается открытым вопрос, связанный с Югославией... В то же время мы должны предвидеть последствия, которые будут вытекать как из поражения, так и из победы Германии. В случае ее поражения неизбежно произойдет советизация Германии и будет создано коммунистическое правительство. Мы не должны забывать, что советизированная Германия окажется перед большой опасностью, если эта советизация явится последствием поражения Германии в скоротечной войне. Англия и Франция будут еще достаточно сильны, чтобы захватить Берлин и уничтожить советскую Германию. А мы не будем в состоянии прийти на помощь нашим большевистским товарищам в Германии.

Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы Германия смогла вести войну как можно дольше, с целью, чтобы уставшие и до такой степени изнуренные Англия и Франция были бы не в состоянии разгромить советизированную Германию. Придерживаясь позиции нейтралитета и ожидая своего часа, СССР будет оказывать помощь нынешней Германии, снабжая ее сырьем и продовольственными товарами. Но само собой разумеется, наша помощь не должна превышать определенных размеров для того, чтобы не подрывать нашу экономику и не ослаблять мощь нашей армии.

В то же самое время мы должны вести активную коммунистическую пропаганду, особенно в англо-французском блоке и преимущественно во Франции. Мы должны быть готовы к тому, что в этой стране в военное время партия будет вынуждена отказаться от легальной деятельности и уйти в под-

<sup>2</sup> Справедливости ради надо признать, что приоритет идеи германского «Ледокола» принадлежал еще Ленину. Сталин лишь «успешно» претворял в жизнь ленинскую модель. По распоряжениям Ленина Германии на мировую революцию выплачивались Россией миллиарды в золоте и германских марках, передавалось сырье и зерно, часть нефтедобычи. Именно Ленин вопреки запретам Версаля заложил основы тайного российско-германского военного союза. Он мечтал на практике осуществить теорию о межимпериалистических противоречиях ведущих капиталистических стран, столкновении Германии с Англией и Францией, и, обострив таким образом конфликты, извлечь пользу для мировой революции. Но очевидно и то, что в 1917 году Германии удалось превратить в революционный «Ледокол», взломавший Россию, самого Ленина.

полье. Мы знаем, что эта работа потребует многих жертв, но наши французские товарищи не будут сомневаться. Их задачами в первую очередь будет разложение и деморализация армии и полиции. Если эта подготовительная работа будет выполнена в надлежащей форме, безопасность советской Германии будет обеспечена, а это будет способствовать советизации Франции.

Для реализации этих планов необходимо, чтобы война продлилась как можно дольше, и именно в эту сторону должны быть направлены все силы, которыми мы располагаем в Западной Европе и на Балканах.

Рассмотрим теперь второе предположение, т. е. победу Германии. Некоторые придерживаются мнения, что эта возможность представляет для нас серьезную опасность. Доля правды в этом утверждении есть, но было бы ошибочно думать, что эта опасность будет так близка и так велика, как некоторые ее представляют. Если Германия одержит победу, она выйдет из войны слишком истощенной, чтобы начать вооруженный конфликт с СССР по крайней мере в течение десяти лет.

Ее основной заботой будет наблюдение за побежденными Англией и Францией с целью помешать их восстановлению. С другой стороны, победоносная Германия будет располагать огромными территориями, и в течение многих десятилетий она будет занята «их эксплуатацией» и установлением там германских порядков. Очевидно, что Германия будет очень занята в другом месте, чтобы повернуться против нас. Есть и еще одна вещь, которая послужит укреплению нашей безопасности. В побежденной Франции ФКП всегда будет очень сильной. Коммунистическая революция неизбежно произойдет, и мы сможем использовать это обстоятельство для того, чтобы прийти на помощь Франции и сделать ее нашим союзником. Позже все народы, попавшие под «защиту» победоносной Германии, также станут нашими союзниками. У нас будет широкое поле деятельности для развития мировой революции.

Товарищи! В интересах СССР — Родины трудящихся, чтобы война разразилась между Рейхом и капиталистическим англо-французским блоком. Нужно сделать все, чтобы эта война длилась как можно дольше в целях изнурения двух сторон. Именно по этой причине мы должны согласиться на заключение пакта, предложенного Германией, и работать над тем, чтобы эта война, объявленная однажды, продлилась максимальное количество времени. Надо будет усилить пропагандистскую работу в воюющих странах для того, чтобы быть готовыми к тому времени, когда война закончится...» (Центр хранения историко-документальных коллекций, бывший Особый архив СССР, ф. 7, оп. 1, д. 1223).

Приведенный текст речи Сталина воспроизведен на основе ее французской копии, сделанной, вероятно, кем-то из Коминтерна, присутствовавшим на Политбюро. Конечно, необходимо сравнить этот вариант с подлинником. Однако сделать это невозможно, так как он в архиве за семью печатями и в ближайшее время вряд ли станут обнародовать факсимиле этого безусловно исторического документа, столь откровенно обнажившего агрессивность политики СССР. Эта речь Сталина легла в основу позиции советской стороны при подписании ею секретных протоколов с фашистской Германией о разделе Европы. Можно напомнить, что почти полвека и официальные политики и профессиональные историки убеждали общественность в непричастности СССР к этим документам, да и вообще отрицали сам факт их существования. А «выручала» — тоталитарная закрытость архивов.

«Роль Сталина в захвате власти фашистами в Германии огромна», — утверждает Суворов. И ссылается на Троцкого, говорившего: «Без Сталина не было бы Гитлера, не было бы гестапо!» Защищать или опровергать это беспощадное обвинение сегодня одинаково сложно, да и бессмысленно. Непроступная стена секретности скрывает документы сотрудничества ЧК, ОГПУ, НКВД, разведывательного управления Штаба РККА с гестапо, военной разведкой и другими тайными службами Германии. Можно лишь с уверенностью утверждать, что советско-германские отношения 20—40-х годов по-прежнему окутаны еще не разгаданными тайнами. Вот одна из них.

В апреле 1938 года замполитрука 30-й стрелковой дивизии Харьковского военного округа Калугин, выступая на Всеармейском совещании, говорил о свершившейся мировой революции и о том, как он по заданию ЦК, ленинской партии и лично товарища Сталина радостно пройдет по улицам Рима и Берлина и отрапортует об этом лично вождю германских коммунистов товарищу Тельману. Однако не дано было знать наивно преданному Сталину политруку, что уже с 30-х годов между советской и немецкой разведками существовала зловещая договоренность в отношении Э. Тельмана. Интерес к нему был не случаен. В августе 1933 года раз-

ведупр сообщил Ворошилову, что заместитель Госсекретаря США Филипс и польский посол заинтересованно обсуждали визит в Москву Э. Тельмана, который пытался склонить руководство Коминтерна содействовать революционному взрыву в Германии еще до назначения Гитлера канцлером. Однако Коминтерн, в котором «русские коммунисты имели доминирующее значение», не поддержал его. В 1933 году фашисты арестовали Тельмана. В марте 1940 года он тайно из тюрьмы Моабит переправил Сталину и Молотову письмо, в котором ставил вопрос о своем освобождении, так как Германию и СССР к тому времени уже связал договор о дружбе. Письмо оказалось у Б. Кобулова (НКВД) в советском представительстве в Берлине. Полпред Шкварцев срочно с пометкой «только лично» переслал письмо Молотову (Российский Государственный военный архив (РГВА), ф. 33987, оп. 3, д. 1305, лл. 232—238). Но помощь Тельману из Москвы так и не пришла. Его жену попросили лишь сказать узнику, что советский полпред «жмет ему руку».

В 1933 году Тельман был опасен Сталину: в тот момент революционная Германия ему уже не нужна. Он всячески поддерживает милитаризованную Германию во главе с Гитлером, которую нацеливает против Европы. Тем более Тельману не было места в стратегии Сталина в 1940 году, когда из СССР полным ходом шли в Германию эшелоны с авиа- и автобензином, железной, хромовой и марганцевой рудами, химическими продуктами, платиной, хлопком, шерстью, кожей, маслом, мукой, зерновыми и со всем тем, без чего Гитлер не мог наращивать вооруженные силы и вести вторую мировую войну.

Советские «друзья» не помогут Тельману ни в 1933 году, ни в 1940-м, а в 1944 году фашисты казнят его в Бухенвальде. В упоминавшемся письме Тельман с грустью напишет, что германские социал-демократы «твердо верят в то, что Советский Союз виновен в войне Германии с Англией и Францией, так как Советский Союз пришел к соглашению о союзе с Германией». И действительно, уже в ходе войны с Францией германские военные после захвата ими 20 мая 1940 года Амьена констатируют, что «успех германских войск на Западе обеспечен дружбой с СССР».

7 мая 1940 года сотрудник разведупра полковник Дьяконов направит начальнику разведки комдиву Проскурору совершенно секретный рапорт, в котором сообщит, что немецкие летчики, с которыми он встречался, задавали ему вопрос о том, нет ли возможности послать определенное количество советских летчиков-добровольцев для защиты Германии. «Не имея возможности уклониться от разговора, — писал в рапорте Дьяконов, — я задал вопрос о том, что подразумевается под привлечением советских летчиков-добровольцев для защиты Германии? В ответ мне было сказано, что вариантов можно было бы придумать очень много и все они были бы приемлемы для немецкого командования: посылка отдельных летчиков в немецкие части или образование целых эскадрилий из советских летчиков, привлечение советских летчиков к ПВО тыловых объектов или же участие в прямых бомбардировочных налетах против Англии...»

Реакция на этот рапорт неизвестна. Но 21 мая 1940 года комдив Проскуров с пометкой «секретно» доложит наркому Тимошенко сообщение германского военного атташе в Москве Ашенбрэннера: «Я был у Гитлера, который мне сказал: „Помни, что Сталин для нас сделал великое дело, о чем мы никогда и ни при каких обстоятельствах не должны забывать. Помня об этом, не превращайся в торговца, а будь достойным представителем нашей армии в дружественной нам стране“». Гитлер, как подчеркивает Суворов, попался в сталинскую ловушку: столкновение с Англией и Францией обернулось для него в будущем самоубийственной войной на два фронта.

Но поистине прав был Клаузевиц, определяя войну как область непредсказуемого. Вторая мировая война пошла своим ходом, нарушив замыслы и Гитлера и Сталина, а зло, лежавшее в основе их политики, столкнуло народы, привыкшие трудиться, а не убивать.

В 1935 году активный участник советско-германского военного сотрудничества, специалист по восточным делам, полковник вермахта Отто фон Нидермайер свой доклад «Армия и военная политика СССР», прочитанный в Берлинском университете, закончит предупреждением: «...Западу придется столкнуться лицом к лицу с Красной Армией»<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Его жизненный путь завершится в Бутырской тюрьме, куда он будет доставлен в 1945 году.

«Достаточно вспомнить, — пишет Суворов, — что за предвоенный период в се европейские соседи СССР стали жертвами советской агрессии... СССР захватил территории с населением более 23 млн. человек...» Эта точка зрения Суворова кардинально отличается от официально принятой у нас. В соответствии с ней боевые действия Красной Армии в 30—40-е годы рассматриваются как «освободительные походы» со справедливыми целями. Знакомство с архивными документами (большая их часть все еще секретна и по этой проблематике) говорит о том, что сценарий этих походов в разные страны был практически один и тот же. Как правило, Советское правительство объявляло о своем желании взять под защиту народы во имя их освобождения от гнета помещиков и капиталистов, и под этим лозунгом РККА переходила границы независимых соседних государств.

15 марта 1937 года начальник Политического управления РККА армейский комиссар 1-го ранга Ян Гамарник на активе Наркомата обороны откровенно заявил, что свою «большевистскую миссию Красная Армия будет считать выполненной, когда мы будем владеть всем земным шаром». И воины РККА были воспитаны так, чтобы «по первому зову маршала социалистической революции великого Сталина выступить в бой и отдать жизнь за дело партии, за мировую революцию».

Классическим «освободительным» походом стали боевые действия Красной Армии в Западной Украине и Западной Белоруссии, отошедших в свое время к Польше. Еще в 20-е годы Тухачевский внушал бойцам РККА: «...через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару». После провала этой наступательной авантюры он разрабатывает план новой войны, предусматривавший нанесение бомбовых ударов по Варшаве и другим городам.

14 декабря 1931 года Ворошилов официально, как нарком обороны, заявил немцам: «Советский Союз... не примирится с нынешними границами Польши...» И наконец, 17 сентября 1939 года Берия секретно доложит Ворошилову о начавшемся «освобождении»: «В 5 часов утра 17 сентября части РККА и части пограничных войск НКВД... перешли государственную границу с Польшей. Пограничные части ведут бой по уничтожению польских пограничных стражниц...» 7 ноября 1939 года «Правда» подведет итоги: «Стремительным натиском части Красной Армии разгромили польские войска, выполнив в кратчайший срок свой долг перед Советской Родиной...» А за всем этим — трагедии миллионов людей, навсегда лишившихся дома, детей, да и самой жизни.

И если в 1933 году командующий Сибирским военным округом Левандовский, стажировавшийся в Германии, писал Ворошилову о колоссальной, «диаметрально противоположной разнице между историческими задачами Красной Армии, армии победоносно наступающего социализма, армии, являющейся авангардом мировой социальной революции, и германской — армией загнивающего капитализма, армией, задушенной и связанной по рукам и ногам идеями Версаля», то в 1939 году обе эти армии, на равных разделив Польшу, встретились уже как союзники. Между ними установилась общая советско-германская граница, которая, однако, через два года превратится в кровавый рубеж их вооруженного противоборства.

А пока в эйфории сотрудничества 28 сентября 1939 года Ворошилов и Шапошников вместе с представителями Главного командования вермахта поставят подписи на военных протоколах, координировавших действия советских и германских войск в Польше. Для поляков они обернутся Катынью. А в апреле 1940 года в Генеральном штабе в Москве советские и германские командиры будут вместе смотреть звуковой фильм о действиях гитлеровской авиации по уничтожению Польши. Его привезет советским коллегам немецкий военный атташе Ашенбреннер.

Сталин прекрасно понимал, пишет Суворов, значение румынской нефти для Германии. Но в соответствии с договоренностями Румыния отходила в зону германских интересов. Надо было искать выход. И вот в мае 1940 года немцы заволновались. Они запрашивали советского полпреда: верны ли слухи о сосредоточении на румынской границе 90 советских дивизий? 1 июня 1940 года Берия конфиденциально доносил Тимошенко: румынскому Генеральному штабу известно, что на границе Бессарабии и Буковины нами сосредоточено 30 пехотных, 10 кавалерийских дивизий и 14 моторизованных бригад... Новый «освободительный» поход во имя «спасения народов Бессарабии и Буковины от гнета боярской Румынии» ввиду его важности поручается осуществить Г. К. Жукову, уже не раз отличившемуся к тому времени в боевых действиях. 17 октября 1940 года Румыния согласится передать советской стороне Дунайский флот в счет освобождения всех аресто-

ванных на советской территории румынских граждан. А на «освобожденных» РККА территориях сразу же раскинет свою сеть НКВД.

С горечью приходится сегодня писать о том, что в ходе этих действий по «освобождению» народов человеческая жизнь ничего не значила. Недаром маршал Кулик заявлял: «...плакать над тем, что где-то кого-то пристрелили, не стоит».

С этим «гуманным» высказыванием маршала вполне созвучна основная идея статьи современного публициста Александра Орлова «„Суворов“ против Сталина, или Опыт построения антиистории» («Россия XXI», 1993, № 8). Ее автор откровенно восхищается сталинской доктриной мировой революции, но в отличие от диктатора ее пролетарское содержание заменяет насильственным панславизмом. Опираясь на этот посох, он пишет: «С точки зрения... этнографии, присоединение... Западной Украины и Белоруссии не что иное, как воссоединение восточнославянских православных этносов, часть территории которых была отторгнута католической Польшей в 1920 г. Советский Союз, населенный преимущественно славянами (а также другими восточными христианами, например, грузинами и армянами, составлявшими заметный процент в руководстве страны), был просто обязан взять население Западной Украины и Белоруссии под свою защиту. Это был действительно освободительный поход». Автор как бы забывает, что ценой крови славян СССР и Германия поделили Польшу, войска которой на момент вступления Красной Армии на ее территорию еще вели боевые действия против вермахта. Итогом этого «освободительного похода» стало интернирование 250 тысяч поляков и массовая депортация славянского населения, проживавшего в Западной Украине и Западной Белоруссии, в восточные районы СССР, что сопровождалось насилием, издевательствами над людьми, массовыми смертями...

Для осуществления мировой революции была разработана и теория современной войны, то есть глубокой наступательной операции. По мнению Суворова, приоритет в ее разработке принадлежал Владимиру Триандафиллову. Однако в российском военном архиве хранится (все еще засекреченная и, видимо, незнакомя Суворову) подлинная рукопись «Основы глубокой операции», написанная Григорием Иссерсоном (РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 553, лл. 1—190). Именно его П. Г. Григоренко в секретном письме Сталину назовет единственным, кто на протяжении десятка лет успешно разрабатывал теорию современной войны (РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 1312, лл. 208—211). По Иссерсону, РККА должна была уже в начальный период вести боевые действия на глубине восьмисот километров в воздухе и до двухсот километров на земле.

Разработку наступательной стратегии РККА старались всячески маскировать. Еще в 1927—1928 годах преподаватели Военной академии имени Фрунзе Н. Васильев, В. Левин, Ф. Данцигер и Н. Мовчин подготовили курс лекций, в которых говорилось: «Итак, война для нас неизбежна. Она решит вопрос о существовании Советского Союза и, следовательно, вопрос о путях развития мировой революции... Нам придется вести войну прямо или косвенно против всего капиталистического мира...» Узнав об этих лекциях, начальник Штаба РККА Шапошников «Совершенно секретно. Лично. Срочно» доложил наркому Ворошилову о том, что эти лекции «выявили совершенно легкомысленный подход авторов к совершенно секретным сведениям, неправильный и вредный метод изложения теории секретного предмета...». В связи с чем предлагалось срочно изъять у слушателей конспекты лекций, уничтожить оттиски, а сдачу зачетов по этому курсу отменить.

На основе аналитических рассуждений В. Суворов делает вывод, что СССР готовился напасть на Германию 6 июля 1941 года. Сегодня это уже не кажется чем-то фантастичным, хотя безусловно надо искать документальные подтверждения этому. Пока можно лишь предположить, что РККА могла предпринять очередной «освободительный» поход в Германию или так называемую «глубокую наступательную операцию», как это уже не раз случалось в 30-е годы. Целью провозглашалась бы мировая революция во имя справедливой жизни всех народов; соответствующие кадры в зарубежных странах уже выкованы Коминтерном, а предлог для перехода границы найти было и вовсе несложно. Сценарий такого похода мог быть схож с тем, который прорабатывался еще в 1925—1926 годах в ходе военной игры в Академии РККА. В Германии якобы сложилась «революционная ситуация, которая дала возможность германской компартии повести большинство рабочего класса и значительную часть крестьянства на решительный бой против реакционного правительства и захватить власть в решающих пунктах страны... Реакционные

силы укрепились в Баварии. Англия и Франция организовали экономическую блокаду Германии и готовятся к вооруженному вмешательству в ее внутреннюю борьбу. Правительство СССР... взяло на себя инициативу поддержания мира в Европе... Оно потребовало от Польши допущения транзита продовольствия в Германию... а также прекращения стягивания польских войск к германской границе. Ввиду отказа Польши и исчерпания всех попыток договориться о мире, СССР 1 мая 192... г. объявил войну...» (РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 148, лл. 19—20).

С сожалением можно предвидеть, что в будущем в архивах нас ждут не очень радостные открытия. И как ни старались архивные ведомства, находившиеся до недавнего времени во власти КГБ, уничтожить бесценные документы, они забывали или не ведали вовсе о том, что правда имеет особенность возрождаться даже из пепла.

22 июня 1941 года война вновь пошла непредвиденным, непредсказуемым путем. Еще предстоит постичь всю глубину трагедии лета сорок первого, когда наша пятимиллионная армия практически перестала существовать. То зло, которое правители Советского Союза готовили другим, внезапно волею непостижимого рока обернулось против их страны. И народы должны были снова большой кровью заплатить за свою неумную любовь к диктатору.

3 июля 1941 года Сталин обратился к населению с вопросом: «...Братья и сестры!.. Друзья мои!.. Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов?» Странно, что он ждал ответа от людей, долгие годы жертвенно работавших на Красную Армию, которая и должна была защищать их, но вдруг оказалась плененной, отступающей, бросившей их на поругание врагу. Армия, застигнутая врасплох, не готовая ни к обороне, ни к наступлению. За всем этим жизни миллионов наших молодых соотечественников, безоглядно шагнувших в огонь войны и по преимуществу оставшихся там. Спустя полвека глядят они на нас со старых фотографий с молчаливой просьбой: помнить о смысле их жизни и безвременной смерти во имя ныне живущих.

«Отечественная война завершена... Мы победили потому, что нас вел к победе наш великий вождь и гениальный полководец Маршал Советского Союза — Сталин!» — скажет Г. К. Жуков на Параде Победы 24 июня 1945 года. Сегодня можно проклинать тех, кто «переписывает» историю, и продолжать верить в придуманные, но такие привычные мифы и символы, апеллируя к национальной гордости, патриотизму россиян. Можно, если бы не одно обстоятельство: уж так устроен человек, что боль правды для него в конечном счете важнее сомнительного блаженства лжи и неведения.

**Т. БУШУЕВА,**

*кандидат исторических наук.*

#### ПОПРАВКА

В № 4 «Нового мира» за 1994 год допущена досадная ошибка. В подборку стихов Николая Шатрова по вине составителей попало стихотворение, ему не принадлежащее: «Воздвигнутый в честь сотворенья вселенной...» (автор — Михаил Еремин). Тексты Н. Шатрова взяты составителями из самиздата, где часто случалось, что списки одного автора перепутывались со списками другого. Приносим свои глубочайшие извинения поэту Михаилу Еремину. В этой же публикации допущена опечатка в фамилии предоставившей тексты З. Н. ПЛАВИНСКОЙ — и ее просим принять наши извинения.

**В. Кулаков.**

---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ДЕМОКРАТИЯ И ДЕМОС

*В июньской книжке «Нового мира» за этот год было напечатано эссе Юлии Латыниной «Демократия и свобода», в котором на широком историческом материале рассматривались сложные проблемы взаимодействия, взаимопроникновения, а порой и противостояния, взаимоотталкивания этих двух стержневых для нашего времени и нашей страны категорий.*

*Материал В. Гурвича поступил в редакцию в то время, когда статья «Демократия и свобода» находилась в наборе. И хотя г-н Гурвич не был знаком с ее содержанием, он тем не менее, по сути дела, развил, дополнил и расширил наблюдения и выводы Юлии Латыниной. Таким образом, работа В. Гурвича может быть воспринята как своеобразный упреждающий отклик на предшествующую публикацию.*

*Сам факт появления двух тематически близких и, однако же, написанных совершенно независимо друг от друга статей лишний раз подтверждает то обстоятельство, что вопросы строительства демократической государственности и сохранения и укоренения свободы и либеральных ценностей на отечественной почве по-прежнему остаются одними из наиболее фундаментальных для нынешней России.*

**И** несмотря на отсутствие в нашей стране после 1917 года и до самого последнего момента классического образования, практически всем россиянам известно, что в переводе с древнегреческого слово «демократия» означает власть демоса, то есть народа. Но насколько существующие в мире системы, называющие себя демократическими, соответствуют этому названию? Если подходить к ситуации с формальной точки зрения, то следует признать, что в основном так оно и есть: в государствах с развитым демократическим устройством власть находится в руках народа или, вернее, тех людей, которых народ сам избирает. В этих странах регулярно проводятся всеобщие выборы, пресса и телевидение беспрепятственно реализуют свои права на свободу информации, что позволяет им без устали ругать правительство; парламент, политические партии действуют без всяких ограничений и достаточно честно борются за голоса избирателей.

Нынешний вариант демократической системы — результат долгого эволюционного развития, в ней сконцентрировалась человеческая мудрость и терпимость, накопленные за прошедшие столетия, сконцентрировался многовековой исторический опыт. В демократии обрел свое выражение инстинкт самосохранения общества, нашедший после долгого поиска цивилизованную форму для своей реализации. Так что демократия без сомнения является великим достижением политического строительства. Ее преимущества перед другими формами политических систем заключаются в том, что, с одной стороны, она способна обеспечить неуклонное эволюционное развитие общества, а с другой — поддержание и сохранение общественной стабильности. Таким уникальным сочетанием не обладает ни один из деспотических режимов. Но и у демократии есть свои ахиллесовы пяты.

Прежде всего следует указать на опасность, которую представляют собой чрезмерные демократические иллюзии. Непонимание сути демократии, фетишизация ее идеалов приводят нередко к печальным последствиям. Во многих случаях демократию воспринимают как высшую ценность, которую необходимо оберегать и защищать при любых обстоятельствах. В действительности дело обстоит несколько иначе — сама по себе демократия не обладает какой-либо сверхценностью, она не более чем инструмент для достижения определенных целей, для стоящих перед обществом задач. Ее можно сравнить с рамой, в которой висит ценная картина. И если полотну нанесен урон, то никакое обрамление не способно его восполнить.

Абсолютной ценностью обладает не демократия, но свобода. Демократия — только способ ее наиболее полной реализации, конкретная форма, в которой она существует в современном мире. Поэтому когда люди стремятся защитить отвлеченные демократические принципы, не соотносясь с тем, способствует ли это сохранению или укреплению свободы, то нередко возникает ситуация, когда слишком широкая демократия начинает угрожать самому существованию свободы. Такие примеры хорошо известны: свержение большевиками Временного правительства, которое пыталось удержаться в рамках демократии и закона и не сумело вовремя нейтрализовать их противников пусть даже недемократическими методами; приход нацистов к власти в Германии через демократические парламентские выборы... Такие страные на первый взгляд коллизии происходят из-за наличия так называемой демократической ловушки, механизм которой мы только что описали: общество отстает не цель, но средство, не свободу, а демократию. Этой ситуацией ловко пользуются противники и свободы и демократии. Исходя из тактических соображений, они вдруг начинают заявлять о себе как о горячих поборниках демократических принципов, которые они будто бы готовы отстаивать до последней капли крови. (Так зачастую и происходит — только кровь обычно не их, а либо настоящих защитников демократии, либо обманутых ими людей.) Антидемократические силы давно уже осознали, что при определенных условиях демократические институты становятся весьма удобными для подъема на вершины власти. Такая ситуация ставит подлинных демократов перед сложным выбором: для того чтобы спасти демократию в целом, им приходится жертвовать отдельными ее частями, а в критической ситуации и всей демократической системой. Но подобная вынужденная мера дает основания противоположному лагерю прибегать к безудержной демагогии, обвиняя своих противников в нарушении священных принципов демократии, в стремлении к диктатуре и т. д. В этой связи уместно привести слова немецкого философа К. Ясперса:

«В решительные моменты всегда остаются выборы, в которых участвует все население данной страны. Однако форма демократии, то есть право на свободное, равное и тайное голосование как таковое, отнюдь не является гарантией свободы... Свобода, особенно если она предоставляется народу, не подготовленному к этому самовоспитанием, внезапно может не только привести к охлократии и в конечном итоге к тирании, но уже до этого способствовать тому, что власть окажется в руках случайно поднявшейся клики, поскольку население, по существу, не знает, за что отдает голоса...

То, как подлинную демократию защищают от охлократии и тирании, от случайной клики и духовно зависимых людей, является жизненно важным вопросом свободы. Необходимо создать сдерживающие инстанции, способные противодействовать самоубийственным тенденциям формальной демократии. Абсолютный суверенитет случайно оказавшегося в данный момент у власти большинства должен быть ограничен чем-то стабильным».

Если обратить особое внимание на окончание этой длинной цитаты, то возникает ощущение незавершенности мысли. В чем же заключается это самое «стабильное», которое должно каким-то образом ограничивать суверенитет случайно оказавшихся у власти людей? Ответа Ясперс не дает. Между тем он очень важен и нужен, ибо от того, как решается в тот или иной исторический момент данная дилемма, нередко зависят судьбы государств и даже всего мира. Найти решение этой проблемы непросто, ибо в ней нашла отражение уже обозначенная нами коллизия свободы и демократии. Отношения, которые возникают между ними, это не только отношения сотрудничества и партнерства, их также разделяет сильное энергетическое поле противоречий.

## 1

По традиции, родиной демократии считается Греция. Но почему она возникла именно там, почему именно в этой стране она получила такое мощное развитие и звучание? Откроем одну из страниц греческой истории. С 725 по 325 год до нашей эры Эллада испытывала серьезную нехватку продовольствия. Как она попыталась выйти из кризиса? Города Коринф и Халкида стали направлять свое избыточное население для колонизации других территорий, где воспроизводились порядки метрополий. В присущем ей стиле повела себя Спарта: для удовлетворения земель-



ного голода она захватила соседние греческие земли. Это стало одной из причин глобальной милитаризации Спарты.

Иначе отреагировали на ситуацию Афины. Там попытались переориентировать экономику на экспорт, одновременно стало поощряться развитие ремесел и торговли. Это дало толчок к изменению политической системы: назревавшая социальная революция была предотвращена благодаря использованию политических и экономических регуляторов и демократизации общественной жизни. Позднее эти преобразования дали основание Периклу охарактеризовать данный период школой для Эллады.

(Отметим, что подобная ситуация повторялась затем в истории бесконечное количество раз. И всегда при ее разрешении возникала, условно говоря, афино-спартанская дилемма: идти по пути внешней экспансии и внутренней реакции или совершать глубокие социальные и демократические преобразования?)

О чем свидетельствует эта историческая реминисценция? Потребность в установлении демократического режима появляется там, где на тот момент существует наивысший уровень свободы. В свободе же нуждались прежде всего те общества, где серьезное развитие получили торговля, ремесленное производство, то есть там, где уже существовало достаточно глубокое разделение труда. Потребность в свободе в подобных общественных системах возникает еще и потому, что и занятие торговлей и ремеслом требует инициативы и личной заинтересованности в результатах своей деятельности. Это приводит к появлению относительно независимого и самостоятельного слоя людей, не теряющих над собой грубого принуждения. Такие тенденции особенно явственно проявлялись в морских цивилизациях, ибо заниматься мореплаванием, морской коммерцией могли только свободные члены общества. В свою очередь свобода, чтобы не обратиться в анархию, потребовала определенной общественной организации, которая и вылилась в систему, получившую название демократия.

Конечно, наличие развитой торговли, пусть даже морской, вовсе не означает автоматической победы демократии: общество пребывает в состоянии перманентного колебания между свободой и деспотией. Даже страны, где, казалось бы, демократические институты укоренились глубоко и на первый взгляд бесповоротно, потенциально находятся в том же состоянии. Случай же с Афинами один из немногих, где народ отдал предпочтение свободе. Это судьбоносное решение привело к тому, что в этом малюсеньком государстве оказались выработаны те принципы, впервые прошли апробацию те идеи, которые затем в значительной степени определили путь и характер развития европейской и мировой цивилизации. При этом речь вовсе не идет об идеализации Афинского государства: демократия, которая там существовала, была крайне несовершенна и нестабильна — то она обращалась в форму охлократии, то власть переходила к аристократии. Эта демократия преследовала свободомыслие (вспомним казнь Сократа), проводила имперскую политику (Пелопоннесские войны за первенство Афин в Греции). И все же тот уровень свободы, который был тогда достигнут, позволил сделать такой шаг вперед в развитии социальной мысли, что даже и теперь мы постоянно обращаемся к этому наследию.

Древняя Греция оказалась первой страной, которая попыталась осуществить идею свободы на государственном уровне. Между тем проблема свободы личности возникла едва ли не сразу, как только человек осознал себя самостоятельной, уникальной сущностью. Однако свобода долгое время не воспринималась архаическими обществами как самостоятельная ценность. Так стали возникать различного рода деспотии. Другой путь был несравненно труднее и длительней, его выбрали лишь немногие нации и государства: он проходил через создание политической системы, которая не отнимала бы у народа свободу, а находила способ включить ее в государственный политический механизм. Так появилась демократия.

Как уже говорилось, демократия есть только форма, в которой выступает свобода, так сказать, ее вицмундир. Покрой же мундира определяется уровнем развития общества, той степенью свободы, какую оно в состоянии себе позволить, дабы не вызвать разрушительных тенденций. Речь идет о канализации свободы, о направлении ее по тем руслам, когда она способна стать влагой для орошения социальной почвы, а не селевым все затопляющим потоком.

Н. Бердяев писал: «Принудительное добро не есть уже добро, оно перерождается в зло. Свободное же добро, которое есть единственное добро, предполагает свободу зла».

Демократия пытается найти компромисс, некое промежуточное состояние между той абсолютной свободой, которая одинаково распаивает двери добру и злу, и той принудительной свободой, которая уже есть не безграничное добро, но которая хоть как-то ограничивает распространение зла. В этой непростой антиномии и заключается основной вопрос демократии.

## 2

Отношения, которые складываются между свободой и демократией, неизбежно подводят нас к другой теме — о взаимоотношении народа и свободы, народа и демократии.

Мы привыкли видеть в свободе величайшую ценность, которая дана человеку. Это безусловно так, ибо все его развитие и есть обретение свободы, ее реализация, высвобождение себя из плена необходимости. Но это, так сказать, основной вектор движения. В реальности же отношения между свободой и человеком складываются более драматически. То, что свобода необходима для развития, вовсе не означает, что выбор всегда и непременно происходит в пользу свободы. Более того, гораздо чаще люди выбирают именно несвободу.

Почему так происходит?

Чтобы приблизиться к пониманию этого феномена, рассмотрим характер взаимоотношений двух понятий — свободы и справедливости. В массовом сознании они обычно стоят рядом, если вообще не сливаются. И это верно: свобода и есть высшее проявление справедливости, а справедливость возможна только на основе свободы. Вопрос в том, что понимать под справедливостью. Именно в различной трактовке этого понятия и находится нервный узел многих исторических противоречий и коллизий.

Справедливость в народном сознании ассоциируется обычно с уравниловкой. Такая ее интерпретация становится особенно очевидной, когда народная стихия выходит из берегов и становится неуправляемой. Нетерпимость ко всему, что выше среднего уровня, ко всему, что выше понимания массового сознания, ненависть к богатству — вот основной лейтмотив подобных движений. (В Англии в период революции даже существовало политическое течение, именовавшее себя уравнилителями.)

«Списки отняты, писцы уничтожены, каждый может брать зерна сколько захочет... Страна вращается как гончарный круг: высокие сановники голодают, а горожане вынуждены сидеть у мельницы, знатные дамы ходят в лохмотьях, они голодают и не смеют говорить. Рабыням дозволено разглагольствовать, в стране грабежи и убийства. Никто больше не решается возделывать поля... людей становится все меньше, рождаемость сокращается. И в конце концов остается лишь желание, чтобы все это скорей кончилось. Нет ни одного должностного лица на месте, и страну грабят несколько безрассудных людей царства. Начинается эра господства черни, она возвышается над всеми, радуется этому по-своему... В то время как те, кто не имел ничего, стали богаты, прежние богатые люди лежат беззащитными на ветру, не имея постели. Даже сановники старого государства вынуждены в своем несчастье лстыть поднявшимся выскочкам». Так повествует древнеегипетский папирус о том, что получается, когда чернь добирается до власти. То, что случилось на берегах Нила более четырех тысяч лет назад, не напоминает ли происшедшее в 1917 году на берегах Невы и Волги?

Справедливость — это глубоко творческое, а следовательно, иерархическое понятие. Истинная справедливость противостоит всему уравнивающему, нивелирующему. Чем больше в обществе неравенства, тем оно справедливее. Но только в том случае, если это неравенство вырастает из свободы. В этом значении неравенство — бесчисленное количество вариантов, когда каждый человек самостоятельно творит свою судьбу, исходя из своих способностей, возможностей, желаний. Такое неравенство не имеет ничего общего с тем неравенством, которое существует в деспотических или сословно-кастовых режимах, где оно является принудительным, а потому нетворческим, несправедливым и неэффективным.

Многие, очень многие люди изначально враждебны такой справедливости, в основе которой лежит неравенство. И эта ситуация приводит к тому, что подобный порядок приходится удерживать посредством принуждения. Первоначально это

принуждение опиралось преимущественно на прямое государственное насилие, подавление. Однако постепенная эволюция социальной мысли, а вслед за ней и государственных институтов позволила заменить его иными, более гибкими и мягкими методами: появилась политическая система, сумевшая мирно интегрировать в свои структуры основные слои общества, благодаря разумному социальному курсу примирить основные общественные страты с существующим положением. Но это не меняет саму суть проблемы: неприятие частью народа неуравнительной справедливости сохраняется, продолжает жить в его коллективном подсознании и всякий раз выходит наружу, едва нарушается статус-кво, рушится достигнутая стабильность.

В этой связи важно понять, как воспринимается человеком свобода. Это восприятие зависит от творческого уровня личности, ее нацеленности на высшие духовные ценности. Поэтому если народ в массе своей необразован, то в таком случае свобода понимается им как ничем не ограниченная вольница. У Достоевского есть такая мысль: говорят о свободе, а имеют в виду бунт. Речь идет о том желании вседозволенности, которое спит в подсознании человека и которое по большому счету не является свободой. По сути дела, это свобода зверя, выпущенного из клетки.

Несколько иная ситуация в цивилизованном обществе, тут народ уже приучен к высоким жизненным стандартам и рассматривает свободу как средство для удовлетворения своих потребностей. Истинный смысл свободы здесь во многом остается невостребованным, она приобретает односторонний утилитарный крен, создается так называемое общество потребления. И если, как это чаще всего случается, при переходе от тоталитаризма к демократии дерево свободы на первых порах не приносит сочных плодов, более того, уровень жизни резко снижается, то народ отворачивается от свободы и в лучшем случае равнодушно наблюдает, как ее топчут ее противники, а в худшем — сам охотно участвует в этом действе.

### 3

Как известно, в основу современной демократической системы легли идеи Монтескье о разделении ветвей власти. Необходимость такого раздела связана с тем, что любая власть стремится к своей абсолютизации. Чтобы воспрепятствовать этому, необходимы ограничители. Их роль и выполняют различные ветви власти, которые, контролируя друг друга, препятствуют доминированию какой-либо одной из них. Еще одним слагаемым на пути неограниченного всевластия становится закон; это тот гранит, в который как бы заковывается свобода. С одной стороны, это ведет к определенному ограничению гражданских свобод, но с другой — создает условия для того, чтобы максимальное число людей без опасений могли бы пользоваться такой законодательно ограниченной свободой. В данном случае человек как бы признается себе, что хотя для развития ему потребна свобода, однако для того, чтобы он мог без ущерба для себя пользоваться ею, он должен стремиться не нанести вреда другим членам общества.

Задача, которую пытается решить современная демократия, заключается в том, чтобы создать такие условия, когда в обществе сохраняется и всячески поддерживается принцип народовластия, в то же время сам народ устраняется, или, если быть точнее, отдаляется на почтительное расстояние от власти. Речь идет не о каком-то особом цинизме властвующих элит, а об объективной необходимости. Государство всегда отдается для управления элитарным группам, но если раньше они осуществляли свое господство, исходя исключительно из собственных интересов, не особенно считаясь с мнением своих подданных, то в эпоху всеобщего избирательного права им необходимо заручаться поддержкой избирателей.

В свое время правящие круги потратили немало усилий, дабы привить гражданам социальные идеи и навыки, которые, собственно, и составили основу современной демократии. Правда, следует отметить, что на самом деле это обучение было обоюдным. Правящие элиты от методов прямого подавления перешли к более гибкой тактике с использованием способов социального маневрирования. Предпринимательский класс хотя и с немалым трудом, но осваивал идеологию своих главных оппонентов — наемных рабочих, правда в приемлемом для себя варианте: был заключен исторический компромисс — социалистические и коммунистические идеи, которыми были сильно «заражены» народные массы, путем эволюции превратились в социал-демократические, которые уже не только не уг-

рожали интересам буржуазии, но и во многом оказались полезны ей, так как давали возможность, с одной стороны, канализировать недовольных в цивилизованные безопасные рамки, с другой — накапливать опыт социального регулирования общественных процессов.

Такая ситуация находит свое воплощение в системе политических партий и организаций, главная задача которых — устранить народ от непосредственного влияния и прямого давления на власть и в то же время сохранить это влияние, сделав его более опосредованным. Реальные рычаги управления государством находятся в руках политических элит, но право на обладание этими рычагами та или иная элита получает с согласия всего общества. Это вполне работающая модель, поскольку в отличие от прежних времен нынешние правящие элиты имеют не закрытый, а открытый характер. Перемещение людей по социальным стратам, появление новых членов в элитных слоях происходит весьма интенсивно: практически любой человек обладает реальными возможностями попасть в привилегированные сословия, подняться на самую высокую общественную вершину. А задачи, которые ставят сегодня правящие группы, существенно отличаются от тех целей, которых они добивались раньше: они действительно озабочены не только своими клановыми интересами, но и интересами самых широких слоев социума и в целом пытаются в меру сил и способностей служить ему.

Да и в принципе полное отстранение народа от власти невыгодно политическим элитам. Самостоятельно они не способны справиться со все усложняющимися задачами по руководству обществом (хотя на разных ступенях власти уровень допуска народа к пульсу управления государством сильно колеблется). Так, на Западе сейчас интенсивно происходит развитие системы самоуправления: в каком-то смысле здесь можно говорить об использовании методов прямой демократии, когда народ без посредничества политических элит решает свои дела. (Однако чем выше мы поднимаемся по лестнице власти, тем меньше влияние народа, тем больше значения приобретают политические лидеры и функционеры.)

Нынешняя парламентская демократия, в общем, доказала свою способность к успешному функционированию. Но такая возможность возникает в том случае, когда в обществе существует гражданское согласие. Сейчас очень популярна идея правового государства, под которым понимается верховенство закона. Однако суть правового государства не в этом. Условия для его строительства возникают тогда, когда основные слои общества приходят к согласию по вопросу, что существующая экономическая и политическая модель отвечает интересам большинства граждан. И лишь после того как прекращается сословно-классовая война, складывается реальная ситуация, когда закон становится на страже общечеловеческих ценностей, прав человека, а не эгоистических устремлений привилегированных групп.

#### 4

Путь России к демократии по своим магистральным направлениям в целом совпадает с той дорогой, по которой двигались к ней другие страны. Однако по ряду причин он оказался более извилистым и долгим. Понять его особенности — это понять особенности самой России. Необходимо сразу отметить одно обстоятельство: демократия для России вовсе не чуждый институт, она нуждается в ней не меньше, чем любое другое государство. Из этого положения и следует исходить, размышляя о судьбах демократии в России.

Одним из исторических периодов, наиболее сильно повлиявшим на формирование современного облика России, было, как уже давно и хорошо известно, время царствования Петра I. Двойственный характер петровских реформ оказал самое серьезное влияние на последующее развитие государства.

Петр как бы разорвал душу России на две части. С одной стороны, им была проделана огромная работа по высвобождению страны из плена обскурантизма, невежества, экономической отсталости. Именно в его царствование в Россию стал проникать сперва тоненький, а потом все более мощный поток западных либеральных идей, которые затем заразили русское образованное общество. Под их влиянием это общество демократизировалось, постепенно менялся не только его образ мыслей, но и образ жизни, совершался постепенный переход от патриархального барства к более цивилизованным формам жизни. Но беда состояла в том, что новые идеалы вступали в острое и глубокое противоречие с реальной действительностью — усилением крепостной зависимости крестьян, отсутствием элемен-

тарных гражданских свобод большей части россиян. Такое сочетание несочетаемого приводило к появлению самых причудливых, фантазмагорических картин, проклятых Радищевым и высмеянных Салтыковым-Щедриным. Для человека, воспитанного на книгах французских энциклопедистов или на образцах британской политической системы, отечественные реалии становились источником постоянных терзаний, толкали на поиск крайне радикальных путей по преодолению внутреннего кризиса. Именно это и обусловило зарождение и становление революционных партий и те трагедии, которые предстояло пережить стране.

Разрыв между верхами и низами в той или иной мере характерен для любого общества. Однако в России он оказался катастрофически велик: в то время как образованное меньшинство развивалось весьма интенсивно и в каких-то областях даже перегнало своих западных коллег (наиболее яркое подтверждение этой мысли — появление великой русской литературы), сознание народных масс в целом менялось довольно медленно. Идеи, которыми жило просвещенное сословие, не доходили до нижних ступеней общественной пирамиды. Различные слои общества двигались как бы в разных направлениях. Если общественные сословия разделяет пропасть, такой прогиб всегда несет серьезную угрозу гражданскому миру в государстве и в итоге ведет к гражданской войне, которая и случилась в России в 1918 году.

Суть трагедии, пережитой (и все еще переживаемой) Россией в XX столетии, заключается еще и в том, что те процессы, формирование новой социокультурной, цивилизационной и государственной модели, которые происходили в западных странах, идут у нас с большим историческим запозданием.

Становление демократии на Западе шло преимущественно в XIX веке и знаменовалось ожесточенными классовыми боями. И жестокими подавлениями власть предержащими выступлений низов. В качестве наиболее яркого примера можно привести расправу над парижскими коммунарами. Конечно, можно по-разному относиться к тьерам и ковеньякам, взять сторону их бескомпромиссного осуждения, но если отойти от моральных оценок и стать на почву объективного исторического подхода, то становится ясно, что насильственные меры тогдашних европейских правителей были в целом неизбежны и даже необходимы. Та враждебность низших слоев населения по отношению к молодым демократическим государствам, о которой выше уже говорилось, требовала во многих случаях жестких форм подавления смут и мятежей. Успешный исход этой борьбы оказался возможным в немалой мере еще и потому, что реальный уровень гуманности общества был тогда весьма далек от нынешних, уже ставших привычными стандартов. Западу удалось проделать основную «грязную» (и кровавую) работу по становлению современного демократического государства в о время. Иными словами, там оказалось достаточно времени для того, чтобы обществу удалось закончить школу демократии, прежде чем там воцарилась настоящая демократия. Причем это в равной мере относится не только к пролетариату, но и к буржуазии, и к правящему чиновничеству.

По-иному складывалась ситуация в России. Так как движение к демократии здесь началось значительно позже, то оно совпало с периодом, когда власть уже не могла безоглядно использовать репрессии. Высшие слои общества были уже, как ни парадоксально это звучит, слишком цивилизованными, а мировое общественное мнение уже чутко относилось к использованию жестких методов в противостоянии правителей и народа. И хотя царский министр внутренних дел при обсуждении в Государственной думе вопроса о ленском расстреле ответил: «Так было и так будет», он скорее говорил о желаемом, чем о действительном. Либерализм к тому времени уже прочно укоренился как в общественном сознании, так и в сознании правящей элиты Российской империи. Можно утверждать, что этот либерализм был не западным, а российским, то есть весьма непоследовательным, но он уже не позволял переходить определенную черту, связывал руки репрессивным органам. В этом плане очень показательны признание первого, и неудачливого, премьера Временного правительства князя Львова. После своей отставки в одной из частных бесед он говорил: «В сущности, я ушел потому, что мне ничего не оставалось делать. Для того чтобы спасти положение, надо было разогнать Советы, стрелять в народ. Я не мог этого делать». Российские демократы не могли запросто стрелять в народ, однако наиболее активная и радикальная часть народа оказалась вполне способной убивать российских либералов.

Победа большевизма явилась результатом равнодушия большей части народа к индивидуальной свободе и его веры в свободу общую, в то, что несвобода всех дает на выходе свободу для всех. Этот странный сидлогизм укоренился в сознании не только русской нации. Однако в России его влияние ощущается особенно остро.

...И вот уже несколько лет в России предпринимается очередная попытка по выращиванию в стране древа демократии. Нынешняя ситуация в целом укладывается в нарисованную нами схему, хотя и обладает целым набором своеобразных черт. Спущенная сверху «установка на демократию», по сути дела, оказалась ненужной большинству населения. Первоначально возникший демократический порыв россиян был связан не столько с осознанным неприятием коммунистической системы, сколько с надеждой на быстрое улучшение экономического положения в стране, на скорый рост жизненных стандартов простых тружеников и, наконец, на упразднение ненавистных народу привилегий советской партократии. Однако после того как надежды на поднятие жизненного уровня не оправдались (более того, он начал быстро ухудшаться), после того как полученная из чужих рук свобода принесла с собой многие негативные явления, такие, как коррупция, резкий рост преступности, стремительное расслоение общества на богатых и бедных, миллионы людей отшатнулись от демократии. Выборы в Федеральное собрание, успех антидемократического блока (либерал-демократов, коммунистов, взявших на вооружение, по сути, лишь одно средство — безудержную демагогию) свидетельствуют о том, что по-прежнему ни демократия, ни свобода не воспринимаются народом как высшие ценности.

Скажу еще раз: главная наша беда в том, что мы постоянно запаздывали и запаздываем со становлением в стране демократической системы. Это ведет к тому, что у президента и правительства остается крайне узкое поле для маневра.

Демократическая система не может прорасти глубоко корнями в общество и в условиях тотального социально-экономического кризиса. События в октябре 1993 года в Москве — это отчаянная попытка либерального правительства и президента выбраться из демократической ловушки, в которую попало руководство государства, когда антидемократическое большинство Верховного Совета, используя демократические процедуры парламентской деятельности, вело отчаянную борьбу против демократии. Этот конфликт был абсолютно неизбежен, поскольку в основании его было противостояние неустойчивой слабой демократии и значительной обскурантистски настроенной части посткоммунистического общества — демократии и охлократии. (Избранная вместо ВС Государственная Дума оказалась не менее антидемократической, что, по всей видимости, предвещает новые политические бури.)

Конечно, есть факторы, которые работают на укрепление демократического режима в стране. Прежде всего это достаточно высокий образовательный уровень населения, который до определенной меры сдерживает антидемократические тенденции: разочарование многих россиян в прежних социалистических идеалах, понимание большинством народа, что возвращение в прошлое не принесет ничего хорошего. Но если ситуация в стране будет ухудшаться, влияние этих факторов будет ослабевать, ибо человек, которого жизненные обстоятельства постоянно вынуждают бороться за свое физическое выживание, постепенно теряет способность к трезвой оценке реального положения вещей. Он готов схватиться за любую соломинку, даже если разум подсказывает ему, что ничего хорошего из этого не выйдет. Эмоции и чувства в такой ситуации берут верх над голосом рассудка. Этим как раз объясняется успех деятелей типа Жириновского и Зюганова, чьи разглагольствования не отвечают никаким требованиям даже самой примитивной логики, но обладают большим эмоциональным и иррациональным зарядом, являются почти идеальными вербальными выражениями тех эмоциональных стрессов, в плену которых находятся миллионы людей. И все-таки, как бы ни закончилась нынешняя попытка укоренения на российской почве древа свободы, России без демократии в современном мире не выжить. И потому попытка эта будет повторяться снова и снова. По крайней мере до тех пор, пока существует на географической карте эта страна.

Владимир ГУРВИЧ.

---

---

## КНИЖНАЯ ПОЛКА (9)



**Р. Киплинг.** Вольные похоронщики, или Превратности судьбы. Перевод с английского М. Ленского. М. «Стелла». 1993. 32 стр. 5000 экз.

**К. Р. (Великий князь Константин Константинович).** Времена года. Избранное. Вступительное слово, составление, комментарий А. Б. Муратова. СПб. «Северо-Запад». 1994. 510 стр. 25 000 экз.

**Юрий Кувалдин.** Избушка на елке. Роман. Повести. М. «Советский писатель». 1993. 334 стр. 35 000 экз.

Кроме романа, давшего название книге, в нее вошли повести «Мечь» и «Беглецы». Автор работает в стилистике так называемой московской школы.

**Дина Рубина.** Один интеллигент уселся на дороге. Иерусалим. 1994. 266 стр.

Сборник новой прозы Рубиной, вобравшей в себя частично опыт ее эмигрантской жизни, — повести «На Верхней Масловке» и «Во вратах твоих», рассказы «Один интеллигент уселся на дороге», «Яблоки из сада».

**Марк Самаев.** Стихотворения и поэмы. Составление Э. Саперштейн. М. «ЛИРА». 1994. 264 стр. 1000 экз.

Второй посмертный сборник стихов несомненно талантливого, но так и не увидевшего при жизни своих книг поэта.

**Селин.** Путешествие на край ночи. Роман. Перевод с французского Ю. Б. Корнеева. М. «Прогресс». «Бестселлер». 1994. 434 стр. 25 000 экз.

Роман, относящийся к классике европейской литературы XX века.

Наследие Селина (псевдоним Луи Фердинанда Детуша) хорошо известно специалистам по французской литературе, однако «упаднические мотивы» в его творчестве, «философия отчаяния», а также двусмысленная репутация писателя (во время войны был лоялен к оккупантам) делали невозможной публикацию его произведения на русском языке.

**Дмитрий Урнов.** Жизнь замечательных лошадей. Повести, рассказы. М. «Московский рабочий». 1994. 384 стр. 10 000 экз.

Сборник представляет, пожалуй, самую заветную тему в творчестве умного, живого, парадоксального критика и литературоведа. Куда бы ни заносила Урнова страсть к оригинальности, к эпатажной порой размашистости суждений, о лошадях он всегда писал блестяще, со знанием дела и с любовью.

**Стефан Цвейг.** Мария Антуанетта. Портрет ordinарного характера. Перевод с немецкого Л. М. Миримова. СПб. Лениздат. 1993. 638 стр. 50 000 экз.



**А. Афанасьев.** Поэтические воззрения славян на природу. В X томах. Том I. Репринтное издание 1865 года, с исправлениями. М. «Индрик». 1994. 800 стр. 5000 экз.

**Кремлевский самосуд.** Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. Составление А. В. Короткова, С. А. Мельчина, А. С. Степанова. М. Журнал «Родина». (Библиотека журнала «Источник») 1994. 622 стр. 10 000 экз.

**Хемингуэй в воспоминаниях современников.** Составление, вступительная статья, комментарий, указатель Б. Грибанова. М. «Художественная литература». «Терра». 1994. 543 стр. 10 000 экз.

Составитель С. Костырко.

---



---

---

## ПАМЯТИ В. И. СЕЛЮНИНА

Василий Илларионович появился в «Новом мире» со своей статьей «Эксперимент» (1985, № 8), а чуть позже выступил со статьей «Лукавая цифра» (1987, № 2), написанной в соавторстве с ученым-экономистом Григорием Ханиным. Выступление оказалось в самую пору. Перестройка только начиналась, а в журналистике еще продолжала царствовать прежняя подцензурная робость и серость. Авторы же этой статьи поведали нелицеприятный, прямой и резкий разговор о том, почему столь плохи дела в нашей экономике. Говорилось в статье вроде бы только об официальной статистике, манипулирующей с цифрами, и показателях, убаюкивающих и власть и общество. Отсюда и название статьи.

«Лукавая цифра» была в числе первых тех остропублицистических выступлений «Нового мира», которые всколыхнули общественность, снискали журналу широкий читательский интерес.

Вторая статья Селюнина, «Истоки», появилась у нас год спустя (1988, № 5). В ней автор обратился не столько к экономике, сколько к отечественной истории, к послеоктябрьскому ее периоду. На примере последовательно сменявших друг друга «военного коммунизма», нэпа, коллективизации, индустриализации, периода «развитого коммунизма» автор наглядно продемонстрировал, как внеэкономическое принуждение и террор большевиков пагубно сказались на развитии страны, на ее экономике, на судьбах русского крестьянства, окончательно сломленного после короткой передышки нэпа. Выходец из деревни, Селюнин запомнил ужас тех голодных лет, горе пришибленной вечной нуждой матери, ее натруженные, огрубевшие руки... В полном бесправии крестьянина, кормильца страны, Селюнин и усматривал истоки многих последующих наших бед. Статья сочетала исповедально-лирическое, личностное и публицистическое начала, придававшие ей волнующе-возвышенный настрой. Недаром позже Владимир Буковский отмечал, что статьи Селюнина читаются, как тургеневская проза.

«Истоки» заметили буквально все и повсюду. При тогдашнем 500-тысячном тираже журнала эта вещь с помощью ксероксов, по свидетельству одного из социологов, вместе со статьей Н. Шмелева «Авансы и долги» (1987, № 6) разошлась по всему Союзу в количестве, как считают, 15 — 17 миллионов экземпляров. «Истоки» перевели на многие языки, цитировали политики и ученые. Редакцию и автора читатели завалили письмами. Можно сказать, что по выходе этого номера журнала Селюнин стал знаменитостью. Его наперебой приглашали в разные страны на симпозиумы и «круглые столы», в университетские аудитории.

Его широчайшая известность порой обретала парадоксальные формы. Помню, появившись в редакции после возвращения из очередной зарубежной поездки, Василий Илларионович рассказывал, как на Шереметьеве-2 его задержали пограничники. Селюнин был увлеченным книжником, а писатели-эмигранты надарили ему уйму своих сочинений, в том числе более чем крамольных (по нашим тогдашним меркам). Василий Илларионович вез их открыто — полный чемодан. На контроле возмутились подобной наглостью. Вызвали начальство. Явилась некая строгая дама в форме с майорскими погонами, глянула в селюнинский паспорт и вдруг сказала: «Проверить багаж у Василия Илларионовича я, конечно, не буду». И уже другим, начальственным, тоном оторопевшему стражу: «Пропустить». «И тут, братцы, — закончил с улыбкой свой рассказ Василий Илларионович, — я загордился».

К чести Селюнина следует сказать, что, не в пример некоторым другим авторам, он — уже будучи членом нашей редколлегии — от этой внезапно обрушившейся на него славы не забалесался, продолжал оставаться самим собой — таким же контактным, доступным, доброжелательным. Кое-кто явно злоупотреблял этой его доступностью, ему без конца звонили, не зная к тому же, что здоровье Василия Илларионовича подтачивается грозным и неумолимым раком.



Помню, я навестил его в Радиологическом центре на Каширке после первой, и (увы!) неудачной, операции, принесшей больному только временное облегчение. Мне предстояло выяснить, как продвигается его работа над очередной статьей для «Нового мира», уже объявленной в журнале, — «Заметки из зала Конституционного суда». Наш разговор происходил вскоре после того, как завершился публичный суд над компартией, завершился, по существу, ничем, очередным постыдным компромиссом, а не запретом как организации преступной, виновной в массовых репрессиях соотечественников. Василий Илларионович выглядел истощенным, осунувшимся, хотя и не утратил обычной своей живости, подвижности, юмора. А у меня язык не поворачивался спросить его о деле. Наконец все-таки спросил. «Как же, работаю, — слабо встрепенулся он, кивнув на какие-то разбросанные на тумбочке у кровати страницы. — Бурбулис даже распорядился выдать мне экземпляр стенограммы, узнав, что я пишу для «Нового мира». — Он помолчал и повторил: — Передайте, что продолжаю работать на родимый журнал... — И после паузы уже тише добавил: — Вернее, пытаюсь работать. Но после химии так муторно бывает, что все валится из рук».

...Больше мы с ним не виделись. Написать обещанную большую статью для журнала Василий Илларионович так и не смог. Но по выходе из больницы он время от времени еще выступал в газетах. На короткий срок (пока позволяло здоровье) занялся и политической деятельностью, был избран в Госдуму. И хотя болезнь не отпускала его ни на день, мы видели его в тревожные ночные часы во время октябрьского 1993 года неудавшегося мятежа красно-коричневых, видели на телеэкране среди тех, кто не утратил тогда политического рассудка, не впал ни в беспечность, ни в панику, кто обратился к москвичам со спокойным, взвешенным словом, призывая к единству, мужеству, стойкости в защите демократии.

Демократия для него не являлась отвлеченным понятием. Он оставался демократом всегда, по убеждениям, по самому стилю своей жизни. Ведь как раз демократия, демократические порядки, восторжествовавшие в нашей стране после падения коммунистической диктатуры, и открыли Селюнину путь в большую журналистику. Без этого непрерывного условия он не смог бы состояться как публицист.

Да, начал Василий Илларионович поздно, но в те короткие сроки, что были отпущены ему судьбой, он успел сделать необычайно много. Достаточно для того, чтобы навсегда остаться в памяти своих друзей, коллег и миллионов читателей...

С. ЛАРИН.

## ПАМЯТИ В. Л. ФИЛИМОНОВА

Владимир Филимонов юношей поступал в Литературный институт. На улице Чехова сажидились в троллейбус возле церкви Рождества Богородицы в Путинках, ехали в общежитие, где в комнатах учебники мешались со страницами так и не явленных миру писаний. С Литинститутом не вышло, был технический вуз в Брянске, монтажный участок в Пятигорске, кремлевское управление с допуском № 1, геологические отряды на Чукотке, сейнеры, скитания по России, московская жизнь на пару с таким же бездомным художником Ворошиловым, чьи картины ныне в европейских галереях. Писал, копил рукописи, издал две книги прозы в Москве, был предпринимателем, разбогател. В последние два года жизни, а Владимир Филимонов умер в пятьдесят пять лет, он видел главки церкви Рождества Богородицы в Путинках из окна своего кабинета в редакции «Нового мира»: описал круг по лицу земли, как он говаривал. В столе осталась верстка сборника «Страстей узоры».

Дух отрочества так и не покинул Владимира Львовича, когда впечатлительность преувеличенная — запахи тревожат, новые обстоятельства кажутся чрезвычайными, примеры для подражания выбирают опасные. Но и дух времени, кажется, навсегда оставил на нем свои отметины. Как писал старый новомирец Юрий Домбровский, у человека отняли законы — его убежище, а законы — наиглавнейшая составная культуры. Не с тех ли времен Владимир Филимонов в случае грубого напора шел напролом: или мы волки — они собаки, или они волки — мы собаки.

Мучительна такая возрастная парабола, но и щедра. В его рассказах, написанных о послевоенном детстве в Вильнюсе, где служил отец, и о великоустюжской

родне, в его повести «К гадалке ходить не надо» (о Бутырской тюрьме, куда Филимонова в былые времена затолкали за отнятый у него необработанный изумруд невероятной стоимости), в чукотских повестях «Чукоча» и «Омолонский отряд», рассказах о тундровиках, рыбаках, бичах — да, считай, во всем им написанном привку отроческого опыта.

Одновременно отрочество было защищено и одушевлено — книгой, высоким примером, жадностью слуха и зрения. Хмелило голову аргентинское танго, Ив Монтан звал в Париж, Рашид Бейбутов в Баку. Нет вопросов территорий, есть чувство родства всех в культуре, охватывающей народы как мировое течение. Всю жизнь он сохранял чувство обожания к печатному слову, к творению, к талантливому человеку, дорожил этим чувством, лелеял его. Помню, к могиле Батюшкова, лежащего в вологодском Прилуцком монастыре, или в Старую Руссу в музей Достоевского Владимир Филимонов собирался будто в хадж и потом написал об этом с волнением. Будучи не больно тороват, он с нежностью опекал собратьев, чей талант признавал, терпел их, помогал деньгами.

Сознание пользы, могущей быть от него журналу «Новый мир», решило дело, когда С. П. Залыгин в труднейшие для журнала времена пригласил его стать заместителем главного редактора и финансовым директором. Владимир Филимонов оставил свои деловые затеи ради нового поприща, где понадобились его дар рисковать; рассчитывать, называть вещи собственными именами — и нрав человека, не признающего себя жертвой исторического поворота. Мы, его друзья, сотрудники, близкие, верим, что в его многообразной, бурной, очень нелегкой жизни дни, проведенные в тундре и на море, над рукописями, дни с домашними и друзьями, дни в «Новом мире» были любезны его сердцу — так он говаривал. Мы все скорбим о его уходе.

Борис РЯХОВСКИЙ.



## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1994 ГОД



**Д. С. Лихачев.** Культура как целостная среда. VIII — 3.

### РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

**Михаил Ардов.** Легендарная Ордынка. IV — 3; V — 113.

**Виктор Астафьев.** Прокляты и убиты. Роман. Книга вторая. X — 62; XI — 37; XII — 57.

**Андрей Битов.** Из книги «Айне кляйне арифметика русской литературы». IV — 81.

**Михаил Бугтов.** Известь. Рассказ. I — 132.

**Даниил Гранин.** Бегство в Россию. Роман. VII — 88; VIII — 73; IX — 70.

**Даур Зантария.** Енджи-ханум, обойденная счастьем. Из исторических хроник. Перевел с абхазского автор. III — 46.

**Галина З-ина.** Повесть. Вступительное слово Олега Чухонцева. VIII — 9.

**Фазиль Искандер.** Ласточкино гнездо. Рассказ. I — 111.

**Анатолий Ким.** Казак Давлет. II — 94.

**Игорь Клех.** Зимания. Герма. XI — 5.

**Игорь Мартынов.** БАМ. Письма женщинам о русском футболе. XII — 6.

**Александр Мелихов.** Изгнание из Эдема. Исповедь еврея. I — 3.

**Иван Оганов.** Песнь виноградаря осенью. Эпос. Главы из книги. II — 3.

**Олег Павлов.** Казенная сказка. VII — 8.

**Марина Палей.** Месторождение ветра. XII — 46.

**Инга Петкевич.** Свободное падение. Главы из книги. VI — 56.

**Григорий Петров.** Жизнь здешняя. Рассказы. IV — 48.

**Людмила Петрушевская.** Карамзин. Деревенский дневник. IX — 3.

**Валерий Пискунов.** Свои козыри. Записки наемника. VI — 15.

**Андрей Сергеев.** Изгнание бесов. Рассказики. VI — 100.

**Людмила Улицкая.** Девочки. Рассказы. II — 105.

**Евгений Федоров.** Одиссея. *Е. М. Мелетинский.* Замечания, предваряющие повесть Евгения Федорова «Одиссея». V — 6

**Александр Хургин.** Дверь. Повесть. III — 7.  
**Александр Черницкий.** Мы можем всё. Истерн. X — 12.

**Ольга Шамборант.** Признаки жизни. II — 125.

**Асар Эпфель.** Чулки со стрелкой. XII — 28.

### СТИХИ И ПОЭМЫ

**Дмитрий Авалиани.** Словарик. XII — 3.

**Авалиани — Гершуни.** *Михаил Горелик.* Введение в Авалианины камни; **Дмитрий Авалиани.** Стихи. **Владимир Гершуни.** Суперэпус. Вступительное слово М. Борщевской. IX — 148.

**Сергей Аверинцев.** Сквозь разломы оконченной жизни. V — 156.

**Елена Аксельрод.** Длинные свечи долго горят. I — 130. — В другом окне. XI — 3.

**Марина Бородинская.** Я надуваю пузырь тишины и уклада. XI — 33.

**Иосиф Бродский.** Воздух с моря. V — 100.  
«В Петербурге мы сойдемся снова...»: **Григорий Марк, Владимир Гандельсман.** Предисловие И. Муравьевой. X — 111.

**Константин Ваншенкин.** История болезни. X — 60.

**Константин Гадаев.** После утреннего ливня. III — 3.

**Герман Гецевич.** Бабочка в саду. XI — 105.  
**Владимир Голованов.** Больной убегает из замка. II — 98.

**Лев Гумилев.** Поиски Эвридики. Лирические мемуары. VII — 86.

**Елена Игнатова.** Не узнавая языка. X — 3.

**Инна Кабыш.** Не надо ответа. XII — 135.

**Надежда Кондакова.** Ты уходишь как воздух в строку. X — 9.

**Наум Коржавин.** Забвенья смысла и лица. VII — 87.

**Владимир Корнилов.** Не прощенье, а прощанье. IV — 79.

**Лев Котюков.** Белая ночь. XI — 102.

**Марина Кудимова.** Плацкарта. IX — 61.

**Михаил Кукин.** И не движется время. II — 87

**Александр Кушнер.** За блеснувшим в снегу серебром. VII — 3.

**Семен Липкин.** При шуме листьев и дождя. IV — 44.

**Олеся Николаева.** Испанские письма. VII — 132.

Отделение литературы от государства: I. **Владислав Кулаков.** Как это начиналось; II. **Галина Андреева, Олег Гриценко, Станислав Красовицкий, Андрей Сергеев, Валентин Хромов, Леонид Чертков, Николай Шатров.** IV — 100.

**Ольга Постникова.** Бабы песни. I — 105.

**Евгений Рейн.** Сапожок. Из книги итальянских стихов. VI — 3.

**Алик Ривин.** У меня на сердце, под часами, кто-то плавает живой. Подготовка текста В. А. Каменской и О. М. Малевича. Предисловие Тамары Хмельницкой. I — 156.

**Гернри Сапгир.** Этюды в манере Огарева и Полонского. III — 41.

**Михаил Синельников.** Ходил пароход. VI — 98.

**Борис Слуцкий.** Из неопубликованного. Предисловие и публикация Юрия Болдырева. *А. Коган.* Инобытие поэта. Памяти Юрия Болдырева. III — 66.

**Владимир Соколов.** Под деревом ночным, шумящим. V — 3.

Стихи: поэзия и проза: **Александр Ревич, Юрий Виноградов, Игорь Калугин, Эдуард Бабаев; Леонид Григорьян, Владимир Файнберг, Леонард Лавлинский.** VIII — 67, 155.

**Владимир Строчков.** Летучий отряд. XII — 55.

**Олег Хлебников.** Прежние люди. XI — 104.

**Евг. Храмов.** Рисунок пером. VI — 54.

**Игорь Шкляревский.** Из вселенной сквозит холодок. IX — 66.

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

**Николай Андреев.** Пражские годы. Вступительное слово Екатерины Андреевой. XI — 136.

**Павел Зайцев.** Записки пойменного жителя. Предисловие Юрия Кублановского. XI — 119.

**Семен Липкин.** В Овражном переулке и на Тверском бульваре. Из книги «Зарисовки и соображения». II — 190.

Три жизни: **Мария Конисская.** Старые фотографии; **Борис Гусев.** Уготованная судьба; **Михаил Мамонтов.** Как я узнавал пословицы. III — 73.

**Е. Л. Фейнберг.** Сахаров в ФИАНе. V — 178.

**Д. Штурман.** Дети утопии. Фрагменты идеологической автобиографии. IX — 182; X — 162.

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

**Леонид Бежин.** На пороге гуманитарного века. Записки сентиментального историософа. XII — 181.

**Александр Кушнер.** Среде детей ничтожных мира. Заметки на полях. X — 196.

**Д. С. Лихачев.** Нельзя уйти от самих себя... Историческое самосознание и культура России. VI — 113.

**А. Солженицын.** «Русский вопрос» к концу XX века. VII — 135.

### ПУБЛИЦИСТИКА

**Герман Андреев.** Обретение нормы. II — 144.

**Андрей Быстрицкий.** Приближение к миру. Субъективные заметки. III — 172. — *Urbs et orbis.* Городская цивилизация в России. XII — 167.

**Ю. Каграманов.** На стыке времен. V — 162.

**Модест Колеров.** Самоанализ интеллигенции как политическая философия. Наследство и наследники «Вех». VIII — 160.

**Юлия Латынина.** Демократия и свобода. VI — 149.

**Михаил Леонтьев.** Государство и рынок. XII — 157.

**Новая Россия на пути к общему дому.** Западные модели развития и общегуманитарные ценности в контексте российской истории и социально-экономических преобразований в современной России. Обработка и подготовка материалов к публикации С. Николаева. Вступительное слово Сергея Залыгина. I — 162.

**Юлий Шрейдер.** Ценности, которые мы выбираем. VIII — 172.

**Д. Штурман.** В поисках универсального сознания. Перечитывая «Вехи». IV — 133.

**Дмитрий Шушарин.** Возвращение в контекст. VII — 177.

Экология, этика, цивилизация: **Сергей Залыгин.** «Экологический консерватизм»: шанс для выживания; **Ю. Шрейдер.** Экологические ценности: три подхода. XI — 106.

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

**Б. Екимов.** В дороге. Послесловие Сергея Залыгина. I — 178; III — 156; VI — 121; IX — 159.

## ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

**Марк Костров.** Вариации переходного периода. X — 115.

**Сергей Фомин.** Три дня в предпоследней столице. XII — 139.

**Борис Хазанов.** Exsilium. XII — 148.

## ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

*Предварительные итоги XX века*

**Рената Гальцева.** Борьба с Логосом. Современная философия на журнальных страницах. IX — 170.

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

**А. К. Виноградов у Льва Толстого.** Предисловие, публикация, подготовка текста и примечания Ст. Айдиняна. VIII — 214.

**Евгений Добренко.** Искусство принадлежать народу. Формовка советского читателя. XII — 193.

«Жизнь... вызывает меня на общественное дело». Из публицистического наследия В. И. Вернадского. Публикация, предисловие и примечания И. И. Мочалова. I — 193.

**Ирма Кудрова.** Третья версия. Еще раз о последних днях Марины Цветаевой. II — 205.

**Ольга Муравьева.** «Вражды бессмысленной позор...». Ода «Клеветникам России» в оценках современников. VI — 198.

**Неизвестный Менделеев.** Публикация и предисловие И. Мочалова. VI — 175.

«...Пишу я только для Вас...». Письма К. П. Победоносцева к сестрам Тютчевым. Публикация, составление, вступительная статья и комментарий Ольги Майоровой. III — 195.

**Н. Н. Покровский.** Политбюро и Церковь. 1922 — 1923. Три архивных дела. VIII — 186.

«Смерть первая и воскресение первое». Письма С. Н. Булгакова 1917 — 1923 гг. Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания М. А. Колерова. XI — 200.

**Ирина Сурат.** «Кто из богов мне возвратил...». Пушкин, Пушкин и Гораций. IX — 209.

## РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

**Андрей Кураев.** Новомодные соблазны. X — 127.

**Ирина Сурат.** Пушкин как религиозная проблема. I — 207.

**Александр Шмеман.** Духовные судьбы России. Вступительное слово и публикация С. А. Шмемана. III — 186. — Воскресные

беседы. 1969 — 1974. Из неопубликованного. Публикация С. А. Шмемана. Предисловие С. Николаева. XI — 183.

## ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

**Герман Андреев.** Не близнецы, но — братья. Споры немецких историков о нацизме и коммунизме. IV — 185.

**А. В.** «Соцреализм — культура мутагенная...». Новое исследование тоталитарной культуры. VI — 166. — Против социализма. Новая книга Д. Штурман. XII — 191.

**Алла Марченко.** Дом, где склеивают сердца. I — 223. — Сапоги всмятку. III — 224. — Это было у моря... V — 206. — Невозвращенцы в мэнэзсы. VII — 194. — Где искать женщину? IX — 206. — Анархия — мать порядка? XI — 209.

**Андрей Новиков.** Фашизм как форма некрофилии. VI — 168.

## В МИРЕ ИСКУССТВА

**Татьяна Чередниченко.** Музыкальные увеселения: культура радости вчера и завтра. VI — 205.

## ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

**Баловень судьбы.** Великий князь Константин Константинович в письмах и воспоминаниях. Вступительное слово, составление, публикация и подготовка текста Эллы Матониной. IV — 190.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Л. Аннинский.** Спасти Россию ценой России... X — 214.

**Александр Архангельский.** Огонь бо есть. Словесность и церковность: литературный сопромат. II — 230.

**Борхес и реальность: Александр Генис.** Русский Борхес; **Ю. Каграманов.** Явь как сон и сон как явь. XII — 214.

**Никита Елисеев.** Человеческий голос. XI — 212.

**Иван Есаулов.** Сатанинские звезды и священная война. Современный роман в контексте русской духовной традиции. IV — 224.

**Виктор Камянов.** Космос на задворках. III — 227.

**Андрей Немзер.** Современный диалог с Гоголем. V — 208.

**Вл. Новиков.** «Горе от ума у нас уже имеется». Письмо Юрию Тынянову. X — 222.

**Алексей Пурин.** Архивисты и новаторы. XI — 226.

**Ирина Роднянская.** Преодоление опыта, или Двадцать лет странствий. VIII — 222.

*Предварительные итоги XX века*

**Алексей Машевский, Алексей Пурин.** Письма по телефону, или Поэзия на закате столетия. VII — 198.

**Марина Новикова.** Маргиналы. I — 226.

**КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ**

**Дмитрий Бак.** Бронзовый век русской критики. (1. А. Я. Зисъ. В поисках художественного смысла. Избранные работы. А. Л. Казин. Образ мира. Искусство в культуре XX века; 2. Вл. Новиков. Книга о пародии. А. Чудаков. Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики русских классиков; 3. Д. Б. Пэн. Мир в поэзии Александра Кушнера. Марк Липовецкий. Свободы черная работа. Статьи о литературе; 4. Александр Архангельский. У парадного подъезда. Литературные и культурные ситуации периода гласности (1987 — 1990). Бенедикт Сарнов. Смотрите, кто пришел. Новый человек на арене истории; 5. Б. И. Берман. Сокровенный Толстой. Религиозные видения и прозрения художественного творчества Льва Николаевича. Вячеслав Курицын. Книга о постмодернизме). IV — 240.

**Павел Басинский.** Другой Алешковский (Петр Алешковский. Жизнеописание Хорька. Повесть). III — 241. — Недуг Дмитрия Голубкова (Дмитрий Голубков. Восторги. Роман в двух частях. Дмитрий Голубков. «Где жизнь играет роль писца». Дневник. Дмитрий Голубков. Дневник). VI — 221.

**Марина Борщевская.** Прощание и встреча (Нелли Закс. Звездное затмение. Сборник стихов). IX — 231.

**Т. Бушуева.** Между двух зол (В. Штрик-Штрикфельдт. Против Сталина и Гитлера /Генерал Власов и Русское Освободительное Движение/). VI — 234. — «...проклятая — попробуйте понять...» (Виктор Суворов. Ледокол. Кто начал вторую мировую войну? Виктор Суворов. День-М. Когда началась вторая мировая война? Продолжение книги «Ледокол»). XII — 230.

**Дмитрий Быков.** Сны Попова (Валерий Попов. Любовь тигра. Повести, рассказы). V — 226.

**Андрей Василевский.** Дар пристойного стиля (Юз Алешковский. Перстень в футляре. Рождественский роман). III —

239. — Вот Слаповский, который способен на все (И. Алексей Слаповский. Закодированный, или Восемь первых глав. Алексей Слаповский. Пыльная зима. Повесть; II. Алексей Слаповский. Первое второе пришествие; III. Алексей Слаповский. Женщина с той стороны. Пьеса в двух действиях; IV. Алексей Слаповский. Здравствуй, здравствуй, Новый год! Повесть. Алексей Слаповский. Из «Книги для тех, кто не любит читать». Рассказы. Алексей Слаповский. Вещий сон. Детективная пастораль). VII — 221.

**Ирина Василькова.** Поиски жанра («Частная школа». Информационно-методический журнал). II — 249.

**Леонид Воронин.** Судьбы крестьянской купницы (Наталья Солнцева. Китежский павлин. Филологическая проза: Документы. Факты. Версии. Наталья Солнцева. Последний Лель. О жизни и творчестве Сергея Клычкова). II — 243.

**Алена Злобина.** Фанатик скептицизма (Анна Баркова. Избранное. Из гулаговского архива. Леонид Таганов. «Прости мою душу...»). VIII — 233. — Бедные люди (Юрий Малецкий. Онисковская чаша). X — 232.

**В. Камянов.** Остановиться, оглянуться... (Алесь Адамович. Vixi. Законченные главы незавершенной книги). VI — 218.

**М. Кораллов.** С точки зрения Кенгира (Л. Самойлов. Перевернутый мир). VIII — 237.

**Сергей Костырко.** Вместо победы (Игорь Доляняк. Мир третий. Повесть). VII — 215.

**Юрий Кублановский.** Перед вторым пришествием? («Россия перед Вторым Пришествием». Материалы к очерку русской эсхатологии). V — 241. — Голос, укрепленный отчаянием (Георгий Иванов. «Сады» и «Розы»). IX — 227.

**Анатолий Кузнецов.** «Узрение существа музыки при посредстве естества женского и безумия артистического...» (А. Ф. Лосев. Жизнь. Повести, рассказы, письма. Алексей Лосев. Женщина-мыслитель. Роман). VI — 223.

**В. Кулаков.** Жизни печная тяга (Михаил Айзенберг. Указатель имен. Стихи). IX — 238.

**Марина Кулакова.** «И замысел мой дик — играть ноктюрн на пионерском горне!» (Тимур Кибиров. Календарь. Тимур Кибиров. Стихи о любви). IX — 235.

**Олег Ларин.** По фене ботаешь? (Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. /Речевой и графический портрет советской тюрьмы/). III — 243.

**Юлия Латынина.** Россия, которую мы не теряли (Вячеслав Рыбаков. Гравилёт «Цесаревич»). V — 229.

**Марк Липовецкий.** Трагедия и мало ли что еще (Людмила Петрушевская. По дороге бога Эроса). X — 229.

**Ольга Майорова.** «Он ужасно неталантливо родился...» («К. Леонтьев, наш современник»). Константин Леонтьев. Избранные письма. Константин Леонтьев. Избранное. А. Ф. Сивак. Константин Леонтьев). V — 232.

**В. Морев.** Грани утопии (Р. А. Гальцева. Очерки русской утопической мысли XX века). I — 240.

**Валентин Никитин.** «...уже больше, чем искусство» (Игорь Экономцев. Записки провинциального священника. Роман). VII — 227.

**Марина Новикова.** В поисках утраченной боли (Зиновий Зиник. Моль). VII — 219.

**Е. Ознобкина.** Одинокий картезианец (Мераб Мамардашвили. Картезианские размышления /январь 1981 года/). VI — 229.

**К. Постоутенко.** Штейнер и Маргарита (Маргарита Волошина /М. В. Сабашникова/. Зеленая змея. История одной жизни. II — 248. — Стихи к комментариям (М. Л. Гаспаров. Русские стихи 1890-х — 1925-го годов в комментариях. Учебное пособие для вузов). IX — 241.

**Алексей Пурин.** Предсказание избранности (Евгений Рейн. Избранное. Евгений Рейн. Предсказание. Поэмы. Евгений Рейн. Сапжок. Из книги итальянских стихов). XII — 223.

**А. Руткевич.** «Нить законности» или «лезвие меча»? (Реймон Арон. Демократия и тоталитаризм). VI — 231.

**Валерий Сендеров.** Вулкан дымится (Освальд Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории). V — 238.

**Ирина Сураг.** Памятник зайцу (Андрей Битов. Вычитание зайца. Рисунки Резо Габриадзе). X — 237.

**Елена Тихомирова.** Полет без иллюзий (Гайто Газданов. Полет). X — 235.

**Рэм Трофимов.** Перечитывая «Дневник» Суворина... (А. Суворин. Дневник. /«Голоса истории»/). I — 242.

**Ю. Шрейдер.** «Граница совести моей» (Варлам Шаламов. Колымские тетради). XII — 226.

#### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

**Мария Белкина.** По поводу «одной версии». VI — 245.

**Сергей Бочаров.** О чтении Пушкина. VI — 238.

**Владимир Гурвич.** Демократия и демос. XII — 238.

**А. Данилин.** «Бог века сего». Заметки психиатра. VII — 231.

**Т. Кожемякина.** Самый дешевый способ избежать войны? III — 247.

**Михаил Копелиович.** Он говорил от имени России. XI — 235.

**Е. Н. Никитин.** Семейная честь или истина? XI — 247.

**Николай Славянский.** Голос сирены. VIII — 244.

**В. Н. Тростников.** «Красно-коричневые» — ярлык или реальность? X — 240.

**Григорий Шурмак.** Шульгин и его апологеты. XI — 241.

#### КОРОТКО О КНИГАХ

**Сергей Костырко.** — I. Евгений Звягин. Кладонскатель. Повести, рассказы. II. Александр Черницкий. Встреча с Папой Римским. Повесть. III. Иван Алексеев. «Мужчина на одну ночь» и другие рассказы. Андрей Василевский. — Вернон Кресс. Зекамерон XX века. Роман. М. Кораллов. — Марина Цветаева в Москве. Путь к гибели. А. Макаров, С. Макарова. — Картины былого Тихого Дона. I — 247.

**Е. Ознобкина.** — I. Русский космизм. Антология философской мысли. II. Ю. Бохеньский. Сто суеверий. Краткий философский словарь предассудков. III. «Арс». Российский журнал искусств. Тематический выпуск «Бездна». II — 252.

**Анатолий Кузнецов.** — I. Дневники П. И. Чайковского. II. Письма к другу. Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. III. Д. И. Шульгин. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. IV. Валентина Чемберджи. В путешествии со Святославом Рихтером. V — 246.

**Сергей Костырко.** — I. Шота Иаташвили. Больной город. Повесть. II. Видманте Ясукайтите. Голубка, которая ждет. Повесть. III. Александр Чуманов. Дискотека. Андрей Василевский. — Александр Проханов. Последний солдат империи. Роман. А. В. — Егор Радов. Якутия. Вольфик Небрезгливых. — Владимир Сорокин. Месяц в Дахау. Поэма в прозе. VI — 246.

**Олег Генисаретский.** — П. А. Флоренский. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. Е. Ознобкина. — I. Мартин Хайдеггер. Время и бытие. Статьи и выступления. II. Мартин Хайдеггер. Избран-

ные произведения. А. Иванов. В. А. Подорога. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX — XX вв. Ю. Шрейдер — Александр Мелихов. — Два мнения о книге Зинаиды Миркиной «Огонь и пепел» VII — 246

Олег Ларин — I «Живая старина» Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. II. Архангельский областной словарь. III. Виктор Бердинских. Россия и русские. VIII — 248.

Дмитрий Бак. — I Александр Фейнберг. Заметки о «Медном всаднике». II. А. М. Гуревич. Романтизм Пушкина. III. И. Сураг. Пушкинист Владислав Ходасевич. IV. В. А. Кожевников. «Вся жизнь, вся душа, вся любовь...». Перечитывая «Евгения Онегина». V. Ю. Н. Караулов. Словарь языка

Пушкина и эволюция русской языковой способности. VI. А. А. Кандинский-Рыбников. Учение о счастье и автобиографичность в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина, изданных А. П.». IX — 245.

Феликс Икшин. — Павел Басинский. Сюжеты и лица. Евгений Добренко. — Игорь Голомшток. Тоталитарное искусство. XI — 250.

Зарубежная книга о России. II — 255; IV — 254; V, X — 251; VI — 252; XI — 253.

Русская книга за рубежом. I — 254; III, VII — 253; VIII — 252.

Книжная полка. III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI — 254; XII — 246.

Памяти В. И. Селюнина . XII — 247.

Памяти В. Л. Филимонова . XII — 243.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

### *Уважаемые читатели!*

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала за 1994, а также и за другие годы, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11<sup>30</sup> до 16<sup>30</sup>.

Наложным платежом журнал не высылается.

«НМ».



## SUMMARY



Poetry section contains poems by Dmitry Avaliani, Vladimir Strochkov and Inna Kabysh.

The second volume of Victor Astafiev's novel «Damned and Murdered» (see № 10 and 11 for the beginning) is completed. There are also short stories by Asar Eppel, «Fancy Stockings», Marina Paley's «Wind-field» and Igor Martynov's «The Baikal-Amur Main Line. Letters to Women On Russian Football».

In section «Times and Customs» you will find a sketch by Sergei Fomin, «Three Days In the Penultimate Capital», on the today's life of St.-Petersburg, and Boris Khananov's notes on his life of an emigre in Germany, titled «The Exile».

Publicistics section includes essays by Mikhail Leontyev, «The State and the Market», and Andrey Bystritsky's «City and the World», about the urbane civilization in Russia.

«Writer's Diary» offers historico-philosophical reflections of Leonid Bezhin, «On the Threshold of Humanitarian Era».

In «Comments» Andrey Vasilevsky writes about Dora Sturman's (Israel) recent historico-political research.

In «Publications and Reports» there is Yevgeny Dobrenko's research «The Art of Belonging to the People (The Forming of the Soviet Reader)».

«Literary Criticism» is occupied by two polemic essays, Alexander Genis' and Yuri Kagramanov's, on Borkhes' works in the Russian cultural context.

In «Books Review» Alexey Purin reviews collections of Yevgeny Rein's poems; Yuly Shreider — the Kolyma poems of Varlam Shalamov, Tatyana Bushuyeva — V. Suvorov's investigations of the beginning of World War II.

In «Editor's Mail» there are Vladimir Gurvich's reflections on Democracy and Demos.

The issue also contains our usual sections, «Russian Books Abroad» and «Bookshelf». Finally, there is a list of Publications in «Novy Mir» in 1994.



**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

**Главный редактор С. П. Залыгин**

**Редакционная коллегия:**

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким (зам. главного редактора), С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

**Коммерческий директор В. Д. Васковский**

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.08.94 г. Подписано к печати 10.10.94 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютере редакцией журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 29 100 экз. Зак. 3552. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.  
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

## В 1995 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Л. АЙЗЕРМАН. «Из таких крупинок складывается история...» (заметки учителя-словесника на полях школьных сочинений);

АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН. Письма из Поднебесной (путевые записки);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

Академик В. В. ВИНОГРАДОВ. Письма к жене. 20-е годы;

М. О. ГЕРШЕНЗОН В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ. Воспоминания. Письма (публикация М. И. Фейнберг);

В. ЗАЛОТУХА. Великий поход за освобождение Индии (кинороман);

ИГОРЬ ЗОТИКОВ. Воспоминания о П. Л. Капице;

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Империя и ойкумена;

АНАТОЛИЙ КИМ. Онлирия (роман);

Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания, часть вторая);

МАРК КОСТРОВ. Дульные тормоза (рассказы о Независимой северной армии); «Я хочу, чтобы вы знали мое мнение...» («выбранные места» из писем читателей);

АНДРЕЙ НОВИКОВ. За десять лет до фашизма;

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Неизданные рукописи. Документы к биографии (из архива М. А. Платоновой);

АЛЕКСАНДР ТУМАНОВ. И слово в музыку вернись... (о певце М. А. Олениной-д'Альгейм);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Русская опера и геополитика;

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ. Воскресшее слово (материалы о советских писателях из архивов КГБ и Прокуратуры СССР);

Д. ШТУРМАН. После Катастрофы (по страницам сборников «Из глубины» и «Из-под глыб»);

а также новые произведения ПАВЛА БАСИНСКОГО, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, АЛЕКСАНДРА БОРОДЫНИ, МИХАИЛА БУТОВА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, МАРИНЫ НОВИКОВОЙ, ГРИГОРИЯ ПЕТРОВА, ИРИНЫ СУРАТ, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ, ДМИТРИЯ ШУШАРИНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ  
ВАШУ ПОДПИСКУ!**